

Алексей ГОРШЕНИН

ДРАМЫ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ

Повести и рассказы

ПОВЕСТИ

НЕСОВПАВШИЙ (Анатомия самоубийства)

Не жить случилось — доживать
в срамной борьбе за выживанье...
А тут без тяги торговать,
да воровать, да предавать
никчемны прочие страданья.

H. Созинова

О его смерти первым узнал и оповестил рыжий, похожий на вывернутый овчинный полушибок эрдельтерьер из квартиры напротив. Начиная со вторника, с первой утренней прогулки, пес, вместо того, чтобы, как обычно, пулей нестись вниз, на улицу, садился вдруг на коврик у порога соседской двери и начинал выть. Хозяин с трудом стаскивал собаку с места, и она, испуганно озираясь чуть ли не на каждом шагу, продолжала подывывать и всхлипывающе взлаивать до самого выхода из подъезда.

Так продолжалось и день, и два, и три...

Наконец хозяин эрделя сообразил, что здесь что-то не так, и вызвал кого следует.

Слесарь с дворником в присутствии участкового и соседа напротив взломали дверь (благо в их доме оставалась она, наверное, такая одна, последняя — не какая-нибудь сверхпрочная бронированная, которую можно только фугасом свернуть, не с суперзамками и хитроумными запорами, а самая обыкновенная, навешенная еще четверть века назад строителями, оргалитовая дверь), вошли внутрь и сразу же почувствовали тошнотворно-сладковатый трупный запах.

Хозяина квартиры обнаружили в ванной. Захлестнутая на шее петля из бельевой веревки была привязана к трубе полотенцесушителя, а сам хозяин висел, неловко подогнув ноги и опустив руки по швам. Дно ванны поблескивало желтоватой лужицей. Запах мочи мешался с духом начавшегося тления.

Участковый осторожно дотронулся до повешенного и тут заметил в нагрудном кармане его рубахи сложенный вдвое клочок бумаги. Развернув его, участковый прочитал:

«Уходя, никого не виню. Просто не совпал с этой жизнью».

И все.

Участковый в недоумении повертел записку, повернулся к слесарю и, сунув ему бумажку, спросил, будто тот знал наверняка:

— Чего это он?

— Жить, поди, устал, вот и... — мрачно поскреб щетинистый подбородок слесарь.

— А кто он?

— Сосед мой, Николай Федорович... Перевалов, кажется, его фамилия, — с готовностью сообщил стражу порядка хозяин эрделя.

— Чего-то я его не припоминаю... — наморщил лоб участковый.

— Он недавно в нашем доме. С год, наверное. После размена квартиры. Очень тихо жил, сам по себе, незаметно, — сказал хозяин эрделя.

— Потому и не запомнил, коли не пил человек, не скандалил, не хулиганил, не судился, — заметил участковому дворник.

— А за ним ничего такого не водилось? — с сомнением покрутил в воздухе растопыренной пятерней милиционер.

— Не много я с ним общался, но, по-моему, вполне приличный интеллигентный человек, — возразил хозяин эрделя.

— А чем он занимался? — спросил участковый.

— Когда-то вроде в каком-то КБ работал, потом — кто его знает... — пожал плечами сосед и добавил: — И кто только сейчас чем не занимается! Чем раньше, может, и не приснилось бы.

— Зачем же тогда он, интеллигентный человек, в петлю полез? — ни к кому конкретно не обращаясь, задал вопрос участковый.

— Так пишет же — не совпал, — напомнил о записке слесарь. — Не сумел, значит, к нынешней жизни приспособиться.

— К ней, заразе, пожалуй, приспособишься, ежели утром встаешь и не знаешь, что будет вечером, — проворчал дворник.

— Ладно, — вздохнул участковый. — Сообщим в отделение и в «скорую» да будем оформлять. Надо бы родственников известить. Есть у него кто-нибудь? — спросил он, выходя из ванной.

— Этого я не знаю, — развел руками сосед.

1

Нельзя сказать, что жизнь Николая Федоровича Перевалова пошла под уклон внезапно. Он, во всяком случае, какого-то особого переломного момента в ней не помнил. Вроде катилось все себе обычным заведенным порядком: школа, вуз, молодой инженер-электронщик в проектном «ящике», работающем на оборонку и космос, и два десятка лет неспешной карьеры от стажера до ГИПа (главного инженера проектов). Утром — на службу в переполненном транспорте, вечером тем же макаром — домой. В промежутках — вороха «калек» и «синек» с чертежами, «пояснительных записок» и служебных циркуляров, которыми постоянно был завален рабочий стол, вечный домоклов меч производственного плана над головой, производственные и профсоюзные собрания, анекдоты и трёп в курилке, праздничные демонстрации, ну и, конечно же, с несокрушимой регулярностью выверенного электронного механизма — аванс, получка, прогрессивка, венчавшие творческий труд многочисленного коллектива.

Похожей жизнью жили родители Перевалова, такие же итэровцы, несметное число других людей самых разных возрастов и профессий вокруг, а потому казалось, что она столь же естественна и незыблема, как и звездное небо над головой.

Но, как известно, даже расположение звезд на небе меняется, — что уж тут говорить о жизни человеческой...

То, что жизнь становится другой, Перевалов почувствовал далеко не вдруг. Хотя лучше бы уж сразу швырнули в водоворот: выплыл — молодец, нет — такова твоя планида.

В том-то и дело, что невообразимых размеров плот их страны, название которой умешалось в аббревиатуру из четырех букв, связанный из бревен и бревешек «республик свободных», краев и областей, долгое время сплавлявшийся туда, где вроде бы лежала земля обетованная «свободы, равенства и братства», курс свой сменил не сразу.

Скорее всего кормчие и лоцманы поначалу просто проморгали нужный поворот, а потом, когда заметили впереди на пути нешуточные пороги и поняли, что мимо никак не пронесет, стали уверять всех, что нет ничего страшного, а есть новый курс к земле еще более лакомой, где всем воздастся по уму и таланту и даже сверх того, только вот на нем возникли некоторые естественные преграды, которые, зажмурившись, и очередной раз

покрепче затянув пояса, надо преодолеть. И перестроиться. Непременно всем — от мала до велика!

Начавшиеся перемены не обошли и КБ, где работал Перевалов. На одном из партсобраний пришел черед и Николая Федоровича держать отчет в том, как он перестраивается в связи с новыми условиями (как делали до него уже многие сослуживцы). Но вместо того, чтобы, как многие, потолочь демагогическую воду в ступе, Перевалов честно сознался: «Извините, товарищи, но я никак не пойму, куда и зачем я должен перестраиваться. Я плохо работаю? Делаю что-то не так? Скажите тогда — что? А может, я — пропащий алкоголик, хулиган, аморальный тип?..»

Собрание безмолствовало. Ничего плохого коллеги про Николая Федоровича сказать не могли. Специалист классный. По работе — только благодарности да премии. На Доске почета висит. Но главное — действительно работает, а не отрабатывает, как некоторые. Душа в деле чувствуется. Да и в общении мужик нормальный: ровный, доброжелательный; едва ли у них в КБ найдется человек, который бы на него зуб имел. В порочащих его связях тоже вроде не замечен. Но даже если и ускользнул от всевидящего ока общественности какой-нибудь производственный романчик, — велика ли беда!..

Так что, как ни крути, а ведь прав, наверное, Перевалов — какая нужда ему перестраиваться. Ну а поскольку та же крамольная мыслишка относительно себя любимого тлела-шаяла, готовая вот-вот разгореться, внутри почти каждого из присутствующих, парторг, чутко уловивший это настроение, решительно взял инициативу на себя.

Язык у него был подвешен, запудрить мозги умел, потому и комиссарствовал в КБ который уже год.

Ты, Перевалов, говорил он, не понимаешь сути текущего момента. А суть заключается в том, что наша экономическая машина за многие десятилетия напряженной работы изрядно поизносилась и требует основательного ремонта всех узлов и деталей. Но для его осуществления надо переналадить в нужный режим работу обслуживающего персонала, то есть нас с вами, всего общества. Останавливать машину нельзя, ремонтировать придется на ходу. Отсюда сложность и ответственность задачи, которой нам надо проникнуться, — втолковывал неразумному Перевалову парторг.

Перевалов попытался представить себе некую громоздкую, непонятного назначения машину, внешне смахивающую на видавший виды комбайн, участвовавший во многих хлебных битвах. Вокруг, нещадно дымя цигарками, топчутся мужики в промасленных спецовках и, перебивая друг друга, думают бесконечную думу о капремонте. Дума эта облекается в многозначительное почесывание затылков, цокание языками, сокрушенное качание головами, ну и, разумеется, в густо проперченные ненормативной лексикой словесные потки. Главный же смысл ее, думы, укладывается в два непреходящих вечных вопроса-ответа: «Что делать-то, мужики?» — «Да хрен его знает?!» И еще в одну фразу-надежду: «Вот приедет механик, он разберется...» Приезжает механик, ходит вокруг машины, чешет в затылке, сокрушенно вздыхает — до чего машину довели, матюгается, а когда спрашивают, что же с ней делать, разводит руками и произносит все то же сакраментальное: «Хрен бы его знал!» А машинешка все надсаднее чихает, кашляет, скрипит железными суставами, все жалобнее стонет, прося о помощи. А мужики продолжают топтаться возле больной и гадать, сколько ей еще осталось.

В одном из этих мужиков Перевалов увидел вдруг себя, и ему стало стыдно. Но тут же подумалось, что, наверное, куда больше стыдиться надо механику, не имеющего понятия, как ремонтировать машину...

Но вот чем иной раз Перевалов других «доставал», так это своей дотошностью, стремлением к исчерпывающей ясности.

Ну, хорошо, соглашался он с парторгом, машину ремонтировать надо. Но надо же знать — как. Чтобы грамотно и толково, а не методом тыка, все делать.

Это рассуждения сухого технаря-прагматика, — парировал парторг, — а общество живет по своим законам, и бывают моменты, когда надо сначала ввязаться в драку, а уж потом думать об «инженерном обеспечении».

Перевалов хотел напомнить, что, в результате, стало с великим полководцем-императором, когда он однажды так же вот на авось «ввязался в драку», но раздумал. Парторг, наверное, выражал линию партии, а это штука гибкая, и вполне возможно, что завтра она вильнет в противоположную сторону. Пройдет очередная кампания, схлынет волна — и все вернется на круги своя.

Гул порогов становился все явственнее, все ярче посверкивали впереди грозовые сполохи. Но оглушительный гром еще не грянул — и мужик не перекрестился. Да и не верилось, честно говоря, что гроза настоящая. Бутафорской казалась. Где-то там, за кулисами. На сцене же по-прежнему привычное: транспорт-соковыжималка в часы «пик», вертушка проходной по утрам и вечерам, кульманы в пропитанных канцелярской затхлостью отделах, очередной в разработке проект, как всегда, запарка со сроками и масса разных производственных согласований, утрясок, неувязок, а дома — жена, дочь с сыном, вырастающие из коротких штанишек, и, значит, еще больше надо вкалывать и зарабатывать, чтобы счастливое их детство плавно перетекало в такое же, не омраченное ничем, отрочество, за которым начиналась пора «любви и грусти нежной»... Но работы Перевалов как раз и не боялся — была бы только работа. А в том, что она ему, занятому обеспечением обороноспособности страны, всегда найдется, Николай Федорович не сомневался.

2

Между тем, ветер с порогов нежданных крепчал, и все сильнее скрипели, расшатывались бревна в связках, особенно в крайних, словно пытались поскорее отделаться от надоевших пут и рвануть в свободное плавание. А некоторые звенья в носовой части под очередным порывом уже и оторвались успели. Их пытались поймать и силком вернуть на прежнее место, но не тут-то было — только щепки брызнули из-под багров да тучи новоявленных буревестников, невесть откуда взявшимся, гвалт подняли: «Караул! Спасайте свободу! — надрывались они и с упоительным восторгом призывали: — Пусть сильнее грянет буря!»

О, это сладкое слово — свобода!.. То, о чем не так давно и помыслить было боязно, сейчас говорилось без оглядки. И сказать можно было, и нечто, некогда запрещенное, прочитать.

Перевалов жадно набрасывался на прессу, восхищался остротой материалов, смелостью авторов, а главное, тем, что до всего этого он до пущен, что ему это до звонено.

Но послабления для любителей чтения, зрелиц и вольных разговоров меркли рядом с действительно революционной новинкой: появились кооперативы — первые ласточки свободного общества.

То есть, конечно, они и раньше существовали, да только в густой тени, без вывесок и афиш. Тихохонько производили левый ширпотреб и тряслись денно и нощно в испуге дристогонном, как бы не загреметь под фанфары правосудия. И вот — нате вам: шейте, ребята, трусы и рубашки, кормите-поите прохожий люд в своих забегаловках — не бойтесь ничего, вы в «законе».

Впрочем, кооперативы и кооператоры быстро и незаметно исчезли. Никуда они, конечно, скоропостижно не делись, просто сменили свой облик и вывески. Затянутые, словно когда-то большевистские комиссары в кожу, господа и дамы стали представлять в

коридорах власти всякие-разные товарищества с ограниченной ответственностью и мало ограниченными спекулятивными возможностями, пришедшие на смену кооперативам.

У Перевалова в кабинете тоже нашлись некоторые, решившие пуститься в свободное предпринимательское плавание. Однако воспитанная в старых коллективистских традициях институтская масса, и Перевалов в том числе, смотрела на них как на любителей легкой наживы, погнавшихся за длинным рублем. Пока. Потом, когда они, успев снять пенки, будут разъезжать на шикарных заграничных авто, строить себе заграничные особняки и небрежно похрустывать зелеными ассигнациями с портретом чужого президента, многие крепко позавидуют, что не рванули за ними следом.

Но это потом. А пока больше приглядывались, наблюдали через окошко телевизора, что там, у кормила власти и вокруг происходит.

3

А происходило то, что, наверное, и должно было произойти. Громкие вопли о свободе без конца и без края вызвал эфект сначала медленно, потом все стремительней скатывающейся снежной лавины. Свободы захотелось всем и непременно. И все вдруг сразу осточертели друг другу хуже горькой редьки. Словно только и ждали момента, когда можно будет развестись и приняться за дележ имущества. Не успели оглянуться, как обсосанный суверенитетом плот стал похож на обмылок. Тут же, рядом — обок и сзади — гордо и счастливо бултыхались его суверенные осколки, с которых свистели, улюлюкали, орали непристойности и плевали в сторону того, что еще осталось от когда-то «единого и нерушимого».

Случилось в это время Перевалову побывать в командировке в одном из новых суверенных образований, где находилось родственное по профилю НИИ, с которым они давно вели совместные разработки. Ничего отныне совместного, сказали ему, всё сами. Да, но ведь основные наработки не здесь, а у них в КБ, напомнил Перевалов. И сами — не дураки, если приспичит — свои такие же появятся, — ответствовали. Зачем же велосипеды изобретать, и дело как никак общее, удивлялся Перевалов и слышал в ответ чуть ли не гневное: кончилось общее, теперь все отдельное и самостоятельное.

Еще сильнее пришлось засомневаться Перевалову в подобной самостоятельности, когда попал он чуть позже на другой суверенный осколочек, чтобы проведать давно живших здесь, в краю шпрот и янтаря, старииков-родителей.

Сколько раз бывал здесь Перевалов! Наезжал по делам, проводил отпуска и никогда не чувствовал себя чужим. А теперь нате вам, заграница!.. Ну ладно, он — приехал-уехал, как-нибудь переморщится. А его старики-пенсионеры, а другие соотечественники, давно обжившие этот край и продолжавшие здесь оставаться? Как они-то должны чувствовать себя, став в одночасье незваными гостями, людьми второго сорта, чуть ли не оккупантами?

Ответов не находилось. На неуверенное предложение Николая Федоровича переехать к нему старики ответили категорическим отказом. Крепко вросли в янтарный берег. Не оторвать. Да и на материке чем лучше? Обременять сына, который и сам едва концы с концами сводит, не хотели, а судьба беженцев и переселенцев на их большой родине тоже незавидна.

Позже, когда беженцы со всех концов «ближнего зарубежья» и из «горячих точек» станут явлением до равнодушия и раздражения (понаехали тут, житья не стало!) привычным, Перевалов по-настоящему оценит прозорливую правоту своих родителей.

А тогда он уезжал с янтарного берега с тяжелым сердцем, снедаемый черным предчувствием, что видит старииков своих в последний раз.

Предчувствие оказалось вещим. Через три года родители Перевалова тихо, один за другим сошли в могилу, а он, задавленный безработицей и безденежьем, даже не сможет навестить их могилки...

4

Лавина тотальной свободы тем временем с заоблачных высот докатилась уже до обывательского подножья, успев смять, разрушить и погрести под собой столько всего, что хватило бы на хорошую войну.

Теперь даже пейзаж городской напоминал местами картины послевоенной поры. Многие оживленные улицы и бойкие перекрестки превратились в клокочущие людским варевом пестрые толкучки, на которые, казалось, вывалило все население.

Продавали, правда, не с себя последнее, а все больше импортное новье. От иностранных этикеток и наклеек рябило в глазах и думалось, что вот оно, изобилие, о котором столько мечталось и говорилось! Окорочка и сигареты, салами и пиво, электроника и тряпки на любой цвет и вкус со всего света!.. И никакого дефицита, очередей!..

А кругломорденский, с заплывшими поросячими глазками, розовощекий лоснящийся экономист, захлебываясь от восторга с телевизора обещал: «То ли еще при любушке-рыночке будет!».

Практическое представление о панацеи-рынке, который всех облагодетельствует, у Перевалова дальше той же толкучки и коммерческих ларьков-«комков» пока не шло. Наверное, потому, что других ярких и заметных его и не наблюдалось.

Что же такое на самом деле «комок» в жизни рядового обывателя, Перевалову помогли понять однажды слова лихого полусамодеятельного шлягера, услышанные им в киоске по продаже аудиокассет:

А наш коммерческий ларек
от нищеты вас уберег,
чтоб вы могли нормально жить
и ни о чем бы не тужить...

Перевалов сначала обалдел от такой самонадеянности, но потом подумал, а может, и впрямь есть тут своя сермяжная правда. Ведь и он с женой, и соседи его, и знакомые, и вообще все, у кого тощ кошелек, спешат нынче не в магазин, а сюда. Здесь дешевле, доступнее.

Впрочем, в сравнении с чем дешевле? С соседним гастрономом — да! А вот если с досуверенными временами, когда плот их государственный был единым и неделимым, тогда все как раз наоборот: родная денежка стремительно превращалась в занюханного дистрофика, зато цены пухли, как от водянки, в той же прогрессии, пугая обывателя все новыми нулями

Нули к зарплате прибавлялись куда медленнее, потому и покупать удавалось теперь только самое необходимое; остальное же изобилие можно было только пожирать глазами, как выставочные или музейные экспонаты.

Перевалова это не особенно угнетало, хотя и закрадывалось что-то вроде обиды, когда на его глазах какой-нибудь юный пижон, еще и потрудиться толком не успевший, покупал вещь, о которой Николай Федорович мог только мечтать ввиду ее, по его мнению, непомерной дороговизны и, рассчитываясь с продавцом, небрежно выдергивал из толстого, перетянутого резинкой от бигуди пласта одну крупную купюру за другой.

Жену Перевалова подобные сценки доводили до белого каления. А громоотводом становился Николай Федорович, не умевший, по ее утверждению, жить, зарабатывать

деньги и как следует заботиться о семье. Потому и прозябает в своем никому не нужном КБ в то время, когда некоторые разъезжают на иномарках и покупают женам норковые манто. Никакой гордости у мужика!..

Негодование жены Перевалова не особенно задевало. Ее мнение о себе он давно знал. Оно и в другие-то времена было не намного лучше. Что уж говорить о нынешних. Да и кое в чем Перевалов с ней соглашался. В том, например, что так и не научился он держать нос по ветру, чуять за версту настоящую добычу и из любой ситуации извлекать выгоду.

А вот насчет гордости она зря... За то, что гордость у него есть, Николай Федорович мог ручаться. Только гордость его сейчас в КБ и держала. Гордость профессионала, твердо знающего себе цену и уверенного, что без него дело, которым он занимается, не обойдется. Тем более что и дело-то — не тяп-ляп, а для безопасности и моши страны жизненно важное. Так было до сих пор, и Перевалову казалось, что так будет и дальше. И глубоко ошибался.

Кормчие громогласно и во всеуслышание объявили, что теперь опасаться больше нечего и некого, что враги перековались в друзей, а потому грозный, наводивший страх на недругов, бронепоезд можно переплавить на кастрюли, ложки, вилки и прочую кухонную утварь. Вскоре, однако, оказалось, что все это почему-то проще (или кому-то выгодней) покупать за границей, и некогда привилегированная, ни в чем не нуждавшаяся оборонка сильно охромела, похилилась и все больше увязала в том незавидном состоянии, когда ты уже и не богу свечка, и не черту кочерга.

Все это, разумеется, аукнулось и у Перевалова в КБ. Одну за другой стали сворачивать перспективные разработки. Исчезли премии, прогрессивка (за что давать-то!). Начались первые сокращения. В людях поселилось чувство тревоги и неуверенности.

И как не тревожиться. Город в основном ей, оборонкой родимой, и жил всегда, щит и меч куя, хлеб насущный себе ею зарабатывал.

Но власти как языческие шаманы денно и нощно камлали: все, мол, путем, ребята, все катится, как задумано — реформы ж! Всего-то и делов — рухлядь убрать да новое поставить. Зато уж тогда заживем, ох и заживем!..

5

И вспомнилась Перевалову та странная машина, что возникла в его воображении, когда слушал он объяснения парторга о сути «перестройки». Все та же толокся вокруг нее с размышлениями как быть разный ответственный и полуответственный люд. Но ни о каком ремонте уже и речи не шло. О другом мараковали: как бы побыстрей да ловчей ее в утиль сбагрить, а взамен новую, заграничную приобрести. Находились и скептики. Не спешить советовали, подумать: может, иностранная машина для их условий и не годна вовсе. На них цыкали, махали рукой, демонстративно поворачивались спиной и затыкали уши. Денег на машину никак не наскребалось, но продавцы забугорные входили в положение, обещали — в кредит, под залог имущества, за умеренные (обычные для бедных родственников) проценты. Подумаешь, кабала! Не впервой — потерпят! Зато появится возможность на сверкающем лимузине по мировому сообществу раскатывать. Да и подаяния легче собирать будет...

Между тем, возле старой машины шустрые пронырливые людишки замельтешили. Хоть и обветшала машинешка, но много еще можно с нее полезных для себя вещей поиметь. И пока высокое начальство судило-рядило, как и чего с машиной делать, проворные жуликоватые ребята свинчивали с нее то одно, то другое. И сбагривали желающим.

Иной раз нечто очень даже экзотическое и специфическое. А кое-что и такое, за что во времена оные очень даже запросто было до конца жизни оказаться «без права

переписки». Во всяком случае, приборы ночного видения, которые изготавлял соседний завод, на городской бараходке продавались запросто. А однажды в рекламном объявлении Перевалов прочитал: «Продается подслушивающее устройство «Шалун». И поразил даже не сам факт продажи явно не предназначеннной для рядовых обывателей вещи, а то, что объявлялось об этом открыто, без всякой боязни и утайки.

«Так ведь скоро и ядерные боеголовки начнут каждому встречному предлагать», — изливал по поводу этого Перевалов свое негодование жене и слышал раздраженное: — «Ну и пусть! Люди, чтобы жить нормально, на все готовы. Один только ты — ни украсть, ни посторожить...»

Чисто бабская логика, не особенно обижался на выпады супруги Перевалов. Но, все чаще, просматривая прессу и глядя на телеэкран, он с удивлением обнаруживал, что сплошь и рядом подобным же образом рассуждают и государственные чиновники, и народные избранники, готовые, похоже, ради своих личных, семейных или клановых интересов пуститься во все тяжкие.

Продавалось и покупалось теперь все что угодно: движимое и недвижимое, рукотворное и нерукотворное, неживое и живое. Все дозволялось, ничему не было запрета. И толпа свежеиспеченных нуворишей взялась за дело с алчностью, которой позавидовали бы их серые четвероногие собратья.

6

В Переваловском КБ, где госсобственность в виде годящейся разве что на дрова древней канцелярской мебели, таких же кульманов и сейфов, почти никакой ценности не представляла, купить-продать, кроме мозгов и идей, было нечего, а цена на умные головы падала. Начались перебои с заказами. Сразу же стала запаздывать зарплата, которая, в свою очередь, не поспевала за ценами. Люди продолжали разбредаться кто куда. Классные инженеры и конструкторы шабашничали, «челночили», торговали в ларьках.

И снова бы Перевалову подсуетиться, попытаться поймать ветер свободного предпринимательства в свои паруса (и жена его на это все время подталкивала-подпихивала) — еще не все занято и схвачено было, еще самая дележка снизу до верху шла, и оставались шансы успеть урвать, снять кое-какие пеночки. А он, осел упрямый, продолжал чего-то выжидать, на что-то надеяться. Чудилось ему, что всю эту образовавшуюся в последнее время накипь вот-вот сдует, пропустит опять чистая вода, и можно будет, не разменяв, не растеряв себя в нынешней горячей лихорадке будней, продолжать, как и прежде, заниматься своим, однажды выбранным в жизни делом, в котором только и возможно проявиться по-настоящему, ощутить собственные нужность и полноценность и вне которого просто немыслимо себя представить.

Надежды, однако, не сбывались. За бурлящим порогом спокойной чистой воды не было. Да и кормчие, похоже, понятия не имели, где она. Оттого, наверное, бросив кормило и пустив и без того изрядно потрепанный плот на волю стихии, кормчие схватились за грудки с извечным: «А ты кто такой?»

Разборка проводилась в лучших революционно-гангстерских традициях: с баррикадами, штурмом чиновничих цитаделей и форпостов связи, а так же (на зависть мелкой мафиозной шушере и в утешу жадной до зрелищ обывательской сволочи) с крутой орудийной пальбой, изрядно подкопавшей белоснежный дворец ретроградов и возвестившей миру о полной и окончательной победе «свободы и демократии».

«Уж чего-чего, а свободы им нынче хватает», — полагал Перевалов и опять ошибался.

Лупившие по белому дворцу танки заодно снесли напрочь и плотину ограничений и запретов. Вал необузданной свободы, ломая всякие и всяческие устои, срывая с цепей темные страсти с подлыми страстишками и печати табу, накрыл обывателя с головой. Он

вымывал из обывательских ям и закутков старую грязь, с удвоенной силой и яростью забивая их новой...

Свобода смыла запреты, и изголодавшиеся на скромном идеологическом пайке рыцари пера, камеры и микрофона бросились наверстывать упущенное. Газеты теперь, не в пример ранешнему, читать было занимательно, но жутковато.

«Судью взорвали вместе с собакой...», «Дзюдоистку зарезала родная мама...», «Голову девчонки пацаны носили с собой...», «Бандиты коллекционировали пальцы...», — взахлеб кричали газеты. «Развод при помощи киллеров...», «Афганца утопили в озере...», «Огород в стиле концлагеря...», «В морге есть что украсть...», «Блеск и нищета бомжей...», — смаковали они. «Награда нашла героя в тюрьме...», «Покойники — неплохая штука...», «В трупе передатчик не найден..», «за беса мстят мечом и огнем...», «Не дурак, не маньяк, а так...», — деловито сообщала пресса. Некогда кукольно розовый глянец на ее физиономии сменился гепатитной желтизной.

Перевалова пугали кризисом, катастрофой, стоящим буквально за дверями апокалипсисом, убеждали, что вообще всем им осталось жить полтора понедельника, если немедленно не одумаются, не укусят себя за локоть, не схватятся за голову и не придумают наконец что-нибудь.

«Придумай что-нибудь, придумай что-нибудь!..» — истерично заклинала в тон всей этой пугательной вакханалии их главная поп-дива.

Но почему-то ничего ни у кого не придумывалось, хотя оракулов, астрологов, колдунов, прорицателей, записных спасителей отечества расплодилось несть числа.

7

Как-то забрел Перевалов на встречу с кандидатом в депутаты по их округу. Им, к великому удивлению Николая Федоровича, оказался его бывший парторг. Из КБ он давно ушел, отчалил в неизвестном направлении, и вот неожиданно выплыл — теперь уже в качестве претендента на депутатский мандат.

На собрании парторг-кандидат простираялся о том, что надо не щадя живота двигать реформы, борясь за панацею-рынок, что некогда общее-ничье сегодня, слава Богу, индивидуальное-свое и теперь все они — хозяйчики и кузнечики своего счастья, что надо вперед и выше, а заграница нам обязательно поможет...

Перевалов слушал его с тоской и стыдом. И не оттого лишь, что парторг-кандидат пережевывал обрыдлую политическую жвачку. Он и раньше-то откровенным начетчиком был. Куда больше угнетало Перевалова его хамелеонство. Всего несколько лет назад доблестный парторг, вдохновенно пламенея партийным кумачом, призывал к заоблачным вершинам равенства и братства. А теперь...

Впрочем, парторг и сегодня твердо знал, что ему лично будет очень даже неплохо, нисколько, по крайней мере, не хуже, чем вчера. Надо лишь вовремя усвоить новые правила игры. А их он, не сомневался Перевалов, слушая парторга, успел усвоить.

А ведь когда-то они были членами одной партии. Правда, в отличие от парторга, Перевалов никогда не рялся в тогу правоверного партийца. Он и в партию-то попал, можно сказать, случайно. Точнее даже — по расчету. Появилась однажды в КБ вакансия главного инженера проектов. Начальник отдела порекомендовал Перевалова. Руководство не возражало. Одна загвоздка: на должности такого уровня необходимо иметь партбилет. Хорошего специалиста Перевалова на менее ценного, но партийного, руководство менять не захотело, а потому предложило Николаю Федоровичу самому вступить в партию.

По натуре Перевалов человеком был необщественным и даже где-то аполитичным, потому и на сей раз горячего желания не изъявил. Но, во-первых, вакансии ГИПов появлялись не каждый день и когда еще такой случай представится, а во-вторых, у него совсем недавно родился второй ребенок, а пополнение требовало увеличения семейного

бюджета. Новая должность делало прибавление в зарплате весьма существенным. Взвесив все «за» и «против» и выслушав семейного комиссара — собственную жену, категорически ратовавшую за вступление ради такого дела в партию, Перевалов решился.

Вступал он с надеждой: стерпится — слюбится. В любовь не переросло, но стерпелось. И жил он с ней, с партией, как и с женой, честно и добропорядочно, хоть и по изначальному расчету: аккуратно платил взносы, ходил на собрания, политучебу, выполнял поручения... Было в его партийной жизни всякое. Кое-что никак принять не мог, но терпел, скрипя зубами. Однако и светлое было, хорошее. А главное в этом альянсе было то, что он знал и чувствовал, что партия, при всех ее заморочках и скверном диктаторском характере, в нем нуждалась, что с ее помощью ему удавалось хорошо делать то, что он мог и умел. И знал, что делал он это не впустую.

Когда ее лишили руководящей роли и дали отставку, Перевалов обрадовался, что снова свободен. Но бросать камни вслед — демонстративно, как некоторые, устраивать сожжение партбилетов, обзывать ее фашисткой и супостаткой, расписывать журналистам, как партия его гнобила, да и вообще поливать грязью бывшую сожительницу, — не стал. Хотя мог бы и он что-нибудь вспомнить не совсем приятное. Но зачем, если не по совести, не по чести это? А партбилет так и остался валяться в ящике его письменного стола. Теперь уже как реликвия, наверное...

Нарисовав общую картину ожидаемого рыночного благоденствия, парторг-кандидат обрушился на тех, кто мешает его созданию. Крайними оказались местные власти, которых парторг отругал за нерадивость и бездарность, обвинил в коррупции, прозрачно намекнув, что у него на всех найдется сколько угодно отборного компромата, который он обнародует, лишь только наденет на себя бронежилет депутатской неприкосновенности. После чего парторг горячо заверил присутствующих, что сделает все возможное и невозможное, чтобы результаты реформ золотым дождем пролились на каждого господина-гражданина, и стал горстями швырять в зал обещания. Учителям и врачам обещал резко повысить зарплату, пенсионерам — пенсии, студентам — стипендии. Обещал сделать производство рентабельным и прибыльным, а экономику экономной. Обещал поддерживать предпринимателей и бизнесменов в их благородном деле обогащения. Обещал не забывать ученых и деятелей культуры, военных и инвалидов... Обещал, обещал, обещал...

Аудитория вдыхала эти эфемерные обещания как фимиам и радостно рукоплескала. Перевалову она напоминала сейчас алкаша в той редкой стадии, когда даже от запаха спиртного он начинает ловить кайф, теряя последние остатки разума. Парторг «спаивал» аудиторию обещаниями, а она — что больше всего удивляло и убивало Перевалова — даже не пыталась поинтересоваться, как же он намерен их выполнять.

Бывшего парторга Перевалов знал не один год. Как человек дела он в их КБ не котировался. Очень средненький был инженеришка, в серьезной работе ни то, ни се. Усердием и трудолюбием тоже не отличался. Зато всякие идеологическо-демагогические штучки ему куда лучше удавались. Потому и сбагрили с легкой душой, как только подвернулся случай, в общественные сферы. Сначала в профсоюзе подвизался, потом парторгом выдвинули. Лишь бы у занятых настоящим делом людей под ногами не путался. И за всю жизнь тип этот ни одной проблемы самостоятельно не решил. А тут — на тебе! — судьбы тысяч и тысяч людей клянется к лучшему изменить, чуть ли не по щучьему велению не сегодня-завтра все к общему удовольствию устроить! Как?

С этим «как?» и подошел Перевалов после собрания к бывшему парторгу.

«Да никак! — цинично рассмеялся тот. — Сейчас важнее понравиться, запомниться. А обещания... Электорат любит обещания. Они его возбуждают...»

Жалкий актеришко! — возмутился тогда внутренне Перевалов, но тут же ему и подумалось, что классическое «вся жизнь — театр» перестает быть метафорой и обретает смысл почти буквальный и тотальный. Везде шло большое и малое лицедейство. От президентских и парламентских дворцов до папертей с нищими.

В президентских апартаментах Перевалову бывать не доводилось, но с лицедейством нищих он невольно сталкивался каждый день.

До своего КБ Перевалов добирался на метро. Он спускался в подземный переход и сразу же попадал под перекрестный огонь нищих. Они стояли у стен, сидели на каменных ступенях, толклись возле стеклянных входных дверей, хватая прохожих за рукав. Были здесь и благообразные седенькие старушки, и мрачные типы с чугунными рожами бомжей и профессиональных алкоголиков, и цыганки из южных республик с грудными младенцами на перевязи, были личности и вообще совершенно неопределенные — без признаков пола и национальности, но с печатью врожденного порока на ничем более не запоминающемся челе. Одни как заклинание повторяли одну и ту же слезливую историю о том, как их ограбили в поезде, и теперь вот они вынуждены просить у добрых людей на дорогу. Другие — в основном старушки — действовали Божиим именем, обещая райское блаженство каждому, кто одарит их денежкой. Сложив ноги калачиком, цыганки беспрерывно раскачивались взад-вперед, как китайские болванчики, с той же методичностью помахивая протянутой ладонью вверх рукой. Иные сидели или стояли молча, как истуканы, бросив наземь шапку для подаяний. За них говорила висевшая на шее картонная табличка, на которой корявыми печатными буквами с орфографией второклассника-двоичника излагалась того же пошиба жалостливая история или о несчастном погорельце, в одночасье оставшемся без крова и средств к существованию, или о страдальце, собирающем деньги на операцию от тяжкого недуга.

Перевалов не был черствым, глухим к чужому горю человеком и раньше нищим подавал. Но тогда и нищих-то во всем их большом городе можно было по пальцам пересчитать, зато сегодня от них ни в метро, ни в электричках, ни на улицах просто проходу нет.

Впрочем, дело даже не в их количестве. В конце концов жизнь становилась все хуже и хуже, народ беднел — многие действительно были уже на грани нищеты. Но что-то в современных нищих Перевалова сильно настораживало, не давало поверить в их искренность, в то, что они и в самом деле дошли до крайнего предела, за которым, чтобы не протянуть ноги, остается протянуть руку.

В послевоенном своем детстве Перевалов помнил таких нищих. И безногого фронтовика дядю Гошу, раскатывавшего на самодельной коляске с грохочущими подшипниками вместо колес, которого война лишила всего сразу — конечностей, погибшей во время бомбейки семьи и профессии (был он классным шоферюгой). И с рождения убогую сиротку Фенечку, днями простоявшую с алюминиевой кружкой возле кинотеатра. И некоторых других, таких же горемычных христарадников, которым считалось грешно не подать. Для всех них нищенство и впрямь было актом безысходного отчаяния, а для кого-то и планидой.

Для современных же попрошаек, все чаще убеждался Перевалов, их занятие было ремеслом, способом добывания денег. И не самым плохим и трудоемким, понимал Перевалов, встречая тех же цыганок, шествовавших весело гомонящей толпой по вечерней улице после «трудового дня» с узлами и пакетами, набитыми разнообразной снедью. Оживленно переговариваясь, женщины, прямо «с куска» жевали похожую на них по цвету смуглого-копченую дорогую колбасу, а дети, швыряя на тротуар шкурки и обертки, лакомились бананами и эскимо с орехами. (Перевалов и не помнил уже, когда собственных детей угощал такими лакомствами).

Сразила же его наповал одна нищенствующая бабуся у кафедрального собора. Ее он заметил однажды, ожидая, когда откроется с обеда хозяйственный магазин напротив. Он сразу выделил из шеренги разномастных нищих, подпиравших церковную ограду, эту

сгорбленную трясущуюся бабульку, повязанную беленьким в горошек платочком, с батожком. Мелко крестясь, она с такой мольбой провожала слезящимися выцветшими глазками каждого проходившего мимо, что редко кто не осчастливливал ее «копеечкой».

На другой день, но уже к вечеру, Перевалов вновь по какой-то надобности проходил мимо церкви. Нищие уже разбрдались. Некоторые, не стесняясь близости храма Божьего, прямо из горла хлестали вино.

Бабуля, притулившись к ограде, деловито пересчитывала дневную выручку. Что-то в ней изменилось. Перевалов присмотрелся: исчез, улетучился бесследно слезливый жалостливый взгляд, распрымилась спина...

Но самое удивительное оказалось впереди. Через пару минут возле бабульки затормозила шикарная иномарка и из нее выбрался здоровенный детина лет сорока. Бабулька отлепилась от ограды и заспешила к нему.

«Ну что, мать, много насшибала?» — забасил детина.

«Не базлай на всю ивановскую, вахлак!» — осадила его старуха.

«Слыши, мать, Виталька мой меня с компьютером заколебал: грит, спроси да спроси у баушки — она, грит, обещала на день рождения подарить.

«Да будет ему компьютер, будет! — сказала старуха. — Недельку еще похристарадничаю — и будет».

Детина услужливо распахнул перед старухой дверцу. Нищенка чинно, не спеша, уселась на заднее сиденье, и машина рванула во весь опор.

Перевалов долго еще ошаращено смотрел вслед, и было у него такое чувство, будто он только что стал свидетелем чудовищного мошенничества.

С тех пор как отрезало: нищим Перевалов подавать перестал...

Отвязавшись от нищих, Перевалов пошел по переходу. Одна его стена была занята застекленными киосками с разнобойным ширпотребом, а другую поделили цветочницы и торговцы книгами. Книги лежали на открытых лотках. Они глянцево лоснились и просили хотя бы взглянуть на них.

Когда-то, когда они были в дефиците, Перевалов собирал книги. Это коллекционирование доставляло ему удовольствие. Сейчас, когда в дефиците были только деньги, и книги стали для обывателя роскошью, Перевалов бросил это занятие. А интерес, азарт остался, и время от времени он заворачивал к книжным развалам.

От красочно-пестрых обложек разбегались глаза: то дуло пистолета с них на Перевалова целилось, то жуткая клыкастая образина вампира плялилась, то некое космическое диво, тоже на вурдалака смахивающее, гипнотизировало, то голая девица зазывающее подмигивала...

Заголовки били по нервам. Но как-то все больше о смерти в различных ее вариациях в них было.

«Смерть на взлете», «Смерть в облаках», — читал Перевалов на одних переплетах. «Наперегонки со смертью», «Смертельный вояж», «Смерть рэклири», — натыкался его взгляд на других. Не лоток книжный, а, как значилось на одном из томов, прямо «Полигон смерти» какой-то, над которым сгустился «Воздух смерти». Красок в эту «Палитру смерти» добавляли «Убийство за убийством», «Кровавая карусель», которую заливал «Кровавый беспредел». Кто заставлял героев ходить «По колено в крови» догадаться тоже труда не составляло. Из заголовков было совершенно очевидно, что тут орудует «Банда» под названием «Ночные волки», у которых идет своя «Игра со смертью».

Но тогда, слегка призадумался Перевалов, обратив внимание на очередное название, «Кто убивает бандитов?» И тут же нашел ответ в заглавиях рядом лежавших томиков: «Беспредельщики», «Подонки», «Отморозки», готовые скуки ради «Перерезать всех!». Для них «Смерть ради смерти» — все равно, что искусство для искусства.

Хотя не исключено, подумал Перевалов, продолжая изучать книжные названия, что «Кровь алую» пускает какой-нибудь «Нелюдь» или «Изувер», а то и вовсе — «Оборотень» в зловещий «Час нетопыря». Но, возможно, свой «Счет за любовь»

предъявляет «Насильник» или «Сексуальный маньяк». А вдруг это «Кокаиновый князь» вершит «Казнь по кругу»?..

Не книжный лоток, а прямо «Заповедник убийц», — поежился Перевалов, но его начинало разбирать любопытство: противостоит ли кто всем этим «Ублюдкам»? Конечно же! — отвечала ему новая порция книжных заголовков. Например, «Гроза мафии» по кличке «Волкодав», который отлично знает основной «Принцип карате», имеет «Разящий удар» и, естественно, «Боевой захват». Или вот «Капитан Виноградов», за спиной которого «Штурмовой батальон» и «Черные береты». Так что, усмехнулся Перевалов, держитесь всякие там «Господа из мафии», «Душегубы», «Блатные», «Торговцы плотью» и «Сыновья козырных тузов»!

«Неужели ничего, кроме такого же убойного и костоломного, больше не сыщется? Хоть бы какая, пусть даже и криминальная, пища для ума?» — подумал Перевалов, переходя к другому лотку.

Такая «пища» здесь предлагалась.

«Дело опасной вдовы», «Дело об изощренном мошенничестве», «Дело о блондинке с подбитым глазом», «Дело о сбежавшем трупе», «Дело о ледяных пальцах»... — читал Перевалов на переплетах и невольно морщился: и здесь «пища» была с чернушным душком.

А дальше и вообще пошло нечто потустороннее. «Дом тихой смерти» — кладбищенским фосфорецирующим сиянием высвечивалось на одной из книг. «Только для мертвых» — красовалось на другой. Третья завлекала «Тайной плачущего гроба». Четвертая предлагала «Приглашение в ад», чтобы увидеть «Танец мертвеца». Пятая передавала «Привет с того света», а ее подруга слева утверждала, что «Смерть нежна»...

Перевалова передернуло, но и дальше было не лучше. На глаза попались сначала «Жертвы дракона», потом «Дети Сатаны», уютно устроившиеся рядом с «Коллекцией трупов». Неподалеку «Фабрика дьявола» изрыгала серу, а «Летающие колдуны», словно истребители прикрытия, сопровождали «Гроб из Гонконга», из которого доносился «Хохот дьявола».

Перевалов поспешил подальше от этого загробного смрада. «Что-нибудь про любовь, про женщин посмотрю», — решил он, останавливаясь возле следующего лотка.

Но и тут не повезло. Бесстыдно пялясь на него с обложки голым задом, «Стерва» лежала «В постели с врагом». Ее терзала «Неприличная страсть». А рядом «Мужья и любовники» вели азартные «Любовные игры». «Эксбиционистка» подле них испытывала «Вожделение».

Разглядывая дальше обложки любовных романов, Перевалов узнал, что «Мир полон разведенных женщин», что вот «Эта вдова (очередная сексапильная неодетая красотка с переплета давала понять — какая именно) не плачет». Скорее всего, потому, что для нее всегда находится какой-нибудь «Нежный плут», без которого никакая «История греха» невозможна.

Но Перевалову не хотелось ни греха, ни разврата, ни смертей, ни насилия, ни чертовщины всякой. Как глотка свежего воздуха хотелось нормального добротного чтения, в котором бы его не пугали на каждой странице невероятными страшилками (жизнь все равно страшнее), не морочили бы голову неуклюжими сказками, не выдавали бы болезненную физиологию на грани патологии или дурно пахнущую пошлость за подлинные человеческие чувства и отношения. И без того до болезненных спазм его уже обкорнил всем этим голубой экран. Но и в чтиве, заполонившем книжные развалы, спасения от зловонной чернухи не находилось.

Если по возвращении с работы Перевалов задерживался у книжных лотков чуть больше, чем надо, ему начинали сниться кошмары.

Будто находится он в сумрачном зале, посреди которого на постаменте стоит массивный гроб. Из-под крышки его сочится влага. Вокруг толкуются призраки. Вот, совсем рядом — только руки протяни — «Джоконда с пистолетом». Чуть поодаль —

«Призрак киллера» с «Призраком оперы». «Человек из крематория» нежно поглаживает полированную крышку гроба. В дальнем углу завязалась «Схватка оборотней». А под потолком металось и совсем уж уродливое и страхолюдное — «Две головы, одна нога» — привидение.

Вдруг комната погрузилась в могильный мрак, вспарывая который, рванулся на волю леденящий «Крик из гробницы». Следом в кромешной тьме над гробовой поверхностью появились «Светящиеся пальцы», сжимавшие «Кинжал для левой руки», а из нутра домовины раздался глухой, отсыревшескрипучий голос:

— «Что сказал покойник?»...

Находившиеся в зале призраки разом повернулись к Перевалову, словно вопрос предназначался ему и только ему.

Светящиеся пальцы с кинжалом исчезли, гроб протяжно-визгливо, будто из него выдергивали ржавые гвозди, заскрипел, и крышка его начала медленно отходить. Наконец она исчезла, растворилась в темноте, и из черного провала гроба стала подниматься бесплотная фосфорецирующая фигура.

— «Торжествующий мертвец»... «Торжествующий мертвец»... — зашелестело вокруг.

— «Так что сказал покойник?» — повторило свой вопрос бесплотное явление, вперив в Николая Федоровича жуткий взор, и не дождавшись ответа от испуганного Перевалова, назидательно изрек: — А то, что «Смерть нежна», И пусть светлый лик смерти станет твоим верным и вечным спутником.

Мертвец отвернулся от Перевалова и, вдруг выбросив вперед бестелесную светящуюся руку, загремел как в мегафон митинговый оратор:

— «Не остановить «Маятник смерти!». «Время убивать настало». И пусть «Агония» умирающих будет самым желанным для вас зрелищем! И взбуждится земля могилами, и настанет «Ад на земле»!..

Мертвец сделал паузу, вслушиваясь в рассыпающееся по углам зала эхо, расплылся в пронирающей до озоба пустой беззубой улыбке и зловеще закончил:

— И тогда, неразумные и подлые дети мои, «Я приду и плюну на ваши могилы!..»

Перевалов просыпался в холодном поту и долго потом не мог отойти от увиденного.

9

...Между тем дела на их плоту, изрядно подрастрепавшемя и поредевшем на суверенной стремнине, шли хуже и хуже. Все рушилось и падало, от уцелевшего воротило и тошнило. Взор надежды устремился на заграницу. Кому было — что, меняли родные «деревяшки» на ихнюю «зелень». Кому не было — с вожделением ждали из-за бугра тучку с манной гуманитарной помощи.

Перевалову тоже посчастливилось ее отведать. Однажды вместо очередной зарплаты, которую теперь приходилось ждать по несколько месяцев, выдали им в КБ испещренные иноземными надписями коробки с гуманитарной помощью. В картонной коробке чуть больше посыльного ящика был упакован набор красивых пачек с быстро разваривающимися концентратами и разноцветных банок консервов. Жена обрадовалась этой коробке, словно дитя давно обещанной кукле. Она не знала, куда и поставить ее, нежно оглаживала картонные бока и без конца перебирала и перекладывала содержимое.

Но праздник длился недолго. Первая же вскрытая банка тушеники источала запах такой откровенной тухлятины, что ее пришлось немедленно выбросить в помойное ведро. За ней последовала и другая. Та же участь постигла и просроченные рыбные консервы. Крупы тоже оказались залежальными и к употреблению непригодными. Из всего содержимого общим весом в десять килограммов более или менее сносными оказались две пачки сухого печенья да пара пакетиков жевательной резинки детишкам на забаву.

Разочарованная жена почему-то надулась тогда на него, Перевалова, будто именно он подсунул ей несъедобную «манну». А Перевалову вспомнилась шустрая старушка-христарадница у церковной ограды — ведь она, пожалуй, такой вот милостынькой — на тебе, Боже, что мне не гоже — и в физиономию подающему запустила бы. И правильно бы сделала — не о халяве надо думать, а о «собственной гордости», которая бы позволяла смотреть на ихних буржуев свысока.

«Да когда ж мы на них свысока смотрели-то? — удивилась жена, когда он попытался напомнить ей строки знаменитого поэта-трибуна. — Мы ж им всегда завидовали, догнать-перегнать пытались, да кишка была тонка. И до гордости ли, если одеть-обуть себя никогда прилично не могли!..»

Перевалов собрался горячо возразить: неправда, мол, и гордость была, и достижения — вон какую державу отгрохали! — но ничего не сказал. Остановила каверзная мыслишка: куда же все так скоренько подевалось? А главное — стремительно, как из проколотой резиновой камеры, испускался дух прежней жизни, в которой человеку было пусты и не брат, но уж товарищ — точно.

Товарищеский локоть, дух здорового коллектива, в кotle которого бурлили страсти производственные, общественные и даже личные, Перевалов привык ощущать денно и нощно настолько, что, казалось, лиши всего этого, — и он задохнется в мучительной асфиксии, как рыба, выброшенная на берег.

Однако в последнее время атмосфера в их КБ становилась все разреженней и одновременно тяжелей. Старый, складывавшийся десятилетиями, коллектив разваливался, редел, усыхал. Народ разбредался. И каждому увольняющемуся как бы даже радовались, словно, уходя, он освобождал столь необходимый остающимся кусочек жизненного пространства.

Занимались теперь в элитном КБ, еще не так давно проектировавшем поражавшую воображение супер-технику, вещами далекими от современных высоких технологий. Обслуживали в основном частные фирмы и предприятия. О серьезном госзаказе не было и речи.

Трудно было узнать и само КБ. Больше половины помещений арендовали в нем новоявленные бизнесмены. Молодые, коротко стриженые мурлатые ребята и длинноногие, макаронного вида девицы заполонили комнаты и коридоры, где некогда витали флюиды творческой научно-технической мысли. По-птичьи тренькали мобильники, доносились напористые голоса юных предпринимателей, без конца что-то покупавших, перепродаивших. В рабочих комнатах, коридорах и даже туалетах стоял грай чужих, непривычных для этого интеллектуального заведения слов и понятий. «Ты мне наши деревянные не впаривай. Баксы давай, баксы!..», «Штук сто навара будет, как с куста...», «Какой сегодня у зеленых курс?..», «Надо разговаривать с официальным диллером...», «А мы демпинговать будем, демпинговать...» — то и дело доносились до старожилов КБ. Перевалову эта шумная и весьма беспардонная молодежь с их новоязом казалась нахально вторгшейся в соловиную рощу вороньей стаей. Еще оставшиеся работники КБ неслышными тенями боязливо жались к стенам, и уже не они, а самоуверенные, попыхивающие дорогими заграничными сигаретами, попивающие пивко из жестяных банок арендаторы чувствовали себя здесь полными хозяевами.

«Наваривали» они, видно, неплохо, поскольку через день да каждый день завершали свою трудовую смену нехилыми застольями с шампанским, импортными винами в красивых бутылках и закусками, от одного вида которых у полуголодных сотрудников КБ, заглянувших ненароком в кабинет, где шел гудеж, начинала кружиться голова и появлялись спазмы в желудке.

В отличие от не бедствовавших и вполне довольных жизнью квартирантов, хозяевам приходилось все туже затягивать пояса. Зарплата, долг по которой рос, как снежный ком, становилась большим, редким, но в то же время очень скромным праздником, который заканчивался, едва успев начаться.

На вот парадокс: контора их на глазах чахла, хирела, а ее руководители, наоборот, наливались здоровьем и румянцем. Пока их подчиненные терпеливо гадали, когда наконец появится возможность получить кровные, они не теряли времени даром: меняли старые авто на новые, малометражные со старых времен квартиры на громадные элитные хоромы, в которых можно было заблудиться, как в лесу, забивали эти апартаменты дорогой мебелью, всяческой утварью и бытовой техникой, с иголочки одевали в дорогих бутиках себя и своих близких, по несколько раз в год совершали вояжи в райские уголки планеты для отдохновения от трудов праведных, заводили валютные счета и переправляли деньги подальше от родимой земли...

И делали все это не особо таясь, почти в открытую. Народ глухо роптал, но в глаза своего недовольства не высказывал, боясь потерять последнее и самое сейчас ценное — работу, пусть плохонькую и нерегулярно оплачиваемую, но работу, эту полузаходящуюся птичку надежды. Все перемелется, надеялись, чистая вода наконец пропустит — и как тут без спасательного круга работы!..

А работу потерять, упустить из рук эту синичку стало нынче раз плюнуть. Не висел теперь на руководящей шее партийный хомут, не вставал грудью на защиту рядового труженика профсоюз. Один на один — голый, сирый, беззащитный — оставался перед лицом хозяина своего труженика. И разговор с ним был круче армейского с его сакраментальным «не хочешь — заставим». «Недоволен — пшёл вон!», — смело и цинично говорили теперь начальники, указывая на дверь. И уже не имели никакого значения ни твои прошлые заслуги, ни регалии, ни твой талант.

Перевалов пока держался. Не трогали его пока. Даже шанс ему дали новые руководители.

КБ они возглавили всего года полтора назад, когда прежние заслуженные отцы-командиры ушли на покой.

Перевалов, много лет проработавший под их началом, все никак не мог привыкнуть к новому руководству.

Этих ребят (для него действительно — ребят, поскольку каждый из них был моложе его минимум лет на десять) — и начальника конструкторского бюро, и его замов, и главного конструктора с главным инженером, и коммерческого директора — Перевалов знал еще с тех пор, когда они, как и прочие, добросовестно корпели за кульманами, выполняли общественные поручения, участвовали в самодеятельности, играли в футбольной команде КБ. Звезд ребята с неба не хватали, постромки в работе не рвали, но себя показать в нужном месте и в нужное время умели и любили.

А скоро приспело и их золотое время. Начиналось последнее десятилетие многострадального и шумного века. Демократический сквозняк уже гулял по предприятиям, учреждениям и конторам, проникая в самые закрытые из них. Сладкозвучное слово «свобода» туманило голову. Старые конструкторские кони дорабатывали свой ресурс и все пристальнее поглядывали на молодых, присматривая себе замену. Способных и работающих было много, но требовалось еще и умение управлять, командовать, а оно встречалось реже. Хотя, наверное, у кого-то просто сразу и не проявлялось, не мозолило глаза. Может быть, поэтому нынешние ребята-руководители, а тогда еще просто конструкторы каких-то категорий и инженеры, оказались прежде других, более достойных, но менее ловких и настырных, на виду.

Большие говоруны и кроссвордные эрудиты, они любили повитийствовать, охотно и чувством выступали на собраниях, устраивали дискуссии в курилках. Они сразу же заметили благосклонное к ним отношение со стороны старых конструкторских коней, больше относившееся к их фонтанирующей энергии, нежели к уму и таланту, и поспешили к ним в льстивое услужение.

Они не отличались особым дарованием, зато с избытком было в них цепкого pragmatизма и изворотливости. Ребята все рассчитали верно: растроганные льстивым

вниманием отцы-командиры их ответно обласкали и, уходя на заслуженный отды, называли своими преемниками.

Задача «преемников» еще больше упростилась, когда пошла мода руководителей не назначать, а выбирать. Знали их в коллективе как ребят своих и даже своих в доску, понадеялись, что с ними порядком поднадоевшая тихая размеренная производственная жизнь станет лучше и веселей, а потому и выбрали без проблем.

Жить действительно стало веселей...

Ребята оказались зело хваткие. И в смысле полнее схватить, урвать что под руку подвернется, и в смысле приспособиться, найти свою выгоду даже на догорающих останках родного производства.

И, надо сказать, были при этом ребята-начальники не очень и жадные. Не тянули одеяло исключительно на себя. Даже наоборот, приглашали некоторых других вместе с ними покопошиться на догорающем пепелище в поисках золотых зернышек.

В число этих других был приглашен однажды и он, Перевалов.

Как-то раз один из ребят-начальников перехватил Перевалова в полумраке коридора и под локоток увлек его к себе в кабинет.

Молодой начальник долго и пристранно рассуждал о том, как резко вокруг все меняется, что старое, слава Богу, уже не возвратить, что жить надо сегодняшними реалиями, в которых рынок правит бал и всюду — деньги, деньги, деньги, всюду деньги без конца, а потому, волей-неволей, приходится вписываться, вживаться в новые условия, если, конечно, хочешь жить по-человечески, а не прозябать в ожидании мизерной зарплаты. Перевалов никак не мог понять, к чему тот клонит, а начальник уже переключился конкретно на него и стал сокрушаться, о невостребованности его конструкторского таланта и опыта, которым можно было бы, если постараться, найти достойное применение.

«В общем, Николай Федорович, — испытывающе и со значением посмотрев на Перевалова, сказал начальник, — не хотелось бы вам заняться настоящим делом?»

Как дальше выяснилось, под «настоящим делом» подразумевалось создание некого товарищества с ограниченной ответственностью, где Перевалову отводилась роль технического директора.

Чем будет заниматься новорожденное ТОО, а в нем — он, Перевалов, начальник объяснял прямо-таки эзоповским языком. Из напущенного словесного тумана Перевалов кое-как уяснил для себя, что ему предлагается перелицовывать или подгонять под нужды и вкусы потенциальных (скорее всего зарубежных) заказчиков имеющиеся в КБ разработки с целью выгодной их продажи.

Боже мой! — ужаснулся Перевалов. — Продавать то, что береглось когда-то, как зеница ока, как часть национального могущества и как его честь, наконец!...

«Николай Федорович, — посмотрел на него, как на идиота, начальник, — я же вам говорю: рынок, все — на продажу, от презервативов и гвоздей до космической техники и грудных младенцев. Нормальный бизнес...»

Над предложением Перевалов обещал подумать, и еще несколько дней в висках его билась-пульсировала, словно невидимый птенец изнутри пытался проклонуться через скорлупу черепной коробки, фраза — «все на продажу!» И чем настойчивей стучалась она, тем отчаянней протестовала душа Перевалова. Его воспитывали на совсем других моральных ценностях и понятиях. С детства ему внушали, что общественное благо и достояние выше личного, что раньше думай о родине, а уж потом о себе. Поэтому ему и в голову не могло прийти торговать государственными тайнами (а именно к таковым большинство разработок в Переваловском КБ и относилось).

Но у теряющего последние лохмотья государства тайн оставалось все меньше. А те, что пока еще не были проданы, ждали своего покупателя. И Перевалову предлагалось готовить этот необычный товар к продаже.

После бесед с ребятами начальниками бросало Перевалова то в жар, то в холод. Не от страха, нет. Чего бояться? Не в пример прежним временам, нынче никто никого ни за что (если не считать бандитских разборок) не преследовал, ибо ни воровства, ни спекуляции, ни измени с предательством не было просто по определению — везде один сплошной бизнес. Знобило от самой мысли, что ему, быть может, придется окунуться в зловонное топкое болото. Всю жизнь Перевалов знал, что родину, как и мать, не выбирают, что ею не торгуют, а, напротив, заботятся об ее защите и безопасности, и вот...

От этих мыслей Перевалов слег в постель. Трудно засыпая, он видел один и тот же сон. Будто живет он с отцом и матерью на какой-то, вроде бы, земле. Вокруг тайга, и лихие людишки пытаются захватить их дом. Но не могут. Крепки запоры в воротах, хорошо и метко бьет отцово ружье. Тогда главарь шайки начинает уговаривать Перевалова открыть запор, выкрасть и передать ему ружье за красивые зеленые банкноты. Денег таких Перевалов в руках отродясь не держал, а страсть как хочется, поэтому — была не была! — глубокой ночью совершает он то, чего так жаждет разбойничий атаман. Шайка врывается в дом, защититься родителям нечем. Перевалов видит, как главарь с хищной акульей улыбкой переводит ружье с отца на мать и с ужасом, в липком поту просыпается...

К моменту выздоровления Перевалов твердо решил сказать ребятам-начальникам на их предложение категорическое «нет». Он даже прорепетировал нелегкую для него сцену и представил, как вытянутся у этих беспринципных деляг физиономии, когда он скажет им все, что о них думает. Но готовился он напрасно. Новое рандеву не состоялось. Более того, ребята-начальники старались попросту не замечать его присутствия. Если ненароком и сталкивались с ним в коридорах КБ, то смотрели мимо, насквозь, будто его и не было вовсе. И Перевалов понял, что возвращаться к начатому разговору они не станут, что раскусили и вычислили его еще в первую их встречу. Рыбак, как говорится, рыбака... И не рыбака — тоже!

Николай Федорович почувствовал облегчение — неприятное это дело решалось как бы само собой. В то же время самолюбие его было уязвлено. И не из-за того лишь, что ему предлагали стать соучастником грязной и подлой игры. Убедившись, что рассчитывать на него не стоит, его просто забыли, стерли из памяти, перестали видеть в упор. Его никто не утеснял, не применял к нему санкций — ничего такого, Боже упаси! Но уже не существовало и прежнего Перевалова. Чем дальше, тем больше чувствовал себя он бесплотным фантомом, на которого, кто и натыкается случайно, таращится с боязливым изумлением — уж не тень ли это того самого Перевалова?

На носу был Новый год. В КБ по новомодным веяниям ввели контрактную систему. Каждый служащий теперь обязан был подписать договор-контракт на ближайший год, в котором расписывались его обязанности и права.

Перевалову контракта никто не предложил. Когда он попытался выяснить у начальника КБ — почему, тот с ледяной улыбкой сказал, что в нынешних условиях им больше необходимы люди молодые, энергичные, современно мыслящие, умеющие ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, лишенные застарелых комплексов.

Про молодость и энергичность Николай Федорович пропустил мимо ушей — какой же он старик, если ему за полвека еще только-только успело перевалить. А вот все остальное действительно было про него.

Перевалов понял, что это — приговор. В таких случаях почтают за благо написать «по-собственному». Но рука не поднималась. Как жить дальше, что делать, чем заниматься за стенами КБ, он не представлял. И к этому, несмотря на то, что нутром давно ощущал возможность расставания, готов не был.

Жена к назревшему в его судьбе повороту отнеслась двояко.

«Дурак ты, Перевалов! — сказала она в сердцах, узнав о предложении ребят-начальников. — Такой шанс упустить! И когда ты перестанешь быть идеалистом? Сейчас, Перевалов, время прагматиков и циников. Без этого сегодня не выжить».

Наверное, он права, попытался согласиться Перевалов, но тут же подумал, что же тогда делать ему, идеалисту, в стране прагматиков и циников? Учиться их повадкам? Видимо, это и подразумевала жена...

«Но, может, и к лучшему, — тут же и успокоилась жена. — Давно уже было пора плюнуть на ваш загибающийся КБ и поискать себе чего-нибудь поприличнее. Только ты «по-собственному» не уходи, — посоветовала практичная супруга. Пусть они тебя сократят. Тогда сможешь на бирже зарегистрироваться и получить пособие. У нас уже некоторые так делали...»

Но «сократиться» Перевалову не удалось. «У нас не сокращение, а обновление, — сказали ему. — И вы — не вписываетесь». Пришлось подавать «по собственному».

10

Первые после увольнения дни Николай Федорович ходил в каком-то полуобморочном состоянии и походил на снульную рыбу. Слова, звуки доносились до него словно через толстый слой ваты, а лица людей, предметы вокруг словно из густого тумана выплывали. Перевалов валялся целыми днями на диване, ловя на себе встреможенные взгляды домашних. Внутри было пусто, а сам он, будто оборвавшийся лифт, с нарастающим ускорением обрушивался в эту пустоту.

Но прошло время, падение прекратилось, туман рассеялся, предметы обрели очертания, звуки — отчетливость... Переживания переживаниеми, но надо было что-то предпринимать. Очнувшийся мозг услужливо напоминал о том, что под лежачий камень... А еще притчу о двух лягушках, попавших в кринку с молоком. Участь лягушки, утонувшей из-за собственной пассивности, Перевалова не устраивала, да и как-то привык он за многие годы чувствовать себя кормильцем семьи, а посему решил браться за поиски нового места под сегодняшним неласковым солнцем.

Дело это, особенно для него, Перевалова, имевшего всего одну-единственную запись в трудовой книжке и никогда не менявшего профессии, оказалось архисложным. В их огромном промышленном городе две трети трудоспособного населения работало в оборонке. Но ее предприятия в последнее время, словно какой-то страшной эпидемией охваченные, чахли одно за другим, отхаркивая толпы оставшихся не у дел своих работников. Перевалов сталкивался с ними на улицах, в коммерческих киосках, в общественном транспорте, где то и дело вспыхивали конфликты кондукторов с зайцами, оказывавшимися по большей части бывшими итэровцами с оборонки. Они попадались ему всюду. И больше всего — на бирже труда.

В первый раз Перевалов забрел сюда, испытывая сильное внутреннее сопротивление. Само понятие — биржа труда, где идет постыдная купля-продажа рабсили — ассоциировалось у Перевалова с «их нравами» и загнивающим капитализмом, который, не успев догнить там, «за бугром», переместился сюда, к ним. Да и в слове «безработный» чудилось ему что-то постыдное, сравнимое с бомжами или нищими.

Однако не обнаружил на бирже Перевалов ни тех, ни других. Вполне приличная публика здесь толкалась, изучая официальную информацию о вакансиях и обмениваясь собственной. Попадались и знакомые ребята. И чем дальше, тем больше нравилось Перевалову заходить сюда. Было тут что-то вроде клуба по интересам, где собирались такие же, как он, бедолаги и осколки прежней жизни, ругающие на чем свет стоит и треклятую нынешнюю действительность, и полупьяного кормчего с командой жадных недоумков, которые их всех в эту жизнь затащили.

Походы на биржу, как ни странно, приносили Перевалову, несмотря на их практическую бесполезность (во всяком случае, на результаты поиска работы они никак не влияли), некоторое облегчение. Теперь, по крайней мере, он видел и знал, что не одинок в своих бедах, что не только его судьба вышвырнула за борт. И это несколько

утешало. Но не надолго. Лишь до той поры, пока снова не вставал вопрос о хлебе насущном.

Очень быстро Перевалову пришлось убедиться, что не только его собственная профессия, а с ней и вообще итээровская братия, сегодня не в цене. Не жаловал рынок труда и разных там слесарей-токарей, и представителей прочих пролетарских специальностей. Требовались теперь все больше финансисты, продавцы да охранники, менеджеры да экспедиторы с личным автотранспортом...

Но вот что заметил Перевалов, общаясь на бирже, читая объявления в газетах, на заборах и подъездах: народ пускался во все тяжкие, пытаясь выжить, приспособиться, найти какие-то новые, нетрадиционные способы существования. Но касались они в основном, как любил говаривать герой знаменитого сатирического романа, сравнительно честного отъема денег.

Перевалов раскрывал очередную газету и в разделе частных объявлений читал:

«Предлагаю эффективные способы борьбы с похмельем...»

«Вышлю рецепты от гемороя, выпадения волос, полового бессилия, а также заговоры от зубной боли и запоев...»

И вообще за энную сумму, вложенную в конверт с обратным адресом, предлагались рецепты на все случаи жизни. В том числе брались подсказать, как завладеть «без особых затрат и усилий» миллионом или «заработать на дому пятьсот, тысячу и более» денег в валюте за месяц.

Иной раз, изучая рекламное творчество, Перевалов начинал сомневаться, а есть ли она, проблема занятости населения? Ведь столбы и заборы пестрят от объявлений, предлагающих «частичную и полную занятость» и при этом «высокий заработок, свободный график», «возможность роста».

Живое воплощение этой прекрасной работы являли собой косяки энергичных и страшно коммуникабельных молодых комивояжеров с большими полиэтиленовыми пакетами в руках, которые каждому встречному заступали дорогу и с обворожительной улыбкой «почти за бесценок», «в честь дня рождения президента их фирмы» пытались всучить свой товар, оказывавшийся в ближайшем магазине и качественней, и дешевле.

Перевалову было немного жаль этих ребят, вынужденных ради своего маленького бизнеса с комариной назойливостью хватать встречных-поперечных за полу с сомнительными предложениями, но где-то в душе и завидовал им — таким раскрепощенным, незакомплексованным, напористым.

Разного рода умельцы тоже предлагали свой товар на рынке труда. Могли лоджию застеклить, собаку выдрессировать, уроки за лодырей сделать, а дураков набитых — в вуз за уши втащить, и даже произведение изящной словесности могли по желанию клиента изладить. Так, в очередном рекламном объявлении Перевалов наткнулся на следующее: «напишу по заказу эпиграмму, пародию, поздравление, шарж, каламбур, эпиграфию и т.д. Высокое качество гарантирую. И дальше шло в стихах:

Генератор я идей,
Коль не веришь,
Так проверь.
А горючим служит мне
Ясный месяц при луне
И, конечно же, работа
До седьмого, друг мой, пота,
Или творческий заказ,
Вдруг полученный от вас...

Надо же! — удивился тогда Николай Федорович и подумал, а не создать ли и ему какую-нибудь фирмочку. Но тут же и остудил себя. В отличие от автора объявления, он не

считал себя генератором идей. Хороший разработчик, Перевалов обычно доводил до логического завершения идеи других, придавая им технический блеск и конструкторское изящество. И никогда раньше не тяготился этим, поскольку был убежден, что творчество — дело коллективное.

Изучение рекламной информации помогало Николаю Федоровичу узнавать много нового и неожиданного в современной жизни. К примеру, с легкой руки старорежимного классика Перевалов привык считать, что в его стране две глобальные беды — дураки и дороги. Реклама же со страниц прессы, в теле- и радиоэфире, с бумажных клочков самодеятельных объявлений на столбах и заборах страстно убеждала, что кариес, перхоть и ожирение — вот суперпроблемы, важнее которых нет сегодня ничего на свете. Особенно, понял Перевалов, актуально и опасно для их давно забывшего о регулярном приеме пищи населения именно ожирение. С каждого столба неизвестные доброхоты уговаривали его сбросить кто от четырех до двенадцати за тридцать дней, а кто двадцать семь кило за месяц. И все это «легко и безопасно», «очень комфортно», с помощью некого чудодейственного напитка, который «пьешь и худеешь». Перевалову даже как-то неловко стало, что он по причине отсутствия лишнего веса не может воспользоваться такими замечательными предложениями. Да он, пожалуй, и сам мог бы предложить чрезвычайно простой и широко доступный, но не менее эффективный способ похудения — всего-то и надобно, что остаться без зарплаты и работы, если бы без него «рецепт» этот не был знаком до боли широким (еще вчера трудящимся) массам.

Изучая с помощью рекламы проблему трудоустройства, Перевалов обратил внимание на один немаловажный момент: предложения о работе явно превышали спрос, и предлагавшие себя стремились показаться в самом выгодном свете. Кроме обычного — «пунктуален, энергичен, сообразителен», некоторые обращали внимание будущих работодателей и на какие-то свои довольно специфические достоинства. «Умею молчать, не задавать лишних вопросов», — сообщал некто ищущий высокооплачиваемую работу, явно намекая, что за хорошие деньги будет и сам нем, как рыба, и для других станет могилой чужих секретов.

Продавали не только свои способности, таланты, деловые и прочие качества, но и самих себя с потрохами. Особенно старались молодые особы. Красивые девушки, успевшие устать от «неустроенности бытия и житейских проблем», сообщали всем заинтересованным лицам, что очень нуждаются в «состоятельном друге». И сей мотив, варьируясь в зависимости от вкуса и фантазии авторов, звучал во множестве объявлений.

«Ищу самостоятельного любовника (желательно холостяка и не лысого)». «Редкий драгоценный камень, нуждающийся в хорошей оправе, ищет романтического, немного взвалмошного ювелира, имеющего, кроме денег и приличия, еще и чувство юмора». «Хорошенькая женщина ищет богатого спутника жизни. Скучердям просьба не беспокоить». «Стройная, симпатичная блондинка хочет нежности, ласки и прекрасного отдыха с солидным бизнесменом у него на квартире»...

У Перевалова подрастала дочь, и он думал, что не дай-то Бог и ей когда-нибудь оказаться в числе подательниц подобных объявлений.

Хотя продавали себя не только девушки. Был и встречный поток предложений. Некий «молодой человек без комплексов желал бы познакомиться с состоятельной женщиной для интимных встреч у нее». Он при этом не скрывал, что женат, а, стало быть, просто пытался таким вот «нетрадиционным» способом пополнить семейный бюджет. А вот «состоятельный мужчина среднего возраста хотел бы наладить свою личную жизнь с девственницей, не обременяя себя брачными узами». Ну, чем не «спонсор» для уставших от жизни девушек, желающих выгодно продать свою молодость!

Не имелось у Перевалова ни денег, чтобы купить для похотливых утех молодость, ни самой этой, с радостью готовой продаться молодости, не было вообще не было ничего такого, что можно было бы обратить в выгодный товар, а потому куда ближе и понятнее

были ему объявления иного рода, где, например, с горькой обреченностью сообщалось, что «учительница математики ищет любую работу с заработком, позволяющим выжить».

И больно, и стыдно было читать это. Больно за честных граждан, не научившихся воровать, торговать и ловчить, а потому вынужденных влечь нищенское существование и омерзительно-стыдно за тех, кто довел их до такого униженного состояния — за корыстолюбивое чиновничество всех мастей, за бессовестных демагогов во власти, стоящих исключительно собственных интересов, за смрадно-торгашескую нынешнюю атмосферу, где всё — на продажу, где, задыхаясь без духовного кислорода, корчится в судорогах «разумное, доброе, вечное»...

Изучение рекламной информации Перевалову никакого практического результата не дало. Разве что удущливых выхлопов от этого чадящего и смердящего «двигателя торговли» нахваталися до тошноты. Надо было искать что-то самому. А пока — суть да дело — стал Перевалов ходить на «общественные работы».

Из желающих на бирже труда сколачивались бригады, выдавались им оранжевые жилеты дорожников и отправляли на уборку улиц. Женщины собирали в траурно-черные полиэтиленовые мешки мусор с газонов и тротуаров, подбеливали деревья и бордюры, мужчины соскребали лопатами с обочин и бордюров грязь, ремонтировали в сквериках и бульварах оградки и скамейки, искореженные дурной энергией юных балбесов наочных тинейджерских посиделках.

Платили за эту нехитрую работу скучно и, как и везде, с задержками, но иного в руки пока ничего не шло и в перспективе не просматривалось, а потому приходилось, скрепя сердце, соглашаться и на это.

Поначалу Николай Федорович сильно стеснялся своего нового положения, поминутно озирался на улице, не видит ли его кто из знакомых — трудились-то в своем районе, но скоро успокоился: народ в бригаде собрался образованный — в основном такие же итэровцы да служащие. Среди них он не чувствовал себя белой вороной.

Но все-таки временно это было, ненадежно. И средств к существованию давало слишком мало. Не говоря уж об уязвленном до кровоточащей и незаживающей болячке самолюбии.

Хорошо еще, что дача спасала...

11

Ну, дача — это, пожалуй, слишком громко. Так, четыре сотки, а на них слепленная из чего попало халабуда и тесненький — стоячий, потому что присесть в нем было уже проблемой — туалетишко.

Перевалова прежде никогда особо к земле не тянуло. Городской был человек. На природу выехать с отелем, шашлычки на опушке у тихой речки пожарить — это другое дело. А пропадать на огороде все выходные, стоять раком на грядках, обливаясь потом, — увольте! Проще было на базаре купить. Хватало, к тому же, и общественных сельхозкампаний, когда бросали на уборку то картофеля, то свеклы, то морковки, то еще чего-нибудь, чтобы в это же время дать селянам заниматься собственными огородами. Как они там ими занимались, Перевалов не знал, так как видел раза три в день только бригадира, который утром, отравляя пространство на гектар вокруг не до конца перебродившим вчерашним самогоном и переводя некоторое время в порядок свой вестибулярный аппарат, давал им задание на день, отмеривая взмахом заскорузлой руки сектор от собственных кирзачей в исходной точке до туманной полоски на горизонте, днем, ближе к обеду, заглядывая городским просительно в глаза, искал спонсоров на очередное возлияние, а к вечеру, благоухая свежеупотребленным зельем, был счастлив, любил все человечество, и за дополнительную емкость готов был закрыть глаза не только

на то, что половина картошки после «ударного» труда горожан осталась в поле, но и на само — будь оно неладно — поле.

Ничего, кроме отвращения к земле, эти сельскохозяйственные десанты не вызывали. Оттого, наверное, и садовый участок, который ему не раз по линии месткома предлагали, был ему на дух не нужен.

Но верно говорится: все течет, все изменяется. Для удовольствия поковыряться на собственных грядках участок Перевалову действительно не был нужен, но когда толком ни работы, ни зарплаты, на тот же самый клочок земли совсем по-иному взглянешь...

В общем, когда как следует залихорадило и стало ясно, что к лучшему ничего меняться уже не будет, что надо искать, чем поддержать свое незавидное существование, Перевалов решился. Он вступил в садоводческое общество с лирическим названием «Исток», заплатил первые взносы и на исходе мая, когда после затяжных дождей выглянуло солнце, отправился осматривать свои землевладения.

Добираться до места пришлось долго. Сначала полтора часа на электричке, потом еще минут сорок разбитым колесами, тракторными гусеницами, чавкающим под ногами вязкой грязью проселком. Но было ясно, тепло, и это поднимало настроение. Да и шел Перевалов далеко не один.

Колонна людей с рюкзаками, ручными тележками, сумками, лопатами растянулась на несколько километров. Такого массового выхода на сельхозработы в прежние времена никакая организация не смогла бы обеспечить. Зато теперь вот шагали, несмотря на хлябь, бодро, воодушевленно, как на праздничной демонстрации, и казалось даже, что вот-вот взовьется-грянет над головами радостная, задорная песня. Да и то: шли ведь не на казенные барщины время отбывать, а свою собственную целину-залежь подымать, свою землицу-кормилицу обихаживать. Оттого и душа была светла, и руки зудели, просили честных крестьянских мозолей.

«Вот что значит работать на себя, а не на дядю!», — глядя на это шествие итэровцев, научных работников, учителей, врачей, культработников (а в основном это им отвели угодья в здешних местах), поддаваясь общему порыву, расслабленно думал Перевалов и вспоминал известные ему еще со школы строчки поэта-громовержца: «землю попашет — попишет стихи».

Правда, тут же и червячок сомнения румяное яблочко его оптимизма начинал точить: разве ж это нормально, что, вместо того, чтобы сосредоточиться на своем профессиональном деле, люди мечутся между письменным столом, классом, лабораторией, больницей, сценой и грядками с морковкой, луком и редиской, не зная толком, как и что туда воткнуть?

На месте оказалось, что сразу нескольким новорожденным садоводческим обществам выделено одно большое, гектаров на сто с лишним, брошенное совхозное поле. До самых колков оно густо поросло высоким, по грудь, жестким грязно-серым, как недельная бомжеская щетина, бурьяном. Поле это много лет подряд, без передышки, доводя до полного истощения, засевали то овсом, то кукурузой, то еще какими-то злаками, нещадно травили пестицидами и гербицидами, а теперь вот, когда даже таким варварским способом содержать его стало не под силу (ни техники, ни горючего, ни людей, ни, главное, денег, чтобы это все иметь), когда высосали из поля практически все соки и фактически угрибли, превратили в сорную пустошь, решили сбагрить его вовремя подвернувшимся горожанам да еще и умудриться при том себе и ручку позолотить, лупя деньги с доверчивых урбаноидов за аренду земли, за пахоту, после которой лопата в борозду не втыкается, за то, за се...

Ликующее шествие новоявленных землевладельцев притихло, сгрудившись на кромке, приуныло. Но ненадолго. Откуда-то появились люди с землемерными саженями, рулетками, охапками пограничных колышков. Народ заволновался: начиналось самое сложное и интересное — разметка земельных участков.

«Ну, начнем, что ли!» — сказал некто небритый, в заштопанной телогрейке и стоптанных сапогах, сам очень похожий на лежащую под его подошвами почву, и процесс пошел.

Шел он нервно, с драматическими коллизиями и накалом страстей. Поле было хоть и бросовое, но имелись на нем участочки и получше, и похуже. Последних — гораздо больше. И они, разумеется, никому не были нужны. А потому грозовая атмосфера возникла сразу же, как только циркуль землемера шагнул вглубь поля.

Мерили и размечали, время от времени хватая друг друга за грудки, а порой теряя не только интеллигентный, культурный, но и вообще человеческий облик, до самого вечера.

Перевалов в общей сваре не участвовал. Он бродил по травянистой дороге вдоль поля, заходил в лесополосу с непросохшим ковром прошлогоднего палого листа, издали наблюдал за клубящимися вокруг землемера с аршином человеческим роем, и от утреннего радостного возбуждения не оставалось и следа. «Неужели любой выбор должен сопровождаться озвериением и осатанением? Неужели наступить на горло себе подобному — единственный способ выжить?» — с горечью думал Перевалов.

Участок Перевалову достался прямо у дороги, по которой он бродил весь день. С этого края надел был изрядно побит тяжелой тракторной техникой, а местами утрамбован колесами так, что только динамитом его брать. Но что делать, если не участвовал в баталиях дележа, если не пускал юшку соперникам в борьбе за свое землевладельческое счастье!..

Да и некуда было отступать. В КБ дела шли все хуже, все реже и жиже становилась зарплата. На одну лапшу денег иной раз только и хватало. А подрастающим детям требовалось полноценное питание с овощами и витаминами. Так, по крайней мере, твердила жена, подталкивая Николая Федоровича к огородной его саге. Сама же супруга участвовать в ней после двух-трех изнурительных поездок вечно битком набитой электричке и ковыряния на открытом всем стихиям поле категорически отказалась. Поэтому Перевалов поднимал свою целину один. И даже рад был, что жена перестала с ним ездить: хватало ему упреков и недовольства дома.

Перевалов вставал затемно, шагал пешком на вокзал и на первой электричке мчался на свой, обозначенный двузначной цифрой, «километр». Ну «мчался», конечно, преувеличение. Скорее — полз в гремучем, словно консервная банка, вагоне, стиснутый со всех сторон такими же, как он, досыпающими на ходу, стоя, как лошади, дачниками. По дороге от платформы до поля Перевалов развеивался на бодрящем утреннем воздухе, но окончательно приходил в себя, когда втыкал лопату в землю.

Труднее всего было попервой. Искореженную техникой неудобицу железный штык лопаты никак не хотел брать. Семьдесят семь потов пролил Перевалов, пока расковырял придорожных пол-участка. Дальше пошло легче. И сноровка появилась, и земелька вроде бы податливей стала. Правда, если честно, ее и с самого начала-то можно было на пуп не брать. Не раз подкатывали к Перевалову местные механизаторы и предлагали как следует вспахать участок. Делов — на двадцать минут, и уже многие вокруг воспользовались их услугами. Но на деньги, которые они запрашивали за работу, можно было переваловской семье при нынешнем ее состоянии прожить чуть ли не неделю, поэтому Николай Федорович каждый раз отказывался, еще яростней вгрызаясь в неподатливый грунт.

Положение осложнялось тем, что почва была буквально нашпигована длинными, белыми перевитыми корнями сорняков. И прежде чем перевернуть очередной пласт, Перевалову приходилось опускаться на корточки и, перетирая землю, выбирать эти белые противные щупальца.

Когда наконец все было перекопано, грядки возделаны, семена посажены, появилась другая проблема — вода. Общественный садоводческий водопровод был пока что лишь в проекте, а поливать грядки в установившуюся после дождливой весны жару требовалось сейчас, немедленно и регулярно. Источник же на всю округу был единственный: протекавшая в километре от переваловского участка речушка в полтора шага шириной.

Ее то Перевалов и использовал для полива. Он вырубил в лесополосе молоденькую осинку, сделал по концам ее засечки-углубления для ведерных дужек, и теперь на этом импровизированном коромысле (настоящего в его городской квартире отродясь не водилось) носил воду на огород. В парусиновых шортах и сложенной из газеты треуголке на голове, с вымазанными по щиколотки речным илом ногами, он издали, когда поднимался с полными ведрами на плечах от ручья, походил на трудолюбивого китайца с классических акварелей Поднебесной.

Огород оставался не единственной заботой Перевалова на фазенде. Надо было еще и как-то обустраиваться. Кто пошустрие да с машинами к осени уже и домишками обзавелись. Перевалов смотрел на них с завистью, да только куда уж ему!.. Однако какую-то городушку слепить все равно было необходимо: переодеться там, инвентарь хранить или просто от дождя спрятаться. Но не везти же стройматериал из города, да и покупать не на что.

Выход подсказал сосед, трудолюбиво, как муравей, таскавший из лесополосы и окрестных колков осиновые бревенки. Он выпиливал их прямо на месте, а потом перетаскивал к себе на участок.

Перевалов последовал его примеру, и сообща, помогая друг другу, они сколотили себе по балаганчику, крытому жердями с набросанными на них кусками толя и гофрированного упаковочного картона.

«Н-да... — вздохнул сосед, критически оглядев строения, — как у робинзонов».

Николай Федорович согласился с ним, но подумал, что есть в том, что балаганчик похож на хижину потерпевшего кораблекрушение, и своя прелесть, и свой смысл: ну, чем не укромный островок в сотрясаемом жестокими житеискими штормами море!

И очень быстро Перевалов привязался к своему островку, находя здесь душевный покой. Особенно нравилось ему посидеть в открытом проеме двери, на порожке хижины после нелегкого трудового дня, незадолго до того, как двинуться к электричке, оглядывая окрестные дали, с удовольствием вдыхая настоящий на травах воздух, перекинуться несколькими незначительными фразами с сидящим в той же умиротворенной позе соседом, лениво отмахнуться от назойливого паута... Это были минуты настоящего счастья.

Труд достойный китайца на рисовых плантациях, жаркое солнце, омрачаемое редкими грозами, постоянное недосыпание, скучный паек обычно состоящий из ломтя хлеба и пары яиц и каждодневные многоверстные путешествия до фазенды и обратно Перевалова подсушили, подсократили в объеме, сделали юношески стройным. О том, что это все-таки не юноша, говорили темные круги под запавшими глазами, заострившиеся скулы и нос, обтянутые задубелой шелушащейся кожей и седеющая щетина на щеках и подбородке (чаще всего и побриться некогда было).

Но труд оказался не напрасным: земля хоть и неохотно, но воздавала пока еще неумелой, неопытной и, наверное, скуповатой, по ее разумению, руке новоявленного земледельца. Удобрить бы — тогда бы ни ей, земельке, ни хозяину цены бы не было. Но за навоз те же совхозные механизаторы драли еще больше, чем за пахоту, а суперфосфат в хозтоварах продавался по цене золотого песка, и Перевалову ничего не оставалось делать, как понадеяться на удачу. И она от него не отвернулась. Взошел укропчик, пошла редисочка, прочикался и весело зазеленел стрелками лучок. На огурцы с помидорами Перевалов в первый сезон замахиваться не стал — дело непростое, подготовка нужна, а вот всякую там свеклу-редьку, морковь да фасоль с кабачками — посадил. И кое-что собрал. Во всяком случае, за редиской и укропом летом на базар не бегали, и по осени на столе самые необходимые овощи тоже были.

Первые результаты воодушевили Перевалова. Перекопав на зиму свой участок, он с нетерпением стал ждать нового огородного сезона. И заранее к нему готовиться. Запас с осени земли на рассаду (со своего же «Истока» и пер на себе ее целый рюкзак), песочку, золы. Всю зиму собирали вощенные тетрапаки из-под молока (услышал, что они очень

хороши для выращивания рассады), а в конце марта выселял в них семена помидоров и перцев. Импровизированными горшочками Перевалов занял все подоконники, ухаживал за ними, как за младенцами, вызывая скепсис и раздражение жены, убежденной, что с такими стараниями и нежностью лучше бы выращивать другую «зелень», на которую можно купить и овощи, и все остальное. Тем более что для такой «зелени», втолковывала она неразумному супругу, климат сейчас самый благоприятный.

Да что ему, ретрограду упретому, это на пальцах доказывать! Вот положит она денежки в какой-нибудь банк, а потом ка-ак получит кучу процентов, какие зазывно обещают в рекламе многие финансовые учреждения!.. А их вон сколько развелось — глаза разбегаются! Не банк, так пирамида, или «фонд» какой-нибудь. И у каждого — предложения одно другого заманчивее. Он, банк то есть, завораживала вездесущая реклама, «ваш сильный и добрый друг», который «каждую песчинку вашего вклада превратит в жемчужину». Перевалов, посчитав, что сами по себе, не вложенные в какое-то реальное, конкретное дело, деньги прибавить в весе не могут, от выращивания сомнительного жемчуга наотрез отказался. Зато жена, плюнув на своего неизворотливого супруга и собственную полузадохшуюся бюджетную синицу в виде смешной по нынешним временам и нерегулярной к тому же зарплаты детсадовского воспитателя, отправилась самостоятельно ловить банковского журавля. Тем более что и сложностей тут вроде бы никаких не предвиделось: надо было просто отдать свои кровные и ждать, когда в скором времени заколосятся обещанные проценты. И мадам Перевалова в точности повторила наивного деревянного мальчишку из сказки, зарывшего свои золотые на Поле Дураков. Была у нее заначка на черный день, хоронившаяся в тайне от мужа, которая теперь вот и перекочевала в ненасытное чрево очередного, на глазах раздувающегося финансового клопа...

Перевалов тем временем продолжал огородную эпопею. Рассада ему удалась. Но пришла пора ее перевозить, и это оказалось сущим мучением. Перевалов составлял вытянувшуюся до полуметрового роста рассаду в картонные коробки из-под сигарет, которые подобрал возле ближайших ларьков, обвязывал их веревками, просовывал сверху палочки вместо ручек, и тащил все это — в каждой руке по коробке — несколько кварталов до электрички. Громоздкие коробки тащить было тяжело, неудобно, а тележку купить своевременно Перевалов не удосужился. Но еще хуже было в электричке. На их платформу с вокзала приходила она уже полной, и вместе с толпой дачников ее приходилось брать штурмом. Но и в вагоне облегчения не наступало. Коробки мешали пассажирам, о них запинались, в сердцах пинали, на Перевалова сыпались оскорблении, а, бывало, и угрозы выкинуть к чертовой матери вместе с рассадой. Но это было не страшно. Все тут ругали всех, и никто ни на кого не обижался.

Когда же, обуганный с головы до ног, полураздавленный толпой Перевалов выбирался наконец из электрички, он сразу же бросался проверять свою рассаду — цела ли! Без потерь не обходилось — обычно после каждого такого рейса приходилось выкидывать несколько измятых или сломанных кустиков. От жалости к этим, ставшим для него почти родным существам, у Перевалова закипали слезы. Но он брал себя в руки — предстоял еще трудный пеший путь до «Истока»...

Упорство и труд — все перетрут!... Особенno если и опыт есть, и умение появилось.

Второй огородный сезон складывался для Перевалова тоже удачно. Лето было теплое, в меру дождливое. Овощи перли, как на дрожжах. Николай Федорович радовался — земля ему воздавала.

Правда, омрачали его радужное состояние некоторые моменты. С деньгами в семейном бюджете становилось все хуже, а тут, как назло, железнодорожному ведомству приспичило чуть ли не в два раза взвинтить цены на проезд в пригородном транспорте, хотя еще совсем недавно, нынешней весной, повышение уже было. Теперь Перевалову частенько приходилось ездить зайцем. Ему, честному до мозга костей, человеку это претило, он чувствовал себя (и не фигурально, а вполне реально) затравленным зайцем

под невидимыми дулами охотничих ружей. Особенно когда начиналась проверка билетов, и безбилетный народ, уходя от контролеров, начинал кочевать из вагона в вагон. Перевалов почему-то уйти вовремя не успевал и обычно представлял пред суровые контролерские очи. Его отчитывали, как нашкодившего школьника, ему было мучительно стыдно, он что-то блеял невразумительное в оправдание и еще больше краснел и терялся. Не раз его высаживали, и он, вместо того, чтобы, как другие, тут же перескочить в уже проверенные контролерами вагоны, оставался ждать по часу-полтора следующую электричку.

Но это бы еще ничего. Стыд — не дым, можно переморщиться. Да и не один такой Перевалов был. Толпами «зайцы» из вагона в вагон бегали. А некоторые, позубастее, и сами в атаку бросались: такие скандалы, горячо поддерживаемые обозленной вагонной общественностью, контролерам закатывали, поминая при этом недобрым словом все власти, включая президента, что блюстители оплачиваемого проезда спешно и позорно ретировались под свист и улюлюканье готовой к расправе толпы.

Куда хуже было то, что стал Николай Федорович замечать на огороде своем пропажи. То огурчики, которые он оставлял на вырост до следующего приезда, исчезнут, то клубникой кто-то вместо него успеет полакомиться, то покрасневшие помидорки снимут с куста...

Подумал сначала — ребятишки балуют. Но как-то странно было. Дети дачников всегда находились под родительским дождем, а самостоятельно на воровской промысел ездить в такую даль вряд ли отважились бы. Да и зачем, когда у всех свое такое же есть? До ближайшей деревни тоже не близко, и там, опять же, свои огороды.

Воровали и у переваловских соседей. Одни предполагали, что это — бомжи, другие грешили все же на местных.

Перевалову «повезло»: однажды ему все-таки довелось столкнуться с грабителями.

Случилось это в начале осени. Перевалов успел убрать лук и зимний чеснок. Лук он рассыпал сушить на куске брезента, брошенного на земляной пол балаганчика. Рядом, на картонках, дозревали в стручках бобы и фасоль. А в объемистую коробку Николай Федорович ссыпал несколько ведер удавшихся нынче на славу помидор. Начинались осенние дожди, и держать их на кустах не было смысла. Пару ведер он успел увезти домой, оставалось еще с пяток. Постепенно, потихоньку, как и другие овощи, он надеялся в скором будущем перевезти их тоже. Надо было еще выкопать картошку — а это мешка три, как пить дать, морковку, свеклу (рясные же они нынче уродились!), а в левом углу огорода белеют десятка полтора капустных кочанов — по первым заморозкам и за них надо браться. В общем, таскать ему было не перетаскать, горбатясь под двухпудовым рюкзаком. Но это была своя, приятная ноша, которая не тянула, а радовала.

И без того ездил Перевалов на фазенду довольно часто, а тут решил, что в период уборки урожая не худо бы наведываться каждый день. Даже в понедельник, который он обычно пропускал — не из суеверия, а просто потому, что это был самый удобный (как правило, все на своих местах) день для обивания порогов в поисках работы. В тот злополучный день как раз и был понедельник. Стояло вёдро. Дорога подсохла, и Перевалов удовлетворенно думал, что если опять дождичек не закапает, идти назад с грузом будет одно удовольствие.

Уже шагая по территории «Истока», Перевалов увидел прямо по курсу, в сотне метров от себя, легковушку и не то две, не то три (третьято словно вырастала из земли, то как бы снова туда проваливалась) человеческие фигуры. У Перевалова от нехорошего предчувствия заныло под ложечкой. Он прибавил шагу. И чем ближе подходил, тем меньше оставалось сомнений: это его участок. Но кто там и что они делают? По какому праву и кто позволил?

С гулко колотящимся сердцем Перевалов остановился возле своей фазенды. Двое, спинами к нему, ковырялись в глубине участка, там, где росли морковь и свекла. Так и

есть: один выворачивал вилами пласти с морковью, другой отряхивал ее от земли, обламывал ботву и складывал корнеплоды в мешок.

Скрипнула дверь балаганчика, и оттуда показался наголо стриженный щетинистый детина, прижимавший к животу коробку с помидорами. Не замечая Привалова, он, кряхтя, понес ее к машине, стоявшей чуть дальше балаганчика с открытым багажником.

Все это совершилось неспешно, деловито, в полной уверенности, что никаких помех нет и быть не может.

От беспардонной этой наглости у Перевалова помутилось в глазах.

«Что вы здесь делаете? Это мой участок, мой огород!» — закричал он, срывааясь на фальцет.

Двое на грядках разом подняли головы и повернулись к нему. Третий, не дойдя шага до машины, так и застыл с коробкой.

Немая сцена «не ждали» длилась, однако, всего несколько мгновений. Воры тут же пришли в себя и продолжили, как ни в чем не бывало, начатое.

«Кто вы такие?» — снова закричал Перевалов, понимая, что вопрос глупый и риторический.

«Тимуровцы, не видишь, что ли! Помогаем тебе урожай собирать», — услышал он в ответ. На сей раз воры даже и обернуться не соизволили, а щетинистый детина с наглой ухмылкой демонстративно швырнул коробку в багажник и зашагал назад к балаганчику.

Перевалов беспомощно заозирался в надежде увидеть кого-нибудь из соседей. Никого, как назло, в этот утренний час понедельника не было.

Да что же это происходит? Да как же так?... Горбатишься, горбатишься, столько труда, пота, а какие-то подонки на твоих же глазах, твое кровное...

Волна гнева накрыла Перевалова с головы до пяток.

«Не сметь! Вон с моего огорода! Во-о-он!!!»

Николай Федорович схватил валявшуюся под ногами узловатую коряжину и с налитыми бешенством глазами, тяжело дыша, зашагал навстречу наглецам.

Двое на грядках вскочили. Тот, кто подкапывал морковь, взял вилы наизготовку. У второго в кулаке сверкнул нож.

Пыл Перевалова стал остывать, но по инерции он продолжал надвигаться на обидчиков.

И вдруг что-то тупое и тяжелое обрушилось ему на голову. Свет померк в глазах, и Перевалов провалился в пустоту...

Очнулся он от запаха дыма и страшной головной боли. Открыв глаза, увидел перед собой участливое лицо соседа.

«Наконец-то!» — обрадовался тот.

Перевалова, как он сам потом догадался, подкосил детина, оставшийся в балагане. Ослепленный гневом, Николай Федорович на время забыл про него, не почувствовал во время за своей спиной и поплатился.

«Монтировкой он тебя! — уверенно констатировал сосед. И если б не шапочка на голове, тебе бы точно — кранты!»

Охая и опираясь на плечо соседа, Перевалов поднялся на ноги, повернулся к балагану и чуть заново не свалился от увиденного: на месте его хижины дымилась куча обугленных головешек — дочиста обобрав огород, даже не выстоявшиеся кочаны срезали, отморозки эти, убираясь восвояси, подпалили балаган.

Боль проломленной головы многократно усугубилась болью от увиденного. И Перевалов в яростном и бессильном горе своем утробно, по-звериному завыл...

С травмой черепа и сотрясением мозга Перевалов больше месяца провалился в постели. Немного оклемавшись, подал заявление в милицию. В райотделе заявление приняли с большой неохотой. Сразу, мол, надо было, по горячим следам, да и то... А теперь вот ищи-свищи... Да и недосуг как-то огородными кражами заниматься. С убийствами да бандитскими налетами разобраться бы... Тут намедни в соседнем садовом

обществе целую крышу от дома увели — рифленое алюминиевое покрытие сняли, чтобы как цветной металл сдать, одни стропила только и остались. А вы огород... Тяжкие телесные при этом?.. А кто докажет? Надо было сразу к врачу за подтверждением бежать, справочку брать. Может, вовсе и не было никаких тяжких и телесных. Может, сам где за корягу запнулся да об камень башкой-то и навернулся... И вообще, мил человек, топал бы ты отсюда подобру-поздорову и не мешал серьезными делами заниматься. А заявление?.. Ну, если так хочется — пусть лежит. Однако гарантировать никто ничего не может...

Больше на фазенде своей, на взлелеянном им и уже питавшем его надеждами на будущее участке Николай Федорович не появился. Словно отрезало. Как оградить плоды рук своих от чужих посягательств, он не знал, а продолжать, как ни в чем не бывало, с тупым упрямством начатое, полагаясь на везение и авось, Перевалов тоже не мог — для него это было все равно, что пытаться согреть паровым отоплением квартиры морозной зимой улицу. Не грело, конечно, и сознание того, что тебя, не моргнув глазом, могут порешить за ведро моркови или несколько кочанов капусты.

Но долго еще снились Перевалову дымящиеся головешки догорающего балаганчика и чудился запах дыма. Долго еще вскакивал он среди ночи в холодном поту с воплем: «Во-о-он!..», пугая жену.

12

Нос к носу с наглым бандитско-воровским мурлом Перевалову пришлось некоторое время спустя столкнуться еще раз. Теперь уже — на барахолке или, как ее официально именовали, вещевом рынке.

Старый школьный приятель Перевалова (сидели когда-то за одной партой), тоже недавний инженер, весьма успешно, судя по его хвастливым рассказам, переквалифицировавшийся в членока-коммерсанта, выслушав как-то при встрече жалобы Николая Федоровича на жизнь, предложил ему стать его компаньоном. Дело свое приятель расширял и нуждался в помощниках. Попробуй, сказал он, сначала в палатке поторговать, а как товар распродадим, поедем за новым за границу. Пока тебе — пять процентов от выручки, дальше — посмотрим, как дело пойдет.

После неудачной сельскохозяйственной эпопеи Перевалов был совсем на мели, поэтому с радостью согласился, даже не спросив себя, а сможет ли — ведь за всю жизнь коробка спичек не продал.

Торговая его карьера, впрочем, закончилась так же стремительно, как и началась...

Толкучка находилась на юго-восточной окраине города и начиналась сразу за трамвайным кольцом. По сути, это был еще один город, только торговый, состоящий из десятков палаточных рядов-улиц с бесконечной людской толчеей на них. В этом гигантском универмаге под открытым небом в палатках, контейнерах, с лотков и просто с рук можно было купить все — от шурупа и карандаша до собольей шубы и суперсовременного автомобиля.

Торговое место приятеля находилось довольно далеко от центрального входа, но народу хватало и здесь.

Приятель торговал в основном кожаными куртками и обувью. Первые дни, вводя Перевалова в курс дела, он рассказывал о товаре, его свойствах, ценах, о том, как преподносить товар покупателю, и Николай Федорович дивился, с каким знанием дела и вкусом приятель об этом говорил. И не только говорил, но и преподносил ему практические уроки. Он выкладывал перед покупателем курточку, распахивал ее, заставлял щупать и кожу, и подклад, и замок-молнию, он прикладывал ее к плечам покупателя, чуть ли не силком впихивал в рукава ошалевшего от такого натиска клиента и все говорил, говорил, говорил, вознося хвалу товару, пересыпая искрометную речь свою шутками-прибаутками и каламбурами. Он был похож в эти моменты на завораживающую

пением своим мифическую сирену, на сказителя-кайчи, слагающего на глазах изумленного покупателя эпос о замечательной кожаной курточке, счастливый обладатель которой сможет почувствовать себя настоящим мужчиной, почти что былинным героем.

Подобная легкость контакта и общения Перевалова восхищала, но самому была недоступна. Перед покупателем он деревенел, как кролик перед удавом, во рту появлялась противная сухость, язык прилипал к нёбу, и слова выщекивались с трудом и мучением.

«Лапши им побольше вешай, лапши! Ля-ля, тополя и все такое... Особено бабам. Они ушами не только любят, но и покупают», — наставлял приятель.

Перевалов, пересиливая себя, пробовал следовать советам. Но «лапша» получалась какая-то вялая, кислая. Покупатели недоверчиво косились на него и отходили. Мрачнел и приятель, видя это.

Перевалову становилось страшно неуютно, даже знобко, и он с тоской думал, что и здесь, наверное, не попадет в струю нынешней жизни, что и тут ему — не климат. И завидовал и приятелю своему, и соседям по торговому ряду, таким же, как успел понять, сродни ему, итэровцам, сумевшим перестроиться на новый лад и найти себе новую нишу.

Так промучился Перевалов с понедельника до пятницы, а в пятницу случилась беда.

Как обычно, рано утром они с приятелем прибыли на свое торговое место, раскинули палатку, разложили товар.

«Сегодня поработаешь один, — огорошил вдруг приятель, — а мне надо контейнер с товаром получить. Ближе к вечеру за тобой заеду, заберу. Так что — давай, а я помчался...»

Перевалов остался один, и сразу же закралось нехорошее предчувствие. Что-то, мнилось ему, должно с ним сегодня обязательно произойти. Что, почему и с какой стати — объяснить себе не мог, но предчувствие не покидало, бродя в нем холодным сквозняком.

Весна в том году была ранняя, но слякотная. Жидкая грязь чавкала между рядами под ногами редких в это буднее утро покупателей. В палатках от нее спасались набросанными на землю картонками, но грязь все равно прорывалась из-под них наружу струйками и крохотными фонтанчиками.

Невысокого, крепенького бойкого парнишечку этого в короткой, до пояса, цвета черной весенней грязи кожанке и таких же, в тон ей, джинсиках, Перевалов заприметил издалека. Парнишечка хозяиски уверенно продвигался по направлению к нему от палатки к палатке, свойски перебрасывался двумя-тремя фразами с продавцами и небрежно протягивал руку. Продавец вкладывал в нее несколько бумажек, и рука тут же ныряла в объемистый, прицепленный к ремню, кошелек на животе, именуемый в народе «Желудком». Парнишечка переходил к следующей палатке, и процедура повторялась. И чем ближе подбирался к Перевалову парнишечка, тем озабочеи Николаю Федоровичу становилось.

Но вот парнишечка остановился против него, изучая колким буравящим взглядом голубовато-льдистых глаз под белесыми бровями. Был он белобрыс, и короткая, чуть ли не под нуль, стрижка делала бильярдно круглую голову его похожей на одуванчик.

«Новый, что ли?» — спросил наконец он.

Перевалов неопределенно пожал плечами.

«А кто у нас тут стоял? — наморщив лоб, стал вспоминать белобрысый. — Кажись, Васильич...»

Приятеля Перевалова звали Петром Васильевичем, но по причине солидной по габаритам фигуры его чуть ли не с молодых лет все величали Васильичем.

«Так ты сёдни за него... — догадался парнишечка, лучезарно улыбнулся, не оттаивая, впрочем, но все же мягче взором, и тут же построил. — Ладно, кто за кого — дела ваши, а наше дело — с вас бабки взять».

Как и возле других палаток, он небрежно-ожидающе протянул руку.

«Простите, я не понял... Что за бабки... Вы, собственно, кто?..» — путаясь в словах, забормотал Перевалов.

«Кто, кто... Дед Пихто!.. — воззрился на него как на ненормального парнишечка. — Васильич с тобой, что ли, инструктажа не проводил?»

Перевалов помотал головой. Приятель действительно ни о чем таком его не предупреждал.

«Ну, Васильич, дает! — удивился белобрысый и назидательно сказал: — Так вот, запомни, лох, все должны платить. С каждой палатки — стольник. Понял?»

«За что? — заупрямился Перевалов, хотя уже и догадался, кто перед ним и с кем он имеет дело. И то, о чем раньше знал из газет или телепередач, сейчас представляло перед ним в своем натуральном виде. — За аренду, за место Васильич администрации заранее, вперед, я знаю, заплатил», — попытался объяснить Николай Федорович.

«Так это не за аренду — за охрану. Ты платишь, мы тебя охраняем. Чтоб не наезжал никто», — объяснил белобрысый.

«А милиция на что?» — не сдавался Перевалов.

«Да что твои менты, в натуре, могут! Они, если что, и возникать-то не станут! Короче — дело к ночи — кончай базар и гони, козел, стольник!..»

За сегодняшнее утро Перевалов еще ничего не успел продать, и стольника у него просто не было. Можно было бы, конечно, попытаться перехватить у соседей или попросить отсрочку до прихода Васильича. Но Перевалова болезненно задевал и сам факт открытого вымогательства, и та бесцеремонная наглость, с которой действовал этот, в сыновья ему годившийся, молокосос.

«Сам ты козел! — вспылил Перевалов. — Иди, давай, отсюда!»

«Что-что?» — не поверил своим ушам парнишечка.

«То самое... Проходи мимо...»

«Ладно... — недобро усмехнулся белобрысый. — За базар ответишь... — И круто развернувшись, торопливо зашагал прочь.

«Зря это вы... — осуждающе сказала женщина из палатки напротив. — Они все равно вас в покое не оставят».

«Только себе хуже сделали», — поддержала ее продавщица из палатки слева.

И очень скоро Перевалову пришлось убедиться в их правоте.

Минут через двадцать он снова увидел белобрысого вымогателя. Был он уже не один, а в сопровождении двух таких же коротко стриженных, обтянутых черной кожей и джинсой, битюгов. Масти они, правда, были иной и походили на подбирающихся к изыхающему зверю воронов. Челюсти их методично двигались, гоняя между зубов жвачку, а тупые физиономии не выражали ровным счетом ничего.

Троица остановилась у палатки Перевалова. Теперь их разделял только низенький раскладной столик, служивший прилавком, на котором были разложены образцы обуви.

«Этот?» — кивнул в сторону Николая Федоровича один из битюгов.

«Он, — подтвердил белобрысый.

«Как торговля?» — поинтересовался бесцветным хрипловатым голосом другой битюг.

«Да никак», — чувствуя предательское дрожание голоса, ответил Перевалов.

«Видишь, Белый, мужик еще бабок не надыбал, а ты его трясишь, — все тем же бесцветным голосом попенял битюг белобрысому. — Может, скидку новичку сделаем? Пусть товаром на первый раз рассчитается. Тут кросовочки для тебя, Белый, есть ништяк. А я вот ветровочку померяю...»

Битюг по-хозяйски снял со стенки палатки понравившуюся вещь, деловито расправил, ощупал ее и сказал: «А и мерить не буду. С пивом — потянет!»

Он перекинул ветровку через руку и двинулся вдоль ряда дальше. Белый, прихватив пару кроссовок, поспешил за битюгами.

«Да вы что!.. Куда?.. Верните товар!..» — рванулся за ними Перевалов.

Троица и ухом не повела.

«Стойте, сволочи!» — заорал вне себя Перевалов.

Троица тормознулась, развернулась лицом к Перевалову.

«Мне послышалось, или правда кто-то тут возгудает?» — сказал битюг с ветровкой, не меняя прежней своей интонации, и троица, будто слова его были командой, двинулась обратно.

Она надвигалась на Перевалова тяжелым, готовым раздавить, вмять в грязь асфальтовым катком, и Николай Федорович невольно попятился, продолжая бубнить деревенеющими губами: «Товар верните... Верните товар...».

Троица приблизилась к Перевалову вплотную, обдала сложным амбре пива, курева и жевательной резинки.

«Так что ты сказал?» — спросил битюг с ветровкой на руке.

«Товар отдайте...» — почти прошептал Перевалов.

«Ничего ты, однако, не усек», — осуждающе покачал головой бандит с ветровкой.

«Еще и оскорбляет», — вставил белобрысый.

«Вот именно! — согласился битюг с ветровкой и вздохнул: — Придется поставить на вид».

Он вдруг резко и коротко замахнулся, и Перевалов непроизвольно отшатнулся.

«Не боись, бить не буду, — успокоил битюг. — Зачем нам «разбойное нападение», «тяжкие телесные» и прочее. Ты сам сейчас упадешь. Запнешься и упадешь...»

И в то же мгновение, почувствовав мощный, словно на бревно со всего маху напоролся, толчок в грудь, Перевалов отлетел в глубину палатки и рухнул на мешки и коробки с товаром.

Он хотел вскочить и не смог: в груди сперло так, что ни охнуть, ни вздохнуть.

Троица между тем принялась деловито крошить палатку. В Перевалова полетели сорванные с крючков на ее стенах вещи, обувь. Потом обрушился на его голову — едва успел прикрыть ее руками — раскладной столик-прилавок. В довершение выродки свалили палатку, которая погребла несчастного Перевалова могильным курганом.

Когда Николай Федорович наконец выкарабкался наружу, глазам его предстало печальное зрелище. Варварам этим показалось мало просто раскидать вещи; они еще и в грязи их вывалили, ногами со злорадным остервенением на них потоптались.

Перевалов беспомощно озирался, торча, как печная труба на погорелище, ловя на себе удивленные взгляды проходящих мимо покупателей. Его душили бессильные слезы. Убивал не только учиненный мерзавцами погром. Не менее обидно было и то, что никто вокруг пальцем не шевельнул пресечь, остановить распоясавшихся ракетиров, придти к нему, их торговому сотоварищу на помощь. Наоборот, еще и соли на рану соседи его насыпали, напомнив, что они предупреждали — не связывайся, не лезь на рожон, уступи, смирись, делай, как все, и спи спокойно.

Вернувшийся после обеда приятель, увидев погром, долго молчал, выковыривая из грязи то одну вещь, то другую, наконец сказал: «Я, Федорыч, конечно, тоже виноват, что запамятовал предупредить тебя насчет этих ребят — у них как раз по пятницам обход, но и ты хорош... Чего было в пузырь-то лезть, на дурацкий принцип идти. Не видишь, что ли, что вокруг творится, в какое время живем? Соображать надо!..»

Приятель все же оказался человеком благородным и возмещения убытков от Перевалова не потребовал, но точку в его торговой карьере поставил.

13

Беда, говорят, не приходит одна. Отвори ей ворота — въедет во двор целым составом.

Не успел Перевалов от рэкетиров очухаться, как новое ЧП. Не с ним, правда, с супругой, возжелавшей быстро и бесхлопотно обогатиться.

Финансовая компания с красивым названием «Лазурит», куда жена Перевалова вложила свои не ахти какие средства, в одночасье лопнула и бесследно исчезла с горизонта. Еще вчера исправно функционировала, принимала деньги от клиентов (выдавать, однако, проценты уже не выдавала, повесив объявление, что просит не беспокоиться, что де скоро выдача возобновится), а сегодня — как и не было никогда на свете этой конторы: офис пуст, даже кнопки канцелярской в нем не сыскать, безлюден, по комнатам ветер гуляет-насмехается, мол, нате вам, выкусите! Не знали разве, что жадность фрайеров губит?...

И заметались бедные вкладчики, как в мышеловке. Обман, закричали, караул! Ограбили, запричитали, без ножа зарезали! Держите их, ловите!..

Кого? Где? Кому ловить-то? Кого винить в собственной глупости и ротозействе? Сами же доверили козлам-мошенникам свою капусту. Ни козлов вот теперь, ни капусты...

Но безутешны были те, чьими скромными сбережениями строилась внезапно обрушившаяся пирамида. Почему их вовремя не предупредили, не удержали от опрометчивого шага (удержиши, пожалуй, если рвались, как форвард на забивание решающего гола!), не подстелили соломки, наконец?..

И вот уже новая организация из горя этого выклонулась под названием «Общество обманутых вкладчиков». «Лазурит» ведь не один такой был и не один он в нужное для его владельцев время лопнул. Так что сам Бог велел обманутым вкладчикам объединяться, чтобы коллективно мстить за свои обиды, а, главное, за неимением сбежавших ответчиков, найти, с кого спрос учинить.

Да и искать-то особо не надо. Не на необитаемом острове ведь живут — в государстве. С него и спрос! Пусть расплачивается за чужие грехи. Жираф большой — с него не убудет...

Оправившись от удара, супруга Перевалова активно включилась в борьбу за честь и достоинство обманутых вкладчиков и по вечерам надоедала Николаю Федоровичу с эмоциональными, в картинах и подробностях, рассказами о происходящих в их «Обществе» процессах.

Впрочем, эти «процессы» Перевалов и сам имел возможность лицезреть, когда однажды, поддавшись уговорам жены, посетил очередное собрание «Общества».

Люди толклись здесь в основном в возрасте. Гвалт и ор в одном из пустующих помещений бывшего «Лазурита» стоял, как на стадионе во время важного матча любимой команды. Только что разве не свистели, сунув пальцы в рот. Возбужденные вкладчики были настроены воинственно. Слышались проклятия в адрес руководителей всех рангов: от столичных до местных. Виноваты были все. Однако в огород «Лазурита», к удивлению Перевалова, камня почему-то никто не бросил. Словно боялись: вдруг хозяева его также, как и пропали, нежданно-негаданно объявятся и покарают тех, кто против вякал — не отдадут взад денежки.

Напряжение росло. Уже предлагали составить грозную телеграмму с последним «китайским» предупреждением главе государства, допускающим «пирамидальные» безобразия и плохо обеспечивающим конституционные гарантии. Уже слышались призывы идти на столицу маршем пустых кошельков и, объединившись с обманутыми вкладчиками всей страны, биться лбами о мостовую перед домом правительства до тех пор, пока не вернут им все деньги с обещанными супер-процентами...

Все это напоминало Перевалову революционный митинг и казалось, что вот-вот, когда народ дойдет до точки кипения, начнется раздача оружия и патронов. Николай Федорович инстинктивно оглянулся, ища глазами выход, но за пугающим отсверком горящих нездоровым огнем взоров не смог его разглядеть.

«...Мы образуем партию, станем реальной политической силой и тогда заставим с собой считаться, вытряхнем с кого надо не только свои кровные, но и сами сделаем их

историческими лишенцами...» — услышал вдруг Перевалов перекрывающий гул и гомон знакомый голос.

Он вытянул шею и не поверил глазам: это был он, бывший парторг, бывший кандидат в депутаты, а теперь, значит, предводитель обманутых вкладчиков, которых он по привычке и неуемному политическому зуду сколачивает не то в партию, не то в sectu. Безумный фанатичный огонь во взорах многих здесь присутствующих давал больше оснований предположить последнее. Хотя, честно говоря, особой разницы между тем и другим Перевалов в последнее время иной раз и не замечал.

Он частенько видел представителей различных политических группировок то по телевизору, витийствующих на всяких ток-шоу, то на митингах, то в пикетах у чиновных подъездов. Но где был результат их бурной деятельности? И те, и другие, и десятые, бия себя в грудь, клялись на чужой крови, что улучшат, обеспечат, приведут столбовой дорогой в рай, сделают счастливыми. На самом же деле только вгоняли в транс, доводили почти до сумасшествия и без того всегда нервно-возбужденную, слабую на всякий массовый гипноз и психоз толпу. И еще больше обездоливали — не материально, так морально и духовно.

Да и как иначе, если поводырями и гуру были перевертыши вроде их бывшего парторга, готовых поменять партбилет хоть на крест, хоть на бубен шамана, лишь бы успеть поиметь свою корысть.

А то, что парторг и на сей раз оказался в нужном для себя месте и в нужное время, невольно подтвердила супруга Перевалова, проговорившись, что главное для их «Общества» сейчас — решить проблему брошенного «Лазуритом» впопыхах помещения.

Недвижимость эта имела немалую цену, и куском была лакомым. А если бывших вкладчиков еще и в партию преобразовать, и брать, как полагается, членские взносы, да, помимо того, привлечь под партийные знамена нужных людей при хороших возможностях, то тем паче было за что бороться вождям «обманутых».

А Перевалову после того собрания подумалось, что, наверное, все они, рядовые граждане своей страны, сегодня — «обманутые вкладчики»: свои силы, умение, талант, старания, душу вкладывали в одно, а подсовывают им взамен совсем другое. В который уже раз в их истории подменили им икону и заставляют молиться совсем не на то, что действительно свято.

Но это бы еще полбеды. В конце концов по-настоящему ценен и свят не тот храм, внутри которого находятся они и который то рушат, то жгут, то воскрешают из злого пепла под покаянные речи, а тот храм, который внутри них самих. Но ведь и до этого храма добираются, подтасчивать и расшатывать пытаются...

«Общество обманутых вкладчиков» телепалось еще довольно долго, обрастаю скандалами, склоками, судебными тяжбами. В чью собственность перешло помещение «Лазурита» — понять было трудно. Арендовали его теперь многочисленные фирмы и фирмочки. Вкладчикам же, естественно, никто никаких денег так и не вернул. Даже без всяких процентов. Да еще и инфляция и без того небогатые эти деньжонки основательно подсушила.

Зато бывший парторг в любом случае в накладе не остался. Опираясь на плечи вкладчиков, он после очередных выборов занял кресло депутата областного законодательного собрания. О вкладчиках тут же забыл — не до них государственному человеку, который теперь мыслил другими масштабами, то есть «в общем и целом» и участвовал в коллективных родах законов.

Супруга Перевалова дорогу в «Общество», слава Богу, довольно быстро забыла. И не то чтобы прозрела и рукой махнула на потерянные по собственной глупости деньги, а просто жизнь теперь ставила супругов Переваловых перед куда более трудными и тяжелыми вопросами...

Пока Перевалов возвращал огород, пытался торговать, какие-то другие источники дохода искал, а жена его ждала золотого дождя у подножья иллюзорной пирамиды, очень стремительно подрастали их дети. И создавали новые проблемы.

Дети у Переваловых были погодками, но уравновешенный и рассудительный старший сын рядом с младшей сестренкой смотрелся мудрым старичком. Он все что-то мастерил, паял, ковырялся с радиодеталями, чертил схемы, выказывая явно отцовские гены, и Перевалов втайне гордился им. Дочь же была милой егозой, больше маминого, чем папиного темперамента, хотя как ласковое теля успешно сосало обоих родителей. Хотя нельзя сказать, что Перевалов кого-то из детей выделял и баловал. Каждый получал свою долю отцовского тепла и заботы.

И все было б хорошо в этой рядовой нормальной семье, не жировавшей, но по меркам своего общества жившей в приличном достатке, до тех пор, пока глава семьи твердо стоял на ногах, занимался своим делом-кормильцем и был спокоен за завтрашний день. Выбили его из этой колеи — опасно накренилось и закачалось все семейное гнездо.

И на детях это как-то сильнее всего аукнулось. Не в том смысле, что, недоедаючи с голоду они стали пухнуть. Стол семейный и правда заметно похудел, но не в том была печаль.

Когда-то, во времена детства и юности Перевалова, все были равны. Так, по крайней мере, им внушали и следили, чтобы никто не высывался, не выламывался из общего строя и поперед него не забегал. Вряд ли это можно было назвать настоящим равенством. Разве что форма у всех — сизовато-серые гимнастерки, заправленные под широкий, со сверкающей желтой латунной бляхой, ремень, и такие же брюки — были одинаковые. Но и то не у всех. Сын директора завода Арнольдик, к примеру, носил не гимнастерку, а такого же цвета кителек (существовал и такой вариант школьной формы, который большинству был просто не по карману). Кителек придавал Арнольдику более внушительный, даже какой-то начальственный вид. И этим костюмчиком своим, и высокомерием, и тем, что с вызывающим чавканьем лопал свои бутерброды с диковинной для остальных копченой колбасой, запивая их настоящим черным кофе из расписного термоса и заедая на десерт краснобоким апортом, Арнольдик постоянно выламывался из общего ряда. Учителям то и дело приходилось за это пенять директорскому сынику, «впихивать» его обратно, чтобы не смущал, не нервировал остальную, воспитанную на картошке, школьную публику. По-своему, воспитывали Арнольдика и одноклассники. Но возможностей тут было меньше. Не удавалось его как следует отвалтузить на вольном, уличном просторе, чтобы не зазнавался. К концу занятий к школьному подъезду подкатывала директорская легковушка, шофер почтительно распахивал дверцу, и Арнольдик, показав всем на прощанье злорадно язык, нырял в автомобильное нутро.

С Арнольдиком, кстати, позже, классе в седьмом, когда не стало этих дурацких полувоенных форм, они неплохо сошлись, бегали частенько к нему домой, слушали магнитофонные записи (у него у единственного в школе было это чудо тогдашней техники), налегали на бутерброды, которые делала им его мать.

И детство, и юность вспоминая, приходил Перевалов к выводу, что расслоение было, видимо, во все времена — не могли люди жить все одинаково, но при всем при том, это расслоение так не бросалось в глаза, не подчеркивалось самодовольно, как сейчас, а его, наоборот, пытались приглушить, сгладить, хотя, быть может, лучше бы больше усилий прилагали, чтобы его было как можно меньше. При общем, весьма не зажиточном существовании бедность вовсе не считалась пороком. Скорее — печатью нормального обывания большей части тогдашнего населения.

И как все резко смешалось сейчас!..

Бедность стала пороком. И очень даже большим. Это подчеркивалось везде и всюду. И в газетных статьях, с восторгом расписывавших блестящие финансовые успехи

новоиспеченных нуворишей. И в телепередачах, представляющих этих кузнецов золотого тельца как героев современности, гордость и надежду нации, хотя еще недавно их заслуги смело можно было определять как уголовные деяния под названием «спекуляция в особо «крупных размерах» или «афера», или еще нечто в этом же роде. И в различных телеиграх и телевикторинах, призывающих стать миллионером, разжигавших алчность. И, конечно же, в рекламе, на каждом шагу напоминавшей, что человек без денег — нехороший человек.

Даже в родном ЖЭУ, куда Перевалов, будучи уже безработным, поспешил после случайного заработка частично погасить задолженность по квартплате, его встретили как лютого врага, вылив на него ушат оскорблений, общий смысл которых сводился к тому, что из-за таких, как он (плевать, что безработный — его проблемы!), и они вовремя не получают зарплату.

Но, пожалуй, наиболее остро ощутили, что бедность — порок, да еще какой, дети, вообще все юное поколение. Об этом Перевалов мог судить по своим отпрыскам.

В школу они пошли на закате эпохи всеобщего равенства, но вскоре очутились в ее зазеркалье. И не то угнетало, что кто-то лучше был одет-обут, кто-то хуже, у кого-то пейджер был, а у кого-то, на зависть другим, — даже и сотовый телефон, а то, что и со стороны учителей не стало равного и справедливого, по достоинствам человеческим, а не богатству, отношения к подопечным своим. Нищая школа, брошенная на произвол судьбы, как и многое другое, в их разоренном, разворованном государстве, нуждавшаяся во всем сразу — от зарплаты до ремонта и денег на электричество, отопление и т.д., заискивала перед богатенькими родителями в надежде на щедрость их подаяний. Богатенькие же деточки (яблоки ведь от яблонь недалеко падают), в свою очередь, хорошо чувствовали силу богатства родителей, а, значит, и свою тоже, и вели себя в школе по-хозяйски. Да и как иначе, если директор или завуч, не говоря уж о классном руководителе, время от времени, низкайше кланяясь богатеньким папам-мамам, по тому же, выпрошенному у их чада на минуточку мобильнику, выпрашивали деньги то на одну школьную нужду, то на другую...

С родителей бедных проку не было никакого, а потому и к их детям такие же нищие учителя относились с плохо скрываемым презрением, почти с враждебностью, как к сорнякам на грядке. И чем беспросветнее становилось положение родителей, тем презрительнее и враждебнее было отношение к их детям. А дети, уже начинавшие осознавать себя в окружающем мире, как младенчества сон золотой вспоминали времена, когда их еще не делили на чистых и нечистых, когда гордились они папами-летчиками, хирургами, конструкторами или передовиками производства, а не папами-банкирами, крутыми бизнесменами или сомнительными преступными «авторитетами», когда честь воздавалась по работе, а не по дурно пахнущим деньгам, и, не в силах понять, что же такое случилось, адресовали свое недоумение, смешанное с нарастающей день ото дня обидой, родителям.

Все чаще то дочь, то сын Перевалова возвращались из школы в слезах. Дочь закатывала истерики, что ее «крутые» (она так называла богатеньких одноклассников) дразнят Золушкой, что ей стыдно ходить в таком позорном прикиде. А сын, вместо жалоб, с горящими глазами рассказывал, какой кому из ребят купили классный музыкальный центр, компьютер или мотоцикл, и добавлял, выжидательно глядя на отца: «Я тут в радиотоварах кассетничек хороший присмотрел. И не дорогой совсем...» Перевалов молча отводил глаза, а жена, давясь рыданиями, начинала кричать на детей, что у них завидущие глаза, что они только и умеют в чужой в рот заглядывать, что не всем дано на иномарках раскатывать, и так далее в том же духе.

Она кричала, а Перевалову было больно и стыдно перед детьми. Разве виноваты они в том, что хотят выглядеть не хуже сверстников, жить, как они. Это он, их отец, не может сделать так, чтобы они нормально учились и отдыхали и были обеспечены всем необходимым. Одноклассники ходят на концерты «звезд», в театры, ездят с экскурсиями в

другие города, а его дети лишены всего этого, потому что ему, их отцу, нечем за все это платить. И после школы ждет их столь же унылая жизнь, если не даст он им (то есть не заплатит еще большую цену) хорошее образование с хорошей профессией.

Но с другой стороны, сам себе возражал Перевалов, так уж, на все сто процентов виноват он сам в своем бедственном положении? Останься на их плоту все по-прежнему, наверное, и проблем таких с детьми не возникло бы. Наверное... Но ведь не дети же их для себя создали И им ли отвечать за то, что натворили старшие, одурманенные кто безбрежной свободой, кто геростратовой славой, а кто блеском золотого тельца. Так что ему, Перевалову, выходит, и отвечать за то, что не может вывести детей своих в люди, обеспечить им достойную жизнь. В какие «люди» и какую жизнь — это, конечно вопрос, но задавать его и действовать следовало гораздо раньше, а не ждать, что все образуется, вернется на круги своя. А уж теперь-то что, снявши голову, по волосам плакать! Теперь — хочешь-не хочешь — привыкай к новой стае.

Умом все понимал Перевалов, но ничего не мог с собой поделать: не совпадал со стаей ни голосом, ни повадками. Как ни тужился, ни старался подчас приспособиться, обязательно упирался внутри себя в какую-то непреодолимую стену.

Стена отчуждения, чувствовал Перевалов, вырастала и в его отношениях с детьми.

Сын был на выпускне, дочь дышала ему в затылок, оба заглядывали в ближайшее будущее, ничего хорошего в нем для себя не видели, и все чаще Николай Федорович ловил в их глазах себе укор и брезгливую, будто к заболевшему какой-то стыдной болезнью, жалость. Сын, худой и нескладный, как Паганель, продолжал ковыряться в радиодеталях, приобретая их где-то неведомыми Перевалову путями, и, казалось, весь был сосредоточен лишь на этом. Дочь на глазах превращалась в неплохо сложенную симпатичную девушку. Она была далека от всякой техники и мечтала только об одном: не в пример глупому, никчемному, не умеющему жить отцу, стать богатой, а значит, и счастливой. Ну а способ достижения этой цели представлялся юной леди, не успевшей переступить порог взрослой жизни и ничего в ней не умеющей, простым, проверенным и старым, как мир: искать прекрасного, набитого миллионами, принца.

Сын между тем получил аттестат, сдал вступительные экзамены в Технический университет. И что самое важное, что было в нынешние времена скорее исключением, чем правилом, — на бесплатное обучение. Да еще и стипендию стал получать. Пусть крохотную, но все же...

15

Перевалов радовался, что жизнь у парнишки начала складываться нормально. Однако радовался, как довольно скоро оказалось, преждевременно. И первого курса сын не успел закончить, как получил повестку из военкомата. Восемнадцать едва исполнилось. Не брился еще толком. Какой из него солдат — мослы одни! Нет — годным признали и в отсрочке, доучиться, отказали.

Перевалов потом, провожая сына на службу, поглядел на них, новобранцев. Зелень недоросшая и недозрелая, дистрофики, ветром качает. Какой прок от такого воинства!..

Жена была в панике. Надо срочно дать кому-нибудь в военкомате «в лапу», чтобы «отмазать» сына, наседала она на Перевалова. По причине хронического безденежья давать Николаю Федоровичу все равно было нечего, да и не представлял он себя совершенно в роли взяткодателя. И главное — не видел в том необходимости. Нет, конечно, он не враг своему сыну и, кто спорит, лучше бы ему сначала вуз закончить. Но ведь есть же воинская обязанность, есть священный долг — Родину защищать. Сам когда-то его исполнил.

«Какой долг? Какая Родина? — взвилась жена. — Эта жуткая, безобразная, прогнившая страна, где бандит на воре сидит и жуликом погоняет, — Родина? Ее

защищать? Да пусть эта свора сама себя защищает!» — «Родину, как и мать, не выбирают», — как прилежный пионер возражал Перевалов и про себя думал: «Если она тяжело больна, не бросать же ее умирать».

Надо сказать, что причины для паники у жены Перевалова были веские. Уж давненько по окраинам их государственного плата то там, то сям зачинали дымиться от постоянных между собой трений суверенные бревна. А кое-где, в особо горячих точках и огонек с пороховым убийственным треском вспыхивал. Ну а в одном уголочке и вообще целый пожар занялся. Двести лет спесивые его обитатели ни перед кем не желали склоняться, а тут, когда ни твердой руки не стало, ни кнута, и вовсе выпряглись. Бросились новые кормчие статус-кво под названием «конституционный порядок» восстанавливать, да не тут-то было — фига уже не в кармане, а перед самым их носом торчала. Оскорбительная такая волосатая фига, провонявшая овечьей шерстью и звериным горским потом. Договориться, пряничком угостить, чтобы успокоились, западло показалось, решили, что кнут надежнее. Забыли только, что и кнут надо уметь держать. А то, неровён час, тебя же твоим кнутом и перетянут. Так оно и вышло. Тем более что дети гор не только по части кнута были большие специалисты. Они и лицедеями оказались отменными. Не дай Бог, их было чуть задеть, даже голосом постражеть! Уж такой концерт с выходом на мировую общественность закатывали, такую трагедию с поруганием прав человека разыгрывали, вышибая праведный гнев и сострадательные слезы у добропорядочного человечества, что даже привычных ко всему циничных кормчих приводили в смятение. Поминутно оглядываясь за «бугор», из-за которого доносились голоса в защиту горских овечек вперемешку с угрозами в адрес их обидчиков, кормчие начинали паниковать, делать глупости. Нашелся и возле кормчих кое-кто, кому весь этот сыр-бор на руку оказался, кто свой темный интерес в нем ловко прятал, с теми же лицедействующими овечками снохавшись. В конце концов запутавшись окончательно, кормчие решили просто разрубить «гордиев узел». Тем более что ни они, ни их предшественники ничего другого, кроме как пустить юшку, не умели.

На памяти Перевалова такая «рубка», когда при нехватке нормальных аргументов, в ход шел бронетанковый меч, была не первая. Но, помнил Перевалов, он тоже не всегда помогал. А в соседней горной стране, куда однажды обрупался во исполнение интернационального долга этот меч-кладенец, и вовсе конфуз получился. Как обрушился, так и застрял среди камней ядовитых. Кое-как его, зазубренный, ободранный и выщербленный, назад выдернули.

И вот — снова за рыбу гроши и тем же самым по тому же месту!.. Бравый, но без печати интеллекта на челе, генерал, только что занявший кресло министра обороны, взялся уверять телезрителей, что никакой горской проблемы не существует вовсе и что ему для ее решения достаточно полка воздушно-десантных войск и пары часов времени. Но прошла неделя, вторая, третья и оказалось, что военный коготок чем дальше, тем основательнее увязает в теснине мстительных гор, и вот уже рота за ротой, батальон за батальоном, бросаемые в это гиблое место, словно в заколдованным болоте бесследно пропадают.

Все чаще стали сообщать о погибших. Войну никто не объявлял, а счет их шел уже не на десятки, на сотни. И как тут было Перевалову, и его жене не опасаться, что сын их не окажется там, как не бояться, что будет убит, ранен или станет горским рабом, что не отрежут ему уши, пальцы, а то и голову, как нередко водится у этого народа-зверя...

Не дождавшись от Николая Федоровича решительных действий, жена Перевалова взяла инициативу в свои руки. Где, по каким кабинетам она бегала, с кем и о чем говорила-договаривалась, чего давала-обещала (личные-то сбережения после эпопеи с пирамидой были у нее на нуле), Перевалов не знал, но однажды, когда до отправки сына оставались считанные дни, сияющая супруга объявила ему, что куда-куда, но туда их сынуля точно не попадет. Это ей твердо пообещали. И с победным презрением — эх, ты, тюфячок, рохля, никчемный человечек! — посмотрела на мужа.

Поначалу обещания действительно сбывались. Горская язва кровоточила в западной стороне, а эшелон с новобранцами, среди которых был и их сын, ушел далеко на восток, к Великому океану, куда, казалось, никакая война не дотянемся.

Но и полгода не прошло, как письма от сына стали приходить именно оттуда, с запада. Всего и было их два-три, где он сообщал, что вокруг высокие красивые горы со снежными вершинами и черные, как вороны, гортанно-крикливые, высокомерные и злые, готовые даже взглядом убить, аборигены.

Потом письма приходить перестали, и наступила полная неизвестность. Запросы в постоянное расположение части давали только один ответ: солдат такой-то в командировке, а где — военная тайна. В штабе округа от толпы солдатских родителей, осаждавших строго охраняемые подъезды, отмахивались, как от назойливых мух. Военные решали важные стратегические задачи, и заниматься едва оторвавшимися от мамкиных юбок салажатами им было некогда.

А вести из мятежной республики, куда — теперь уже Переваловы в том не сомневались — угодил-таки их сын, приходили все мрачней и тревожней: каждый день подбитая и сожженная боевая техника, новые и новые убитые и раненые. Чувствовалось, как ни пытались кормчие доказать обратное, шла там настоящая война. Замирая сердцем, Переваловы включали радио или телевизор и со страхом внимали тому, что происходило у подножья высоких красивых гор, смутно догадываясь, что это лишь макушка информационного айсберга о странной войне головы с собственным хвостом, в которой крайними оказались такие, как их сын, мальчишки.

После четырехмесячного молчания, сын наконец дал о себе знать коротким письмечком, в котором скруто сообщал, что находится на излечении в госпитале, что дело идет на поправку и скоро, наверное, его отправят домой...

Дома он появился неожиданно, без всяких предупреждений: позвонил в дверь и возник на пороге их квартиры как пришелец из другого мира.

В первый момент Николай Федорович даже не узнал сына. Куда-то исчез светлоокий, с распахнутым взором и застенчивым румянцем мальчик. Перед ним стоял угрюмый, погрубевший лицом, на котором и следа не осталось от былой свежести, потяжелевший и почерствевший взглядом парень в потрепанном, видавшем виды камуфляже и таких же ветхих, на честном слове державшихся, армейских ботинках. От него исходил сложный запах пороховой гари, больницы и не совсем чистого тела.

И не только внешне изменился сын. Ничего не осталось в этом, стремительно повзрослевшем и заматеревшем молодом мужике, от прежнего, с детским еще восторгом присматривавшемся к широкому дальному миру, юноши. Что-то резко надломилось и как бы переключилось в нем, меняя полюса. И какая-то неизбывная нездешняя тоска, какая-то незаслуженно-горькая обида поселилась в глубине его глаз. Не совсем и раньше-то раскованный и общительный, теперь он совсем замкнулся, как в кокон, ушел в себя.

И только однажды приоткрылся. Но и этой щелочки хватило Перевалову, чтобы увидеть, какая страшная и безрадостная картина скрыта от рядового обывателя за частоколами слов о наведении «конституционного порядка», о том, что наводят его знающие и умелые вояки, что дело это совершенно бескровное и бесхлопотное и не более трудное и ответственное, чем обычные учения.

А приоткрылся сын Перевалову, когда Николай Федорович однажды, пытаясь очередной раз растормошить, вывести его из ступора, из полулетаргического состояния воскликнул в сердцах: «Еще не жил толком, а ходишь, как живой труп!»

«А что ты знаешь о жизни?» — услышал он в ответ и словно лбом в стену ударили.

Перевалов действительно не знал того, что знал теперь сын и чего уже никогда не сможет испытать на своей шкуре он сам. Николай Федорович прожил большую часть своей жизни в другой реальности и в нынешней многого не понимал.

«А насчет трупа ты, наверное, прав — труп я и есть...» — устало согласился сын.

Перевалов в первый момент не нашелся, что и сказать, а чуть позже ничего и говорить не хотелось — сын в неожиданном, будто избыточным давлением предохранительный клапан сорвало, порыве откровенности стал рассказывать о своем армейском житье-бытье...

16

Сначала все было ничего. Привезли их на берег Великого океана, окруженными уютными кудрявыми сопками. Прошли, как полагается, курс молодого бойца, приняли присягу. Правда, ни оружие толком в руках подержать, ни пострелять еще не успели. В частях, сказали, по полной программе все будет. В части же, куда попал после «учебки» Перевалов-младший, стрелять оказалось и вовсе без надобности. Вокруг тайга, а на поляне, где торчало нескольких радиомачт на растяжках, приютился вагончик защитного цвета с аппаратурой, где и нес боевое дежурство взвод, куда попал молодой солдат. Чистый воздух, красивые пейзажи, в свободное от дежурств время рыбалка. Лафа!...

Но к зазимкам лафа кончилась. Его и еще одного салагу вдруг срочно вызывали в округ. Здесь таких, как они, салабонов, согнанных со всех частей, томилось в неизвестности уже чуть ли не батальон. Слухи ходили разные. Однако в основном склонялись к тому, что бросят их на «зверей» (горцев).

Наконец загрузили эшелон и через неделю очутились они рядом с другими горами, высокими, сияющими зловещей белизной вечных снегов.

Потом началась сутолока и неразбериха. С бору по сосенке собранное воинство больше походило на толпу, ватагу, чем на полноценное армейское подразделение. Солдаты почти не знали друг друга, командиры — солдат. Оторванные от своих баз и частей, выбитые из привычной колеи, и те, и другие чувствовали себя крайне неуютно. Поскорее бы закончилась эта никому не нужная кампания да вернуться назад — читалось у всех на лицах. Скрашивая безделье, некоторые добывали где-то спирт, а кое-кто — и травку. Офицеры, сами многие навеселе, смотрели на это сквозь пальцы.

Наконец выдали личное оружие (Перевалову-младшему достался старенький облезлый автомат с несколькими магазинами к нему), посадили в боевые машины пехоты и куда-то повезли.

Им повезло. Добрались до места благополучно, без потерь, хотя по дороге несколько раз обстреливали, и слышно было, как, рикошетя, дзинькали пули о броню.

Их высадили в чистом, почти бесснежном поле, поросшим кое-где редким кустарником. Здесь уже было полно военных. Люди, бронетехника и артиллерийские орудия все, как на ладони. Среди этого сбираща ратной техники, ощетинившейся стволами в разные стороны, беспорядочно передвигались солдаты. Все это называлось районом сосредоточения Восточной группировки.

И первое, что спрашивали у вновь прибывших измученные грязные военнослужащие, заброшенные сюда раньше, нет ли чего пожрать и покурить. Кухню и тыловиков здесь еще не видели.

Никаких блиндажей или землянок, где можно было отдохнуть, тоже не наблюдалось. Только редкие кое-где окопы, вырытые ямы да воронки от разорвавшихся мин и снарядов — вот и все «укрепления». Прятались либо в БМП, либо в окопах. Но от минометного огня не спасало ни то, ни другое.

Отделение Перевалова-младшего заняло позицию в глубокой яме. Они натащили туда ящиков с патронами. Надеялись, что пробудут здесь недолго, но застряли на несколько суток.

Дело в том, что вся местность вокруг была изрыта арыками, и горцы, хорошо ориентируясь в них, подходили прямо к позициям. Они появлялись перед ними всегда неожиданно, заросшие черной, как смоль, бородой или такого же оттенка недельной

щетиной, с горящими ненавистным огнем глазами. Злыми гортанными голосами они выкрикивали свой древний боевой клич, который, наверное, можно было бы перевести как «бог, накажи нечестивцев!» и от которого мураски пробегали по спине, и начинали палить короткими рассчитливыми очередями. В ответ открывался беспорядочный испуганный огонь, но горцы, наделав шороху, задев своими очередями одного-двух солдат, столь же внезапно исчезали, чтобы потом появиться в другом месте.

Особенно страшны и опасны были их налеты ночью. Били тогда горцы уже не короткими очередями, а вели плотный огонь, заставляя чуть ли не по часу лежать лицом вниз в промозглой от растаявшего снега грязевой каше, испытывая непередаваемый ужас. Одно дело нечто подобное было видеть когда-то в кино, заранее зная, что все срежиссировано и сыграно, а ты только зритель, которому ничего не грозит, и совсем другое, когда сам вовлечен в этот жуткий военный спектакль, где все настояще, а не бутафорское, и где жизнь твоя каждую минуту под боем. И вдвойне страшно оттого, что их, салаг, никто не научил, как в такой обстановке себя вести, чтобы остаться в живых.

У них и навыков-то боевых никаких не было: ни, там, автомат с закрытыми глазами разобрать-собрать, ни элементарно к стрельбе лежа изготовиться... Все это должно было исполняться механически, не задумываясь. А тут кое-кто не знал даже, как и рожок к автомату присоединить. Да и стреляли... Услышав горскую речь, вскидывал на голос оружие и палили с перекошенным от ужаса лицом до тех пор, пока не кончался рожок. Заряжали новый, и опять полосовали воздух.

Да что о солдатах говорить, если на многих офицеров в те дни жалко было смотреть!

Своего взводного они увидели лишь наутро следующего дня. Лейтенант кулем свалился к ним в яму и долго не мог прийти в себя, что-то бессвязно бормоча. А когда начался очередной обстрел и заработали минометы, он забился на дно ямы, обхватив голову руками, и трясясь, как в лихорадке. Казалось, офицер сошел с ума. Может, и впрямь спятил...

На трети сутки стрельба стала стихать. И их стали выгонять из укрытий: из ям, наспех вырытых окопчиков, воронок, из-под бэтэров, бээмпэшек — кого откуда и пытаться организовать из этого хаотичного, перепуганного грязного сбояща, лишь отдаленно напоминавшего воинство, колонну.

Горцы, оказывается, изрядно потрепав им нервы, отошли, и армии теперь была поставлена задача штурмовать горскую столицу. Поэтому пехоту снова посадили на броню и — вперед!

Колонна из нескольких танков впереди, бронетранспортеров, штабных машин, остальной техники, облепленной солдатами, была похожа на длиннющую змею. Никакого боевого прикрытия с боков. Изредка проходили над ними вертолеты.

Почти до самого города двигались без приключений. Снег стаял. Гусеницы и колеса бронетехники месили черную жидкую грязь. Недалекие горы тонули в облаках. Но на подходе к мосту через реку, за которой начиналась столица, по колонне начали бить крупнокалиберные пулеметы. Им помогали снайперы. Каждая боевая машина, проходившая по мосту, тут же попадала под прицельный перекрестный огонь. Сидевшей на броне пехоте приходилось несладко. Пошли потери.

Прямо на глазах у Перевалова-младшего убило сидевшего рядом пацана-одногодка. Едва познакомиться они успели тут же, на броне. Он даже не успел понять, как это случилось и откуда стреляли. Просто вдруг судорожно, с захлебом вздохнул пацан, рванулся вперед грудью, словно что-то крикнуть вдогонку хотел, да и обмяк тут же, стекленея останавливаясь взглядом, а пониже левого предплечья стало, набухая и расползаясь, пропустить сквозь грязный камуфляж, багровое пятно.

Под еще более яростный огонь попали в самом городе. Стреляли, казалось, из каждого дома, каждой подворотни. Уже несколько машин подбили горцы из гранатометов. Ощетинившаяся, как еж, колонна тоже отстреливалась. Солдаты

спешивались, бежали, занимали позиции, опять запрыгивали на броню, снова отстреливались, спрыгивали и бежали... Но все очень хаотично, беспорядочно, без всякой согласованности. Да и какой тут порядок, если вместо убитых, раненых или просто обеспамятевших от страха, как тот лейтенант в яме, офицеров, во многих взводах и ротах командовать вынуждены были сержанты, в лучшем случае — прапорщики.

В хаосе этом уже невозможно было даже просто передвигаться. Вглубь города колонна продолжала втягиваться по инерции, оставляя на своем пути все больше убитых и раненых.

Скоро от нее осталось одно название. Горцы, свободно ориентируясь на своих улицах, умело рассекли тело колонны-змеи на отдельные куски и теперь с жестокой хладнокровностью добивали полностью деморализованных, отчаявшихся людей, помышлявших только о том, чтобы просто выжить.

Доставалось не только от горцев. Из-за аховой связи (зато у горцев радиотелефоны, отличные радиации) свои иной раз начинали палить по своим.

Убитых и раненых почти не подбирали. Санитарные машины с экипажами горцы уничтожали еще при въезде в город. Другой же медпомощи не было. Лишь в боковом кармане камуфлированного бушлата имелся пакет с промедолом да еще в прикладе автомата — обмотанный кровоостанавливающим жгутом бинт. Поэтому, кроме как всадить в ляжку или руку укол промедола, ничем другим помочь раненому человеку было нельзя.

Невероятно, но бронетранспортер, где находился Перевалов-младший, все еще продолжал пульсирующими толчками — то рванется, то приостановится — двигаться. Солдаты да тронувшийся их лейтенант уже не огрызались на огонь противника (давно расстреляли весь боезапас, лупя от страха в белый свет, как в копеечку), а лишь судорожно вжимались в броню, моля, чтоб пронесло и вынесло наконец куда-нибудь в безопасное место.

Не пронесло и не вынесло...

Скорее всего, их бронетранспортер напоролся на мину. Перевалов-младший почувствовал вдруг, что какой-то страшной обжигающей силой его оторвало от брони и подняло в воздух. На краткий миг зацепил взглядом развороченную машину, окровавленную, в солдатском сапоге ногу над ней. Но тут же замельтешил рой звездочек в глазах, пошла красная пелена, и сознание отключилось...

Перевалову-младшему крупно повезло. Его подобрали пробивавшиеся из окружения десантники. И раны оказались не смертельные: несколько осколков в левой руке и, пардон, заднице да небольшая контузия.

Но он рано радовался. Полевой госпиталь, куда привели его десантники, был переполнен. Везде кровь, гной. Обезболивающих средств не хватало. Резали так, наживую. Врачи сбились с ног. С часу на час ждали машины, чтобы хотя бы тяжелораненых отправить на Большую землю. Десантники же ждали к вечеру вертушку. Снова отправляться в путь по враждебной горской земле после всего увиденного и пережитого совсем не хотелось, и Перевалов-младший напросился к десантникам.

Как чувствовал!..

Позже узнал, что колонна с ранеными, где предназначалось быть и ему, была по дороге расстреляна горцами. Полностью, до единого человека!

Ну а он в компании раненых десантников и завернутых в черную фольгу трупов благополучно попал в госпиталь. Осколки там вытащили, подлечили...

Только вот голова с тех пор часто беспричинно болит, и видения — пацан-одногодок с остановившимся вдруг навсегда взглядом и потерявшая хозяина нога в солдатском сапоге — по ночам мучают.

А еще вопросы, на которые никак не находится ответов. Зачем их, еще только начавших служить, пацанов бросили в этот ад? Ради чего они там гибли и калечились? Кому нужна эта война?..

Сын был Перевалова тяжелыми каменьями этих вопросов, а ему нечем было их отразить. Он чувствовал себя в странном и удивительном положении пожилой курицы ставшей вдруг яйцом. Он, видевший войну только на экране кино и телевизора, знаяшей о ней из книг и прессы, был отцом солдата, познавшего весь ее ужас и всю ее грязь изнутри.

Так что же в таком случае мог ответить он, невоевавший отец, своему воевавшему сыну? Что в любом случае надо гасить пожар, дабы не распространялся он дальше? Да, но тушили ли его вообще? Или только делали вид, что тушат, играя под завесой порохового дыма, что его тушат, в свои грязные игры, в которых на кону огромные деньги? И пацаны-солдатики, собранные со всей страны и брошенные в эту западню, оказались очередной раз пушечным мясом, заложниками «желтого дьявола» и политиков, жиреющих на крови?..

Не находилось у Перевалова ответов!..

17

Эта вспышка сыновней откровенности была ослепительной и короткой, как выскерк молнии в грозовой ночи. Тем черней и непроглядней следом тьма. Еще более угрюмым, замкнутым и непроницаемым сделался сын. Еще более нездешним. Прочным запором замкнул душу.

Да Перевалов больше и не пытался в нее лезть. Считал себя не вправе. И помочь ничем не мог. Без любимого дела, без постоянной работы, без той цепкой корневой силы, которая связывала его когда-то с окружающим миром, жизнью и которую стряхнули на нынешнем роковом перекате, как прилипший к лопате пласт дернины, оставив засыхать на продувном ветру корневые сплетения, Перевалов и сам чувствовал себя все безрадостней и тосклиней. Что уж говорить о парне, который и корешками-то малыми прорости не успел: выдернули безжалостно из одной почвы, воткнули в другую и, даже не дав привыкнуть, перебросили хилые растеняца на другой край света — кинули во враждебную, горящую под ногами каменистую землю. Когда же выжил, вернулся, наткнулся на полное равнодушие к своей судьбе. И те, кто посыпал его выполнять свой (их?) конституционный долг, и многочисленные «белые воротнички», рядом и за ними стоящие, с ледяным безразличием взирали, как подобные Перевалову-младшему, меченые огнем, ребята беспомощно баражтаются в клоаке гражданской жизни, и даже не пытались протянуть им руку помощи.

Конечно, будь у сына несколько иной склад ума и характера, не походи он так на своего явно растерявшегося в жизни и все больше не совпадающего с нею родителя, с горечью сознавал Перевалов-старший, парень вполне мог бы определиться и в нынешних обстоятельствах. Пристроился бы, например, куда-нибудь охранником. Или занялся бы пусты и сомнительным, но неплохо кормящим бизнесом. Пошел бы в бандиты, наконец. Но отцовские гены давали знать себя и тут: мешали легко, как в дом родной, войти, вписаться в окружающую реальность...

Сын, между тем, менялся на глазах. Даже чисто внешне. Он заметно похудел, щеки впали, кожа натянулась на скулах. Это от их нищенской жизни, бросая камень в Перевалова-старшего, констатировала жена. И он готов был с этим согласиться, хотя по-настоящему они еще не голодали и исключительно корочкой сухой не питались. Готов, если б не подозрительный глянцевый сухой блеск в глазах сына, когда он заполночь возвращался домой, быстро взглядывал на него и тут же отворачивался. Если б не странное бессвязное возбуждение, сквозившее в его движениях и действиях, хотя при этом даже намека на присутствие алкоголя не было. Если б не подозрительная у парня, никогда этим не страдавшего, потливость: даже в сухую теплую погоду туфли были сырьими, словно по лужам брел. Если б не столь же неожиданная страсть к сахару (никогда раньше не был сладкоежкой), который в определенные моменты мог есть

стаканами. Если бы не резкие перепады между сонливостью, апатией и беспринципным весельем. Если бы еще не ряд ранее не наблюдавшихся у него странностей...

Все стало понятно, когда, убирая комнату сына, жена нашла на его столе, под стопкой старых тетрадей, кусочки ваты с засохшей кровью и два одноразовых шприца: один — использованный, с характерными бурыми пятнами, другой — совершенно новый. Сомнений не оставалось: — кололся!..

А потом пошло все, как в страшном сне.

Чуть ли не до обеда сын отсыпался тяжелым сном, а встав, начинал кому-то лихорадочно называть, с кем-то о чем-то договариваться. Потом куда-то убегал и пропадал до глубокой ночи.

Все чаще к нему стали наведываться гости — такие же, с печатью тайного недуга на челе и лихорадочным слюдистым блеском в глазах молодые люди.

Однажды, вернувшись домой раньше обычного, Перевалов увидел в квартире целую компанию парней. У него был свой ключ, и застал он их явно врасплох. Все были сверх меры возбуждены, бессвязно болтливы, а некоторые уже и в блаженной прострации — в самом, в общем, кайфе. На кухне, на плите булькала в кастрюльке какая-то темно-смолистая гадость, распространяя по квартире сладковато-тошнотворный запах. В комнате сына, где от вони этой было просто не прдохнуть, на столе и диване валялись использованные шприцы, окровавленные клочки ваты. На всю мощь ревел проигрыватель.

В квартиру позвонили. Открыв, Перевалов увидел еще двух юношес с той же самой печатью изъедающего их порока. Они спросили сына, а сами, хищно поводя ноздрями, уже устремили свои взоры через плечо Перевалова туда, где отрывалась сейчас эта гоп-компания. Они знали, чуяли, что все для них там есть.

Обычно выдержаный, Перевалов рассвирепел. Он захлопнул дверь перед непрошенными гостями. Потом стал выдворять развеселую компанию. Молодые люди были уже почти в полном «улёте» и плохо соображали, чего от них этот дяденька хочет. И лишь когда он заорал вне себя, что сейчас за ними приедет милиция, что-то перешелкнуло в их задурманенных мозгах, и они сомнабулически стали просачиваться в приотворенную дверь на лестничную площадку.

Выпроводив последнего, Перевалов запоздало испугался. Не за себя, хотя в таком состоянии они запросто могли и изувечить. Страшно было, что квартира превращалась в наркотический притон.

Были потом с сыном и разговоры-уговоры, и истерики, и угрозы, но мало что помогало. Правда, шалманов в квартире с тех пор больше не было.

Зато стали с завидной регулярностью пропадать вещи. Сначала книги из личной библиотеки Перевалова, которую он много лет с большими трудами собирали во времена тотального дефицита. Потом пропали музыкальный центр, магнитофон, фотоаппарат и другие вещи, даренные сыну на дни рождения. Следом пошли в ход вещи из гардероба: сначала собственного, потом и родительского.

Было это и накладно, но еще больше — обидно: сын-то вор!

Перевалов, в жизни чужой иголки без спроса не взявший, последнее переживал, пожалуй, даже тяжелее, чем пагубное пристрастие сына.

Тот же свое воровство никак не признавал, врал, изворачивался. Некогда честный прямодушный мальчик, на глазах становился все более лживым, циничным.

Уже и милиция к нему начала проявлять интерес: то участковый зайдет расспросить, что да как с парнем и как родители на все смотрят, а то вдруг следователь, распутывающий очередную кражу в их районе, заглянет — а не засветился ли тут и их сынок...

Бог, правда, пока миловал, но очень уж оскорбительно было Перевалову такое внимание. Однако, с другой стороны, и вина скребла сердце — сын-то чей!

Но разве учил он его чему-то плохому, предосудительному? Разве подавал пример? Где и как подцепил он эту заразу? Что заставило?

Рассудком понимал Перевалов, что лично за ним особой вины и не было, что таких, как его сын, сама жизнь нынешняя покорежила-изувечила, что если он, его отец, и виноват, то без умысла и вины. Легче, однако, не становилось. Где-то, наверное, и он, Перевалов, не все, как надо, делал, чтобы сын не мог попасть в такую ситуацию даже в принципе, даже теоретически. Не сумел помочь выработать парню противоядие. Хотя как бы он это сделал, если таких пороков, характерных для загнивающего зарубежа, в их стране, пока не сбилась она с курса на светлое будущее, просто не было, потому что не могло быть, по определению, никогда?

Наркотическая спираль тем временем закручивалась все круче. Легкий конопляный гашиш остался в прошлом. Сын прочно сел на тяжелую наркоту. Когда переносить ломку становилось невмоготу, он соглашался на лечение. Но хватало его не надолго. После нескольких походов то в больницу, то к частникам (и там, и там результат был ничтожный) Перевалов-старший безнадежно махнул рукой. Тем более, что удовольствие было не дешевое, а материальное положение семьи Переваловых становилось все хуже.

Чаша терпения переполнилась, когда однажды, прия домой, Перевалов, заглянув в плательный шкаф, не обнаружил там своей дубленки. Куплена она была еще в прежние времена с премии за рацпредложение. Дубленки были тогда в большом дефиците, а тут как раз подвернулся приехавший из загранки приятель, который привез оттуда несколько полушибков и уступил ему один из них. Жена поддержала, и Перевалов, пометавшись, решился на такую дорогую вещь. О рацпредложении в КБ много говорили, даже писали в отраслевом журнале. Дубленка тоже была хороша. И долго еще Перевалов одинаково гордился и тем, и другим. Дубленку надевал по праздникам и на выход, а на работу и будничным делам продолжал бегать в простеньком драповом пальтишке с цигейковым воротником. При такой бережливости дубленка могла и дальше верно служить ему, тем более что в ближайшем будущем новой ему не светило. И вот...

Состояние было хуже некуда: ведь даже отпетые негодяи не плюют в колодец, из которого пьют.

Сын, как и обычно в последнее время, объявился за полночь. Перевалов не открыл ему. «Без дубленки не возвращайся, — сказал через дверь и добавил, проглотив жесткий сухой комок в горле: — Можешь и вообще не возвращаться, раз ты такой...»

Он и не вернулся. Пропал бесследно. Как в воду канул. Словно и не было никогда на свете. Пытались в розыск подавать, на местном телевидении фотографию показывали с просьбой, если кому что известно о пропавшем, сообщить. Безрезультатно!

Каждую ночь чудились Перевалову за дверью шаги и покаянный голос сына: «Отец, прости, пожалуйста, я дубленку принес!..»

Перевалов вскакивал, бежал к двери, непослушными руками отворял ее и натыкался на сонную пустоту лестничной площадки...

18

Жена не простила Перевалову сына. Так прямо и бросила однажды с болью, гневом и злобой ему в глаза: «Сына я тебе не прошу!» Словно к позорному столбу его, и без того распнутым себя чувствовавшего, пригвоздила.

Заневестившаяся дочь тоже смотрела косо, и холодом отчуждения веяло от нее все сильнее.

Девушкой, не в пример папе, она оказалась проворной и богатенького Буратино, как и замышляла, себе нашла. Был он, правда, не из их соплеменников, откуда-то из-за океана, но именно это, похоже, дочь больше всего и устраивало.

Новоизведенного зятя своего Перевалов видел всего раз, да и то очень коротко, когда дочь приходила с ним объявить, а точнее — поставить перед фактом, что она вышла замуж и на днях уезжает на родину мужа, где у него есть свой бизнес и загородный дом.

Смуглый, непонятной национальности зять вежливо улыбался, глядя куда-то мимо Перевалова, и молчал. Дочь поминутно радостно оглаживала мужа, как наконец-то подаренную ей давно обещанную дорогую игрушку. Мать, глядя на дочь, тоже сияла и с победоносным видом то и дело поворачивалась к Перевалову: знай, мол, наших, вот как в жизни надо устраиваться!

Перевалов понял, что она давно в курсе происходящего, что и зять, наверное, у них уже не в первый раз, что давно все решено и сделано за его спиной, а сегодняшние смотрины — пустая формальность.

Стало обидно, что его напрочь, словно совершенно чужого, игнорировали, отнеслись к нему, как к пустому месту, и у Перевалова тоскливо заныло внутри. Он показался себе покойником, смерти которого родственники давно ждали и вот теперь с облегчением исполняли необходимый обряд.

Дочь уехала, и дом их совершенно осиротел. Кот слонялся по квартире, обнюхивал углы, поднимал голову, и в изумрудных глазах его читалось недоумение: куда же это все подевались.

Перевалов раньше и не предполагал, что дети так крепко и надежно могут связывать семью. С детьми она была цельным единым организмом. Сейчас же, когда их рядом нет и скорее всего уже больше не будет, оставались наедине друг с другом два — увы — чужих человека, если даже не врага.

Они были вместе почти четверть века. За исключением нескольких последних лет, прожили достаточно ровно, спокойно, можно даже сказать, благополучно.

Перевалов и не помнил толком, как они с супругой своей познакомились и сошлись. Случилось это, кажется, достаточно банально, без особых страстей и лирических затей.

Хотя время на дворе стояло романтическое: она — «уехала в знойные степи», он — «ушел на разведку в тайгу», и оба-два строили «голубые города» (тыфу-тыфу — не в нынешнем пошло-сексуальном смысле), где гремели веселые комсомольские свадьбы.

Всей этой романтики Перевалов коснулся скользом: съездил разок со студенческим стройотрядом в забытую Богом деревню Козотяпку, где в компании таких же, не умеющих толком держать в руках топор, вахлаков, все лето ремонтировал телятник, глядя на который, принимавшее его по окончании работы совхозное начальство чуть не зашлось в истерике, отомстив, правда, при выдаче окончательного расчета, какого их развеселой компании едва хватило на обратную дорогу и разовый пропой.

Ну а жену свою будущую Перевалов увидел в первый раз на вечеринке у кого-то из сослуживцев — то ли день рождения был, то ли еще что.

По части женского пола Перевалов, в отличие от некоторых его сокурсников и коллег по КБ, специалистом не был. Наверное, потому, что необходимого любовного опыта мешала набраться его природная застенчивость, доходящая до робости. Да и парень он был всегда зажатый, не умевший, как другие, быть в компании раскованным, казаться обаяшкой и привлекашкой. И девицы, видимо, интуитивно чувствуя это, не то чтобы совсем его чуждались, но и не льнули особенно. Были, конечно, и с ним «случай» и «моменты» — с кем их не бывает, но далеко идущих последствий они не имели.

А тут все произошло как-то само собой, неожиданно легко и просто. Посадили его за стол рядом с миловидной ладненькой русоволосой голубоглазой девушкой, встретились они взглядами и — словно шторы между ними невидимые раздвинулись. И пошло дальше, поехало, как по маслу: и красноречие у Перевалова откуда-то взялось, и обаяние, и ответный интерес к нему обнаружился...

Встречались они недолго — пару месяцев. Поженившись, снимали квартиру (куда же деваться, если его и ее родители жили вдалеке от них), потом, когда родился у них сын,

дали им комнату в семейном общежитии, а после появления дочери — и квартиру, очень хорошую по тем временам трехкомнатную квартиру.

Было ли это любовью с первого взгляда? Да и любовью ли вообще? Бог весть!.. Во всяком случае, ярко выраженной вспышки, фейерверка чувств не наблюдалось. А вот ровное, сильное взаимопрятяжение — да. Как они много позже признаются друг другу в горячке одной из семейных ссор, ни она не была девушкой его мечты, ни он — принцем ее грез. Но оба — почти ровесники — были тогда «на выданье», обоих гонг инстинкта неумолимо звал на ринг семейного ристалища, и цепь замкнулась.

Браки заключаются на небесах, однако непосредственный отбор семейных пар происходит, наверное, все-таки на земле. И, похоже, в точном соответствии с теорией «случайных чисел».

Любовь — не любовь, но брак Переваловых можно было отнести в разряд хоть и случайных, но весьма удачных шаров, которые попадают далеко не в каждую семейную лузу.

Людьми супруги Переваловы были разными: более впечатлительная, эмоциональная, энергичная и темпераментная — она и более спокойный, рассудительновзвешенный, более основательный — он. Она постоянно бурлила в общественном кotle, всю дорогу возглавляла местком своего детсадика, где проработала, считай, всю сознательную жизнь, но, странное дело, выше рядового воспитателя так и не поднялась. Перевалов же, избегая, по возможности, общественной суетни, незаметно, вроде бы и звезд с неба не хватая, но методично одолевал профессионально-служебную лестницу.

И вкусы их далеко не всегда сходились. Супруга любила компании, шумные застолья, хотя сама тяги к спиртному не испытывала, многословные громкоголосые разговоры, песни под гитару, любила и сама выглядеть приятной во всех отношениях, но, главное, значительной женщиной. И поначалу она часто таскала мужа по гостям, на свои коллективные профсоюзные посиделки, устраивала приемы у себя дома, особенно когда Переваловы обжились и заимели квартиру. Самому же Перевалову весь этот шум-гвалт под аккомпанемент посуды (он предпочитал посидеть в тихом узком кругу или вообще «тет-а-тет») претил.

Оба супруга были книжечеями: покупали книги, выписывали периодику, но и читали тоже по-разному. Не имея гуманитарного образования, Перевалов не поленился заглянуть в программы филологических факультетов и постарался привести свое знакомство с мировой литературой в систему. Жена Перевалова, имея диплом педагога-словесника, наоборот, читала так бессистемно, что супруг просто диву давался. Она хваталась за любую модную новинку, а то и вообще за черт знает что, а потом носилась с этим в поросячьем восторге, как дурень с торбой.

Да и много чего не совпадало в их взглядах, характерах и вкусах. Нет, конечно, не «лед и пламень», но все же были они разные...

Это, впрочем, не мешало их брачному союзу держаться долгие годы, рожать и растить детей, выглядеть в глазах окружающих добропорядочной семьей. Да и усилий до поры до времени для этого особых не требовалось. У каждого имелись компенсирующие друг друга достоинства и недостатки.

Переваловская супруга при некоторой ее взбалмошности и бабских причудах была женщиной, в общем-то, незлобивой и заботливой, а главное — семейной. В том смысле, что со рвением вила семейное гнездо и, как могла-умела, поддерживала в домашнем очаге огонь. Она была хорошей и практичной хозяйкой и матерью их детей — всегда у нее прибранных, ухоженных, всегда первоочередных в ее заботах. Перевалов это видел, ценил, полагал, что это и есть в семейной жизни главное, а потому терпеливо сносил и вечный по отношению к нему повелительно-хозяйский тон, и часто несправедливые в его адрес упреки-уколы, и много еще другое, что ожидает мужчину, в доме которого верх держит женщина.

Но и мадам Перевалова, будучи натурой не только эмоциональной, где-то себялюбивой, однако и наделенной от природы неплохим психологическим чутьем, палку лишний раз не перегибала, прекрасно понимая, что фундаментом их семейного дома является именно он, Перевалов. Она и «запала» на него с первого же их знакомства потому, что инстинктивно, интуитивно почувствовала, что он для нее, беспородной девушки-дворняжки из районного городка, едва вырвавшейся на простор большой жизни, есть та надежная в обозримом будущем стена, на которую ей можно спокойно и уверенно опереться.

Прозорливая оказалась девушка: и самого Перевалова просекла, и его перспективы. Безошибочно.

Так что их семейный tandem, несмотря на разнозаряженность полюсов, был до поры вполне органичным. А в силу того, что подобных союзов несть числа, то и типичным.

Новые времена — новые песни. По-иному зазвучал сейчас их семейный дуэт. И чем хуже шли дела у Перевалова, тем меньше в дуэте оставалось гармонии, тем резче проявлялся диссонанс. Самого Перевалова теперь почти не было слышно, зато соло супруги становилось все злей и укорительней. В ее глазах Перевалов был виноват во всем: и в творившейся вокруг вакханалии, и в том, что из этого моря безобразия он, чистоплюй и замшелый ретроград, не сумел ничего нужного и полезного для своей семьи выудить. И чем дальше, тем явственней звучал в ее партии мотив презрения — презрения к слабаку и неудачнику.

В глубине души Перевалов понимал, что это ее поведение — своеобразная защитная реакция. Женщина привыкла чувствовать под собой опору, и вот теперь, когда стены зашатались, а фундамент треснул, она инстинктивно отшатнулась, запаниковала и заметалась в поисках новой опоры. Но все равно было обидно, и с каждым днем взаимоотчуждение усиливалось.

А обиднее всего было то, что и этой раскаляющейся злостью на него, и презрением к нему заражались дети. Только виноват ли он в том, тысячный раз задавал себе вопрос Перевалов, что из нормальных, обеспеченных всем необходимым детей, превращались они в золушек, брошенных в поток нынешней мутной жизни?

Сын пропал в этом потоке бесследно. Унес он в неизвестность и дочь с ее смуглым принцем. Кто следующий?..

Следующей стала сама мадам Перевалова.

С ней, как и с дочерью, случилось все внезапно. Для самого Перевалова, во всяком случае. Крупно ей повезло наконец-то, счастливый билет выпал: нежданно-негаданно наследницей она стала. Одна из ее тетушек, у которых жена Перевалова поначалу, перебравшись в город из райцентра, квартировала, уходя в мир иной, завещала племяннице старенькую однокомнатную «хрущобу» на окраине.

Об этом Перевалов узнал, когда тетушку давно похоронили, а супруга его вступила во владение наследством. Сама его в известность после того и поставила. И тут же предложила в ту «хрущобу» съехать, добровольно, по-хорошему оставив ей их трехкомнатную квартиру. Дескать, получай свою долю и — прощай, расходимся, как в море корабли. Об оформлении и прочем пусть не беспокоится, она это берет на себя...

Тяжелым, тягостным был тот разговор. Неприступной холодной каменной глыбой стояла перед ним супруга. Словно и не было до этого четверти века совместной жизни. Она начала совпадать, или уже совпала, с нынешней жизнью, — догадался Перевалов и понял, что им, двум отрезанным от семейного каравая ломтям, больше не соединиться.

Супруга (теперь уже бывшая) действительно все обтяпала быстро: и развод, и размен. Перевалов оглянувшись не успел, как оказался в «хрущобе» времен первых лет панельного домостроения.

Квартира была сильно запущена. Ни средств, ни сил на ремонт у покойной тетушки, видимо, не было. Беленые потолки мучнисто-серого цвета покрыла сеть мелких трещин, как на старых, подлежащих реставрации полотнах. Обои во многих местах полопались,

свисали клочьями. Эмалированные раковины в ванной и на кухне облупились, давно потеряли всякий вид, смесители текли. Булыжного цвета линолеум на полу вышоркался кое-где аж до бетонных перекрытий. На электроплите когда-то белого, а теперь от потеков, ржавчины и старости вообще непонятно какого цвета, работала всего одна, едва дышавшая конфорка. Тетушка несколько месяцев как ушла в мир иной, и в квартире успел прочно поселиться нежилой дух. Оставшаяся здесь полувечерней давности старомодная обветшавшая мебель — гнутые скрипучие стулья, продавленный диван, металлическая кровать с панцирной сеткой, буфет, комод да плешиевый ковер над койкой только усугубляли мертвеннность запустения, придавая ей некоторый даже сюрреалистический оттенок.

Впрочем, Перевалов был настолько шокирован новым поворотом судьбы, что не то чтобы как следует разглядеть, понять-то долго не мог — где он и как сюда попал.

Несколько дней Перевалов провался на диване, тупо уставясь в потолок. Он ничего не видел, не слышал, не воспринимал.

Из затянувшейся прострации вывел его голос, звучавший не рядом, не вне, а где-то внутри него. Чей, кому принадлежал — мужчине ли, женщине — Перевалов не разобрал. Может, он и вообще был бесполый. Голос звал его. Слов было не разобрать, но Перевалов прекрасно понял их смысл. А сводился он к тому, чрезвычайно для него важному, встряхнувшему и заставившему подняться, что на старой квартире его дожидается сын. Он нашелся, он пришел...

Перевалов сломя голову помчался на старую квартиру. Сына там не было. По квартире ходили чужие люди, распаковывали коробки и узлы, расставляли мебель. На его вопрос, не появлялся ли здесь молодой человек такой-то наружности, его сын, недоуменно пожимали плечами. И о том, куда делась женщина, жившая до них в этой квартире, тоже ничего не знали. Обмен был сложный, многоступенчатый...

19

И наступила для Перевалова новая эпоха, новая эра — бессемейного одинокого существования.

Так уж выходило, что Перевалов никогда раньше не жил один. В детстве рядом были родители, в армейской казарме и студенческой общаге тоже говорить об одиночестве не приходилось. Потом — своя семья, работа: домочадцы и сослуживцы, родственники, друзья и знакомые. Ходили друг к другу в гости, общались, перезванивались, переписывались. Все это создавало питательную среду и атмосферу его жизни.

С годами атмосфера становилась разреженней, а в последнее время и вовсе дух, свистя, выходил из нее, как из проколотой футбольной камеры. Друг за другом улетучились из его жизни сын, дочь, а потом и жена. Родители давно умерли. Единственная родная его сестра жила на другом конце страны, и как-то не очень они (из-за бывшей супруги не в последнюю очередь) роднились. Друзья и знакомые тоже постепенно исчезали с горизонта. Прошли времена, когда Переваловы принимали у себя и сами нередко заглядывали в гости, засиживаясь допоздна. Кто-то «забурел» и стал чураться их, к другим идти с пустыми руками казалось неприличным, а что нести, если у самих с голодухи мышь в холодильнике повесилась?

Теперь вот он один на один с собой в неродной, унылой, как мглистый день поздней осени, квартире.

Хорошо, хоть его любимец, сибирский кот с ним. Не стала претендовать на него супруга, посчитав, видно, что оба они ненужные, бесполезные существа — обуза для приличной женщины...

Однако надо было выкарабкиваться, жить дальше. Этого требовал инстинкт самосохранения. Но прежней воли к жизни уже не было. Внутренний стержень треснул, тоска и усталость довершили дело. Душа опустела, как покинутый дом, и апатия стала верным спутником Перевалова.

Ничего не хотелось ему делать — хотя бы в квартире мало-мальски прибраться. Тем не менее, инстинкт был еще до конца не сломлен и заставлял думать о хлебе насущном. Да и о коте, единственной теперь родной душе, не следовало забывать.

На счастье Перевалова, в продмаге, кварталах в двух от его дома, освободилось место грузчика, и ему удалось туда устроиться, правда, после некоторых сомнений по поводу его немолодого уже возраста и подозрительно интеллигентной наружности, с какой, если ты не студент, таким делом обычно не занимаются.

Кроме Перевалова, в магазине работали еще два грузчика. Один был ему почти ровесником, хотя в силу испитости и потасканности выглядел старше, другой, по той же причине, смотрелся ровесником, хотя был лет на пятнадцать моложе. Чувствовалось, что оба они давно хорошо спелись и спились, что являются собой единый организм, с утра озабоченный тем, как поправить здоровье, а к вечеру — как дойти до полной кондиции. В процессе решения этих двух насущных проблем делали они и все остальное: разгружали продуктовые машины, подносили к прилавкам товар, убирали пустую тару...

Непреходящие эти свои проблемы, однако, грузчики решали без особого для себя напряга и хлопот, можно даже сказать, виртуозно. У воды жить и воды не напиться — говорилось явно не про них. Главной их задачей было сделать утечку незаметной. Способов для ее решения они знали уйму. И если у карточных шулеров всегда в нужный момент оказывался на руках лишний козырь, то у этих магазинных искусников — емкость с тонизирующим содержимым. Чаще всего — водка. И хотя алкать они как истинные специалисты своего дела могли все, что льется, безусловное предпочтение по патриотическим соображениям отдавали национальному напитку.

Перевалова поначалу они встретили радушно. С его появлением сам собой замыкался классический треугольник алкогольной геометрии. Однако очень быстро они поняли, что жестоко ошиблись: в треугольник Перевалов не вписывался.

Не сказать, что был он непьющ в принципе. Вовсе нет. Позволял себе и в праздники, и на разного рода торжествах — от семейных до производственных. В старые добрые времена любил по выходным литр-другой разливного пивка с вяленой рыбкой выкушать. В общем, нормально потребляющим мужиком был. А вот что не нахрюкивался до безумия — это да. И в рабочее время в рот не брал.

Последнее обстоятельство новых «коллег» Перевалова, пожалуй, больше всего и покоробило. Еще бы! Пока они где-нибудь в укромном уголочке за мешками с сахаром приводят себя в чувство, он работает. Уединяется через пару часиков, продолжить лечебные процедуры — опять он не с ними, снова ящиками-коробками гремит, таскает-перетаскивает, маячит перед ними живым укором — водка в глотке застревает. Продавщицы на него не нарадуются, зато на них волчицами смотрят, загрызть готовы.

Ну не пьешь ты — больной, там, или малохольный — ладно, хрен с тобой, но чего ж ты, падла, выщелкиваешься, чего ты другим жить не даешь? Не пьешь — дело, конечно, твое, хотя мог бы за компанию пробку разок-другой понюхать, но с людьми-то посиди! Сам поговорить не умеешь или не хочешь, так их послушай. Ты ж не в лесу один, ты — в коллективе! А коллектив уважать надо. Уж в чем, в чем, а в этом-то аборигены продмага, воспитанные на колLECTИВИСТСКИХ традициях, понимаемые ими, впрочем, не шире смысла пословицы «попал в стаю — лай не лай, а хвостом виляй», были уверены.

Перевалов тоже был колLECTИВИСТОМ. Но полагал, что коллективы существуют в первую очередь для работы. Как в песне: «Первым делом, первым делом — самолеты...» И привык работать, а не проводить время, как некоторые, для которых на первом месте были, наоборот, «девушки», в курилках и кипучей пene общественной деятельности.

Разное понимание колLECTИВИЗМА вскоре вылилось в «производственный конфликт».

«Тебе бы, земеля, поближе к народу надо быть», — намекнули Перевалову «коллеги» для начала. А когда тот намек не воспринял, стали «делать выводы».

В злоказненности они тоже оказались настоящими артистами. То под локоток «нечаянно» подтолкнут, когда Перевалов к прилавку лоток со сдобы несет. Булки, естественно, — на грязный пол. То мимо (тоже, разумеется, «случайно», «ненароком») подставленного им Переваловым плеча мешок сахара или крупы опустят при разгрузке машины. Мешок с высота борта — оземь, лопается, содержимое рассыпается. «Коллеги» в крик: не мог аккуратнее мешок принять! А то еще какую-нибудь пакость придумают... И старались, чтобы все прилюдно было, чтобы видели все, из какого места у этого вшивого конструктора руки растут. Ладно хоть продавщицы, хорошо зная, на что способны эти бойцы питейного фронта, сочувствовали Перевалову и старались не давать его в обиду.

Но, несмотря ни на что, Перевалов не «исправлялся». Однако и бойцы были из тех, кто на полпути не останавливается.

Однажды — и надо было такому случиться, что как раз в это время хозяин в магазине нарисовался! — в коробке с дорогим импортным вином не досчитались трех бутылок. Переполох! Продавщицы на алкашей своих косятся. Хотя и на них вроде бы не похоже. Во-первых, больше пузыря за раз обычно не берут и пропажу так замаскируют, что долго не хватишься, А во-вторых, не дорос их организм до благородных напитков. Слаще нумерованных портвейнов они отродясь ничего не пили. Так что — алиби!

А тут как раз один из «бойцов» заскочил в бытовку за куревом и «случайно» заметил в шкафчике Перевалова (давно на них замков нет) эти самые бутылки — стоят три в ряд, родимые, рядом с ботиночками, нарядными этикетками сверкают. Ах ты, гад! А еще трезвенником прикидывался, честного изображал!.. На благородное винишко потянуло?..

Первый раз в жизни Перевалов столкнулся с подлостью в таком вот чистом неприкрытом виде.

Надо отдать должное хозяину: не бросился он в милицию, но и сам разборок устраивать — кража это или подстава — не стал. Видно, были тому свои резоны. Он просто тут же рассчитал Перевалова и отпустил его с миром. Хотя для оскорбленного несправедливым подозрением Николая Федоровича мир этот был хуже наказания.

20

Он опять замкнулся в панельном склепе своей «хрущобы» и, пока оставались от расчета в магазине деньги, выходил раз в три-четыре дня на микрорайонный минирынок купить себе и коту рыбы, хлеба и молока, которые здесь были ощутимо дешевле, чем в продмагах.

За дешевым хлебом и молоком, привозимом в автоцистернах, выстраивались очереди пенсионеров, малоимущих и таких же, как Перевалов, безработных.

Очереди эти напоминали Николаю Федоровичу другие — в далекие времена его раннего детства, когда он, шестилетний мальчишка, с огромным для его ручонок четырехлитровым алюминиевым бидоном, подолгу томился на улице среди дяденек, тетенек и таких же ребятишек, дожидаясь, пока наконец подойдет и его черед подставить свою посудину под литровый черпак-меру молочницы тети Кати. Еще дольше приходилось выстаивать в булочной, но другого выбора, как сейчас (если не стеснен в средствах, можешь купить в нескольких шагах отсюда то же самое пусты и подороже, но без всякой очереди) просто не было: страна еще окончательно не оправилась от Большой войны, ей не хватало даже самого необходимого. Очереди те были обычно строго-молчаливые и словно прошитые крепко сурговой ниткой.

Зато нынешние больше походили на бесконечные митинги, где доставалось и не просыхающему дебилу-кормчemu с его командой, и нынешним доморощенным вампирам-

капиталистам. Сменяющие друг друга ораторы с авоськами и молочной посудой много раз на дню их словесно четвертовали, колесовали, распинали и линчевали.

Хотя бы денек постоять, потолкаться им здесь, — усмехался Перевалов. — Интересно, как бы себя почувствовали?

Но кормчий с властной челядью и денежными мешками были очень далеки от нищей митингующей очереди, и глас народа до них не долетал. А если откуда-то и долетал, то действовал с точностью до наоборот, как в известной пословице: им ссы в глаза, они всё — божья роса!..

Да и поважнее недовольного брюзжания всякой мелкой людской сволочи была у верхов головная боль. На государственном Олимпе в это время разгоралась битва богоправителей с титанами-олигархами. Чего уж они там, до сих пор рука руку мывшие, не поделили — бог весть, но зрелище получилось фейерическое. Как в брызгах фонтана, отразилось оно на миллионах телевизоров, и народ, в очередной раз смирившись с недостатком хлеба насущного, с жадностью накинулся на грандиозное политическое зрелище. Правда, напоминало оно больше карнавальные томатные или апельсиновые бои в некоторых жарких странах. С той лишь разницей, что забрасывали друг друга участники этого спектакля не спелыми сочными плодами, а ядреным отборным дербом.

Перевалов находил это зрелище отвратительным и недостойным человеческого звания, но в тех же хлебных очередях относились к нему, как к очередной мыльной опере, и взахлеб обсуждали все его дурно пахнущие перипетии.

Наверное, так и надо, — соглашался Николай Федорович, — иначе ведь с ума сойдешь. И жалел, что сам он весь этот театр ужаса и абсурда под названием «Современная жизнь» воспринимал часто неадекватно: почти один к одному. Потому, вероятно, и не совпадал с нынешней жизнью, что не мог отделить игру от реальности, а с другой стороны, не умел, как многие сегодня, с помощью игры менять в свою пользу условия и обстоятельства реальности.

Нынешняя зима выдалась холодной. Намерзшись в старом пальтишке в очереди, Перевалов спешил домой, но и в квартире с чуть теплыми батареями согреться было трудно. Перевалов наливал коту в блюдце молока, ставил на плиту чайник, натягивал старый свитерок под пиджак, а потом, когда кипяток был готов, устраивался на рассохшемся стуле образца середины прошлого столетия за таким же древним и потерявшим всякий вид журнальным столиком и включал телевизор.

Кроме тусклых лампочек в комнате и туалете да на ладан дышащей электроплиты, включать в квартире было больше нечего. Другие электроприборы отсутствовали, радиоточка обрезана (видно, тетушка отказалась от нее еще при жизни).

Оставался черно-белый доисторический телевизор (тоже тетушко наследство). Но, кроме него да кота, пообщаться Перевалову в квартире было не с кем. Они были теперь самыми близкими ему существами, хоть как-то скрашивавшими его одиночество.

Перевалов включал телевизор, гладил вспрывгивавшего на колени кота и говорил ему, кивая на телевизор: «Сейчас эта старая рухлядь опять начнет нас пугать страшными-мордастями...» И не ошибался.

Не успела завершиться битва богов и титанов, как началась рельсовая война подземных духов-шахтеров. А уж забастовки, голодовки шли непрерывной чередой. Каждый день падали самолеты, тонули корабли, сходили с рельс и сталкивались поезда, срывались в пропасти набитые битком автобусы, взрывались террористами машины, дороги и даже многоэтажные жилые дома, а всамделишные бандитские разборки как бы продолжали (хотя кто кого продолжал — еще надо было подумать) незатухающую экранную бойню криминальных сериалов. Но, беря на испуг, тут же и отвлекали то потоками «мыльных» слез, то алчными подлыми играми. Сквозь мутно-грязную эту пелену редко когда пробивался светлый чистый лучик. А если и пробивался, то его скоренько старались притушить. Чистый свет для торговцев зрелищами был неходовым, а потому и ненужным товаром.

Государственный плот их тем временем продолжал трещать по всем швам и разламываться. Но чем круче была «ломка», тем громче увещевали народ с экранов и газетных полос прикормленные государевы душеспасители. Сытый до хронической отрыжки психолог втолковывал, что социальную незащищенность преодолеть на самом деле очень просто: надо лишь постоянно внушать себе, что все рано или поздно наладится, все будет замечательно. А по другому каналу поп с такой же, едва влезающей в телевизор рожей, заклинал, что даже в самой критической ситуации — никаких, упаси Господи, волнений и бунтов, только бесконечное смирение и терпение!..

А еще допекали всякие-разные изучатели общественного мнения. На улицах и в метро вежливо приставали приятные во всех отношениях молодые люди. Одних интересовали вопросы политические, других экономические, третьих социальные. Но все они походили на следователей, выуживающих признательные показания. Ответы тут же фиксировались, протоколировались, анкетировались, и это Перевалову как человеку, долгие годы по роду своей деятельности имевшему дело с так называемым «первым отделом», больше всего действовало на нервы.

Когда-то о нем все или почти все знало одно-единственное суровое ведомство. Это было его прямой обязанностью. Но оно свои сведения добывало тихо и незаметно, редко беспокоя и не привлекая внимания. Новоявленные же дознаватели назойливой мошкойной тучей налетали на обывателя и заедали его своими, иной раз очень странными вопросами.

Не было покоя и дома. Но тут больше шастали по квартирам собиратели подписей за кандидатов от той или иной партии. А поскольку выборный процесс в потерявший всякий курс стране перманентно, как неистребимый торфяной пожар, возникал то в одном, то в другом месте, то на одном, то на другом уровне, и был он, по сути, непрерывен и бесконечен, постольку и поток квартирных ходоков-агитаторов не иссякал. С этими прибаханутыми политическими игрищами тетками (а почему-то по квартирам ходили в основном именно они) Перевалов в контакты старался вообще не вступать.

Впрочем, как оказалось, и в этой среде не все были фанатами. Возможно, даже наоборот. Николай Федорович понял это, когда однажды достала его очередная настырная агитаторша. Наезжала она на него, как танк. Сначала красочно расписывала достоинства подопечного политика. Потом начала уверять, что только он способен всех осчастливить. А когда Перевалов позволил себе заметить, что все нынешние политики — и этот не исключение — кроме как наобещать три короба, ничего не могут и не хотят, тетка, потеряв терпение, в сердцах воскликнула: «Да и черт с ними со всеми! Вам что — трудно подпись поставить, человека выручить? Каждая такая подпись для меня полбулки хлеба стоит...»

Аргумент Перевалова сразил. Он не стал лишать тетку очередной полбулки. Чем не заработка? — размышлял он, ставя свою подпись в нужном месте. — Есть, значит, и такой способ прокормиться. Может и ему попробовать? — закрадывалась мыслишка. Но уже заранее знал, что не сможет, что и тут он себя не переступит.

...Прихлебывая жидкий и несладкий (на сахаре и заварке приходилось экономить), не согревающий чай, Перевалов привычно смотрел в голубой экран и ежился в нервном ознобе.

Во времена, когда у него была по призванию и душе работа, семья и нормальная жизнь вокруг, в которой он занимал свое прочное место, Перевалов не особенно задумывался о смысле существования.

Смысл заключался, наверное, уже в том, что он, Перевалов, работал и был на хорошем счету, мог содержать семью и растить детей. И на производстве, и дома он был нужен, востребован, включен, как любили писать тогда в газетах, в «созидательный процесс», который, как сейчас начинал понимать Николай Федорович, их жизнью и двигал. Не все, разумеется, в этом процессе удовлетворяло и грело, многое хотелось исправить (и худо-бедно исправлялось), но разве не в нужном направлении он развивался,

не достойны ли и благородны были его конечные цели — свобода, равенство, братство и достойная жизнь всех, а не избранных?

Но — где они, те цели и направление? Все смешалось на их плоту, все смешалось... И вот уже честь не по труду, как когда-то, не по тому, что доброго ты после себя оставил, воздается, а по тому, сколько и насколько ловко или дерзко сумел хапнуть, украдь, смошенничать. Не честью в деле утверждают себя большинство тех нынешних, кто рвется к богатству и власти, а чудовищным обманом, грабежом, кровью и насилием. Не через тернии созидания — к звездам они стремятся, а через камни разрушения — прямиком в объятия к дьяволу.

Ну а те, кто никуда не рвется, не имея либо сил, либо желания, просто барахтаются в оставляемой сильными и крутыми грязи, пытаясь выжить, не захлебнуться в ней окончательно.

Вот и весь на сегодня смысл жизни: одни — грабят и жиরуют, другие на это неспособные, — влачат и прозябают. Вот уж поистине — время вывихнуло сустав, жизнь окривела, а мир сошел с ума!..

Или, закрадывалась жуткая мысль, только один он и спятил. Разве мало людей его эпохи и даже его поколения прекрасно уживаются и с нынешней жизнью? А вот он родился в ненужное время и в ненужном месте. Хотя при чем здесь время и место, если не умеешь перестраиваться на нужный лад? Как же он был самонадеянно глуп, когда заявлял на заре нынешних перемен, что если честен, порядочен, добросовестен, если не за что стыдиться, то и перестраиваться не надо. Теперь жизнь смеется над ним и показывает кукиш; бывший его партнёр как плыл, так и продолжает плыть, а он идет ко дну. И правы были древние, утверждая: времена меняются — и мы меняемся вместе с ними. Но, может, все проще: одни способны жить в настоящем, словно ничего до этого не было, другие — нет. В математике это, кажется, называется «марковский процесс», вспомнил Перевалов и еще раз уныло подумал, что, конечно же, дело в нем самом, в его плохо приспособляемой натуре, в ущербном менталитете, которому не всякая среда и атмосфера в жилу. В общем, кто не успел, тот опоздал, а кто не сумел — погиб...

Вспомнился знакомый еще по школе литературный герой, который никак не мог отлепиться от своего дивана и устремиться вслед энергичному и прагматичному другу, уверенно шагавшему в будущее, очень похожее на нынешнее настоящее. Ни возлюбленной, в результате, ни друга, ни будущего. Вылитый он, Перевалов, хотя и полтора века назад.

Как таких называли? — напряг память Николай Федорович. — Кажется, «лишними людьми». Вот-вот, и он теперь — «лишний», никому не нужный, сброшенный с «парохода современности». И не угнаться ему теперь за этим пароходом, не догнать. Только нужно ли догонять? Там ли, где катастрофически не хватает духовного кислорода, его место? Но и спасительной земли поблизости не наблюдалось...

21

Деньги от расчета в магазине, как ни пытался растянуть их Перевалов, стремительно подходили к концу. Надо было что-то предпринимать. Николай Федорович стал захаживать на оптовый рынок, расположившийся на самой окраине города, минутах в двадцати ходьбы от дома, в надежде что-нибудь подзаработать.

Эта большая, огороженная забором из бетонных плит, площадка круглый год была забита фурами и рефрежираторами «дальнобойщиков» с мясом, разными продуктами, овощами и фруктами. Больше всего приезжало машин с юга. По утрам сюда устремлялись оптовые покупатели со всего города. Мелькали ящики, коробки, мясные туши, мешки. Висел над рынком многоязыкий говор.

Работа здесь — разгрузить-загрузить, поднести-перенести — не переводилась, но и охотников на нее имелось с избытком. Причем, не чета ему, Перевалову — мужиков, едва переваливших в большинстве своем на четвертый десяток, крепких, напористых, цепких, зорко следящих за посторонними на своей территории. Были тут свои лидеры, свои отношения и сферы влияния. Белую ворону и «чайника» Перевалова вычислили сразу, едва он в первый раз появился на площадке, и к серьезной работе не допускали. Да и на «несерьезную» — уборка территории, например — попасть из-за конкурентов-бомжей и алкашей, которые глотку готовы были перегрызть, нечасто удавалось. А уж забросить незаметно мелкому оптовику в легковушку несколько ящиков куриных окорочек было вообще большой удачей. Но и с тех грошей, какие удавалось поиметь, следовало «отстегнуть» «бригадиру» за возможность находиться на площадке.

В общем, и тут было, как везде. И, как везде, ему и здесь не находилось места...

А дома, у порога, его встречал кот. Он терся о ногу, с голодным вопросом заглядывая хозяину в глаза. И Перевалову все чаще нечего было своему любимцу ответить. Николай Федорович брал кота на плечо, тот прижимался полосатой мордой к его уху и начинал громко мурлыкать, словно утешая и ободряя: мол, не расстраивайся, обойдется, Бог даст. Перевалову и впрямь становилось легче.

Перевалов принес его когда-то в дом совсем еще маленьким котенком, более пятнадцати лет прожил с ним, не расставаясь, и любил его, как еще одного своего ребенка. Пожалуй, никто из домашних не был так привязан к нему, как Перевалов. И кот отвечал ему полной взаимностью, только в нем по-настоящему и признавая хозяина. Они чем-то и неуловимо схожи были. Во всяком случае, чувствовалась в переваловском питомце своя порядочность и даже интеллигентность. Кот никогда не воровал, не попрошайничал. Когда приходили гости, он встречал всех в коридоре, и каждому, как собака, протягивал, вызывая изумление, мягкую мохнатую, лапу. (Этому его научила дочь). А потом величаво, с чувством собственного достоинства удалялся и не появлялся, пока все не расходились. Он был добрейшей души животным, совершенно незлобивым, не мстительным, как некоторые кошки, ни разу никого не укусил, не исцарапал. Ему неведомо было, что такое враги. Окажись кот на улице, думал иной раз Перевалов, ему бы там не выжить.

Теперь, оставшись вдвоем в этом враждебном им мире, они чувствовали еще большую нужду друг в друге. Перевалов стал замечать, что он разговаривает с котом не только как с живым человеком, но и равным собеседником. Кот, не мигая, смотрел на него изумрудными глазами, и, казалось, все понимал. Иногда сам отвечал что-то на своем кошачьем языке. И Перевалов тоже его понимал. Если бы сейчас рядом не было этого пушистого, с беличьим хвостом-опахалом четвероногого друга-собеседника, Перевалов в своих стенах от тоски и одиночества точно бы сошел с ума.

Особенно когда вышел из строя телевизор. Ремонту этот ветхий аппарат уже не подлежал, а потому просто пылился в углу комнаты. Перевалов по-прежнему садился со стаканом чая за журнальный столик напротив него, подолгу отрешенно смотрел на помертвевший экран, вздыхал и говорил привычно устроившемуся на коленях коту: «Вот и закрылось наше окно в мир».

Без телевизора к хроническому недоеданию прибавился еще и информационный голод. Сначала Николай Федорович, пытаясь хоть как-то утолить его, захаживал в ближайший магазин радиотоваров, чтобы постоять возле всегда включенных телевизоров, но быстро намозолил глаза персоналу и вызвал подозрения. И в очередной такой визит, когда Перевалов, ушам своим не веря, слушал об отречении старого кормчего в пользу своего молодого, только-только появившегося на политическом Олимпе, преемника, два дюжих охранника его просто выперли за дверь.

Смена кормчих обсуждалась на каждом углу. Мнения были разные, как погода в берущей разгон весне: то оттепель растапливал снег, то морозец ударял гололедом. Многие ждали перемен к лучшему, надеялись, что уж этот-то — молодой, бодрый,

спортивный, непьющий, ни в чем предосудительном не замеченный — обязательно навороченное до него, как древний герой запущенные царские конюшни, выгребет и исправит. И вообще — даст прикуриТЬ!..

Перевалов уже ничего не ждал и ни на что не надеялся. Для него лично, знал-чувствовал, лучше уже не станет. И верно...

Когда сошел снег и начала пробиваться первая весенняя травка, заболел кот. Его мучительно рвало даже от воды, живот раздуло. Он едва передвигался. Потом и вовсе слег. Кот с трудом приподнимал голову, глядя на Перевалова больными, полными слез и тоски глазами, и слабо шевелил хвостом в ответ на прикосновение хозяйской ладони.

Перевалов, умостив его в большую хозяйственную сумку, помчался в ветлечебницу. Там, чуть не плача, уговорил ветеринара осмотреть кота бесплатно.

Узнав, сколько коту лет, ветеринар сразу же предложил его усыпить. Эта процедура освобождала Перевалова от многих хлопот, но Николай Федорович наотрез отказался, решив, что пусть его единственный друг, если ему суждено, умрет естественной смертью. Лучше бы подсказали, чем больному помочь. Ветеринар посоветовал капельницу, назвал какие-то лекарства, но когда сказал, сколько это будет стоить, у Перевалова волосы встали дыбом, и все оборвалось внутри — таких денег ему не найти...

Оставалось только смотреть, как доживает последние дни его полосатый друг, терзаясь тем, что ничего уже не в силах для него сделать. Даже покормить толком.

Хоть покормить бы напоследок!..

Эта мысль, воспринятая им как последняя воля умирающего, подхватила Перевалова и понесла его на базарчик.

Он не помнил, как очутился в павильоне мясных изделий. С гуляющим ветром в карманах ему здесь делать было нечего. Но неотвязное желание напоследок вкусно покормить кота уже потащило Перевалова вдоль торговых рядов.

Боже ж ты мой! Какой только вкуснятины тут не было! Истекающая соком розовая буженина, загорелые окорока, толстобокие, перепоясанные шпагатом вареные колбасы, кофейного цвета сервелаты, копченые языки, от которых и собственный немудрено было проглотить, похожая на слоеный пирог корейка, тающая во рту пастрома, свиные ребрышки, гирлянды сарделек и сосисок и многое еще такое, чему Перевалов и названий-то не знал, дразнили взгляд, обоняние, возбуждали зверский голод.

Такое когда-то лишь в кино про зарубежную жизнь можно было увидеть да еще от коллег, побывавших в загранкомандировках, услышать легенды о том, что непривычному к изобилию человеку при виде всего этого становится дурно до обморока.

Тогда, помнится, Перевалов скептически улыбался на это, но сейчас и сам был на грани голодного обморока.

Покупатели разглядывали колбасы, продавцы расхваливали товар, предлагали пробовать, ловко отделяя от мясного тела тончайший пластик. Покупатели с глубокомысленным видом дегустировали, оценивая. Но когда и Перевалов попросил попробовать, продавщица просто молча махнула в его сторону тыльной стороной ладони, как делают это, отгоняя муху.

Перевалов понуро побрел дальше. И... не поверил своим глазам: шагах в трех от него, на бетонном полу под прилавком лежала сосиска. По всей видимости, она упала, когда покупателю взвешивали товар. Замечательно! — обрадовался Перевалов, и от волнения у него перехватило дыхание. Народу в будний день в павильоне было мало, и никто не мешал ему вплотную приблизиться к вожделенной сосиске. Оглянувшись для верности по сторонам, он нагнулся и схватил ее. А когда выпрямился, услышал из-за прилавка: «Эй, мужик, чего это ты там нашел?»

Николай Федорович вздрогнул от неожиданности. Подавшись к нему всем телом через прилавок, его в упор расстреливала густо подведенными глазами молодая яркая продавщица.

«Да вот... валялась... На земле... Я и подобрал...» — растерявшись залепетал Перевалов, протягивая в подтверждение на ладони свою находку.

И не успел Перевалов глазом моргнуть, как молодая халда выхватила сосиску.

«Да вы что!... Я же не с прилавка... Она на полу лежала...» — заволновался Перевалов, еще не веря, что лишился сосиски.

«А свалилась она откуда? — злым пронзительным голосом заверещала продавщица. — С неба? С моего же прилавка. Мой товар, слышишь ты, мой!»

«Но я же не знал, она валялась, я подобрал... У меня кот сильно болеет... Покормить хотел... Помрет вот-вот...» — краснея и бледнея, заискивающе бормотал Перевалов, все еще надеясь, что продавщица сжалится и вернет сосиску. Но она взвилась еще пуще:

«Чего?.. Твоего кота сосисками кормить. Ну вы посмотрите на него, люди добрые! Я должна его кота сосисками кормить! — визгливо разорялась она на весь павильон. — Это что ж такое делается? Ты сам себе на горбушку хлеба, гляжу не можешь заработать, а собрался кота сосисками кормить. Конечно... Можно... Чужими-то! Ворованными...»

«Не брал я вашего ничего. Она валялась за прилавком...» — заупрямился Перевалов.

«Ну и что? Где бы ни валялась, а это, все одно, мое рабочее место, и если всякие тут будут подбирать, что с прилавка упало, я по миру пойду!» — орала продавщица до звона в ушах, словно он тут же, на прилавке, лишал ее девичьей чести

«Подобрал... Знаем мы вас подбиральщиков. Ходите тут, шакалы голодные, а чуть зазевался — тырите, что подвернется. Вали давай, вали отсюда, бомжатина неумытая!..» — зашлась продавщица в крике, и было в нем столько злобы презрения и ненависти, что Николай Федорович испугался: в красивом еще пару минут назад лице почудился ему злобный волчий оскал.

Да и вся она была похожа сейчас на разъяренного зверя. «А ведь не какая-то там бесящаяся от жириу «новая русская». Такая же, едва сводящая концы с концами, баба, которой, может быть, чуть больше повезло на данный момент в нынешней жизни. Откуда же эта ненависть и унижение к тем, кому повезло меньше? — недоумевал Перевалов, едва волоча ноги, возвращаясь домой. — Наверное, она таким образом пытается совпасть с жестокой и дикой нынешней жизнью, вперед всего усвоив ее главное правило: человек человеку — волк!».

Кот доживал последние отпущеные ему часы. Он лежал на боку неподвижно, и только иногда приоткрывал глаза, которые все сильнее затягивала смертная пелена. «Ну поживи еще хоть чуть-чуть, не оставляй меня одного...» — шептал Перевалов, сидя на полу рядом с другом, и невольные слезы катились по его щекам. Едва заметно, как показалось Перевалову, прощально шевельнулся самый кончик хвоста, хотя кот еще дышал.

Так уж получилось, что Перевалову никогда не приходилось хоронить никого из близких. Родители умерли далеко от него и без него; жену и дочь, когда придет их черед, уже не ему провожать в последний путь; а сын просто пропал без вести — однажды исчез, растворился без следа.

Его-то и вспомнил Николай Федорович сейчас, сидя возле умирающего кота, и подумал, как, наверное, тяжело было ему, молодому и неокрепшему телом и душой парню, видеть страшную гибель своих ребят-однополчан, вообще находиться лицом к лицу со смертью, слепо косящей всех без разбору.

А под утро будто кто толкнул Николая Федоровича в бок. Он вскочил с дивана и бросился в угол, к балконной двери, где было постелено коту. Перевалов встал на колени, осторожно, словно боясь спугнуть, дотронулся до него. Кот еще не остыл, но был мертв.

Перевалов застонал обхватил голову руками и так, на коленях, простоял, не двигаясь, пока совсем не рассвело. Потом очнулся, тяжело поднялся, чувствуя, как ноет сердце. Надо было что-то делать дальше, где-то похоронить друга. Можно было закопать его во дворе, за гаражами или еще где-нибудь неподалеку, но Перевалов отверг эту мысль. Кот был в последнее время ему дороже любого человека, а потому...

Перевалов нашел большую картонную коробку из-под зимних женских сапог, порвал надвое простыню, завернул в тряпку тело кота и положил в коробку. Накрыл коробку крышкой, обмотал ее куском шпагата и, взяв свою скорбную ношу под мышку, зашагал навстречу солнцу. В той стороне, на самой окраине, располагалось одно из городских кладбищ.

Перевалов решил похоронить друга возле забора, неподалеку от кладбищенских ворот. Он выбрал местечко посуще, еще не занятое могилами, и только сейчас вспомнил, что забыл лопату. На глаза попался ржавый железный прут от оградки, и он взялся ковырять им землю.

«Мужик! — окликнул его кладбищенский рабочий. — Ты чего тут скребешься?»

«Хороню», — мрачно отозвался Перевалов.

«Кого?» — не поверил рабочий и подозрительно посмотрел на коробку.

«Кота», — неохотно пояснил Перевалов. Очень уж ему сейчас не хотелось ни с кем объясняться.

«Кота!.. — удивленно присвистнул рабочий и рассердился: — Тебе тут что — кладбище животных? Да ты знаешь, что здесь для самых богатых, крутых и блатных место зарезервировано?»

«Он не просто животное. Он как человек. Даже и лучше многих. Он — мой друг», — сказал Перевалов, пропустив мимо ушей слова о «богатых и крутых».

Рабочий покрутил пальцем у виска, присел на бугорок и закурил, глядя на странного мужика, вздумавшего похоронить животину на человеческом погосте да еще в самом престижном месте.

Перевалов продолжал ковырять землю.

Рабочий был Перевалову ровесник, не первый год промышлял кладбищенским трудом, сталкивался здесь со всяkim, но такое видел впервые. Впрочем, он давно разучился чему-либо удивляться. Особенно когда дело касалось жизни и смерти. Поэтому, еще немного посмыкав свою цыгарку, философски заметил:

«Ну, если друг, то куды попрещь... Друг он и в любой шкуре друг...» — Помолчал и сказал: — Ты это... Кончай скрести-то. Много ли такой железякой нацарапаешь. Передохни пока. Я сейчас...»

Рабочий, кряхтя, поднялся и пошел к видневшейся неподалеку хозяйственной постройке, откуда вернулся вскоре с лопатой. Титановый, отлично заточенный ее штык, изготовленный скорее всего на бывшем оборонном предприятии, был насажен на короткий, прочный и легкий черенок. Все говорило о том, что сей шанцевый инструмент принадлежит професионалу.

Рабочий несколько секунд целился взглядом в расковырянное Переваловым место, потом вонзил в землю заступ.

Действовал он артистически. Перевалов даже забыл на время о своем горе и невольно залюбовался его работой.

Очень скоро аккуратная могилка с идеально ровными краями была выкопана. Перевалов, встав на корточки, осторожно опустил на дно обувную коробку с телом кота и бросил на ее крышку комок холодной весенней земли. Заступ опять споро замелькал в руках кладбищенского рабочего, и вот уже на месте ямы вырос холмик. Рабочий деловито обхлопал его со всех сторон заступом, и получилась маленькая плоская пирамидка. Он подобрал с земли прут, которым Перевалов ковырял землю и воткнул его в основание могилки. Потом порылся в карманах, вытащил обрывок черной муаровой ленты, на которой еще различались золотые буквы, и повязал ею, как галстуком воткнутый в землю прут.

«Чтобы знал, где искать, когда проведывать будешь приходить», — сказал он.

«Спасибо», — задрожавшим голосом поблагодарил Перевалов, и его стали душить копившиеся весь сегодняшний день рыдания.

Рабочий неловко потоптался и ушел. И снова вернулся. Вместо лопаты в руках у него была отпитая примерно наполовину бутылка водки, на горло которой, как колпак, был надет верх дном пластмассовый стаканчик.

«Давай, помянем», — просто сказал он, налил до краев и протянул стакан Перевалову...

22

Похоронив кота, Перевалов словно завис в невесомости. Ни сидеть, ни лежать, ни ходить не мог. Мыслей в голове тоже не было. Лишь сполохи отрывочных сумбурных видений, в которых мелькали то дочь, то жена, то кто-то из бывших сослуживцев или знакомых, но чаще всего — сын и кот. Иногда являлись они к нему оба разом: кот на плече у сына что-то нашептывал-мурлыкал ему в самое ухо. И оба, казалось Перевалову, укоризненно косились на него: что же ты, отец, нас бросил. Мы — здесь, ты — там. И звали: присоединяйся к нам, втроем и веселей, и на душе легче...

Так прошла неделя, началась вторая, а на девятый день выпадала родительская суббота. Перевалов засобирался на кладбище.

Когда субботним утром Николай Федорович очутился на дороге, ведущей к кладбищу, ему показалось, что он попал на первомайскую демонстрацию. Неширокое шоссе было забито машинами и людьми. Разноцветная толпа, путаясь под колесами машин (или, наоборот, авто путались под ногами людей), несла в руках живые и бумажные цветы, лопаты и грабли обихаживать могилки, сумки с поминальной снедью. Шли поодиночке и целыми семьями, старые и малые. Зарождаясь у конечной остановки городского транспорта, шествие растянулось на километр.

Возле центральных ворот кладбища табунились торговые и общепитовские палатки с печеньем и конфетами, пивом и прохладительными напитками, дымящимися на мангалах шашлыками и варившимися тут же, в больших кастрюлях на газовых горелках, пельменями. В кроны обступивших кладбище сосен уносились вызывающие слону дымы и запахи. Тут же продавали цветы, похоронные венки, восковые свечи, миниатюрные иконки, ладанки и прочие церковные причиндалы.

Толпа роилась вокруг этой импровизированной ярмарки, закручивалась в водовороты, галдела, как стая вспугнутых ворон. И если бы не кладбищенская ограда впереди с выглядывающими из-за нее крестами и надгробиями, могло показаться, что шумит-гудёт вокруг народное гуляние.

К кладбищу Перевалов шел мимо пристроившейся на самом его краю белокаменной с золотой маковкой часовни. Она была забита людьми. Шла служба. Через распахнутые настежь двери доносился густой, но кристально чистый, прямо-таки колокольный бас дьякона.

Привалов невольно приостановился. Лучезарная золотая маковка подпирала голубое безоблачное майское небо, а из дверей в вышину рвался дьяконовский бас. Слов было не разобрать. Но чудилось, что это возносится молитва Богу за всех них: безвременно ушедших, бесследно сгинувших и здравствующих, но уже словно умерших.

Николай Федорович подумал, что хорошо бы свечки за рабов Божьих сына и кота поставить, но вовремя вспомнил, что ни денег, ни даже, наверное, права на это у него нет: всю жизнь был неверующим. Да и молится ли церковь за усопших животных — тоже не знал.

Перевалов пошел дальше и вскоре вместе с толпой вился на центральную аллею кладбища. Ощущение, что ты не то на демонстрации, не то на массовом гулянии, здесь еще более усиливалось.

Этот город мертвых с зеркальной точностью отражал бытие живых, чему живые больше всего и способствовали.

Когда Перевалов девять дней назад хоронил своего кота, он много чего узнал от словоохотливого кладбищенского рабочего. Например, кого, где, как и за сколько хоронят. Неимущим одним взмахом экскаваторного ковша вечный покой устраивался на самых задворках кладбища, за которыми шел сплошной лес. Но чем весомее была «отстегнутая» денежка, тем ближе и престижнее отводилось для похорон место. И если когда-то надгробия центральной аллеи сплошь пестрели золотом имен уважаемых в городе людей — крупных руководителей, ученых, деятелей культуры и искусства, генералов, то сейчас, подступив к самой дороге, их заслонили собою персональные мемориалы братков и цыган — по нынешним меркам, видимо, особой куда более важных и уважаемых.

Памятники бандитам отличались суровой монументальностью и отсутствием архитектурных излишеств. Специфику их профессии подчеркивали высеченные на камне эпитафии обычно следующего содержания: «Спи спокойно, братан. Мы за тебя отомстим». Братки и поминали так же мрачно и немногословно — чисто конкретно. И чем больше в себя вливали, тем больше походили на высоковольтные опоры с прикрученными к ним к ним табличками «Не влезай — убьет!».

Цыгане почему-то любили ставить усопшим соплеменникам стопроцентно реалистические памятники в полный (а то и более) рост на ступенчатых, похожих на мавзолеи, постаментах. Говорили, что в них они вмurovывали по своему обычай ценности, якобы необходимые покойникам в загробной жизни, вводя в искушение гробокопателей, которые со времен древних фараонов ничуть не перевелись. Цыганские изваяния очень смахивали на памятники стародавним вождям, которые до сих пор еще нередко встречались во многих городах. (Закрадывалось подозрение, что и делали их одни и те же люди, вовремя, правда, переквалифицировавшиеся на выпуск новой продукции).

Постаменты цыганских памятников ломились от снеди, спиртного и фруктов. Все отменное, вкусное, дорогое. Вокруг клубились маленькие семейные таборы с мужчинами, женщинами и ребятишками. Их гвалт и ор разносился далеко по округе. Возле некоторых постаментов, также богато накрытых, было всего по два-три человека, которые, словно погадать приглашая, зазывали проходивших мимо помянуть своих чавал.

Некоторые — явно жаждущего и страждущего вида — охотно заворачивали. Но такие готовы были помянуть хоть черта с рогами, лишь бы налили. Остальной же народ, неодобрительно косясь на нечистое цыганское изобилие, торопился к своим могилкам.

Перевалову цыгане тоже зазывно махнули, но он, с трудом справившись с голодным спазмом, отвернулся. Однако подумал: вот уж кто умеет всегда, везде и ко всему приспособиться — не гаданием, так косметикой или тряпками, не ими, так золотом с наркотиками будут промышлять. И при любом режиме, при любой социальной погоде остаются на плаву. Вот у кого надо учиться совпадать!..

Хотя, как понял, цыгане цыганам и рознь. Мелькали на кладбище и другие чавалы, гораздо более затрапезные. Они шныряли между могильных оградок, где уже вовсю поднимали стаканы за помин души, и попрошайничали.

Нищим вообще сегодня было раздолье. И центральную аллею, и боковые ее ответвления они обсыпали, как тля кусты. Откуда и слетелись-то! Хотя чего удивляться: такие дни в их профессии год кормят, грешно упустить... И действительно, до полудня еще далеко, а в целлофановых мешках, сумках, авоськах перед нищими уже полным-полно всего: и конфеты, и печенье, и домашняя выпечка, и разная другая, и фрукты...

«Подайте помянуть ваших близких, подайте... — слышалось с обочин чуть ли не на каждом шагу. Подавали. И просто отдавали оставшееся с поминания. Уносить с кладбища по не известно ком установленному обычай нельзя, грех. Потому — нищим. Пусть лучше они, никакими предрассудками не обремененные, унесут жратвы от пуз на неделю вперед.

А почему бы и ему не присесть тоже где-нибудь тут и не протянуть просящую руку, подумалось почти неделю не евшему Перевалову. Он даже приостановился от этой

удивительной мысли. Но замешательство было недолгим. Он прекрасно знал, что, не смог бы, даже если бы сильно захотел — для него это все равно, что до гола раздеться. Не то, что для господ нищих, паразитирующих своим ремеслом на жалости и людской скорби.

Аллея была длинная, и по ней можно было еще шагать и шагать, поражаясь особенно явственному здесь контрасту богатства и нищеты, помпезного блеска и сирой убогости. Но давно пора было (он и так слишком увлекся) навестить могилку полосатого друга.

Перевалов вернулся к воротам и пошел вправо вдоль ограды, вспоминая и отыскивая глазами то место. Довольно быстро он нашел его, еще издали увидев обрывок муаровой ленты на воткнутом в землю железном пруте.

Здесь было тихо, спокойно. Умиротворяющее шумели над головой сосны. Разноголосый людской гул едва доносился сюда. И Перевалов мысленно горячо поблагодарил кладбищенского рабочего, позволившего ему совершенно бескорыстно похоронить друга в этом замечательном местечке. Николай Федорович присел на корточки, огладил рукой холмик, поправил чуть покосившийся прут с лентой и подумал, что хорошо бы и ему упокоиться здесь, рядом. Да только кто же его сюда положит?.. Подумалось и о сыне: если нет в живых (а чем дальше, тем больше Перевалов в этом переставал сомневаться), то где лежат его косточки? А как здорово было бы тут им всем троим, в стороне от шума и суеты! Перевалов представил себе рядом с едва заметной могилкой кота еще две, побольше, и вздохнул. А еще поймал себя на мысли, что думает о себе живом, как о мертвом.

Да он уже и не живой, если разобраться. Ходячий покойник. А может, он из тех, кто попал случайно в другое измерение, в параллельный мир, из которого никак не может найти выход? Какая, в сущности, разница! Главное, что нет выхода. Некстати вспомнилась популярная в дни его молодости бодренькая песенка:

Не надо печалиться —
Вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди —
Надейся и жди...

И вот уже жизнь позади, ждать от нее нечего, надеяться не на что, существовать не для чего. Остается тихо дотлевать в скорлупе своей ненужности, или...

Это «или», как уголек в костре, выстрелило в мозгу Перевалова и уже больше не исчезало, то притухая, то вновь разгораясь...

Николай Федорович не помнил, сколько времени пробыл он в состоянии задумчивой отрешенности. Очнулся оттого, что кто-то тряс его за плечо: «Мужик, эй, мужик!..»

Тормошила его средних лет женщина. Перевалов с трудом поднялся на затекших ногах с корточек. Мимо проходила хорошо уже выпившая компания. Женщина, по всей видимости, была оттуда. «На!» — протянула она едва початую бутылку водки и пакет с чем-то съестным. «Что вы, что вы!.. Не надо...» — растерянно забормотал Перевалов, поняв, что показался женщине побиушкой. «Бери, бери! — совала женщина. — Мы уже напоминались. Не нести же домой? Грех!..» Перевалов прижал к груди бутылку и пакет, не зная, что и сказать в ответ, а женщина уже догоняла свою компанию. Поплелся домой и Перевалов.

А дома голодный Николай Федорович обнаружил в пакете целое богатство. Там были пирожки с ливером, сладкая булочка, кусок печеной курицы, пластики тонко порезанной копченой колбасы, половинка свежего огурца, жареная рыба, несколько шоколадных конфет и даже большое желтое яблоко. Если добавить сюда еще и почти полную бутылку водки, это было настояще пиршество, при виде которого у Перевалова в первые мгновения так закружилась голова, что он чуть не свалился.

Перевалов долго размышлял, за помин чьей души ему выпить сначала: сына, или кота? С одной стороны, девять дней коту, а с другой — сына ему как-то не пришлось помянуть вообще. Хотя, конечно, кто ж его точно знает: жив ли, нет... В конце концов решил не делить — пить за обоих сразу.

Потом он помянул родителей, а следом и то гигантское единое многонаселенное пространство, в котором он появился когда-то на свет и которое четыре десятка лет было его великой и доброй родиной. При воспоминании о ней у Николая Федоровича текли слезы и хотелось несбыточного — повернуть время вспять. Но можно было только прокрутить назад ленту памяти. А вспоминалось почему-то плохо. Кадры прошлой жизни очень смутно просматривались через грязное закопченное окно нынешней.

Малопьющего, ослабленного Перевалова хмель одолел быстро. Еще не добравшись до половины содержимого бутылки, он опьянял. Появилось ощущение легкости, некоторой приподнятости, утишилась сердечная боль-тоска, не отпуская его в последние месяцы. Через пару рюмок жизнь и вообще перестала казаться безысходным тупиком: стоит еще немного выпить-закусить — и все наладится...

Но, потрескивая где-то глубоко в подсознании, продолжал тревожно давать знать о себе уголек «или». Он, как часовой на посту, не давал Перевалову полностью забыться.

Хмельной сон, правда, еще через рюмку сморил его. Сон сопровождался видением непонятных абстрактных узоров, цветовых пятен, странного и пугающего свечения, словно Перевалов заглядывал куда-то за грань бытия. А перед утром все это склонило, и появились они...

Как и тогда, кот сидел, на плече у сына и что-то нашептывал-мурлыкал ему в самое ухо.

«Ребята, вы опять пришли!» — обрадовался Перевалов.

Кот с сыном прервали свою «беседу» и, не мигая, воззрились на Перевалова.

«Так что же ты, отец? — услышал он укоризненный и в то же время требовательный голос сына. — Почему не идешь к нам? Заждались мы тебя».

Перевалов очнулся, открыл глаза, еще находясь на границе бреда и яви. Квартира была пуста, но он знал, чувствовал, что они здесь, рядом. Стоит только опять смежить веки...

«Да, да, мои родные, я сейчас... Сейчас... Я быстренько. Нищему собраться — только подпоясаться...»

Перевалов тяжело поднялся. Начинавший уползать хмель вызывал головную боль, но теперь это уже не имело значения.

«Сейчас, ребята, сейчас... Подпоясочку только для себя найду... Да в ванной же она!..»

Перевалов зашел в ванную комнату, с трудом взгромоздился на край ванны и стал отвязывать бельевую веревку. Нога его едва не сорвалась с края, и он чудом не загремел вниз. Отвязав, неуклюже спрыгнул на пол и сел на край ванны перевести дух. Николай Федорович закрыл глаза — они стояли перед ним в дверном проеме ванны и ждали.

«Поторопись, отец, — незнакомым, не терпящим возражений тоном сказал сын, — самое время настало...»

«Да, да...» — послушно закивал головой Перевалов и стал дрожащими руками делать петлю.

Наконец он справился с этим занятием и привязал конец петли к полотенцесушителю. Потом накинул петлю на шею и зажмурился.

Кот уже не нашептывал сыну на ухо, а сидел на плече, похожий на глиняную копилку, торжественно и строго. Также строг и торжественен был сын. «Давай, отец!» — сказал, словно скомандовал, он.

Перевалов подогнул ноги и повис, не доставая коленями до дна ванны. Петля, медленно затягивавшаяся на его шее все эти годы, сделала последний, решительный рывок.

...Плот стал стремительно уходить из-под ног. Соскользнув с обглоданной водой древесины, Перевалов на миг очутился в пустоте. Но тут же со всех сторон навалились мокрые бревна и стали перемалывать его, как попавшее в жернова зернышко. Трещали кости, лопались позвонки и связки, сперло, а потом и вовсе остановилось дыхание, в глазах вспыхнул фейерверк. Перевалова накрыла волна ужаса. Ему захотелось позвать неизвестно кого на помощь, он даже попытался крикнуть, но из передавленной петлей гортани раздался только протяжный хрип...

* * *

Прибывшие милиционеры и врач «скорой» единодушно констатировали отсутствие признаков насильственной смерти, то есть чистейший суицид без всякого криминала. Труп освободили от петли, положили на носилки и унесли.

— Был человек — и нету... — вздохнул слесарь и покосился на слегка оттопыренный карман своего пиджака.

— Все мы там будем! — философски заметил дворник, с внимательным интересом проследив за взглядом слесаря.

— Только не таким вот образом, нет, не таким! — возразил хозяин эрделя. — Бог дал, Бог и взял, а не сам себя...

— Знать, приперло крепко, — предположил дворник.

— Нет, все равно... — стоял на своем хозяин эрделя. — Надо было еще потерпеть немного. Ну хоть чуть-чуть. Ведь жизнь, сами видите, потихоньку налаживается. А с нашим новым президентом — тем более.

— Для кого? — удивился слесарь. — Для вас, коммерсантов-спекулянтов?

— Ну что вы так! — загорячился хозяин эрделя. — Во всем обществе подвижки в сторону улучшения чувствуются. Да и, что ни говорите, поздно уже нам сворачивать. Надо по новой дороге учиться ходить, к новому пути приспособливаться.

— Ага, — мрачно сказал слесарь, снова поглаживая себя по оттопыренному месту.

— Один вон уже попытался...

— Да ладно, — рассердился дворник, — чего воду в ступе толочь. Если есть у тебя там что, — мотнул он головой в сторону оттопыренного пиджака слесаря, то пошли, помянем раба Божьего.

— Пошли, — с видимым облегчением согласился слесарь.

Они вышли из квартиры. Хозяин эрделя устремился за ними.

— Мужики, давайте ко мне! У меня и закусочка есть, и пузырек вам в помощь сообразжу.

Слесарь с дворником переглянулись и враз согласно кивнули.

Переваловский сосед, отомкнув квартиру, пропустил вперед гостей и кликнул собаку, все это время беспокойно топтавшуюся на лестничной площадке. Эрдель поднялся и поплелся к своей двери. На пороге остановился, повернулся и, словно окончательно прощаясь с ушедшим в мир иной, громко, горько-тоскливо, словно старуха-плакальщица на похоронах, завыл. И от этого леденящего нутряного заупокойного воя сделалось всем не по себе...

ПОЗОВИ МЕНЯ С СОБОЙ

Не возвращайтесь к
былым возлюбленным.
Былых возлюбленных

Часть I

Наконец-то началась выдача багажа его рейса. Метелин подхватил плывший по транспортерной ленте чемодан с биркой авиакомпании и, лавируя в людской суете, стал пробираться к выходу. Пассажиров скопилось много — сразу с двух рейсов, прибывших друг за другом. Метелина со всех сторон толкали, и сам он то и дело кого-то задевал, запинался о чьи-то вещи. У выхода и вовсе затор. Метелин решил переждать, пока толпа хоть немного рассосется, и остановился, опустив на бетонный пол чемодан. И тут же, как на неожиданно затормозивший в плотном уличном потоке автомобиль, в него врезались сзади с громким женским «Ой!» и выхлопом дорогих духов.

Бормоча извинения, Метелин обернулся и столкнулся с взглядом золотисто-карих глаз элегантной моложавой брюнетки в светло-коричневом брючном костюме. И уже не мог от него оторваться...

Когда-то далеко-далеко он уже видел, знал эти глаза. Только вот принадлежали они тогда вовсе не этой бальзаковского возраста, хотя и прекрасно сохранившейся статной даме. Что-то воронилось на дне памяти Метелина и стало медленно всплывать. Глаза женщины смотрели на него в упор, и тоже будто бы прояснялись от накатывавшего воспоминания.

Два-три мгновения это продолжалось, а потом глаза женщины вспыхнули так волновавшими когда-то Метелина золотыми искорками, и следом он услышал ее грудной, чуточку низковатый сочный голос, который он не спутал бы ни с чьим другим:

— Сережа... Метелин!..

У Метелина больше не оставалось сомнений.

— Таня... — отозвался он вдруг осипшим от волнения голосом. — Неужели ты?

— Я, конечно, я! Вот время идет — едва узнали друг друга!

Радостно и одновременно удивленно засмеявшись, женщина бросилась Метелину на шею.

— А я, признаться, и следы твои давно потерял, — сказал он и спросил, что-то вспомнив: — Да ты не из-за океана ли к нам нагрянула?

— Совершенно верно, — подтвердила она, слегка отстраняясь, но не переставая греть его золотистыми лучиками глаз, — оттуда!

— Дела или турпоездка?

— Я здесь теперь туристка. А в Штатах живу, — снова засмеялась она и коснулась ладонью его груди.

Это была холеная ладонь ухоженной, следящей за собой дамы, с изящным золотым кольцом на одном пальце и красивым янтарным перстнем, хорошо гармонировавшим с цветом ее глаз, — на другом. Но Метелин увидел не ее, а узкую девчоночью ладошку и почувствовал, как и много лет назад, исходивший от нее жар.

Метелин хотел спросить, как она сумела обосноваться в Штатах, да еще и много чего, но не успел: к ним спешили мужчина с женщиной, в которой едва угадывалось отдаленное сходство с Таней. Да это же ее сестра Надька с мужем, дошло до Метелина.

Наблюдая за родственными объятиями, Метелин переминался рядом с ноги на ногу и не знал, как быть: тихо, по-английски исчезнуть, или же уйти, вежливо попрощавшись. Но не хотелось ни того, ни другого.

— Надя, — спохватилась Таня, — а это Сергей Метелин, мой одноклассник. Помнишь, еще в школе к нам домой приходил...

Надя сдержанно кивнула, бросив тут же отскочивший от него мимолетный равнодушный взгляд. Ни внешностью, ни характером она на сестру почти не походила, а к нему, Метелину, и тогда в детстве относилась с непонятным ему пренебрежением.

— Пошли, девочки, пошли, — заторопился Надин муж, — машина ждет, надо ехать.

— Сергею mestечко найдем? — спросила Таня.

— Нет-нет!.. Не беспокойтесь, я сам... Мне еще тут кое-что надо... — поспешил отказаться Метелин, видя, как неодобрительно скосила глаза на Таню сестра и напрягся ее муж.

— Тогда вот... — Таня достала визитку и протянул ему. — В ближайшие дни обязательно позвони — встретимся, поговорим!..

Уже несколько минут прошло, как троица скрылась за дверями аэровокзала, а Метелин продолжал стоять, тупо уставясь в картонный прямоугольничек, на котором по-английски и по-русски было типографским способом начертано красивой каллиграфической вязью: «Архитектура малоэтажных зданий и малых форм. Ландшафтная архитектура и дизайн. Фирма «Капитель». Татьяна Алексеевна Иванова, генеральный директор...» Дальше шли номера телефонов, в том числе мобильного.

Стряхнув оцепенение, Метелин бережно спрятал визитку в нагрудной карман рубашки и направился к автобусной остановке.

Автобус вырулил на шоссе, связывавшее аэропорт с городом. Народу в салоне в этот ранний утренний час было немного. Метелин откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и сразу же ощутил на груди удивительное тепло узкой смуглой девчоночкой ладошки...

...Всего несколько дней назад семья Метелиных переехала в новый, на городской окраине, район, поэтому Сергей совсем еще новичок в здешней школе. Он и познакомиться толком ни с кем не успел. И с расписанием не освоился: последние два урока сегодня, оказывается, физкультура, лыжи.

Ребята были в свитерах, в удобных для лыжного бега куртках, а он, угловатый и нескладный, в поношенном куцем пальтишке, рукава которого не доходили до ладоней, в облезлой цигейковой ушанке и серых растоптанных пимах стоял посреди раздевалки, ловя со всех сторон насмешливые взгляды и нелестные реплики в свой адрес, и не знал, куда себя деть. Хорошо, лыжи были школьные, а не то, наверное, его вообще бы выгнали с урока...

...Какой же это был класс? — стал вспоминать Метелин. — Седьмой, восьмой? Нет, все-таки, наверное, восьмой...

Учитель физкультуры подобрал ему лыжи с ботинками по размеру и, скептически оглядев новичка, посоветовал болтавшиеся на худых ногах брючины заправить в носки, чтобы не набивался снег.

Лыжня начиналась недалеко от школы, и уходила в подступающий к жилым кварталам бор. Класс растянулся по лыжне длинной цепью. В самом ее хвосте плелся Метелин. Он вообще не был спортивным парнем, а уж лыжником — и подавно.

Впереди маячила невысокая гибкая фигурка, обтянутая свитером и спортивными трикотажными брюками (они еще только входили в обиход и были тогда редкостью). Забавный пушистый помпончик вязаной шапочки на голове девочки подрагивал в такт ее размеренным движениям, а Метелину казалось, что он укоряет его, тюху, плетущегося позади всех. И если бы не этот помпончик, Сергей, наверно бы, давно рухнул на лыжню.

Ботинки попались не совсем по ноге, и натирали ноги. Но хуже было с руками. Варежки Метелин потерял еще до переезда на новое место жительства. Матери он ничего не сказал о пропаже. Да ей сейчас и не до этого было. Зима стояла не очень морозная, и Метелин вполне обходился карманами пальто, заменявшими ему варежки. Но пальто (на лыжне не замерзнешь — сказал физкультурник) пришлось оставить в раздевалке. На ходу, в общем-то, и действительно было не так уж холодно. Голова в ушанке даже вспотела. Но вот руки... Голые руки, сжимавшие бамбуковые палки, которые он поочередно вяло

втыкал в снег, почти не чувствовались. Дувший навстречу хоть и не сильный, но колючий зноубий ветер еще больше усугублял положение. Сергей приостанавливался, дул на ладони или прятал в карманы брюк, пытаясь хоть чуточку отогреть, но тут же приходилось пускаться вдогонку уходящему в бор классу.

Девочка впереди несколько раз оглядывалась на него. Метелин видел, что она могла бы бежать гораздо быстрее, но не хочет оставлять его одного. Когда Сережа очередной раз поднес руки, на кистях которых болтались бамбуковые палки, ко рту, девочка остановилась.

— Замерз... — посочувствовала она и спросила: — А что без варежек?

— Да... — неопределенно протянул Метелин и увидел, что девочка тоже без варежек, хотя ее-то рук, мороз, казалось, совсем не коснулся.

— Я не мерзну, у меня руки, знаешь, какие горячие! — сказала она и приложила свободную ладошку к его груди.

Метелин сразу же почувствовал в этом месте сухое, как от горчичника, тепло.

— А у тебя красные, как у рака, — засмеялась она и взяла его ладони в свои: — Давай, погрею.

Никогда не испытывал Метелин такого ощущения. Удивительно приятного, но и волнующе нового. Оыта короткого общения с девочками у него не было...

Она достала из карманов брюк две пушистые варежки и протянула ему:

— На вот...

— А ты? — опешил Метелин.

— Я же говорю — не мерзну!

И сама натянула ему варежки на руки. Были они Метелину малы, но сохраняли горячее тепло своей хозяйки. Шапочка с помпончиком снова замаячила впереди него на лыжне, но теперь, когда руки в маленьких тесных рукавичках перестали мерзнуть, тянуться за остальными стало гораздо легче.

Урок, наконец, закончился. Вымотанный Метелин и в раздевалку приплелся последним, когда там почти никого не оставалось. Хозяйки рукавичек тоже след простили.

Дома Метелин положил варежки посушиться на батарею, да и забыл там. А когда на другой день в школе стал оправдываться перед их хозяйкой, она беспечно отмахнулась:

— А, вернешь когда-нибудь! Обойдусь...

У девочки той были очень простые русские имя и фамилия — Таня Иванова. Но чувствовалось, что течет в ней кровь не одной национальности. Смуглая, черноволосая, кареглазая, она казалась выходцем из какой-нибудь жаркой Испании. Ощущение усиливали как два птичьих крыла изогнутые, словно углем прорисованные, брови, с изящной горбинкой нос и какая-то особая, можно даже сказать горделивая стать во всей ее ладной точеной фигурке, с вполне уже женскими формами и грудью, ощутимо натягивавшей ученическое платье с черным фартучком. (Хотя корни у Тани были все-таки славянские — в Сербии жили ее далекие предки.) В этой быстро зреющей пятнадцатилетней девочке, как в набравшем цвет бутоне, уже сейчас угадывалась красавица, к ногам которой сложит голову не один мужчина.

Училась Таня только на «отлично». Но збурилкой не была. Учеба давалась ей легко. В отличие от многих одноклассников. Помимо уроков, хватало Ивановой времени и на разные другие занятия. Она ходила в изостудию, фотографировала, училась в музыкальной школе по классу фортепиано, посещала кружок бальных танцев, писала стихи... Разносторонняя, в общем, была девочка. И таланты свои по мере возможности обязательно старалась реализовать. Оформляла школьную стенгазету, давала туда свои стихи и заметки, на школьных вечерах играла на пианино, кружилась в вальсе... И все у нее получалось так же хорошо и легко, как и в учебе.

Сереже Метелину, звезд с неба не хватавшему, которому гранит иных школьных наук приходилось «грызть» чуть ли не со слезами, а каких-то талантов пока и вовсе не наблюдалось, было до нее, конечно, как до Луны.

Но отличница и любимица учителей Таня Иванова не задавалась. Она и с ребятами общалась так же легко, непринужденно, как и училась, как делала все остальное. Вокруг нее всегда роился школьный народ. И все-таки Таня не сливалась с ним, не растворялась в его гуще. Была она одновременно и вместе со всеми, и наособицу, как это часто и случается с личностями действительно незаурядными.

Иванова сидела за второй партой у окна. Метелин — за третьей в среднем ряду, и голова его то и дело непроизвольно поворачивалась в ее сторону. Отсюда, сбоку и чуть сзади, Сережа видел смуглый Танин профиль, обрамленный смолью волос, стянутых сзади розовым бантом в густой и слегка выющийся хвост-метелку.

Времена в те годы, не в пример нынешним, были строгие. Подобные «хвосты», почему-то презрительно прозванные (скорее всего — учителями) «я у мамы дурочка», могли позволить себе лишь выпускницы. Восьмиклассницам же предписывалось носить косы. Иванова и здесь была девочкой особенной и как бы исключением из правил.

В ясные дни, уроку к четвертому, когда солнце окончательно просыпалось и врывалось в школьные окна, Танин профиль на их сверкающем морозным стеклом фоне приобретал удивительный янтарный оттенок. Иногда, видимо, ощущая на себе пристальный Сережин взгляд, девочка, не меняя положения за партой, на мгновение слегка поворачивала к нему голову, скашивала глаза, и сноп золотистых искр, вырвавшихся из них, накрывал Метелина с головой, как рой каленых стрел кочевников, поджигая предательским огнем щеки и заставляя колотиться сердце.

Метелин пытался Таню с кем-то сравнить, провести аналогию. Но в голову лезла в лучшем случае египетская Клеопатра, внешность которой Сережа мог себе представить только по картинке из учебника истории древнего мира, или же Кармен с заколотой в волосах алоей розой, изображенная на этикетке одноименных духов.

Так и пялился на нее Сережа, забываясь на уроках до того, что в наступившей тишине над его головой вдруг раздавался зычный голос крупногабаритной массивной математички: «О чем задумался, детина!» Метелин вздрагивал, возвращался под смех класса к действительности. Бросая на него свой искристый взгляд, Таня смеялась со всеми, добавляя в душу смятения. Сережа наливался краской до корней волос, и если бы в этот момент его поменяли местами с Ивановой, он, наверное, походил бы на фоне солнечного окна на только что вытащенный из кузнечного горна раскаленный прут железа.

На переменах Метелин одиноко подпирал в коридоре подоконник и с завистью наблюдал, как вьются вокруг Ивановой одноклассники. Проклятые застенчивость, неуверенность в себе не позволяли ему запросто подойти к Тане, о чем-нибудь спросить, завести непринужденный разговор. Уже почти месяц он в новой школе, но так почти ни с кем и не сошелся, не подружился. А с Ивановой только «здравствуй» да «пока». Провожать ее до дома Метелин тоже не мог: было им не по пути — жила Иванова в противоположной от его дома стороне, а главное, всегда за ней кто-то увязывался: либо свои же ребята-одноклассники, либо кто-нибудь из параллельного, но чаще Таня уходила домой в компании своей подружки и соседки по дому рыженькой Вали Осиповой. Странно было видеть их вместе — жгучую юную Кармен и золотистый подсолнушек; умницу, красавицу, многих способностей и достоинств отличницу и бесталанную троекницу. Тем не менее, они дружили.

На уроках физкультуры шапочка с помпончиком уже не маячила перед Метелиным — Таня теперь была все время в голове растянувшейся лыжной цепочки. А позади Сережу и еще парочку девочек, таких же, как он, никудышных лыжниц, подстегивал голос физрука: «Шевелитесь, родимые, шевелитесь! Палками активнее работайте, палками!» А

потом на границе зимы и весны ударила ранняя оттепель, лыжня просела, и занятия перенесли в спортзал, где девочки занимались отдельно от мальчиков.

Рукавички Метелин так и не вернул. Таня больше не вспоминала, а Сереже уже и не хотелось их возвращать. Он спрятал варежки в ящике письменного стола. А когда доставал взглянуть, сразу же ощущал на груди горчичный жар ее смуглой ладошки.

С мертвой точки их отношения сдвинулись на школьном вечере в честь 8 марта.

Раньше Метелина такие мероприятия мало интересовали. Танцевать он не умел, хотя музыку любил и чувствовал. Дома имелось немало пластинок с записями народных и популярных песен, танцевальных мелодий. Когда в квартире никого не было, Сережа включал проигрыватель и слушал в приятном одиночестве. На шумных вечерах в больших залах усиленная динамиками музыка звучала уже как-то жестче, крикливее, резала ухо. Да и сама их суетолочная взвихренная атмосфера заставляла Сережу, больше склонного к тишине и размеренности, быть не в своей тарелке.

Он бы и на этот раз никуда не пошел, если бы не Иванова. А то, что без нее вечер не обойдется, Метелин и без посторонней помощи догадывался.

Полдня накануне вечера Сережа находился в полнейшем смятении. Что надеть? Как он будет выглядеть? Никогда раньше он об этом не думал – не было никакого повода, но сейчас... Сережа пристально всматривался в зеркало и ничего утешительного для себя в нем не видел. Уши большие, русые волосы кажутся пылью припорошенными, высокий лоб портит кучка, как опят на пеньке, высыпавших возрастных прыщей, впалые щеки и худой, чуть выдвинутый вперед подбородок подернулись светлым пушком, который старший брат Дима, смеясь, называет недозрелой щетиной. Подпирающая голову худая шея переходит в тощую угловатую фигуру. А вот налитые густой чистой синевой глаза его, по утверждению Сережиной мамы, еще не одной особы противоположного пола могут привлечь внимание. Только что в них особенного, не верил Сережа, — глаза, как глаза.

С одеждой тоже проблема. Жили Метелины небогато, можно сказать, сводили концы с концами. Новая квартира добавила материальных забот. Обычно Сережа донашивал вещи за старшим братом. Что-то специально для него покупалось нечасто. Так что выбора, по сути, и не было: что в мир, то и в пир, в чем в школу ходил, в том и на вечер собрался. Отутюжил несколько коротковатые темные (истинный цвет их определить было уже невозможно) брюки, пошоркал щеткой предательски поблескивавший на локтях поношенный кургузый пиджачишко, почистил стоптанные ботинки. Хотел позаимствовать у брата и нацепить себе на шею модный тогда узенький галстук-селедку, разрисованный пальмами, но, примерив, раздумал: каким-то совсем чужим он в нем себе показался. В общем, пошел, в чем ходил всегда.

Широченный школьный коридор на втором этаже, служивший заодно и актовым залом, был полон. Народ собрался с восьмого по десятый классы. Что уж там про девятиклассников, а тем более выпускников говорить, которые вообще пижонами выглядели, — восьмиклассники и те преобразились. Модно подстриглись, причесались, некоторые даже набриолинились. Метелин, и постричься-то забывший, при виде одноклассников запаниковал. А когда заметил в толпе нарядной публики Иванову, и вовсе пожух, как ударенная заморозком трава.

Таня появилась на вечере в длинном вечернем платье. Его темно-фиолетовая ткань, хорошо оттенявшая смуглую кожу, при каждом движении волшебно переливалась в залитом электричеством зале. Неглубокое декольте приоткрывало Танину спину и ложбинку на груди. Исчез перетянутый розовым бантом на затылке хвост. Вместо него появилась какая-то умопомрачительная прическа, делавшая Иванову еще привлекательней и взрослей. А бант украшал теперь ее правое плечо.

Женщин в таких нарядах Метелин видел только на экране телевизора во время праздничных концертов да иногда в кино. Сережа не мог отвести от Тани взгляда.

И не он один. Восхищенно шушукались вокруг девчонки, обсуждая наряд Ивановой. Переглядывались ребята. С интересом посматривали в ее сторону выпускники. Благосклонно улыбались учителя, прощая неслыханную вольность (кому другому это с рук не сошло бы).

Сережа вдруг представил себя рядом ней, сверкающей, как сказочная принцесса, и от стыда и тоски у него заныло под ложечкой.

Потом начался концерт школьной самодеятельности, и Метелин понял, что в таком наряде Иванова пришла вовсе не для того, чтобы просто поразить публику. Она села за школьное пианино и сделалась как бы продолжением его черной полированной поверхности, по которой при каждом взмахе над клавишами Таниных рук метались ее отражения. Что она тогда исполняла — Шопена ли, Шуберта — Метелин уже не помнил, насколько хорошо играла, судить по своей музыкальной неразвитости — не мог. Но и рояль, в черной полировке которого отражался школьный зал, и извлекаемые из инструмента красивые сочные звуки, и сама Иванова в эти минуты, грациозно раскачивавшаяся из стороны в сторону в такт музыке, завораживали.

Когда начались танцы, Метелин затосковал окончательно. Таня была нарасхват. Она и танцевала замечательно. А в вечернем своем наряде так и просто эффектно! Сережа решил, что делать ему здесь больше нечего, пора уходить? и собрался уж было отлепиться от стены, но кто-то из присутствующих учителей объявил: «Белый танец. Дамы приглашают кавалеров!» Не без некого педагогического умысла, видимо, поскольку Метелин в своем угрюмом стоянии у стены был далеко не одинок, и девочкам чаще приходилось танцевать самим с собой.

Ребята приосанились, расправили плечи и, напустив на себя безразличие, с напряженной надеждой ждали приглашения. Метелин не ждал ничего, но заиграло любимое им «Арабское танго», и он остался послушать. Ну и... все-таки интересно было посмотреть, кого же пригласит Иванова. Он поиском ее глазами и не нашел. Куда подевалась?

— А ты чего не танцуешь? — оживилась Валя Осипова, давно стоявшая тут, рядом, исcosa поглядывая на Сережу. За вечер ее никто ни разу не пригласил. — Скучно ведь так...

И, не договорив, осеклась, замолчала, глядя за его плечо. Метелин оглянулся и увидел перед собой Иванову. Она разрумянилась, глаза ее возбужденно блестели, а оттого показалась Сереже еще прекраснее.

— Молодой человек, разрешите? — легким изящным движением подала она ему руку, и Метелин почувствовал, как наливаются до краев жарким волнением.

Он глупо улыбался, враз отяжелевшие ноги прилипли к полу. На него, хихикая, посматривали девчонки. Ухмылялись ребята. Положение становилось катастрофическим. Тогда Таня сама решительно взяла его за руку и повела в гущу танцующих. Опустив голову, чтобы не видеть провожающих его насмешливых взглядов, Сережа, как телок на привязи, поплелся за нею.

— Я не умею, — шепотом признался он по пути, чтобы раз и навсегда покончить с этим делом.

— А чего тут уметь? — удивилась Таня так, будто ходить и танцевать любой человек должен был начинать в раннем детстве одновременно. — Это ж тебе не джайф какой-нибудь и даже не вальс, а примитивное танго. Давай: одну руку мне на плечо, другую — на талию? и — поехали! — скомандовала она.

Сережа послушно расположил свои руки, где было сказано, и Таня сама повела его в танце. Сначала он неуклюже топтался возле своей партнерши, но, быстро уловив ритм и рисунок танца, стал двигаться почти в унисон с нею. Это удивительным образом раскрепощало Сережу и возвышало в собственных глазах. Он ловил на себе удивленные взгляды и невольно расправлял плечи, словно готовился выпустить из-под тесного пиджачка крылья.

— А ты молодец — на лету ловишь! — похвалила Таня, когда танец кончился. Метелин зарделся и готов был вот-вот взмахнуть крыльями.

Когда через несколько ритмичных мелодий зазвучало опять что-то медленное, Метелин, словно в ледяную воду ухнувшись, сам бросился приглашать Иванову. Она засмеялась, показывая аккуратные, ровные и такие же, как вся она сегодня, ослепительные зубки, и как-то загадочно сказала:

— Проснулся, наконец, царевич Несмеян!

Чем дальше, тем уверенней чувствовал себя Метелин. И если сначала, от страха деревенея, не ощущал близости партнерши, то потом каждое прикосновение к девушке наэлектризовывало Сережу так, что, казалось ему, между ним и Ивановой вот-вот пробежит электрический разряд. Что-то похожее, видно, происходило и с Таней. В очередном их танце она на миг приостановилась и вдруг стремительно подалась грудью к нему. Два налитых упругих шара, чуть не прорывая фиолетовую ткань платья, со всей силой уперлись ему в грудь, и он чуть не потерял сознание...

Метелин вошел во вкус и танцевал бы теперь еще и еще (только с Ивановой, естественно), но, когда он попытался пригласить ее в очередной раз, Таня замотала головой.

— Душно здесь, — сказала она и тут же предложила: — Лучше пойдем, погуляем? Только я переоденусь. Жди меня внизу, у раздевалки.

И умчалась. А минут через пять Метелин увидел ее уже без вечернего наряда, в брюках и свитерочке. Осталась только замысловатая прическа. Таня протянула ему большой целлофановый пакет с платьем и туфлями, и они вышли из школы.

Они шли по аллее высоких тополей. Мартовский морозец пощипывал щеки. Таня, совсем как взрослая дама, взяла Сережу под руку, и он даже сквозь несколько слоев их одежды почувствовал, как приливает к нему жар ее тела....

...О чём же они говорили тогда? — силился вспомнить Метелин, глядя, как за окном автобуса проплывают дома пригородного поселка.

Скорее всего, делились впечатлениями о вечере. Сережа восхищался Таниной игрой. Да и как не восхищаться, если он и звуки живого (а не по радио или телевидению) рояля услышал впервые в жизни. Вспоминали, кто и что прочитал нового, интересного в последнее время. Читал Сережа с детства всегда много и с удовольствием, поэтому здесь он был с Ивановой на равных. Расспрашивали друг о друге, о том, кому что нравится. И здесь у них неожиданно обнаружился общий интерес.

Еще в седьмом классе Метелин увлекся архитектурой. Получилось это как-то неожиданно, но захватило с головой. Он брал в библиотеке книги по архитектуре, читал архитектурные журналы. Не все, конечно, понимал, но вполне уже улавливал, какие в этой области идут процессы, какими закономерностями она отличается. Архитектуру Сережа воспринимал как гармоничное искусство. Как живопись, например, или ту же музыку. Архитектура, как и любое другое, искусство многих жанров и форм. Свое предпочтение Сережа отдавал формам крупным. И больше всего увлекала его градостроительная симфония. Чертить планы-схемы кварталов, домов, жилых районов стало его стихией. Ими был забит ящик его стола. Теперь вот собрался один из «спланированных» им микрорайонов воплотить в макете.

— Ух, ты! — восхищенно пропела Таня, услышав об этом. — Значит, у тебя пространственное мышление развито. А у меня дальше отдельных домов фантазия не идет. Представить себе сразу целый жилмассив мне трудно, — призналась она. — Я коттеджи люблю рисовать: небольшие такие, уютные домики. Хочешь посмотреть? Ты мне свои рисунки приноси, а я свои покажу.

От такого предложения у Метелина захватило дух. Приглашения в гости он не ожидал...

...Автобус уже катил по городским улицам. Метелин потянулся, зевнул, подумал, что надо выспаться. Рейс задержался, полночи пришлось проторчать в аэропорту отправления. И в самолете не спал, а только кемарил.

Жены дома Метелин не застал. В холодильнике нашлась тарелка с жареными котлетами. Метелин положил парочку на сковородку разогреть. Но аппетита не было. Поесть решил, когда поспит. А пока переоделся в домашнее, прилег на диван в зале и закрыл глаза. Но сон не шел. Неожиданная встреча с Ивановой не выходила из головы...

...Уже чуть ли не час Метелин нарезал круги вокруг дома Ивановых и никак не мог решиться войти в подъезд. Наконец собрался с духом, поднялся на третий этаж и замер с гулко бьющимся сердцем возле массивной, обитой дерматином двери квартиры Ивановых. Потянулся к пуговке звонка, но дверь вдруг распахнулась сама, и на пороге возникла Таня.

— Я видела, как ты в подъезд вошел, — сказала она удивленному Сереже и потянула его за руку.

Сережа переступил порог и оказался в просторной прихожей. Пока раздевался, снимал тяжелые осенне-зимние ботинки и всовывал ноги в тапки, в прихожей появилась белобрысая девчонка лет двенадцати, чем-то отдаленно напоминавшая Таню, и, как ему показалось, презрительно уставилась на него.

— Это Сережа, одноклассник, — сказала Таня и, в свою очередь, представила девочку: — А это Надя, моя младшая сестренка.

Квартира показалась Сереже огромной. Просторная прихожая, широкий коридор с ковровой дорожкой, большие комнаты с высокими потолками, коврами на стенах и современной дефицитной мебелью. А кухня, где вольготно чувствовали себя и круглый стол, и диван, и буфет, и большой холодильник, и много разных других предметов, Метелина поразила особенно. На ее пространстве, наверное, запросто вместилась бы вся их малогабаритная двухкомнатная «хрущёвка».

«Живут же люди!» — вздохнула б с завистью Сережина мама, но вряд ли удивилась. От нее Сережа уже успел узнать, что Ивановы — люди с положением и достатком: Марьяна Николаевна, мать Тани, главный врач районной больницы, а отец, Алексей Федорович — начальник крупного строительного управления.

Такой же просторной и высокой, как и все здешние апартаменты, была и комната сестер. У каждой на своей половине по письменному столу с книжными полочками над ним, плательному шкафчику и диванчику. На Надиной половине Сережа увидел огромный аквариум с подсветкой, где резвились рыбки самой причудливой окраски, а на Таниной — сверкающее черным лаком пианино с иностранными буквами на передней крышке. Проходя мимо, Сережа непроизвольно погладил его, но Таня потянула его к письменному столу.

— Садись, — пододвинула ему пуфик на трех ножках.

Сережа неуверенно присел, озираясь. Он чувствовал себя здесь, как в другом царстве.

На Танином столе легкий беспорядок. Вперемешку учебники, альбомы для рисования и папки для черчения, ноты, художественные книги. На другом конце — рисовально-чертежные принадлежности: разной твердости карандаши, ластики, краски, огромная на множество предметов готовальня, линейки и даже небольшая компактная чертежная доска с настоящей рейсшиной. От всего этого богатства у Метелина чуть слюни не потекли. А Таня уже тянула с его колен потертую канцелярскую папку, которую он принес с собой:

— Что там у тебя?

От волнения у Сережи вспотели ладони, но папка уже перекочевала в Танины руки. Она развязала тесемочки и стала перебирать-разглядывать ее содержимое. Делала она это очень внимательно, отчего Сережа волновался еще больше. А потом засыпала его

вопросами: а что это? а это? а почему здесь ты решил сделать так? а не лучше ли вот так?.. Вопросы из нее лились фонтаном. И чем больше их было, тем сильнее воодушевлялся Сережа. Он раскраснелся, глаза его горели, руки сами собой чертили в воздухе какие-то фигуры. Ему давно хотелось рассказать кому-нибудь о тех замечательных городах, которые рождает его воображение, и которые он хотел бы подарить людям. И вот сейчас такого заинтересованного понимающего слушателя в лице Тани он нашел.

Метелин, наверное, еще долго бы разглагольствовал, но тут вдруг из-за спины Тани выглянула ее сестра и, скривив рожицу, показала ему язык. Метелин запнулся, смешался и сконфуженно замолк.

— Надька! — прикрикнула на нее сестра, и та мигом исчезла.

— Не обращай внимания, — успокоила Таня, обдавая Сережу сыпанувшими из карих глаз теплыми золотистыми искорками. — Мелкая хулиганка.

— Тебе, наверное, неинтересно было? — упавшим голосом сказал Метелин.

— Ну что ты! — запротестовала Таня. — Очень даже интересно! Такая фантазия! Только знаешь... — замялась она. — Ты не обижайся, ладно?.. У тебя с рисунком... да и с черчением слабовато. Даже удивительно...

— Да я знаю, — согласился Метелин и вспомнил, как маялся на уроках рисования, когда приходилось переносить на бумагу те или иные предметы.

Однажды в шестом классе рисовали с натуры молочный бидон. Надо было, чтобы он получился выпуклым, объемным. Достичь этого можно было правильным наложением светотеней. Но именно этого Сереже как раз никак и не удавалось. И вместо стройного круглобокого молочного бидончика из Сережиного альбома выглядывало какое-то перепачканное графитовыми штрихами страшилище. Учитель рисования долго изучал его творение, потом, покачав головой, сказал:

— Смотри, это же так просто: надо только почувствовать, как ложится свет. Представь себе солнечный зайчик, блик. Он упал сюда... — учитель сделал несколько движений стирающей резинкой по корявой штриховке Сережи, и все светотени сразу же легли на свои места. Потом еще несколько едва уловимых пассов карандашом и ластиком...

Сережа следил за рукой учителя, и страшилище на его глазах превращалось в красивую и, главное, как настоящую посудину, которую хоть сейчас бери в руки и иди с ней к молочнице тете Кате, продававшей молоко из алюминиевых фляг прямо на улице.

— А я вот... — Таня положила на Сережины колени ворох ватманских чертежных листов.

Метелин стал перебирать их. Везде были нарисованы дома. Самые разные. Иногда многоэтажные, даже небоскребы попадались, но по большей части — одно-двухэтажные особнячки и коттеджи. Одни были похожи на корабли, покачивавшиеся неподалеку от берега, другие — на морские раковины. Третий и вообще поражали какими-то причудливо-фантастическими формами. Встречались в этом бумажном ворохе и этюды с изображением старинных зданий и узких средневековых улочек.

— Это Старый Таллин. — пояснила Таня. — Мы там отдыхали. Там так здорово! Оттуда все и началось. Я полюбила рисовать дома и свои стала придумывать.

Дома на бумаге выглядели совсем настоящими. Внешним их видом Иванова не ограничивалась. Немало было в ее рисунках интерьеров со всем внутренним убранством: мебелью, бытовой техникой, различными предметами домашнего обихода и уюта. Они тоже были выписаны и прорисованы так, что, казалось, при желании до них можно дотронуться рукой.

Да, отметил про себя с завистью Метелин, рисовала Иванова прекрасно! И не просто рисовала. Она фантазировала. В ее рисунках то и дело проявлялось что-то такое, чего Сережа ни на городских улицах, ни в журналах архитектурных никогда не видел. В каждом из ее коттеджей и особнячков была своя особинка, изюминка, но каждый чем-то — изящностью ли очертаний, воздушной легкостью, теплым ли радостным светом, его

наполняющим, — походил на свою создательницу. Во всяком случае, Метелин, вглядывавшемуся сейчас в глазницы различных по конфигурации окон Таниных домов, казалось, что вот-вот брызнут они снопами золотистых искорок.

От всего этого рисовального великолепия Метелин прижух. Но Иванова не дала ему окончательно впасть в уныние.

— Ты научишься рисовать, — сказала она, — обязательно научишься. В изостудию запишишься. А хочешь — я с тобой буду заниматься?

Такому предложению Метелин было обрадованся, но тут раздался звонок в квартирную дверь, и через минуту на пороге Таниной комнаты появилась очень похожая на нее женщина.

— У нас, кажется, гости? — услышал Метелин ее сочный, низковатый грудной голос, который еще больше добавлял сходства с дочерью.

— Это Сережа Метелин из нашего класса, — представила Таня.

— Здравствуйте, — тихо поздоровался Сережа и невольно поежился под строгим взглядом Таниной мамы. Теплых золотистых искорок в нем не было.

— Хотя бы чаем гостя напоила, — укоризненно покачала головой Марьяна Николаевна, Танина мама.

— Ой, мы тут заговорились, я совсем и забыла! — воскликнула в оправдание Таня...

...Марьяна Николаевна в юности своей была, наверное, вылитая Таня, подумал Метелин, ерзая на диване. А сейчас и Татьяна уже в том ее, матери, возрасте. Только выглядит моложавей да импозантней. И без материнской суровости...

Впрочем, суровость Марьяны Николаевны была скорее внешней. Во всяком случае, Сережа Метелин на себе суровости ее в дальнейшем не ощущал, хотя бывать у Ивановых с тех пор стал нередко. К его появлению Марьяна Николаевна относилась вполне благосклонно. И даже, по словам Тани, назвала его приличным скромным мальчиком.

Лучше б не называла никак! Этим определением она как бы ставила Сережу в общий безликий ряд, который Тане всегда был скучен, где находиться она не желала и предпочитала тех, кто из него так или иначе выделялся, выламывался. И не обязательно умом, талантом, внешними ли данными. Ее притягивало все неординарное. В чем оно выражалось, для Ивановой не имело фактически никакого значения. Ей подчас достаточно было лишь штриха, намека на неординарность. Остальное дорисовывало ее воображение. Что, собственно, красноречиво подтверждали и рисунки ее домов-коттеджей, принимавших самые причудливые формы.

Сережа Метелин Танино внимание зацепил тоже тем, что поначалу не вписывался в привычный ряд ее одноклассников. Худой, неуклюжий, угловатый, смешной. В куцем пальтишке, коротковатых брюках. Да еще без варежек в мороз... Потом она стала ловить на себе его взгляды. Время настоящей любовной горячки еще не пришло, а оттого ощущение от них было необычно, свежо и волнующе. Еще раз Метелин удивил Иванову увлечением архитектурой. И не столько даже самим фактом сходства их интересов, сколько тем, что при этом он совершенно не умеет рисовать. Продолжай Сережа ее удивлять чем-то и дальше в том же духе, возможно бы, их отношения и не зашли в тупик...

Но это сейчас, с дальней дистанции прожитых лет, легко так рассуждать, вздохнул Метелин, лежа на диване и глядя в потолок, а тогда до способности анализировать и себя, и других было еще как до Китая пешком.

...А тогда он просто упивался Ивановой. Как упивается томимый жаждой путник, припавший к долгожданному роднику. И готов был пить из него бесконечно, не осознавая, что родник может иссякнуть, что ему тоже нужно время для передышки и пополнения. Сережа, как тень, всюду следовал за Таней: провожал ее из школы домой, плелся за нею в изостудию, музыкальную школу, просиживал часами у нее дома, вызывая неудовольствие младшей сестры, с которой у них как-то сразу не получилось контакта. Он ходил с Таней в филармонию, в театры, даже в музеи она его водила. Именно она, потому

что обычно сам он предложить пойти куда-нибудь не мог. С одной стороны, стеснялся, да и не знал — куда, а с другой, если и знал, то ввиду постоянного отсутствия карманных денег купить билеты на двоих для него было всегда большой проблемой. Таня он в этом, конечно, не сознавался, но она и сама чувствовала, а потому просто ставила его перед фактом очередного культпохода, показывая приобретенные ею билеты. В классе их дружба не осталась незамеченной. Девчонки фыркали: чего это Иванова в нем нашла, но приходили к выводу, что это в ее стиле. Мальчишки и вовсе не вникали в их отношения, внутренне Иванову осторегаясь. Но все же ехидно посмеивались: таскается за ней, как привязанный.

А Метелин и рад бы, да уже ничего с собой поделать не мог. Любовный недуг одолевал его все сильнее.

Весна подкатывала к лету, на носу были экзамены, и Таня решительно сказала, подразумевая их свидания и самого Метелина, все больше становившегося ее тенью:

— Не отвлекайся! Тебе надо заниматься.

И она была права. Не имея способности все схватывать на лету, Сережа действительно должен был брать учебу усидчивостью.

Натура волевая и деятельная, Таня решительно отставила их встречи вне школы и пресекала все попытки провожать ее до дома. Категорически отвергла она и предложение заниматься вместе, сказав, что будут они мешать друг другу. Метелину осталось только смириться.

...И правильно сделала, мысленно похвалил ее сейчас Метелин, иначе завалил бы он тогда все экзамены...

...Сдать-то он их сдал, но потом свалился с температурой и проболел неделю. Из-за этого не смог пойти на вечер по поводу завершения восьмилетки, хотя очень хотел и мечтал о новых после него свиданиях с Ивановой.

А когда выздоровел, оказалось, что Тани нет в городе — как сообщила Валя Осипова, сначала погостит у бабушки, а потом отправится с родителями в Прибалтику, и раньше осени ждать ее не стоит.

Сережа впал в уныние. Не видеть Таню до осени казалось ему невыносимым. И он бы, наверное, засох от тоски, но получилось так, что особо скучать и тосковать ему не пришлось. Отец взял его с собой в рейс!..

Метелин-старший был речником: ходил механиком на большом теплоходе класса «река-море», бороздившем воды великой сибирской реки и даже выходившем в океан. Сережа давно упрашивал отца взять его с собой. Но тот лишь шутливо отмахивался: мол, пассажиров не берем. А тут после очередного рейса сам сказал: «Собирайся, в низовья, к Ледовитому пойдем. Я договорился, чтобы тебя матросом взяли».

И без мамы тут, конечно, не обошлось. Она была простым бухгалтером, но понимала и чувствовала людей очень хорошо. Своих детей — тем более. Поэтому вполне естественно мимо ее внимания Сережины страдания не ускользнули. Тем более что были они уже в той лихорадочной стадии, когда сегодня он готов был помчаться за Таней в след, а завтра, наоборот, бросить школу только для того, чтобы выбросить Иванову из сердца вон. Не отказать было маме и во врожденном педагогическом чутье. Она не стала приставать к Сереже с расспросами, утешениями или назиданиями типа «не по себе дерево рубишь», а просто постаралась «переключить» сына на другую «волну».

В общем, в середине июня Сережа Метелин начал постигать все прелести жизни речника. Матросская работа, может быть, и не ахти какая сложная, но хватало ее всегда. Особенно уборка палубы доставала. Сережа ведром на тонком канатике-лине зачерпывал забортную воду, выплескивал ее перед собой и веревочной шваброй, похожей на конский хвост, привязанный к деревянной ручке, начинал драить палубу. Хвост извивался, сопротивлялся, его надо было укрощать, заставлять двигаться ровно и размеренно.

Поначалу дрожали ноги, отваливались руки, но потом все это стало проходить и приходить ощущение наливающейся силы. В первые дни рейса Сережа после вахты валился пластом на свою шконку и засыпал мертвым сном, но уже через неделю мог подолгу любоваться у борта постоянно меняющимися пейзажами, от которых чем ближе к океану, тем больше захватывало дух. Река с каждым днем становилась шире, берега удалялись, пока не стали едва видимыми. Начиналась «губа». В разгаре было лето, а здесь чувствовалось ледяное дыхание океана...

...Как давно было, а запомнилось на всю жизнь, хотя в каких только уголках не пришлось ему в качестве инженера-строителя гидротехнических сооружений потом побывать! Как первая любовь то путешествие, пришло Метелину сравнение. Почему же — как? — поправил он сам себя, усаживаясь на диване (все равно сон никак не шел). — Все было первым: и то, и другое...

В школе Сережа появился только в середине сентября. Он загорел, обветрился, распрымился, прибавил в весе или, как сказала мама, «окраял», и (это уже по утверждению старшего брата) стал приобретать нормальный мужской вид.

Девятые классы перед началом учебного года две недели копали в пригородном совхозе картошку, поэтому занятия только начались, а что касается картошки, так она у Метелина была своя, не чета совхозной. Не случайно же директор уважительно расправил принесенную Сережей справку с солидной круглой печатью речного пароходства, в которой значилось, что он, Метелин, в период навигации — с такого-то по такое — работал матросом на теплоходе таком-то.

Потом, как обычно после учебного года, на уроке литературы — сочинение «Как я провел лето». Метелин тему эту терпеть не мог, потому что лето ему проводить приходилось в лучшем случае в пионерском лагере, но чаще — в городе, который от этого казался ему «зимой и летом одним цветом». Но сейчас Сережа писал с удовольствием, вспоминая речные пейзажи, нефтяные вышки в среднем течении реки, прибрежные поселки с деревянными тротуарами, рыбачки станки аборигенов и конский хвост ненавистной веревочной швабры.

После проверки сочинений литераторша по традиции зачитала лучшее. И никто в классе не сомневался, что его автором, как и год, и два назад будет Иванова. Но учительница вдруг стала читать сочинение Метелина. В классе повисла тишина. Одноклассники с удивлением оглядывались на него. Метелин напряженно замер. Никогда еще не приходилось ему становиться «героем дня».

На перемене Иванова подошла к нему. Она смотрела на него так, будто видела впервые.

— Ты возмужал, — сказала она и приложила смуглую ладошку к его груди.

Сережа почувствовал, как прошел через него электрический разряд, а сам он наливается горячным жаром. Метелин непроизвольно отстранился. Таня смутилась, убрала руку, но тут же решительно заявила:

— Нам надо встретиться и поговорить о наших путешествиях!

— Я не путешествовал, я работал, — с достоинством возразил Метелин, но от встречи отказываться не стал.

Река, Север на время заслонили Таню, приглушили тоску по ней, но не в силах были выветрить воспоминания. И чем ближе подходило завершение рейса, тем они становились настойчивее. Там, на теплоходе, Метелин не раз пытался представить себе их первое после разлуки свидание: как подойдет он к ней после уроков и с легкой развязностью морского, то бишь речного волка предложит, а не прошвырнется ли им в кафушку или еще куда. Но Таня опередила его...

Сережа поднимался по знакомой лестнице на третий этаж, и волнение перехватывало горло. Уже несколько месяцев он не был здесь.

В просторной квартире Ивановых практически ничего не изменилось. Кроме нее самой. В обтягивающем спортивном трико и в тон ему темном тонком свитерочке Таня смотрелась умопомрачительно. Линии ее фигуры были плавны и в то же время четки и стремительны. За упругой округлостью ее бедер, плеч, туго натягивающей свитерок груди ощущалась нерастраченная телесная энергия, которой уже тесно в своем сосуде. Казалось, еще миг — и из девственного девичьего кокона выпорхнет прекрасная бабочка-женщина.

...Красиво, похвалил себя сейчас за кокон и бабочку Метелин, окончательно раздумав спать. Но тогда никакие сравнения ему в голову не лезли...

Он узнавал и не узнавал Таню. И словно бы заново влюблялся в эту до срока созревавшую юную женщину.

Таня усадила Сережу на знакомый ему по прежним визитам треногий пуфик возле письменного стола в своей комнате, потом исчезла и вернулась с небольшим подносом в руках, на котором стояли две фарфоровые чашки с дымящейся ароматной черной жидкостью и плетеная корзиночка с печеньем.

— Будем пить кофе, — сказала Таня, расставляя чашки. — Растворимый, из Прибалтики.

По тем временам это был страшный дефицит, и Сережа осторожно, с некоторой даже опаской отхлебнул глоток.

— Ну, рассказывай, рассказывай! — затормошила его Таня.

Но Сережа вдруг засомневался. О чем рассказывать? О величественной реке, тайге по ее берегам, незаходящем солнце за Полярным кругом он уже написал в сочинении. О рыбалке с кормы теплохода? Да интересно ли ей это? И уж тем более не про «укрощение» же швабры рассказывать...

— Это новые? — выигрывая время, кивнул он на ворох альбомных листов на столе.

— Свежие, — подтвердила Таня и положила их ему на колени.

Метелин перебирал один за другим. Кривые средневековые улочки, старинные дома, небольшая площадь с католическим собором... И вдруг — портрет, набросанный не то углем, не то мягким карандашом. На нем парень с правильными чертами лица и длинными, почти до плеч, прямыми волосами. Слегка насмешливый взгляд его показался Сереже вызывающим. А от его чуть изогнутых в полуулыбке красиво очерченных губ он почувствовал чуть ли не физическую опасность.

— Кто это?

— А... — небрежно махнула Таня рукой. — Лицо в толпе.

Потом пошли фотографии, где сняты были то одна Таня на фоне тех же старинных домов и улочек, то вместе с матерью и Надей, то с отцом, то все вместе. А вот и опять он, тот парень с предыдущего рисунка. Сначала один, потом с Таней. На ее плече его рука. И все тот же насмешливо-вызывающий взгляд, в котором Сережа еще сильнее ощутил какую-то скрытую для себя угрозу. Таня же, прильнув к парню, лучезарно улыбается, светится.

— Опять это «лицо в толпе»... — пробормотал Метелин и еще раз спросил: — Кто он?

— Да так... — теперь уже явно смущилась Иванова и вырвала фотографию.

И Сережа понял, что вовсе не «так». И впервые ворохнулось в нем незнакомое доселе чувство. Кто-то третий, причем далекий отсюда, недосягаемый, вставал между ними. А он ничего не мог поделать. По нему стала растекаться желчь жгучей обиды. И уже не то чтобы рассказывать, говорить ни о чем не хотелось. И оставаться тут — тоже. Метелин вскочил, свалив пуфик, и, бессвязно бормоча то ли извинения, то ли слова прощения, бросился к входной двери.

...Надо все-таки поесть, решил Метелин и пошел на кухню разогревать котлеты. У плиты, возвращаясь еще раз памятью к той первой в жизни своей вспышке ревности, он подумал — а ведь с тех школьных лет ни к кому он, пожалуй, в дальнейшем такой остроножевой ревности и не испытывал...

Минует год, и у Сережи объявится куда более серьезный объект для ревности, а пока...

Через несколько дней Таня сама подошла к нему. Догнала на пути к дому, потянула за рукав.

— Ну, чего дуешься? — сказала. — Парень тот — студент из московского архитектурного. На практику приезжал. Вместе рисовали, по Старому городу бродили. Сфотографировались вот на память...

— В обнимку...

— Ну, и что? Москвичи — они вообще ребята раскованные. — И добавила после короткой паузы: — И ты можешь обнять, если хочешь...

От этих слов у Сережи пересохло в горле. Да он только мечтает об этом! Но что-то вдруг и царапнуло его в этом «если хочешь». Она ему позволяла, но позволяла и другому, который «захотел»...

Отношения их тем не менее наладились. Но обрели уже несколько иной оттенок. В школе они лишь изредка пересекались короткими взглядами и обращались (тоже нечасто) друг к другу исключительно по фамилии. После школы возвращались домой порознь. И встречались вновь по вечерам. Встречались «по-взрослому». Избегая знакомых, искали укромные местечки в большом сквере между микрорайоном и остальной частью города. Они бродили по осенним аллеям. Деревья накануне ноябрьских холодов уже почти сбросили «багрец и золото». Ноги утопали в сухой шуршащей листве. Таня останавливалась и, хохоча, подбрасывала вверх охапки палых листьев.

В один из таких моментов **это** и случилось... Листья опускались Метелину на голову, плечи, с легким шуршанием струились по куртке к ногам. Таня следила за ними взглядом. И вдруг он остановился на Сережином лице. Таня сделала короткий шаг и придинулась к нему почти вплотную, так, что Сережа почувствовал на своей щеке ее дыхание. Они стояли теперь грудь в грудь, глаза в глаза. В вечернем сумраке Танин взгляд казался Метелину загадочно-обещающим. И эта близость резко добавила Сережиному сердцу оборотов, а самого его заставила застыть в сладком неясном ожидании. Таня легкими касаниями ладошек смахнула с плеч Метелина листья и вдруг, обвив руками Сережину шею, потянула, пригибая, к себе. С податливостью пластилина он отозвался на движение ее рук. С высоты своего роста (а Метелин был заметно выше Тани) он, как в затяжном прыжке, падал в ее лицо. Лицо-земля стремительно приближалось, увеличиваясь и проясняясь в деталях, из которых только одна, подсознательно ощутил Сережа, сейчас важна, является и целью, и конечным пунктом его падения — полураскрытые Танины губы, приоткрывающие белую полоску ее зубов, похожую на сказочную молочную речку в темно-вишневых кисельных берегах. Впервые в жизни совершил Сережа подобный прыжок, и от страха спирало дыхание. Но в обруче влекущих к себе Таниных рук обратного пути уже не было...

От жуткого волнения Метелин мимо цели промазал и неловко шлепнулся своими губами где-то рядом с «кисельными берегами». Берега раздвинулись в улыбке, чуть сместились в сторону и уже в следующее мгновение поглотили Сережу. Оказались они вовсе не кисельными, а упругими, горячими, как и вся их хозяйка. А вкус, как и цвет, тоже имели вишневый.

И этот вишневый аромат еще не испорченных косметикой Таниных губ многие годы потом преследовал Метелина.

А тот первый осенний поцелуй вывел их отношения из состояния обычной дружбы мальчика с девочкой и полудетской платонической влюбленности на уровень уже

чувственного влечения. Теперь каждое свидание заканчивалось поцелуем. И вновь для него захватывающей науке овладения женскими губами Метелин с каждым разом чувствовал себя все уверенней. Тем более что и Танины губы и сама она, ведущая Сережу в их любовном танце, были прекрасным в этом смысле учебным пособием.

Ее умелость Метелина и удивляла, и настораживала. Откуда она все это знает? Где и с кем научилась? И ответ приходил сам собой: ну, конечно же, с тем студентом-москвичом — с кем же еще! И это переходившее в уверенность предположение отравляло самые мажорные и сладостные аккорды их свиданий.

…Метелин поставил на кухонный стол шкворчащую сковородку и усмехнулся при воспоминании о своих тогдашних ревнивых подозрениях. Крайне сомнительно, что студентик тот мог претендовать на роль ее учителя любви. Женщины в этом отношении вообще изначально натуры более тонкие, интуитивные. А у Тани, видно, в числе других ее талантов и тут был свой природный дар…

Зима пришла рано. Уже в середине ноября навалилась снегами и морозами. Сквер задул, замело. Места для романтических прогулок не осталось. Да и времени тоже. Впрочем, Метелин ради такого дела обязательно бы нашел. А вот Таня, как обычно, вся кипела и бурлила в гуще разных дел и занятий. За все время до Нового года они встречались раза два-три у Ивановых дома под предлогом совместных занятий. Но каждый раз им мешала Надька, которую, кожей чувствовал Сережа, его присутствие тоже чуть ли не бесило. Она мозолила им глаза и всячески пытала уколоть, поддеть Метелина, сказать какую-нибудь гадость. Таня цыкала на нее, отгоняла, как назойливую муху, но этого хватало не надолго, и все начиналось сначала. Сережа не выдерживал и, закипая от злости, прощался. Потом и вовсе перестал к ним заходить.

А в декабре ему пришлось подтягиваться чуть ли не по всем предметам, и стало совсем не до свиданий. Виделись они теперь только в классе. Таня, правда, предлагала ему свою помощь, приглашала домой заниматься, но одно лишь воспоминание об ехидной Надьке отбивало у него всякую охоту.

Определенные надежды Сережа возлагал на школьный новогодний вечер, но Таня с большой группой лучших учеников школ их города уехала перед Новым годом в Москву на кремлевскую елку. Метелин на вечер не пошел и до середины каникул практически не выходил из дома, маясь от скуки и тоски. Да и усилившиеся морозы к прогулкам особо не располагали.

На десятый день после отъезда Ивановой в Москву Метелин не выдержал и решил позвонить, чтобы узнать, вернулась ли она. Телефон-автомат находился в отделении связи через дорогу. В те времена квартирные телефоны на их городской окраине были большой редкостью. Семья Ивановых являлась одной из таких счастливых обладательниц. Но Метелин до сих пор не звонил Тане ни разу. Хотя номер телефона знал. Он и сейчас не сразу решился, опасаясь, что трубку возьмет кто-нибудь из родителей или, еще хуже, эта выдерга Надька, Иванова-младшая. Наконец, собрался с духом, набрал номер и после нескольких гудков услышал знакомый голос:

— Алло!
— Таня, привет!
— Привет!
— Как съездила?
— Да ничего, нормально. Приходи, расскажу.
— Может, лучше встретимся где-нибудь?

— Холодно. Нет, правда, приходи, — сказала Таня и перешла на таинственный полуслепот: — Послезавтра мама с Надькой с утра к тетке уедут, а папа в командировке. Будем тет-а-тет. Так что часиков в одиннадцать заглядывай.

Через два дня ровно в одиннадцать утра Метелин звонил в дверь к Ивановым. Таня открыла ему. Раздеваясь в прихожей, Сережа узнавал и не узнавал ее. С одной стороны, вроде бы та же самая Таня, но с другой...

Первое, что отметил Сережа, — это следы косметической ретуши на ее лице. Тронутые помадой темно-вишневые губы непривычно заалели, смуглые от природы щеки под действием крема ли, пудры побледнели, а тушь на ресницах и голубоватые тени под глазами, завершая картину, делали Таню совсем взрослой и... немного чужой. Косметикой Иванова, в отличие от многих старшеклассниц, которые иногда даже на уроки приходили накрашенными, вызывая раздражение учителей, практически не пользовалась. Разве что когда появлялась на школьных вечерах. Но сейчас-то она была у себя дома! Потому и раскраска эта бросалась в глаза.

Не меньше поразил Метелина ее сегодняшний наряд. Приходя к Ивановым, Сережа привык видеть Таню в чем-нибудь совсем домашнем — обычно в полысевших на коленях вельветовых брючках и свободном домашней вязки свитерке. Но сейчас она была в красивом кремовом платье выше колен с глубоким — сердечком — вырезом на груди. Мини еще только-только входили в моду, и женщин в таких волнующих мужской взор одеяниях в их городе встречалось мало.

Таня взяла Сережу за руку и повела за собой. Но не как всегда в свою комнату, а в зал. Одну из стен занимала мебельная «стенка» — по тем временам важный показатель достатка и престижности. Под солнечными лучами сияла, играя бликами, полировка, искрился за ее стеклами хрусталь. Целую секцию «стенки» занимали стройные шеренги собраний сочинений. Нашлось место в этом мебельном чуде второй половины двадцатого века и для телевизора с большим экраном. А у противоположной стены расположился такой же современный роскошный дорогой диван с придвинутым к нему журнальным столиком.

Метелин присел на краешек дивана возле столика. Таня осталась стоять в двух шагах от него.

Сережа наткнулся на встречный Танин взгляд. Он словно звал куда-то и в то же время спрашивал, а готов ли он, Метелин, отправиться с нею в неведомый путь. Сережа невольно опустил глаза. Появилось предчувствие, что сегодняшнее их свидание будет не таким, как всегда, и его ждет нелегкое испытание.

— Как тебе мое новое платье? — спросила Таня.

Вопрос застал Метелина врасплох. Таня не была падкой на тряпки, не имела привычки хвастать своими нарядами, тем более интересоваться производимым от них впечатлением, заранее зная, что ей все будет впору и к лицу. Метелин замялся. Таня огладила ладонями грудь, бедра, повернулась кругом, демонстрируя платье и себя в нем. Прекрасные Танины пропорции не скрадывала даже обычная школьная форма. А уж это плотно облегавшее фигуру и выделявшее каждый ее изгиб платье их особенно выгодно подчеркивало, делая девушку не просто привлекательной, а по-настоящему соблазнительной или, как будут говорить много позже, сексуальной. Ощущение усиливали высоко открытые стройные смуглые ноги с круглыми коленками.

— Я его в Москве купила. Мини. Писк моды! Но в Париже, говорят, еще короче носят. Примерно вот так... — И Таня на глазах ошарашенного Метелина потянула вверх краешек подола. — Ну, что молчишь? — зазвучали в ее голосе обиженные и требовательные нотки. — Нравлюсь?

— Ты мне хоть в чем очень-очень нравишься, — робко признался Метелин.

— Во всех ты, душенька, нарядах хороша! — засмеялась Таня, и Сережа, согласно закивал, поднимаясь с дивана.

Он просто физически ощущал, как исходящая от Ивановой энергия, словно железку к магниту, притягивает его к ней. Пара мгновений — и железка прочно прилипла к магниту: Сережа с Таней слились в поцелуе.

Метелин с наслаждением всасывал сочные Танины губы, ощущая между зубов кончик ее языка. Он сразу почувствовал, какая огромная разница целоваться на холодном воздухе уходящего в зиму сквера и здесь, в теплой квартире, плотно прижавшись друг другу. В отсутствие пальто, шарфов, шапок, прочих стесняющих движения вещей, и ощущения были другие. Разница примерно такая же, как между холодной и разогретой пищевой. Чем лучше разогрета, тем острее, насыщенней вкус.

Сережа никогда еще не был так близок к Таниному, да и вообще женскому телу. И видел-то нечто подобное лишь в фильмах «до шестнадцати», попасть на которые удавалось крайне редко. Но экранные объятия и поцелуи казались неким экзотическим атрибутом иной, нереальной жизни, которая и смотрелась как рыбки за стеклом аквариума. Теперь словно сам очутился на месте одного из киношных героев. С той, правда, огромной разницей, что все сейчас было очень даже реально и лишено «застекольной» созерцательности.

Гибкое Танино тело волнами крупной нервной дрожи накатывало на Метелина и билось о него морским прибоем. Дрожь эта передавалась Сереже, натягивая в нем до предела каждую жилочку. Резало низ живота. Брюки в этом месте готовы были вот-вот треснуть и лопнуть, вызывая смущение их хозяина. Но Таня словно лишь того и ждала, в страстных извивах своих с особой силой упираясь именно в это место.

Наконец, едва не задохнувшись, они оторвались друг от друга. Чуть отстранившись, Таня легонько погладила его по голове, шее, плечу и соскользнула рукой вниз, пройдясь ладошкой по вздувшимся брюкам, приводя Метелина в еще большее смятение.

Метелин хотел снова поцеловать ее, но Иванова остановила его порыв, приложив ладошку к груди:

— Ну, чего мы тут торчим посреди комнаты? Давай сядем.

И плюхнулась на диван, увлекая Метелина за собой. Не разжимая объятий, Таня откинула голову на валик, завозилась, устраиваясь удобнее, и Сережа почувствовал, как тело ее перемещается под него. Он увидел до невозможности близко, но уже под собой Танино лицо с опущенными веками и полураскрытыми нервно пульсирующими губами, лебединый изгиб шеи с маленькой родинкой над ключицей, которую раньше под одеждой не мог заметить и рвущиеся на волю из сердечка декольте смуглые полушария. Сережа инстинктивно провел по ним рукой, потом скользнул рукой в глубину выреза, тиснул одно из них раз-другой и осторожно высвободил упругое полушиарие из тесного одеяния. Острый вишневый, как Танины губы, сосок уставился на него. Метелин тронул сосок пальцем и удивился его твердости. Губы сами потянулись к нему, слегка сжали, впитывая молочный с легкой солоноватостью вкус юной плоти. Таня тихонько застонала. Сережа испуганно отпрянул, но она тут же притянула его голову к груди.

Его рука между тем без всякой его «команды» сползла к Таниному бедру, прошла по нему до горячего круглого колена и, на мгновение задержавшись, двинулась в обратном направлении. Достигнув края подола, нырнула под материю платья и продолжила движение. Одновременно губы Метелина то ласкали сосок, то впивались в Танины губы. Нервный прибой ее тела достиг штормовой мощи, отозвавшейся в нем не менее сильной ответной волной. И если бы тела их сейчас вдруг вошли в резонанс, то по закону физики, наверняка бы взорвались от переизбытка нерастраченной чувственной энергии.

Не встречая сопротивления, Сережина рука благополучно добралась до нижнего края Таниных трусиков. И оказалось, что коленки были не самым горячим местом. Куда более сильный жар исходил отсюда — из этого таинственного, вожделенного, но и одновременно пугающего перекрестья ног, прикрытоего тонким слоем белого трикотажа.

Если бы Метелин до конца последовал тогда «основному» инстинкту, то, пожалуй, все свершилось бы само собой. Но Сережа заробел. В своих мечтах и снах об **этом**, он, конечно же, заходил дальше — в пределах, правда, его еще малоискусшенного здесь воображения. А тут, когда ему фактически предложили показать себя мужчиной, он испугался.

Он никогда и не был отчаянным храбрецом. Броситься, не раздумывая, в огонь, в ледяную воду, прыгнуть с края обрыва в порыве самоутверждения — нет, это было не для него. Ему требовалось время, чтобы решиться, себя преодолеть, перешагнуть своей страхи. И часто он его так и не перешагивал. Сейчас Метелин был именно в такой ситуации «преодоления». И опять, как не раз с ним случалось, не хватило духу, чтобы перешагнуть черту. Хотя «ворота» другой стороны были уже распахнуты и нетерпеливо ждали его.

«Вдруг Танина мама с Надькой раньше времени вернется — что тогда?» — пришло Метелину в голову, и он ухватился за это «вдруг», как за соломинку.

— Ну, чего ты остановился? — задышливо сказала Таня, но тут же стала высвобождаться из-под него. — Подожди, только скину эту лягушачью кожу, — засмеялась она и повернулась к нему спиной: — Расстегни.

Метелин расстегнул молнию на платье.

— Дальше! — нетерпеливо скомандовала Таня.

Непослушными пальцами он кое-как справился с застежкой лифчика. Таня ловко выскользнула из платья, переступила через него, и Сережа даже зажмурился, увидев ее смуглую наготу, едва прикрытую белым трикотажем коротких трусиков.

— А ты чего?

Сережа нервно задергал пуговицу на своей рубашке, пытаясь расстегнуть ее. Наконец, дернул так, что вырвал с мясом, и она покатилась, подскакивая по полу.

— Так ты совсем без пуговиц останешься, — сказала Таня и, подойдя вплотную, сама взялась расстегивать рубашку.

Она освобождала из петель пуговку за пуговкой, а Сережа осталенел стоял, обжигаясь жаром ее нагого тела. Расправившись с пуговицами, Таня, чуть навалившись на Метелина, начала стаскивать с него рубашку. Ее твердые соски раскаленными стрелами воткнулись в голую Сережину грудь (Метелин с детства не носил маек), и он чуть не потерял сознание.

Освободив Метелина от рубашки, Таня потянула на себя ремень его брюк и жарко зашептала, как в каком-нибудь запретном фильме «до шестнадцати»:

— Ну, что же ты, ну, возьми же меня!..

— А разве можно?.. — пролепетал Сережа, не зная, как лучше выразить свои боязнь и сомнение. Но Таня поняла, и тут же попыталась их развеять.

— Ты ведь меня любишь, правда?

— Правда, согласился Сережа, хотя раньше он ей ничего такого не говорил.

— А если любишь, то можно! — решительно подвела черту Таня.

И тут совсем некстати из глубины затуманенного сознания выплыл парень-москвич с фотографии, уверенно по-хозяйски обнимавший Таню. Этот бы не оробел... А может, у них все **это** уже и было? И он говорил ей слова о любви, а они как пропуск — значит, можно... Пришедшая мысль обожгла так, что разом остудила жар Таниного тела и еще больше застопорила его самого.

Окончательно Метелин сломался, когда затрезвонил телефон. Таня на звонок не отреагировала.

— Телефон, — прошептал Сережа.

— Ну его! — с силой вжимаясь в Метелина, почти со стоном откликнулась Таня.

Телефон продолжал настырно трезвонить.

— Подойди! — чуть ли не с мольбой в голосе попросил Сережа и сделал попытку отстраниться.

Таня не пускала.

— Телефон, телефон... — бормотал он.

Иванова со вздохом отстранилась и пошла к телефону.

— Междугородка, папу спрашивают, — коротко объяснила она, вернувшись.

Пока она ходила, Сережа успел застегнуться и торопливо заправлял рубаху в брюки, уводя взгляд от Тани.

Покусывая губы, она подобрала с пола платье и пошла в другую комнату. В дверях обернулась и словно камнем в него бросила:

— Эх, ты!

Провожать его Иванова не вышла. Сережка в тоскливом одиночестве потоптался в прихожей, крикнул в глубину квартиры «Таня, до свидания!» и, не услышав ответа, захлопнул за собой дверь.

...Метелин вяло пережевывал котлету. Воспоминание о первом неудачном сексуальном опыте отбивало аппетит. Мало того что опозорился, но с того злополучного дня и отношения их, как сломанная ветка, стали засыхать. А ведь решил он на большее, как ждала от него в тот зимний день Иванова, тогда, возможно, и вся дальнейшая его жизнь пошла бы по-другому. С Таней. Но именно тогда он ее, наверное, и потерял. Метелин отодвинул сковороду. Есть совершенно расхотелось. Он вернулся на диван, закрыл глаза, пытаясь все-таки заснуть, но растревоженная память не давала погрузиться в благодатную дрему...

Сережа страшно переживал случившееся, ругал себя последними словами, пытался представить себе, как все могло бы закончиться, если б... Но правильно говорят: после драки кулаками не машут. А в драку он даже не ввязался — отступил, не начав.

Встречаться они перестали. В школе Иванова всячески избегала Метелина, а если разминуться не удавалось, демонстративно не замечала, смотрела мимо, «насквозь», на его взгляды никак не реагировала. На Сережино «здравствуй» коротко и безразлично кивала.

Каждый день, приходя в школу, Метелин давал себе зарок обязательно поговорить с Таней, объясниться, и каждый раз жгучий стыд позора останавливал его. А когда он все-таки, пересилив себя, решился и, догнав ее по дороге домой, тронул за плечо, Таня дернулась, как от удара током, резко развернулась, и Сережа увидел в ее глазах уже знакомое ему «эх, ты!». Были в нем и презрение, и обида, и глубокое разочарование. Будто взялся он познакомить ее с чем-то таким, чего она до сих пор не знала, но обманул, и в самый последний момент это незнамое оказалось просто миражом. Сережа вдруг остро ощутил, что Тане он больше не интересен, а значит, и не нужен. И как в незримую стену, вставшую на их пути, он уперся. А Иванова, не проронив ни слова, продолжила свой путь.

Это «эх, ты!» обжигало Сережу всякий раз, когда он вольно или невольно натыкался на ее взгляд, и долго в дальнейшем, уже и после окончания школы, преследовало Метелина, рождая нечто вроде комплекса неполноценности по отношения к «прекрасному полу». Кто-то другой на его месте, наверное, проявил бы настойчивость, еще и еще раз пытался бы восстановить отношения, но Сережа Метелин не умел ни настаивать на своем, ни уговаривать. Получая от ворот поворот, он, как правило, новых заходов не делал. В жизни, особенно производственной, это ему, безусловно, сильно мешало, но искоренить в себе до конца сей грех Метелин так и не смог.

До конца учебного года Иванова с Метелиным прожили, никак не пересекаясь и не соприкасаясь. Иванова была по-прежнему деятельной, разносторонней, блистающей всюду, чем бы ни занималась, восхитительно прекрасной в своей жгучей южнославянской красоте. Но все это существовало отныне совершенно отдельно от Метелина, который мог теперь лишь наблюдать за утраченной любовью со стороны и на расстоянии, мучаясь тупой болью непроходящей тоски.

Лето он снова провел на реке. И уже чувствовал себя на ней как рыба в воде. В школу возвращался с сожалением.

Появление Метелина Иванова встретила равнодушно. Сам он тоже не очень-то взволновался, ее увидев. Во всяком случае, не заколотилось отчаянно сердце, не

перехватило дыхание, не прихлынула радостная волна. Молча кивнули друг другу и разошлись по своим местам.

Дальше потекло обычным заведенным школьным порядком. Метелин все больше привыкал, что Иванова хоть и тут, рядом, но в то же время в другом, как бы параллельном мире, для него недосягаемом. Да и учеба отвлекала. Класс выпускной. Настала пора задуматься о будущем.

С архитектурой, строительством городов Сережа его больше не связывал. Во-первых, что за архитектор, не умеющий рисовать? А Метелин еще тогда, когда первый раз увидел эскизы Ивановой, понял, что не умеет. К тому же слишком живо занятие это связывалось с Ивановой, вызывало ее образ. Да и две навигации не прошли для Сережи даром. Без речных просторов он себе дальнейшую жизнь уже не представлял. Поэтому заранее нацелился в водный институт.

А пока надо было окончить нормально школу, сдать выпускные экзамены, получить приличный аттестат, а там и вступительные... Но поскольку он — не Иванова, которой все дается легко, играючи, значит, придется хорошо попотеть. Был еще один, подсознательный мотив учебного рвения Метелина. Хотелось хоть этим удивить Иванову, доказать ей, что он тоже кое на что способен, и снова заслужить ее внимание.

И Сережа действительно здорово подтянулся в учебе. Но обратили на это внимание только классная руководительница, которая теперь ставила его в пример остальным, не успевшим или не желавшим взяться за ум, да родители, которые, конечно, нарадоваться не могли случившейся метаморфозе. На Иванову же учебные успехи Метелина не произвели ровно никакого впечатления. А когда после февральских метелей запахло весной, ей и вовсе стало не до этого. У нее появился новый объект внимания...

...Отчаявшись заснуть, Метелин спустил ноги с дивана, откинулся на его спинку и попытался вспомнить его...

Светловолосый, чуть выше среднего роста, не сказать, чтобы широкоплечий и атлетического сложения, но с какой-то кошачьей гибкостью и грацией, со слегка пританцовывающей походкой разбитной парень этот появился вдруг в самый разгар их школьного вечера, приуроченного к 8 марта. Бдительный физкультурник и неизменная его помощница гардеробщица посторонних решительно не пускали, но он вот прошел. И чувствовал себя здесь своим в доску. Взгляд его серых нагловатых глаз бесцеремонно обшаривал кучкующихся у стен старшеклассников, лавировал между танцующими парами. Иногда парень здоровался, не подавая руки, со знакомыми ребятами. В адрес девчонок отпускал замечания и шуточки, от которых у тех загорались щеки и уши. Он напоминал Метелину прогуливающегося в африканской саванне возле стада антилоп леопарда, который присматривает себе жертву. Как в телепрограмме «В мире животных». Сережа невольно позавидовал раскованности парня и его магнетизирующей звериной грации.

На Метелина парень не обратил никакого внимания, тем не менее Сережа внутренне напрягся в ожидании неведомой пока ему опасности. Ждать долго не пришлось. Парень выщелил взглядом Иванову, оживленно болтавшую с Валей Осиповой, и, сразу весь подобравшись, как представитель семейства кошачьих перед прыжком, мягко переступая, направился к девушкам. Подойдя, наклонился к Таниному уху и стал что-то ей говорить.

Метелин подался весь вперед, пытаясь уловить слова разговора, но Иванова стояла у противоположной стены зала, и в общем гуле ничего было не разобрать. «Леопард» находился в полуоборота к Метелину и, плотоядно, как Сереже казалось, улыбаясь, что-то говорил и говорил Тане, пожирая ее взглядом. Вот-вот он прыгнет и вонзит в жертву свои когти и клыки! Брось сейчас Таня на Метелина взгляд мольбы о помощи, он, наверное, бросился бы спасать ее от «леопарда». Но Иванова совсем не походила на «жертву», которой грозило оказаться в лапах хищника. Она с явным интересом слушала «леопарда».

Улыбка не сходила с ее лица. Ее веселый взгляд рассеянно блуждал по залу, но ни на миг не задержался на Метелине.

Перерыв между танцами кончился, зазвучал еще один любимый Сережин танец — «Маленький цветок». «Леопард» галантно склонил перед Ивановой голову. Она ответно кивнула, взяла его под руку и прошествовала с ним на середину зала. Зал быстро заполнился танцующими, но Метелин видел только их двоих. Танины руки вольно лежали на плечах «леопарда», а он то слегка отпускал Иванову, то притягивал к себе, то легкими движениями рук скользил по ее спине к бедрам. Как кошка с мышкой — пришло в голову Метелину. Но тут же вынужден был признать, что и в танце «леопард» хороши: красив и грациозен. И вспомнил себя на его месте. Как неловко и неуклюже топтался возле Тани, не зная куда деть и что делать со своими конечностями. Было это ровно два года назад, здесь же, на таком же восьмимартовском вечере. Какое удивительное совпадение!

Но кто он и откуда взялся этот самоуверенный нахальный «леопард»?

«Ты что — не знаешь Славку Артюхина?» — удивился его вопросу стоявший рядом Сережин одноклассник, из школьных старожилов, учившихся здесь с первого класса.

Метелин не очень-то интересовался жизнью школы и перипетиями уличного бытия этого микрорайона. И там, и там он был на отшибе, один. Компаний ни с кем не водил, с местным хулиганьем и шпаной не знался. Потому и про никакого Артюхина не слышал, хотя и тянулся за ним шлейф сомнительной славы...

Славка Артюхин был года на четыре старше ребят Метелинского выпуска. Он тоже когда-то учился здесь и был грозой школы и кошмаром учителей. Десятый класс Славка не успел окончить. Накануне последнего звонка его арестовали прямо в школе — совершил с подельниками разбойное нападение. Как несовершеннолетний к моменту преступления Славка и срок получил то ли минимальный, то ли вообще условный. Теперь вот надумал навестить родное учебное заведение.

Весь вечер Артюхин не отходил от Ивановой. Это не осталось незамеченным. Девчонки, косясь на них, шушукались, парни многозначительно переглядывались. Такое внимание только тешило Славкино самодовольство. А Таня, казалось, и не замечала ничего вокруг, устремленная только к Артюхову, ловя каждое его слово, жест.

Зато Метелин жестоко страдал. Страдать, когда рядом с Ивановой никого не наблюдалось, было куда легче и спокойней. Во всяком случае, оставалась надежда, что его пока просто отодвинули в тень до лучших времен, и все еще перемелется. Но теперь...

Не дожидаясь конца вечера, Артюхин с Ивановой пошли на выход. Метелин в полном смятении смотрел им вслед, не зная, как же ему быть. А потом бросился за ними.

В вестибюле у раздевалки их уже не было. Метелин торопливо оделся, выскочил на улицу. Парочка маячила в полусотне метров от школы по дороге к дому Ивановой. Таня держала «леопарда» под руку, тесно прижавшись к нему. Неужели она уходит навсегда? Мысль эта подхлестнула Сережу, сбросила с крыльца и погнала наперекор обычной нерешительности вслед удаляющейся парочке. Безрассудность отчаяния несла его сейчас на превосходящего по всем статьям «леопарда». Так, наверное, не добившись ничего другими способами, бросаются на амбразуру.

Догнав их, Сережа дернул Артюхина за рукав. Тот резко повернулся и удивленно взорвался на Метелина:

— Те чё надо, пацан? Закурить, что ли?

— Ты это... — задыхаясь от бега и возбуждения, сказал Сережа, — уйди... Не трогай ее... Она не твоя...

— Кто это? — удивленно повернулся Артюхин к Тане, молча наблюдавшей за происходящим.

— Так... — равнодушно ответила она.

— Понятно, — сказал «леопард» и коротко, без замаха ткнул кулаком Метелину под дых.

Небо поменялось у Сережи местами с землей, сознание отключилось, а когда он пришел в себя, рядом никого уже не было. Он с трудом поднялся. Голова кружилась, его мутило. Зато теперь не оставалось сомнений, что ударом этим в их отношениях с Ивановой поставлена окончательная точка.

Славка, кстати, оказался нормальным пацаном. Некоторое время спустя сам подошел к Метелину.

— Извини, — сказал, — что так получилось. Не знал, что ты с нею до меня был. А со мной она сама пошла. Силой не тянул. Но третий, сам знаешь...

Неожиданное благородство Артюхина Сережу растрогало, и он больше и не держал на Славку зла.

Метелин не раз замечал их, гулявших в обнимку на тех же парковых аллеях, где когда-то сам бродил с нею. Видеть это Сереже не доставляло радости, но он смирился. Третий должен уйти...

Говорили, что Славка собрался экстерном сдавать экзамены на аттестат зрелости, а Иванова ему в этом взялась помочь. И наверное, не только она. Артюхин подходил после уроков к учителям, что-то спрашивал, ему что-то объясняли, писали на доске формулы... А сердечная Танина подруга Валя Осипова, с которой у Метелина с первых же дней знакомства сложились доверительные отношения, по секрету сообщила ему, что у Ивановой с Артюхиным бурный роман, что Танька совсем потеряла голову с этим бандюганом, и все идет к тому, что он ее окольцует.

Метелин и сам видел, как преобразилась Таня. Глаза ее сияли. Счастливый румянец алел на смуглых щеках. Она не двигалась — парила. В выражении ее лица, да и во всей фигуре тоже, появилось нечто, свидетельствующее о постижении ею какого-то нового состояния. Метелин догадывался — какого...

И получил однажды косвенное тому подтверждение. Закончился урок. Народ рванул к выходу. Метелин чуть задержался, а когда стал выбираться из-за своей партии, почувствовал толчок в спину и короткое «ой». Обернувшись, увидел Иванову. Она сидела на корточках рядом с упавшим пластиковым пакетом (тогда они еще только входили в обиход, и из всей школы только Иванова использовала его вместо портфеля), из которого вывалилось содержимое. Метелин извинился за свою неловкость и присел рядом, чтобы помочь собрать книжки и тетрадки. Глаза их встретились. Давно уже Сережа не видел так близко ее лица. Тем более такого счастливого. И опять тяжело ворохнулась обида.

— Цветешь и пахнешь?

— А то! — с уничтожающей дерзостью парировала Таня.

— Чем же он лучше меня? — вырвалось у Метелина против воли (он вовсе не собирался выяснять сейчас отношения), но именно это он все время и хотел все время после их разрыва спросить.

— А он не размазня!

Подхватив пакет, Иванова рывком поднялась и умчалась, а у Метелина в голове помутилось почти как от Славкиного удара тем памятным вечером.

Выпускные экзамены Артюхин сдавал вместе с ними. Таня все время была рядом. Она повторяла с ним билеты, что-то советовала, а то и успокаивала нервничавшего Славку, гладя по плечу. Потом ждала, когда он выйдет с экзаменом. Она жутко переживала за своего «леопарда», и Метелин ему так же жутко завидовал.

На выпускном вечере Иванова появилась в умопомрачительном нежнейшем розовом платье, со струящимися по плечам смоляными локонами. Она снова показалась Метелину сказочной принцессой и разом затмила всех выпускниц. Пришла Таня вместе с Артюхиным. Подтянутый и элегантный, в новом, ладно сидящем на нем костюме, он хорошо смотрелся рядом с ней. И весь вечер не отпускал ее от себя ни за столом, где пили шампанское и легкое полусухое вино, ни когда пошли танцы.

Метелин тоскливо подпирал стену, исподлобья наблюдая за ними, и думал, что завтра начнется уже другая жизнь, в которой, может быть, и не доведется ему с Ивановой встретиться никогда...

Так, в общем-то, и получилось. Жизнь действительно пошла иная, с новыми заботами и проблемами. Сережа поступил в водный институт на факультет портовых и гидротехнических сооружений. С одноклассниками он практически не общался. Видел однажды Иванову в центре города возле строительного института с большим подрамником под мышкой. А осенью, уже на втором курсе, повстречал Осипову. Она долго рассказывала, кто где и чем занимается. Не забыла, конечно, и подругу свою Иванову.

Со Славкой они поженились. Танины родители и раньше-то от их связи были не в восторге, а теперь и вовсе. Но с упрямой дочерью совладать не смогли. Молодые чуть ли не тайком расписались и ушли жить к Славкиной матери. Таня поступила на архитектурный факультет. Славка перебивался разными шабашками, потому что на постоянную работу из-за его бурного прошлого никуда не брали. (Армия, впрочем, по той же причине ему также не грозила.) Вряд ли ему где-то хорошо платили, но, тем не менее, деньги у него водились, и Славка время от времени водил молодую жену в рестораны.

В этом месте своего рассказа Осипова восторженно округлила глаза – вот, мол, как надо относиться к возлюбленной, и Метелин невольно потупился, словно виноват был, что сам до такой простой вещи не додумался.

В институте, не в пример школе, Сергей учился с желанием. Отличником не был, но и «хвостов» не имел. «Основательным станет инженером», – отозвался о нем один из преподавателей. Не чурался Метелин и обычной студенческой жизни. Мог посидеть с однокурсниками, выпить при случае, пивка попить. Но все-таки слова известной песни «от сессии до сессии живут студенты весело» были не про него. Не заносило его, как некоторых, не срывало с тормозов, не разбивало на порогах соблазнов. Вряд ли его можно было назвать очень расчетливым, прагматичным. Но здоровая доброкачественная рациональность в нем присутствовала как корабельный балласт, придающий судну необходимую остойчивость.

Семестры, сессии, производственные практики... Студенческие годы летели быстро. Распределили Метелина в Якутию, на строительство самой северной и уникальной в стране гидроэлектростанции...

...Метелин встал с дивана, прошел к окну. За окном буйствовала тополиная метель, а ему виделось, как из клубящегося, словно пар в кипящей кастрюле, морозного утреннего тумана вырастает огромная железобетонная плотина. Уходящая в незримую глубину под углом стена водослива делала ее похожей на укутанную облаками гору. Когда же к обеду туман рассеивался, она начинала смахивать на египетскую пирамиду, зажатую в тисках холодных северных сопок...

Сергею здесь нравилось. Стройка была в самом разгаре. Сюда съехались молодые ребята со всей страны. И это создавало особую дерзновенную, азартную, романтическую атмосферу. Не оставляло прекрасное и возыщающее ощущение непосредственной причастности к большому делу. Что помогало переносить тяготы нескончаемой работы, которая оставляла мало времени для отдыха. Впрочем, в здешних величественной красоты северной природы местах его вполне хватало для того, чтобы зарядиться свежими силами, бодростью и энергией. Метелин пристрастился к рыбалке. Поэтому даже в отпуске не спешил на материк. За все время работы на стройке он только один раз и появился в родном городе.

Подремывая в самолетном кресле, Сергей предвкушал скорую встречу с родными. Он вез кучу разных подарков вплоть до расшитых бисером оленых торбасов и дефицитной дубленки для матери. А что – зарабатывал он с северными надбавками

хорошо, мог себе позволить! И неожиданно пришла мысль: а ведь он сейчас, пожалуй, мог бы не хуже Славки, по крайней мере, повести Иванову в лучшие рестораны...

А дома узнал — Ивановой в городе нет. С Артюхиным она успела развестись, вышла замуж за какого-то питерского архитектора, с которым познакомилась еще во время преддипломной практики, и теперь живет и работает в Ленинграде.

Информацию об этом Метелин получил, можно сказать, из первых рук — от самого Артюхина. Они столкнулись с ним прямо посреди шумной улицы. Славка обрадовался Сергею как родному, сходу предложил попить пивка, и Метелин не отказался. Они расположились в укромном уголке одной из летних кафушек и, потягивая прохладное пиво, проговорили до вечера.

Говорил, изливая душу, в основном Славка. Самолюбивый Артюхин был, конечно, страшно горд, что сумел покорить такую красавицу, умницу и многих талантов девушки, как Иванова. Пришел, увидел, победил... Утер нос всем ее малохольным одноклассникам. Но если кто и покорил кого, то скорее — Таня его. Она отдалась ему без всяких взамен обещаний. Но и без них Славка сразу же понял, что пропал, ухнулся с головой в бездонный любовный омут, что теперь он готов пойти куда угодно и сделать что угодно, шевельни только Таня пальцем. Ничего подобного Славка, никогда не страдавший недостатком внимания со стороны противоположного пола, доселе не испытывал. Он и замуж ее уговорил, чтобы обратной дороги не было, чтобы на законных основаниях она принадлежала ему одному.

Только вот плохо он знал Иванову. Сергей, расставаясь с ней, успел понять, что принадлежать кому-то Таня может, пока видит в нем что-то новое для себя, необычное. Она и за Артюхина пошла, потому что это было вопреки родительской воле и не походило на обычное бракосочетание с фатой, дурацкой куклой на капоте свадебного автомобиля, многолюдным застольем с пьяными возгласами: «Горько!» До Славки это дойдет слишком поздно.

А тогда он был ослеплен и оглушен молнией любовного удара. Под его впечатлением и находился в начале их супружеской жизни. Славка по мере своих возможностей старался сделать ее нескучной. А поскольку его понимание «нескучной жизни» было ограничено в основном киношкой и выпивкой, то и предложения были соответствующие: фильм на вечернем сеансе и, если появлялись деньги, ресторан.

Таня пыталась вовлечь его в круг своих интересов — музеи, выставки, театры, концерты, студенческие тусовки, но Артюхин там откровенно скучал, и Таня стал скучен он сам.

— Тебя вспоминала, — рассказывал Славка.

— Меня? — встрепенулся Сергей и удивился: — Зачем?

— В пример ставила. Говорила, что вот Метелину нравилось вместе с нею по всем этим интеллигентским завлекаловкам шастать.

Метелин промолчал, но на душе потеплело от того, что Таня хоть как-то его помнит. А Славка продолжал свою нерадостную исповедь...

Учеба, разнообразная и увлекательная жизнь архитектурного факультета, где Иванова опять-таки была не последней фигурой, еще резче оттеняла скудость их супружества. И то, и это сосуществовали как некие «параллельные миры». И в мире институтском Таня задерживалась все чаще, вызывая бессильную ярость у Славки. Сам же он учиться дальше категорически отказался, как ни настаивала Таня. Школьный аттестат был для него пределом, которого он и достиг только благодаря случившемуся с ним «любовному удару».

Приличной работы ему при отсутствии профессии и наличии уголовного пятна в биографии тоже не находилось. А на вагонах с углем и прочем «бери больше — кидай дальше» сильно не разживешься.

— На какие же шиши по ресторанам водил? — спросил Метелин.

— Да... — замялся Артюхин. — Находились источники...

Серегей догадался, о каких источниках речь, и не стал уточнять.

Трещина, разлада между тем росла. Все чаще возникали беспричинные на первый взгляд ссоры, которые Таня обычно и начинала, раздраженная каким-нибудь пустяком, например оставленной Славкой на краю пепельницы дымящейся сигаретой. На какое-то время их мирило супружеское ложе, но и оно чем дальше, тем помогало меньше.

Не добавляли прочности их семейным узам и родственники. Родители Ивановой Артюхина зятем своим категорически не признавали и вообще их супружескую связь демонстративно игнорировали. Славкина мать, в свою очередь, к невестке относилась настороженно, интуитивно ощущая, что сыну она «не по Сеньке шапка». Да и Таня, выросшая в другой среде и атмосфере, тяготилась простоватой полуграмотной свекровью, всю жизнь проработавшей на швейной фабрике.

Но, как бы там ни было, большую часть Таниного студенчества они со Славкой просуществовали совместно.

А потом была преддипломная практика, которую везучей Ивановой довелось проходить в одном из ленинградских проектных институтов, занимающихся архитектурными проблемами.

Когда она вернулась домой, Артюхин неприятно поразился произошедшей в ней перемене. Она светилась каким-то только ей ведомым счастьем. И свет этот электросварочной дугой полосовал Славкино сердце, исходящее ревностью и зловещим предчувствием. Хорошо «приняв на грудь» (а поддавать с тоски он в последнее время стал все чаще), Артюхин устроил жене «разбор полетов». Впрочем, ходить вокруг да около не стал, а сказал прямо в лоб — что, хахаля завела? И в сердцах грязно выругался. И если бы Таня начала оправдываться, убеждать, что он ошибается, и тому подобное, все, пожалуй, на том бы и закончилось. Но она не проронила ни слова, только вскинула горделиво голову и прожгла Славку взглядом, в котором презрение мешалось с брезгливостью. И он сорвался — впервые за их супружескую жизнь поднял на Таню руку. Он ударил ее. Она отлетела к стене и стала спускаться по ней на пол. Он мгновеннопротрезвел, испугавшись, бросился к ней, поднял на ноги, стал взахлеб молить о прощении, заглядывая ей в глаза. И увидел в них ненависть.

Таня тут же собралась и ушла из квартиры Артюхиных. К Славке она больше не вернулась. Домой тоже не пошла. Кантовалась то у верной Осиповой, то у подруг в общежитии. Славка встречал ее в институте, пытался уговорить. Все было тщетно. Таня подала на развод, и в положенный срок их развели. В мае Иванова прекрасно защитила диплом и, получив (вероятно, не без помощи своего нового избранника) направление в Ленинград, рас прощалась с родным городом.

— Я вот только одного не пойму: ну что ей вообще было надо? — горестно подперев свою голову, спрашивал Метелина Артюхин. — Ведь она не жадная, на деньгах, вещах, тряпках не помешана. Тут у нас никаких проблем не возникало, даже если я и на мели сидел. Как мужик я вроде тоже ничего — и до нее никто не жаловался, и она сама подтверждала... Рылом, что ли, не вышел? Так объясни мне, какое рыло ей надо было, коли ни я, ни ты, светлое — ее не устроили?

Метелин только пожал плечами в ответ, но про себя вдруг подумал, что предложи Славка ей своей подельницей стать да вместе на «гоп-стоп» ходить, то, поразив ее тем самым еще раз, наверное, и реабилитировался бы. Правда, надолго ли? И получается: не размазня — а результат тот же...

С той встречи Метелин Артюхина больше никогда не видел. Одни говорили, что спился, сошел с круга, другие утверждали — снова сел и надолго. Верить можно было и тем, и другим.

А Метелин, утолив жажду северной романтики и отработав (даже с лихвой) положенные после института годы, вернулся в свой город. Насовсем. К тому времени и

остроты ощущений поубавилось, и стройка, пройдя свой пик, начала понемногу затихать. Но была еще причина, по которой пришлось расстаться с Севером.

Там, на Севере, Метелин женился. Случилось это как-то тихо, незаметно. Познакомились они с будущей супругой «в рабочем порядке» — трудились на одном участке. И жили в одном общежитии. Домой со смены частенько вместе возвращались. На общей кухне каждый со своим чайником или кастрюлькой сталкивались, словцом перекидывались. Потом стали ходить вместе в клуб в кино, на концерты заезжих артистов. Все больше сближались и привязывались друг к другу. Валентине было далеко до харизматической яркости Ивановой. В сравнении с нею смотрелась она этакой серенькой мышкой. Но в душе ее горел ровный спокойный свет, и от этого Метелину было с ней легко и просто.

В тот единственный северный отпуск, проведенный в родном городе, Сергей уже через неделю остро ощутил, как не хватает ему Валентины, и едва дождался ее окончания. Вернувшись, он сразу же отправился к ней. По пути, как всегда, заколебался, решимость начала стремительно убывать, а когда перешагнул порог ее комнаты, и вовсе приблизилась к нулю, но он, все-таки себя пересилив, сказал: «Валя, давай вместе...» Сказал чуть ли не шепотом, невразумительно, но она услышала, поняла и лишь молча согласно кивнула в ответ.

Свадьбы у них фактически не было. Съездили в райцентр, расписались, потом в столовой общежития узким кругом друзей и подруг это дело отметили. Администрация стройки выделила им комнату в только что отстроенном доме. Потом родилась дочь...

...Метелин с улыбкой вспомнил, как бережно, боясь зацепиться за какой-нибудь угол или косяк, вносил он свернутое в конвертик одеяло, из которого выглядывало розовое лицико малышки. Малышка давно выросла, стала взрослой, живет теперь своей семьей отдельно от них, и у нее есть уже собственное продолжение...

Именно дочь стала главной причиной их расставания с Севером. Болезненной слабенькой девочке здесь был явно не климат. Чтобы сберечь ребенка, они вернулись на материк. Там, в родном городе Метелины купили приличную по тем временам кооперативную квартиру. Северных денег хватило и на обстановку, и на поездку с ребенком к теплому морю с отдыхом и лечением на прекрасном детском курорте. И это была едва ли не самая счастливая в семейной жизни Метелина пора.

А потом Сергей устроился в проектный институт по своему профилю, и началась обычная рабочая рутинा с проектами, командировками, отчетами, производственными совещаниями и прочей текучкой, которая не только давала средства к существованию, но и позволяла чувствовать себя полноценным гражданином общества. Валентина тоже работала, хотя главные заботы о семье и дочери были на ней. В общем, жили они как большинство обычных нормальных советских семей накануне черной полосы разных там перестроечных процессов, о которых пока даже не подозревали.

Об Ивановой Метелин почти не вспоминал. Лишь иногда на краешке сознания промелькивал смутно ее образ, но тут же и гас. Информация о ней тоже была скучной. Сам он ее в городе никогда не видел, тем более что жил теперь совсем в другом районе. Но Осипова говорила, что Таня иногда навещает мать и сестру (отец у них умер). От нее же Сергей узнавал при их тоже редких встречах и новые факты существования Ивановой. Самым значительным был тот, что со своим вторым мужем-архитектором она через ряд лет совместного существования тоже рассталась.

Тут-то почему? — сам себя спрашивал Метелин. — Одно дело, одни интересы. И мужчина, по утверждению Осиповой, бывавшей у них в гостях, замечательный: интеллигент, умница, эрудит, прекрасный специалист, плюс масса других положительных качеств. Не без его помощи и поддержки Таня сумела немалого достичь. Снова скучно стало?..

Метелину скучать особо было некогда. Семья росла (за дочерью появился сын), забот прибавлялось. Зарплаты не хватало, хотя и дорос он до ГИПа (главного инженера проектов). Но это был, он знал, его потолок. А тут в последнее десятилетие уходящего века пошел в стране жуткий раздрай, напоминавший Метелину ледоход со страшным треском и грохотом взламывающегося льда. Вокруг, говоря словами поэта, «все было мрак и вихорь». Терялись ориентиры и перспективы. Прежняя жизнь стремительно разваливалась, а взамен ничего путного не вырисовывалось. Ставший вдруг ненужным государству, которое теперь уже ничего не строило, развалился и их ГИПРО, разлетелся на осколки фирмочек. В одну из них ударной волной разрушительного процесса занесло и Метелина. Дела здесь (особенно поначалу) складывались тяжело и трудно, с заказами был большой напряг, да и за уже сделанное клиенты расплачиваться или не спешили, или пускали в ход разные бартерные схемы. Ну, в общем, как и почти везде и всюду в то время. И Метелину еще повезло: многих других его сослуживцев просто смело, выдуло, словно пыль, на улицу.

В последний раз об Ивановой Метелин услышал лет за десять до сегодняшней встречи в аэропорту. Его пригласили на юбилей школы. Сергей Васильевич пошел. Одноклассников собралось мало. Кто болел, кого не было в городе, а кто и в мир иной ушел. Да и присутствующие выглядели не лучшим образом, потрепанные жизнью и придавленные грузом проблем. Стали рассказывать, кто где и как выживает в нынешнем хаосе и бедламе. И особо похвастаться никому было нечем. И тогда кто-то из ребят сказал:

— Только Ивановой и подфартило.
— А почему Ивановой? — удивился Метелин.
— Как, ты не знаешь? Она же замуж за американского миллионера вышла и в Штаты укатила. Говорят, своя фирма у них там.
— А ничего другого от Ивановой и ожидать нельзя было, — завистливо вздохнула одна из одноклассниц.

«Ну, вот, — подумал тогда Метелин, — и нашла себе Таня то, что искала...»

С тех пор ничего больше Метелин об Ивановой не слышал.

И вот эта неожиданная встреча: живая Иванова, собственной персоной...

Часть II

Надо позвонить Валентине, — спохватился Метелин. Обычно он оповещал жену о своем приезде прямо из аэропорта, а тут... Метелин начал набирать ее номер, но на полпути остановился, извлек из нагрудного кармана визитку. Тонкий запах дорогих духов защекотал ноздри. Метелин смятенно взглядывался в ряд телефонных цифр, не зная, что же предпринять. Все-таки позвонил по заведенной привычке супруге.

— Я со вчерашнего дня в отпуске, — сказала она.
— Тогда почему не дома? — удивился он.
— А тут горящая путевка в санаторий образовалась — один из наших отказался. Путевка льготная, всего за тридцать процентов. Вот я и решила в кое веки организованно отдохнуть. Так что три недельки тебе придется поскушать, дорогой. Котлет я тебе на пару деньков нажарила, продукты в холодильнике есть. В общем, хозяйствичай. Прости, что заранее не смогла предупредить. Так получилось — сама не ожидала...

Поговорив с женой, Метелин долго ходил по квартире, продолжая размышлять, звонить или нет Ивановой. С одной стороны, интересно, конечно, встретиться с первой своей любовью, рассмотреть поближе, узнать, как она живет, а с другой... Столько воды утекло! Считай, целая жизнь прошла. Стоит ли возвращаться в прошлое?

...Метелину осталось набрать последние цифры, как вдруг пришло в голову, что он совершенно не помнит ее отчества и вообще не знает, как к ней, этой чужой заграничной

даме, обращаться. Может быть, миссис Иванова, или как там у них, в американах полагается? Но пальцы его автоматически завершили набор, и из трубы раздалось грудное сочное:

— Алло!

— Это Метелин, — севшим от накатившего волнения голосом отозвался он.

— Сережа! — обрадовались на другом конце. — Как у тебя со временем? Мне сейчас в одно место надо сбегать, а часика в три мы могли бы вместе пообедать.

— А где?

— Один мой институтский товарищ держит ресторанчик с красивым названием «Лазурит». Это рядом с кинотеатром «Современник».

— Понял.

— Тогда в три. Жду.

Ровно в три Метелин спускался в полуподвально помещение ресторана. И в работе, и в отношениях он всегда был точен, аккуратен, исполнителен. К его удивлению, Иванова была уже здесь. Она сидела за столиком в глубине небольшого зала между декоративным деревом в кадке и расписанной причудливыми узорами стеной, и это было, пожалуй, самое здесь уютное и удобное для интимных бесед место. Иванова тоже заметила Метелина и призывающе помахала рукой.

Пересекая зал, Метелин лихорадочно соображал, как он должен сейчас себя повести: пожать по-товарищески руку или галантно поцеловать ее? А может, просто сказать — привет? Но Иванову, похоже, вопросы этикета совершенно не волновали. Она порывисто поднялась навстречу Метелину и бросилась ему на шею. И он вновь ощутил на себе знакомый с детства горячий жар ее тела.

— Ой, какой ты стал, — приговаривала она, осыпая его поцелуями, — красивый, представительный, сексуальный — вуа! Вон в какого красавца-лебедя вырос! Как в сказке.

От такого чувственного напора обычно сдержанному Метелину сделалось неловко. Он бросил украдкой взгляд в зал. В полупустом помещении никто не обращал на них внимания, и Метелин несколько успокоился.

Иванова усадила его напротив себя. К ним тут же подскочила официантка и вопросительно взглянула на нее.

— Можно подавать, — кивнула ей Иванова (было видно, что их ждали) и, повернувшись к Метелину, потребовала:

— Рассказывай! Как ты тут?

— Да как... — замялся Метелин. — Живу... Как и все.

— Хорошего мало, если как и все, — нахмурилась Иванова. — По сестре моей, Надьке, можно судить. Если бы я не помогала, то...

— Да нет, сейчас еще более-менее. Работаю в фирме, заказы есть. Раньше хуже было. Да ладно, что про меня! — махнул рукой Метелин. — Лучше про себя расскажи. Ты ведь теперь гостья зарубежная.

— Зарубежная, — легко согласилась Иванова, молодо и озорно сыпнув искорками золотисто-карих глаз, и на какой-то миг он снова увидел перед собой пятнадцатилетнюю девочку Таню, так поразившую его когда-то.

Они просидели в кафе допоздна. Потом Метелин, посадив Иванову в такси, вернулся домой и долго переваривал в густеющих вечерних сумерках подробности их randevu.

Говорила больше Иванова. Он только вкратце описал свою предшествующую жизнь, которая самому ему казалась слишком обычной и малоинтересной, особенно в сравнении с головокружительными перипетиями Таниной, да изредка задавал вопросы.

И в первую очередь спросил про Артюхина.

— А что Артюхин? — нервно передернула Иванова плечами. — Молодая глупость. Романтика на пустом месте. Рядом с вами, мальчишками, он тогда настоящим мужчиной

поблазнился. На понты его клюнула. Потом оказалось, что даже поговорить с ним не о чем. Пока поняла окончательно, что не ему мое поле топтать, несколько лет жизни потеряла.

— Но он тебя любил.

— Тоже мне — герой-любовник! — раздраженно сказала Иванова. — И давай больше не будем о нем. Не стоит он того, ей-богу! Но в одном я невольно Славке благодарна: на его контрасте смогла кое-что важное для себя увидеть и понять...

Довольно быстро осознав, что такому драгоценному камню, как она, нужна и оправа совсем другая, Иванова, хоть и тяготясь, продолжала жить с Артюхиным. По единственной причине: стыдно было возвращаться в родительский дом, откуда бездумно умчалась, закусив удила, юной горячей кобылкой, толком не понимая, с кем придется ей свое «поле топтать». Блудную строптивую дочь, конечно же, немедленно простили бы и возрадовались, что вернулась на круги своя, но Таню такой вариант с добровольным ущемлением собственной гордыни не устраивал, поэтому и после, порвав с Артюхиным, домой она не вернулась. Благо, на носу была преддипломная практика, и Ивановой как отличнице светил один из столичных проектных институтов. Со столицей, правда, в том году не получилось, но достался Ленинград, что для нее, с большим пиететом относившейся к старинной архитектуре, было еще и лучше.

Месяцы, проведенные в этом удивительном городе с его неповторимой красотой и архитектурной гармонией, стали для Тани волшебным сном. И когда она вернулась с практики домой, родной город, молодой индустриальный гигант со своей типовой урбанистической физиономией показался ей совершенно безликим и унылым.

Волшебный сон навевал Ивановой не только сам Ленинград. В экспериментальной проектной мастерской, куда она попала, собирались в основном недавние выпускники вузов — талантливая, интересная, творчески дерзкая, фонтанирующая самыми подчас невероятными идеями молодежь. И атмосфера была соответствующей. Студентка Иванова сразу же вписалась в коллектив и чувствовала себя здесь совершенно в своей тарелке. Но, что ей особенно льстило и возвышало в собственных глазах, — на Таню обратил внимание руководитель их мастерской. Сначала просто как на способную дипломницу, а позже...

У него, седеющего красавца с почти античным профилем, обрамленным черной бородкой, и имя было библейское — Давид. Прожитыми годами Давид Яковлевич Голембовский подходил к полосе среднего возраста, но на это намекало лишь пробивающееся в смоляно-черной курчавой шевелюре серебро седины, которое, впрочем, только еще больше украшало поджарого, юношески стройного до сих пор потомка богоизбранного народа.

Давид Яковлевич происходил из семьи потомственных петербургских архитекторов, которые корнями своими уходили тоже чуть ли не к петровской эпохе. Он рано проявил разносторонние способности, с отличием окончил школу, потом Московский архитектурный институт. Его дипломный проект сразу же взял приз одного из международных конкурсов. И еще не раз после будет он лауреатом престижных смотров зодчих. Его имя быстро приобрело известность в архитектурной среде и внутри страны, и за ее пределами. Не менее успешно продвигался он и по служебной лестнице. В возрасте Христа молодой кандидат архитектуры возглавил только что созданную экспериментальную мастерскую и за несколько лет руководства привел ее ко многим творческим успехам.

Обо всем этом Иванова узнала от ребят, едва переступила порог мастерской. А вскоре и сама поняла: в том, что молодежь мастерской своего начальника боготворила, нет ничего удивительного. Несмотря на должность и регалии, Давид Яковлевич оставался своим среди своих, равным среди равных, демократичным и доступным. Во всяком случае — старался. К нему запросто шли с возникшими по ходу работы вопросами, осенившими

вдруг идеями. Вокруг него постоянно клубился народ, дверь кабинета не закрывалась. Но и самого чаще можно было увидеть не за начальническим столом, а среди кульманов. Охотно участвовал он и в коллективных посиделках по поводу либо праздника, либо чьего-то дня рождения, либо еще какого события. И был душой компании, блестяя остроумием и белозубой обаятельной улыбкой.

На одном таком междусобойчике между ними и пробежала «искра». Давид Яковлевич в этот вечер был особенно в ударе: искрометно шутил, рассказывал анекдоты и смешные истории и вообще был красноречив как никогда. Вместе со всеми Иванова с удовольствием слушала его, смеялась и весь вечер ловила на себе его взгляды. Словно открывая для себя Таню заново, Давид Яковлевич смотрел на нее без обычной отстраненности, создающей дистанцию между руководителем и подчиненным, а с откровенным мужским интересом. От этого взгляда у нее загорались щеки и начинало сосать под ложечкой в неясном, но уже волнующем предощущении. Боясь оказаться легкой добычей, а заодно и проверить, не ошиблась ли она в своем предчувствии, Иванова, не дожидаясь, пока коллеги начнут расходиться, незаметно покинула вечеринку.

Она не ошиблась. Давид Яковлевич действительно «положил глаз» на нее. Он все чаще задерживался у ее кульмана или вызывал Иванову в свой кабинет – «для обсуждения деталей ее дипломной работы». На детали времени уходило минимум, дальше шли легкие разговорчики ни о чем, в ходе которых Давид Яковлевич ласкал и грел Таню любовным взглядом. И с каждым разом температура его повышалась. Начали встречаться они и за стенами института. Сначала Давид Яковлевич подвез ее на собственной новенькой «Волге» (немалая по тем временам редкость для рядовых граждан), потом пригласил на концерт модной зарубежной знаменитости, на которую очень не просто было достать билеты, затем в ресторан…

Ухаживал он красиво, галантно. И женщины при их появлении (парочку эту теперь можно было нередко увидеть в театрах, на модных выставках, различных мероприятиях питерской творческой интеллигенции, где Давид Яковлевич был своим человеком) обязательно обращали и на Таню свой оценивающий взор. А Таня купалась в лучах этого отраженного внимания. Тешило самолюбие уже одно то, что она вот так запросто может на зависть многим куда более зеленым и опытным особам идти под руку с этим взрослым видным импозантным мужчиной. Сознание же того, что благодаря ему она теперь может иногда окунуться в атмосферу мира избранных, и вовсе наполняло ее восторгом и гордостью.

В мастерской их отношения тоже заметили. За спинами начались пересуды, поползли слухи. Кто-то попытался «открыть» ей глаза, сказав, что «мастер-то женат». Иванова в ответ пожимала плечами. Что с того? Отношения у него с женой очень натянутые, и как он сам говорит, существуют они с супругой под одной крышей чисто номинально. А с другой стороны, даже в такой ситуации он ей не изменяет.

В последнее мало кто верил, но так оно и было: отношения Мастера и студентки, становясь все ближе, теснее, оставались тем не менее чуть ли не платоническими, если не считать объятий и поцелуев на свиданиях. О семейных своих делах Мастер говорил неохотно, а Таня на подробностях и не настаивала. Ей пока хватало того, что между ними было. Тем более что и сама-то — птичка несвободная. Но при мысли о неминуемом возвращении домой, к Артюхину, о том, что красивой питерской сказке придет конец, и все останется только в воспоминаниях, Тане становилось тошно.

Скорый, но, по сути, безрезультативный финиш их связи не радовал, вероятно, и Давида Яковлевича. Где-то за неделю до Танинного отъезда он неожиданно пригласил ее к себе в гости. Прочитав на лице Тани немой вопрос, объяснил, что жена в заграничной командировке.

— И случилось то, что должно было случиться… — опуская глаза, поспешило сказала Иванова, дойдя до этого места в своем рассказе.,

— Что случиться? — не врубился сразу Метелин.

— Нет, ты не изменился, — засмеялась Иванова. — На лету по-прежнему не схватываешь.

— А... — догадался Метелин и задал еще более глупый и бестактный вопрос: — Ну, и как?

Но Иванова отнеслась к нему спокойно.

— Как тебе сказать... — задумалась она на секунду. — Во всяком случае, особого восторга не испытала. Скорей, обыкновенно. До того момента все у нас было гораздо интереснее, романтичнее и даже чувственней. Но, знаешь, тогда вовсе не это было главное...

Главное было определиться в перспективе их отношений. И Давид Яковлевич перед расставанием пообещал обязательно вернуть Таню после окончания института к себе в мастерскую. А за это время утрясти свои семейные проблемы и устраниить все помехи для его с ней соединения.

Мастер свое слово сдержал. Новоиспеченный архитектор Иванова с красным дипломом на руках той же осенью снова оказалась в Ленинграде. Правда, потом почти два года, пока у Давида Яковлевича длилась бракоразводная тяжба, ей пришлось пребывать в не очень приятном статусе сожительницы. Но понемногу все наладилось, вошло в колею. Они расписались, стали законной семейной парой.

— Работе семейственность не мешала? — спросил Метелин, вспомнив, как страдал от этого один из его сослуживцев, трудясь в одном отделе с женой.

— Да нет, скорее помогала...

Естественно, что при своих связях и авторитете в профессиональных кругах Давид Яковлевич протежировал молодой жене, где только мог. Но за это грех в него было бросить камень, поскольку и собственные творческие возможности Ивановой были совершенно очевидны, особенно в различных конкурсных проектах, в которых она активно и небезуспешно участвовала. При такой совокупности усилий Иванова быстро росла и все прочнее утверждалась как самобытный оригинальный зодчий с весьма обнадеживающими перспективами.

— Снова дома-ракушки, фантастические особняки проектировала? — вспомнил Метелин.

— Не забыл, — улыбнулась Иванова. — Нет, это будет позже. А тогда все больше дворцы культуры, кинотеатры, соцкультбыт всякий, вокзалы, станции метро... Много чем занималась. Только вот типовуху терпеть не могла.

Для окружающих они были, несмотря на большую разницу в возрасте, блестящим альянсом. Внутри него тоже долгое время царило если не гармония, то согласие. Давид Яковлевич был по характеру человеком покладистым и терпеливым, умеющим сносить женские капризы и даже стервозность. А если прибавить сюда любовное обожание, с каким он относился к молодой супруге (чем не мог похвастаться в отношениях с первой женой) и которое не истаивало со временем, то можно было смело предположить, что их брачному союзу уготована долгая жизнь.

Они действительно прожили вместе почти полтора десятка лет.

— Четырнадцать, если точнее, — сказала Иванова.

Наверное, жили бы и дальше. Все вроде бы у них для счастливого семейного бытия имелось: и чувства (особенно со стороны Мастера), и достаток, и общие интересы, и друзья, которыми всегда полна была их квартира.

Не хватало одного — детей. У Давида Яковлевича не было их и в первом браке. Не выходило и во втором. То, что не «выходило», Иванова поняла не сразу. Когда жила с Артюхиным, прилагала все усилия, чтобы избежать беременности, которая была нежелательна, по тогдашнему ее убеждению, и для учебы, и для совместного со Славкой существования, все больше тяготившего ее. Став женой Мастера, Таня перестала беречься, положившись на волю природы и судьбы. Но судьба и природа словно забыли про нее.

В первые годы, увлеченная своим жизнеустройством в северной столице, Иванова об этом как-то не задумывалась, но чем дальше, тем настойчивей ее женское начало требовало исполнения главного своего предназначения. Давид Яковлевич, когда она говорила ему о своем желании, или отмалчивался, или переводил разговор на другую тему. Таню это обижало. И настораживало. Но поначалу она подумала, что дело в ней самой. И пошла провериться. Гинеколог никаких отклонений в ней не нашел и заверил, что рожать она может пачками. Значит, дело в Додике. И он, когда Таня насела на него, вынужден был это подтвердить, что, впрочем, проблемы не решало.

— А мне так хотелось тогда от него ребенка! — вздохнула Иванова. — Тем более что и время мое стремительно уходило — уже за тридцать, а у меня всё пусто-пусто. Сестра Надька и та меня обскакала, давно дочь родив...

Давид Яковлевич предложил компромисс: взять ребенка из детдома, но Таня идею категорически отвергла: не надо ей чужого «кота в мешке» — только свое!..

Однако «свое» оказалось несбыточным. Получалось, что Давид Яковлевич обманул ее ожидания, лишил той ни с чем не сравнимой новизны материнства, перед которой меркнет и тускнеет их прежняя сверкающая радужная жизнь, обнажая за собой зияющий провал и пустоту. Насколько, если отбросить физиологический, медицинский аспект, лично виноват в том (и виноват ли вообще) ее муж — значения для Тани не имело. Существовал непреложный факт, и этого достаточно.

Они еще жили под одной крышей, вместе появлялись на людях, как и прежде казались для окружающих прекрасной семейной парой, но трещина разлада, из которой тянуло холдом отчуждения, становилась все больше. Продолжая совместное сосуществование, они (и в первую очередь Таня) словно ждали подходящего порыва ветра, который сорвет их с общего гнезда и разнесет в разные стороны.

А по стране гулял «ветер перемен». Многое из того, о чем раньше и думать-то было противопоказано, сейчас становилось возможным и реальным. Появились первые кооперативы. В сфере торговли и обслуживания в основном. Иванову свежие веяния волновали и пьянили, как беговую лошадь, которую впервые после долгого времени морозных холодов вывели из зимнего стойла на дорожку весеннего ипподрома и которой хочется пуститься в галоп по еще не просохшей земле прямо вот так — без упряжи и наездника на спине. Иванова к этому времени сама возглавляла мастерскую, организованную не без помощи Давида Яковлевича. Но ей уже было тесно в рамках государственного института с его громоздким и основательно проржавевшим административным механизмом. Хотелось вольного простора собственного дела. И она рванулась туда, даже не представляя того, что может ждать ее на этом просторе.

На исходе восьмидесятых Иванова с группой молодых архитекторов из ее мастерской организовала едва ли не первый в Питере проектный кооператив с красивым названием «Лотос». Кооператив специализировался на малоэтажном строительстве и малых архитектурных формах.

— Вот там коттеджи всякие и начались, — сказала Иванова.

— И находились желающие? — удивился Метелин, вспоминая пустые магазинные полки тех лет, талоны на продукты, огромные унылые очереди и впечатление всеобщей нищеты.

— Находились, конечно. Люди и тогда очень разные были. Кто-то-то куска колбасы купить не мог, а для кого-то никаких материальных проблем не существовало. У них другая забота была — деньги хорошо вложить. А недвижимость, сам знаешь, — вложение надежное. Потом, когда капитализм по стране пошел полным ходом, особняки и вовсе стали вроде визитных карточек у новоиспеченных наших нуворишей. Так что расчет оправдался, и на отсутствие работы мы не жаловались. Тем более что какое-то время нас никто не подпирал, и пенки, естественно, были наши...

Иванова рассказывала про свое кооперативное детище, из личинки-куколки которого появилось потом более современного пошиба малое предприятие, а Метелин дивился ее

смелости, решительности и деловой интуиции, позволившей Тане не промахнуться в густом тумане тогдашнего бизнеса.

Он вспомнил свое паническое настроение тех лет и то катастрофическое ощущение, какое владеет пассажиром падающего с огромной высоты самолета в ожидании последнего удара. Привыкнув чувствовать себя винтиком большого отлаженного механизма, Метелин, оказавшись вне его, когда тот пошел вразнос, растерялся, потерял опору и долго не мог перенастроиться на какой-то другой лад...

К середине девяностых дела фирмы Татьяны Ивановой, правда, пошатнулись. Вставляли палки в колеса расплодившиеся конкуренты, наезжали братки-рэкетиры, не лучше их были менты, налоговики и разные прочие обуянные алчностью чиновники, которые тоже требовали «делиться». Не сладко было и с заказчиками. Приходилось подлаживаться под их вкусы, а они у «новых русских» были подчас «ниже плинтуса» — и какое уж тут архитектурное искусство, если важнее всего для них забабахать дворец круче и навороченней, чем у такого же ходячего кошелька! Это Иванову особенно угнетало. И даже заставляло подумывать, а не свернуть ли дело и не заняться чем другим.

Она, возможно, так и сделала бы, имей что-нибудь адекватное взамен. Обнаружив в себе, кроме других талантов, несомненные менеджерские способности, она не пропала бы и в любой другой сфере бизнеса, но хотелось продолжать заниматься любимым делом.

Неизвестно, как пошли дела и жизнь Ивановой дальше, если бы не встреча с Майклом.

Как ни странно, с американским предпринимателем и миллионером Майклом Дворжецким Татьяну познакомил сам Давид Львович на одной из светских тусовок с участием иностранных бизнесменов.

Дворжецкий был потомком старинного шляхетского рода, несколько поколений которого до Октябрьской революции 1917 года жили в России, а после, спасаясь от большевиков, эмигрировали кто на историческую родину, кто за океан. В числе тех, кто еще совсем детьми оказались в Америке, были и родители Майкла. Здесь же, в Штатах, родился, вырос, получил архитектурное образование, а потом пришел в бизнес и он сам.

Несмотря на то, что в строительной сфере практически все было «схвачено» и поделено, он сумел найти свою нишу и некоторое время весьма успешно в ней развивался. До той поры, пока не стало очевидно, что без выхода на внешние рынки двигаться дальше уже нельзя. И Дворжецкий активно взялся за поиски этих выходов: побывал во многих странах, оценивая местные возможности, организовал ряд филиалов.

В начале девяностых Майкл обратил свой взор на Россию. Рынок здесь, конечно, был безбрежным и бездонным, но и жутко рискованным среди того мутного внешнего разлива, который захлестнул тогда российские просторы. Надо было искать надежную опору, искать, на кого можно положиться. Сначала Дворжецкий прощупал почву в Москве, затем поехал в Петербург. И здесь ему повезло. В Питере он повстречал Давида Голембовского. В молодые годы, когда Россия еще была страной Советов, они, подающие тогда надежды архитекторы, не однажды пересекались на международных конкурсах и конференциях то в Париже, то в Риме, то в Лондоне. Рассказав старому приятелю о цели своего визита в Россию, Дворжецкий посетовал, как трудно в их стране найти надежного компаньона. Вот тогда Давид Львович и порекомендовал Иванову, аттестовав ее самым лестным образом, умолчав, правда, об их недавней супружеской связи.

— Он втюрился в меня с первого взгляда! — воскликнула Иванова и чему-то своему вздохнула.

— Кто бы сомневался! — отозвался Метелин и констатировал с неожиданной для самого себя резкостью: — И ты, конечно, своего шанса не упустила.

— Какой там шанс! — не обратив внимания на его тон, отмахнулась Иванова. — Я сама от этого американского шляхтича глаз не могла оторвать.

— Высокий, статный, красивый, элегантный, импозантный, с иголочки одет. Американский миллионер, к тому же. В общем, мечта всех российских золушек, — не

удержался и опять съязвил Метелин, испытывая нечто похожее на приступ запоздалой ревности.

— Довольно похоже описал, — улыбнулась Иванова. — Только я даже в самые трудные для меня времена Золушкой не была. И увидела тогда перед собой вовсе не спонсора для бедной девушки, а просто очень интересного мужчину.

— Принца... — попробовал Метелин продолжать в том же тоне, но Иванова на сей раз довольно жестко пресекла его новую попытку.

— Я, знаешь ли, и сама в то время не хуже любой принцессы была, — с отрезвляющей гордостью сказала она.

— А сейчас ты просто королева! — поспешил исправиться Метелин, в душе сомневаясь, что Таня вообще нуждается в комплиментах.

Впрочем, если разобраться, то он сказал чистую правду. В абрисе ее лица, в котором с годами отчетливей простили черты сербской красавицы, горделивой осанке и изящных линиях не потерявшей стройность фигуры и в самом деле угадывалось нечто королевское.

— ...А когда поговорили, пообщались, я поняла, что мы созданы друг для друга. И как мужчина с женщиной, и как деловые партнеры.

«Ну, что ж, — подумал про себя Метелин, — рыбак рыбака, выходит, увидел издалека...».

— Какое-то время я оставалась в Питере, организовывала наше совместное предприятие. Дела наладились. Он приезжал в Россию, я — в Штаты, Мы были деловыми партнерами и любовниками в одном флаконе. Потом он сделал мне предложение, и я уехала к нему в Санта-Монику.

— Где это?

— Это недалеко от Лос-Анджелеса. Майкл купил здесь землю на берегу океана, построил дом. А офис у нас был в самом Лос-Анджелесе. Сорок минут на машине. Очень удобно.

Америка поразила Иванову еще в самые первые ее визиты по делам их совместного с Дворжецким предприятия. Здесь всё и во всех смыслах рвалось в высоту, и всё, по сравнению с Россией, виделось Ивановой особенным, необычайным. И чем больше она узнавала эту страну, впитывая ее могучую энергетику, тем сильнее обольщалась ею. Здесь было где и в чем выразить себя, раскрыться. Иванова быстро и настолько органично вписалась в атмосферу американской жизни, что вполне можно было говорить, что они с нею, как с Дворжецким, тоже «созданы друг для друга».

Ну, а Дворжецкий стал для нее неким живым воплощением «американской мечты», образцом настоящего бизнесмена. Не обманул он ее ожиданий и в другом плане. Иванова была не первой его женой, но по той нежной и страстной чувственности, которую он к ней проявлял, в это не верилось. И Голембовский при всех других его достоинствах здесь явно проигрывал.

Впрочем, куда важнее стало не это. С Дворжецким Иванова сошлась уже на подходе к «бальзаковскому» возрасту, когда проблема деторождения становится для женщины все более острой. Как и Голембовский, Майкл был значительно старше ее, но у Татьяны теплилась надежда. Тем более что у него уже было две дочери в прежнем браке.

И Майкл ее ожидания оправдал: вскоре после ее переезда в Санта-Монику у них родился сын. Благословенная Америка помогла реализоваться Татьяне и как полноценной женщине!..

— Сын большой уже? — спросил Метелин.

— Да почти четырнадцать Джону.

— А почему Джон? Почему не Вацлав какой-нибудь? На польский манер.

— Это Майкл так придумал. Сказал: назовем Джоном в память о том, что ты в прошлой жизни была Ивановой.

— Оригинально, — усмехнулся Метелин и спросил: — А Марьяна Николаевна, интересно, как отнеслась к американскому имени внука с русским подтекстом?

— Мамы к тому времени уже не было. А папа умер еще раньше, — глубоко вздохнула Татьяна, и Метелин устыдился, что он, живя с ее родителями в одном городе, ничего не знал об этом.

Рождение сына привнесло в существование Татьяны Ивановой, теперь уже миссис Дворжецкой, то недостающее звено, которое делало узор ее жизни гармоничным. Сейчас у нее было все то, о чем обычно мечтает любая российская женщина, стремящаяся выйти замуж за преуспевающего иностранца, — деньги, вилла на берегу теплого океана, муж-миллионер и венец всего этого счастья — сын, при славянских корнях своих — гражданин великой Америки. А мальчик, унаследовав черты обоих родителей, удался на славу.

Кто другой на месте миссис Дворжецкой, наверное, полностью и безраздельно сосредоточился бы на своем семейном гнезде, но сидевшая в ней беспокойная и деятельная натура Тани Ивановой активно противилась этому. Малышу еще и полугода не исполнилось, а Татьяна уже снова была «в строю». Благо, Дворжецкий содержал целый штат прислуги, и проблемы, на кого оставить ребенка, не вставали.

Семейный бизнес четы Дворжецких шел хорошо. Сын подрастал и радовал. Казалось, что под щедрым калифорнийским солнцем так будет всегда. Но идиллия закончилась так же внезапно, как меняется подчас погода над океаном. Еще каких-то полчаса назад вокруг безоблачное небо с палящим солнцем до горизонта, но вдруг все начинает стремительно затягиваться черными тучами, которые вскоре разразятся грозой... Ничто не предвещало беды. На здоровье Майкл не жаловался. Если и недомогал когда, то в постели не валялся. Он и тогда, когда это случилось, просто прилег на диван отдохнуть, вернувшись из Лос-Анджелеса после напряженного дня, и уже не поднялся — остановилось сердце.

— Легкая смерть, — сказал Метелин.

— Легкая, да не для меня. Я совершенно не готова была к такому повороту. Майкл был мне и мужем, и партнером, и каменной стеной, за которой я чувствовала себя спокойно и комфортно. А после его смерти я растерялась. Что делать, куда мне теперь деваться в чужой стране? Возвращаться домой? К кому и зачем? Мамы с папой нет, у Надьки своя жизнь, да и разные мы совсем, хоть и сестры.

— А Голембовский?

— Думала и об этом. Но сомневалась, сложатся ли у нас заново отношения, тем более что не люблю я возвращаться к тому, что было. Да и сын... Это для меня Россия — родина, а он-то родился и вырос в Штатах. Совсем другая среда обитания. Оставался еще и наш совместный с Майклом бизнес. Его я тоже не могла и не хотела бросать. Так что осталась.

— И как тебе без «каменной стены»

— На первых порах очень тяжко пришлось. Началась дележка наследственного пирога, суды-пересуды. Возникли с большими претензиями первая жена и дочери. Куча других претендентов объявила. Как всегда и везде. Наследственные дела — вообще штука грязная, а тут еще вдова-иностраница. Хорошо, что Майкл предусмотрительно составил завещание. По нему большая часть всего состояния — а это фирма, усадьба в Санта-Монике, другая недвижимость, несколько десятков миллионов долларов на счетах — отходила мне с сыном. Родственники попытались завещание опротестовать. Столько помоев на меня было вылито, чего только не наслушалась! Но ничего, выстояла, отсудила все, что мне полагалось. Правда, со всеми рассорилась и осталась совсем одна.

— А сын?

— Если хочешь точности — то одна с сыном. Да и Джона иногда подолгу не вижу. Он рано самостоятельный стал. Мы с Майклом в разъездах, а он дома один... с прислугой. Сейчас в Калифорнийском университете учится. Там же в основном в общежитии и живет. Домой только наезжает время от времени. Так что — одна...

Иванова прерывисто, словно у нее вдруг перехватило дыхание, вздохнула и уперлась в Метелина долгим взглядом, в котором таились тоска и еще нечто такое, что заставляло учащенно биться сердце и ощущать смутное беспокойство.

Уже несколько часов минуло с их свидания. Метелин смотрел в открытое кухонное окно на заснувший в душной истоме короткой летней ночи город и никак не мог отрешиться от этого необъяснимого беспокойства.

Оно не покидало его и весь следующий день. А с ним эхом отдавалось в ушах это тоскливо, но вместе с тем и на что-то намекающее, как будто что-то ему обещающее — «одна...»

Надо было срочно отчитываться по командировке, да и куча других дел накопилась, однако все у Метелина валилось из рук, хотелось побыстрее вырваться из прокаленного солнцем офиса, но время словно застыло. Страшно хотелось позвонить Ивановой, и он несколько раз порывался, но тут же и останавливал себя, не представляя, что он ей скажет, кроме дежурных фраз типа «как ты там...», «чем занимаешься...» или «что ты делаешь сегодня вечером?..» Впрочем, последнее его как раз очень интересовало.

Часа в четыре пополудни Иванова позвонила сама. Метелин выскочил из-за своего рабочего стола и под удивленные взгляды сослуживцев помчался в коридор.

— Привет! — услышал он в трубке знакомый голос. — Что делаешь? — И следом, не дожидаясь ответа на вопрос: — А я успела о тебе соскучиться.

У Метелина сладко заныло в груди.

— Я тоже! — радостно откликнулся он и услышал после короткого Таниного смешка:

— Тогда нам надо вместе поужинать. Ты как смотришь?

— Да, да, конечно! — поспешил согласиться Метелин.

Ужинали снова в «Лазурите». И даже столик был тот же. Они пили французское вино, название которого Метелин тут же и забыл, поскольку в винах мало смыслил. К тому же лично для него весь этот изысканно сервированный стол (к их приходу опять явно готовились) был всего лишь гарниром к главному для него блюду — Тане Ивановой. Из-за вечернего времени народу в ресторане по сравнению со вчерашним прибавилось, но им никто не мешал: пальма в кадке как бы отгораживала их от остального зала, за столиком предусмотрительные хозяева заведения оставили только два стула, так что подсесть к ним тоже никто не мог.

Они сидели друг против друга, и Метелин в приглушенных тонах неяркого ровного освещения мог хорошо рассмотреть Таню. Ему и накануне никто не мешал делать этого, но вчера он был слишком поглощен рассказом Ивановой о перипетиях ее судьбы. Да и чувствовал себя подобно человеку, глядящему на жаркое солнце и вынужденному то и дело опускать или отводить в сторону взгляд. Но сегодня «солнце» уже не слепило глаза, во всяком случае, так остро, как вчера, этого не ощущалось, и Метелин мог спокойно рассматривать свою визави.

Удивительное дело, но время словно бы обошло Иванову стороной: оно не только не состарило ее, но и внешне почти не изменило. Только тверже и резче стали черты лица, да появились расходящиеся веером из уголков глаз тонкие морщинки. Зато в волосах — ни единой сединки, и глаза оставались удивительно молодыми. Окунаясь в них, Метелин переносился в то уже далекое теперь время, когда солнечным морозным днем любовался в классе янтарным на фоне замерзшего окна профилем Ивановой и ждал, когда она полуобернется к нему, и ее карие глаза сыплют в него золотистыми искрами...

— Что-то у меня не так? — перехватив его взгляд, забеспокоилась Иванова, доставая из сумочки зеркальце.

— Нет-нет, — успокоил ее Метелин, — ты прекрасно выглядишь! Просто... — чуть помялся он, — я восьмой класс вспомнил, когда мы познакомились.

— Ты знаешь, а я не помню, как мы с тобой познакомились, — призналась Иванова.

— Была физкультура, лыжи, а я варежки забыл. Ты мне тогда свои отдала. Сказала, что у тебя руки никогда не мерзнут. Выручила, а я рукавички забыл вернуть. Они у меня до сих пор хранятся... Как память о тебе.

— Да-а... — удивленно и в то же время взволнованно отозвалась Иванова. — Выходит, ты все это время не забывал меня?

— Выходит...

— А знаешь, я и сейчас в любые холода с голыми руками хожу. Не выношу перчаток, рукавиц.

— Да какие в вашей Калифорнии холода! — сказал Метелин.

— Но я иногда и в холодную Россию приезжаю. И здесь вдруг встречаю человека из далекой моей юности, который, оказывается, помнит меня еще девочкой. Это страшно приятно...

Теперь уже Иванова не спускала с Метелина глаз. Она смотрела на него с тем жадным интересом, с каким разглядывают после долгого отсутствия знакомые места: что-то, конечно, просматривается и прежнее, но все-таки как все здесь изменилось!.. И трудно узнать теперь в этом привлекательном седеющем мужчине нескладно-угловатого мальчишку-старшеклассника из ее школьной юности.

Видения той поры одно за другим стали вспыхивать в ее сознании.

— Таня, что с тобой! — вывел ее из забытья голос Метелина.

— Ой, да ничего, ничего! — тряхнула она головой, приходя в себя. — Задумалась...

— И предложила: — Сережа, пойдем, воздухом подышим?

Метелин вдруг вспомнил тот первый школьные вечер, свои неумелые танцы. Точно так же Таня предложила тогда пойти подышать свежим воздухом... Как удивительно все повторяется?.. Он кивнул и поднялся из-за стола.

— Ты иди, я догоню, — сказала Иванова и пошла в сторону служебного помещения.

Через несколько минут появилась на улице, где у входа в ресторан ожидал ее Метелин, и сунула ему в руки большой пластиковый пакет.

Они медленно брали по бульвару, взявшись за руки. Дневной зной отступил, но и желанной прохлады в застывшем от безветрия воздухе не было. Даже сюда, под кронами кленов и лип, проникали бензиновый перегар и тяжелый дух горячего асфальта проезжей части. А Метелину виделся осенний сквер на городской окраине их детства и фигуры девочки и мальчика на одной из аллей...

— Там все и произошло... — сказал Метелин.

— Где? Что произошло?

— А, извини... Сквер на нашей окраине вспомнил. И как мы целовались там. Тогда осень была поздняя. Деревья голые, под ногами листья шуршали, а нам жарко... Мне жарко, — поправился Метелин.

— Да мне тоже холодно не было, — засмеялась Иванова и погрустнела: — Как хорошо в юности — все впервые, все только начинается, все необычно! Иногда мне так хочется вернуться туда.

— Жаль, машины времени нет, — улыбнулся в ответ Метелин.

— Я думаю, если сильно захочеть, то можно и без машины времени обойтись, — взорвала Иванова. — Я вот, тебя увидев, просто страшно захотела... — Она внезапно остановилась, словно в голову ей вдруг пришла какая-то интересная мысль, а через пару мгновений, крепко взяв под руку, потянула его за собой: — Пошли!

— Куда? — не понял Метелин.

— Скоро узнаешь.

Она остановила такси, что-то сказала его хозяину (видимо объяснила, куда надо ехать), а когда сели, тесно привалилась к нему. У Метелина враз пересохло во рту. Он

осторожно высвободил притиснутую ее плечом руку и неуверенно обнял Иванову. В ответ она прижалась еще теснее, положив ему голову на плечо.

Ехали молча. Вороненого отлива ее волосы щекотали ему шею и ухо. Боясь пошевелиться, Метелин скашивал глаза в окошко машины и с удивлением обнаруживал, что едут они по знакомому с детства маршруту. А когда показался тот самый сквер, сомнений уже не оставалось. Их окраина, конечно, сильно изменилась — разрослась, взлетела вверх высотками, засияла стеклом и металлом, стала такой же современной, как и другие части города, но что-то все-таки оставалось и от нее прежней.

Иванова оторвалась от Метелинского плеча и сказала таксисту:

— А сейчас, пожалуйста, направо, вон к той трехэтажке.

И Метелин с удивлением понял, что приехали они не куда-нибудь, а к дому Ивановых. Как и другие оставшиеся с той поры постройки, дом одряхлел, а на фоне многоэтажных красавцев вокруг был просто жалок, словно зажившийся старик, путающийся в ногах у молодых высокомерных акселераторов. Тем не менее продолжал стоять, где и десятки лет назад, и судя по шторам и цветочным горшкам на подоконниках, в нем и по сей день жили люди.

— Узнаешь? — кивнула Иванова в сторону дома.

— Жив, старик, — отозвался Метелин и подумал, а сохранился ли их дом, где он не был со временем смерти матери.

Они вошли в подъезд, по лестнице со сломанными перилами поднялись на третий этаж. Под ногами хрустели обвалившиеся со стен и потолка куски штукатурки. Вот и знакомая дверь. На фоне остальных на площадке она выглядела все еще внушительно. Иванова достала из сумочки ключи. Щелкнули замки.

— Входи, — пригласила Иванова, первой переступая порог.

Метелин последовал за нею в нежилой сумрак. Иванова нашарила на стене выключатель. Прихожая осветилась. Теперь она показалась Метелину еще просторнее, чем тогда, когда он впервые переступил порог этой квартиры. «И совсем пуста», — догадался он, глянув на голые крючки вешалок. Хотел снять по привычке туфли, но Иванова остановила:

— Не надо. Чистотой квартира не блещет. Надька наведывается сюда редко.

— И что — здесь никто не живет?

— После смерти родителей Надька здесь некоторое время обреталась, потом решила продать. Да вот покупателей все не найдет.

— Немудрено. И дом убитый, и квартирка... Ремонтик ей нужен, — говорил Метелин, расхаживая по квартире и заглядывая в пустые комнаты.

— Нужен, конечно, — соглашалась Иванова. — Да только руки у Надьки с мужем, видишь ли, не доходят. Они на готовенько горазды. Квартиру новую я им купила, а родительскую сами даже и продать не могут.

Заглянул Метелин и в комнату сестер. Вся мебель оставалась на своих местах: диванчики у стен, письменные столы у окна, покрытый слоем пыли пуфик, аквариум с рыбками на Надиной половине. Не хватало только немецкого пианино.

— А те твои этюды, рисунки сохранились? — почему-то чуть ли не шепотом спросил Метелин.

— Не знаю, — сказала Иванова, обнимая его сзади за талию. — Мама вроде бы хранила, а после нее — не уверена. Да и зачем?

— Память.

— Я, Сереженька, слава богу, еще жива, и здесь не музей. Ладно, пошли в зал, — потянула она его за собой.

В зале тоже особых перемен не произошло. Разве что телевизор в мебельной стенке был посовременней. Сюда же, оказывается, перекочевало и пианино.

— Выкладывай, — показала Иванова на пакет. — Продолжение банкета устроим здесь.

Иванова достала из «стенки» тарелочки из родительского еще сервиса, хрустальные фужеры, почерневшие от времени ножи и вилки столового серебра, сходила на кухню, вернулась оттуда с полотенцем и салфетками, протерла посуду.

Удивительно, отметил про себя Метелин, но в ней еще оставалась девичья грация — столь огромная редкость для дам ее возраста.

— Ты, наверное, фитнесом занимаешься, — сказал Метелин, разливая вино. — Фигура, как у молодой.

— Правда? — зарделась Иванова.

— Правда, — подтвердил Метелин.

— Без фитнеса тоже не обошлось, но в основном, знаешь, — матушка-природа. Да ты тоже, смотрю, не растолстел у меня, — сказала Иванова.

И у Метелина радостно екнуло внутри. Этим своим «у меня» она как бы возвращала его к себе.

— А знаешь, я какая гибкая! — с ребячьей гордостью воскликнула Иванова. — Могу и на мостик встать. Хочешь?

Метелин протестующее замахал руками, но она стала прогибаться назад и действительно сделала хороший гимнастический мостик.

Метелин зааплодировал. Иванова молодо крутнулась на месте, потом, склонив голову, присела в реверансе.

— Нет, правда, я еще ничего? Ну, хоть немножко тебе нравлюсь? — спросила она с какой-то мольбой и надеждой.

И это было что-то совершенно невозможное в прежней Тане Ивановой, бесконечно уверенной, что не нравиться она просто не может. Когда здесь же нечто подобное Иванова спрашивала его много лет назад, демонстрируя свое потрясающее смелое по тем временам платье мини, подчеркивающее все ее прелести, она заранее знала ответ. Да и смысл вопроса тогда был совсем другой.

А в чем он сейчас? — спросил себя Метелин. — Не в том ли, что время чем дальше, тем меньше оставляет надежд каждому. Даже тем, к кому оно пока еще благосклонно?

— Конечно, нравишься, — со всей искренностью сказал Метелин.

— Тогда давай выпьем за нас, — предложила Иванова. — И многозначительно уточнила: — За нас с тобой.

А чуть позже, когда они пригубили еще по разу, спросила:

— В тебе этот диванчик, на котором мы сейчас сидим, никакие воспоминания не будят?

Метелин покраснел. Очень не хотелось ему еще раз вспоминать тот свой позор, ставший причиной их расставания. И зачем она его об этом спрашивает?

— Кажется, у нас здесь с тобой что-то происходило, — пробормотал он, опуская глаза.

— Значит, не забыл. Происходило... Да не произошло... — вздохнула Иванова.

Специально напоминает — издевается, решил Метелин, и ему стало нехорошо.

— Ты, Сережа, недавно про машину времени говорил, — обняла его Иванова. — А давай представим, что мы с машиной или без — неважно — действительно вернулись в прошлое. Смотри, здесь почти все, как тогда. И тот самый диван... Так может, повторим все сначала... Но дойдем до конца! Согласен?

Метелин неуверенно кивнул.

Иванова порывисто вскочила, отодвинув столик, вышла на середину залы.

— Смотри — перед тобой девочка Таня из твоей школьной юности!

— На той девочке было платье с глубоким вырезом и выше колен. А на тебе — брюки с блузкой.

— Ну, какая разница! — приобиделась Иванова. — Ты просто представь... Ах, музыки нет!

— Да вон же проигрыватель, — показал Метелин на старенькую радиолу возле противоположной к окну стене. — Наверное, и пластинки есть.

Иванова порылась в тумбочке, на которой стояла радиола, достала одну из пластинок. Подняв крышку проигрывателя, поставила пластинку на массивный диск и опустила на звуковую дорожку головку звукоснимателя. Зазвучало обожаемое Метелиным с юности «Арабское танго».

— Потанцуем? — предложила Иванова.

Метелин поднялся, сделал шаг навстречу. Таня обвила руками шею, прильнула к нему. Метелин снова ощутил горчичный жар ее тела и почувствовал, как поднимается в нем упругая горячая волна. Совсем близко увидел запрокинутое лицо Ивановой с опущенными веками, ощутил легкий аромат изысканных духов, успел подумать, что косметикой она почти не пользуется, в отличие от большинства женщин ее возраста, и тут же оказался в плену ее губ.

Поцелуй был долгим, жадным, горячечно исступленным. Они словно хотели высосать друг из друга как можно больше нерастраченной любовной влаги. К удивлению Метелина, губы Ивановой и сейчас сохраняли легкий вишневый привкус. И это возбуждало не меньше, чем сам поцелуй.

Наконец, совершенно задохнувшись, они оторвались друг от друга.

— Всю помял, — сказала Иванова, но вместо того, чтобы разглаживать примятые на груди кружева, расстегнула на блузке сначала одну пуговку, потом другую... — Ну, помогай же, не стой столбом...

Метелин освободил ее округлые плечи от шелка блузки, ощущая бархатистость смуглой, ровного тона, без всяких там возрастных пигментных пятен, родинок кожи, нашупал застежку бюстгальтера на спине. Иванова нетерпеливо шевельнула плечами, словно спешила побыстрее выскользнутуть из своей женской сбруи. Трясущимися от волнения пальцами Метелин расстегнул бюстгальтер, потянул на себя бретельки. Как и блузка несколько мгновений назад, он также неслышно соскользнул под ноги, открывая налитые, еще не потерявшие форму груди. Метелин взял их в руки, почувствовав тяжесть теплых упругих шаров, сжал. Потом, склонившись, поцеловал набухающие на глазах соски. Прикусив губу, Иванова застонала. Метелин присел и потянул молнию на ее легких летних брюках. Они тоже оказались на полу. Иванова, словно только и ждала этого момента, облегченно перешагнула через них и, поддев ногой, отшвырнула от себя. От единственной оставшейся части своего туалета она освободилась сама.

Метелин, слегка отстраняясь, смотрел на стоявшую перед ним нагую женщину, ощущал жар ее тела и действительно видел шестнадцатилетнюю Таню. Не вместо нее, а рядом с нею. И каждая была хороша по-своему. Одна — девственной весенней свежестью, другая — зрелой осенней красотой. Он любовался обеими и думал, что вот, наверное, с подобных женщин античные скульпторы (каждый на свой вкус) и ваяли оставшиеся в веках шедевры. Вдруг Танины губы, как в немом кино, беззвучно зашевелились, и внутри Метелина зазвучал идущий откуда-то издалека ее голос со знакомыми нетерпеливо-требовательными интонациями: «Ну, что ты, ну?.. Возьми меня!..»

Метелин снова придинулся к Ивановой, и она, приняв это за некий сигнал с его стороны, начала лихорадочно стаскивать с него футболку, потом потянула за ремень брюк...

А дальше был провал, омут, любовный аффект. Как в песне: «И, срывая якоря, прочь летит душа моя...» Прочь — и вдаль, и ввысь, и в бесконечную глубину. «Сплетенье рук, сплетенье ног...» На несколько минут они словно растворились друг в друге, став неразрывно-единным существом, обуянным бешеной вулканической страстью. И когда давление этой страсти достигло предела, за которым мог быть только разносящий вдребезги взрыв, вулкан начал извергаться горячей лавой. Она обжигала животы и ноги любовников, заставляя испытывать их ни с чем не сравнимое мучительное наслаждение. Но чем слабее становился ее поток, тем большее облегчение испытывали любовники.

Наконец, их двуединое существо распалось, и теперь они, каждый в своей телесной оболочке, лежали, едва соприкасаясь боками, совершенно обессиленные и опустошенные.

«Ну, вот я и взял тебя...», — приходя в чувство, подумал Метелин.

— Что? — не поняла Иванова, а Метелин запоздало спохватился, что мысль свою, помимо воли, высказал вслух.

— Да так... ничего... — неопределенно отозвался он.

Они не спешили вставать. Иванова, повернувшись к нему, легонько водила губами по плечу Метелина, а он, прикрыв глаза, снова задумался.

Лучше поздно, чем никогда, — приходил он к выводу и тут же сам себе возражал: — Но лучше всего — вовремя. Ложка дорога к обеду. Далеко не факт, конечно, что та далекая ложка была бы вкуснее. Скорее, пожалуй, наоборот. Но жизнь после нее могла повернуться совсем иначе...

Из забытья Метелина вывели звуки фортепиано. Пока он предавался размышлениям, Иванова успела встать, побывать в ванной, и теперь сидела в шелковом халатике на круглом вращающемся стульчике, перебирая клавиши фона. Из разрозненных поначалу звуков стала прорисовываться мелодия. Следуя ей, Иванова запела:

Как много лет во мне любовь спала.

Мне это слово ни о чем не говорило.

Любовь таилась в глубине, ждала

И вот проснулась,

И глаза свои открыла...

Сильный красивый голос ее, близкий к драматическому сопрано, свободно заполнял собой пространство комнаты. Метелин приподнялся на локте. Иванова коротко обернулась, словно убеждаясь, что ее слушают, и продолжила:

И вся планета распахнулась для меня,

И эта радость будто солнце не остынет,

Не сможешь ты уйти от этого огня,

Не спрячешься, не скроешься —

Любовь тебя настигнет...

— Вот так! — неожиданно оборвала песню Иванова и хлопнула крышкой пианино.

Их свидания на родительской квартире Ивановых продолжились. Уже на следующий день они снова встретились здесь. И на следующий после него, и дальше... Они приходили сюда каждый день, как на работу. У себя в офисе Метелин с нетерпением ждал вечера, чтобы снова очутиться в этих стенах и объятиях возлюбленной.

В отличие от ослепляющей и отключающей сознание вспышки их первого соития, дальше все происходило спокойнее, ровнее и... чувственнее. Если сначала они больше походили на вконец изголодавшихся самца и самку, в спешке насыщения заглатывавших вожделенную пищу, даже не ощущая ее вкуса, то потом это были уже смакующие каждое блюдо и каждый кусочек гурманы. С другой стороны, наверное, не меньше им пошло бы сравнение с художником, который, осененный творческой мыслью, спешит сначала запечатлеть ее в общих чертах и контурах, а потом начинает с наслаждением прорабатывать детали.

А «детали» возникали новые и новые. Любовники, казалось, решили перепробовать всю «Камасутру». Иванова и здесь солировала. Но и Метелин старался не отставать. Он никогда не видел себя зажигательным мачо и о сексуальных своих способностях был весьма скромного мнения. В размеренной семейной жизни ему их вполне хватало. Во всяком случае, большего жена от него и не требовала. В постели же с Ивановой Метелин сам себя не узнавал и себе удивлялся. Ей, впрочем, — тоже. Они ровесники, а ощущение, что она значительно моложе — столько в ней еще силы, огня и энергии. Метелин вдруг

некстати вспоминал жену — уже потерявшую былые формы, расплывающуюся, отяжелевшую, и ему даже как-то неловко было представить ее рядом со статной, без телесных излишеств Ивановой.

Любовные их утеш сменялись долгими разговорами. Вспоминали школу, одноклассников, о жизни которых — удивительно — Иванова была осведомлена гораздо больше Метелина. Очень много в эти дни было сказано об Америке. О ней Иванова говорила с неизменным восхищением:

— Амерка — супер! Это гигантский айсберг среди мелких льдин, это бесконечной высоты сверкающий небоскреб на фоне жалких лачуг других стран!.. В Америке каждый может достичь всего, на что способен. Было бы желание.

— Страна сбывающихся мечт и равных возможностей, — пытался иронизировать Метелин, но Иванова, пропуская мимо ушей его реплику, вдруг признавалась:

— Ты знаешь, я сейчас в России, наверное, и жить уже не смогла бы.

А таким, как он, думал про себя Метелин, кроме России, и жить-то больше негде.

— Хоть бы глазком одним глянуть на эту хваленную Америку, — притворно вздыхал Метелин, — а то сидим здесь в лесу, в жалких лачугах, молимся колесу...

— Могу поспособствовать, — не реагируя на новый его иронический выпад, предлагала Иванова. — Нет, правда, приезжай ко мне в Санта-Монику. Своими глазами увидишь, как я живу. У нас прекрасно! Тебе понравится, я уверена... — приподнявшись на локте, со значением говорила она, возбуждая в нем озабоченную волну неясного беспокойства.

Метелин воспринял ее приглашение как ни к чему не обязывающую дань вежливости, и оно тут же выскочило из головы. Он и не думал, что Иванова вернется к этому разговору. Но уже при следующей их встрече она сказала:

— Сережа, поехали ко мне!

— А мы где? — не сразу понял он, озирая стены семейного гнезда Ивановых.

— Ко мне, в Калифорнию — в Санта-Монику.

— Да, да, конечно, появится возможность — обязательно... — согласно закивал Метелин, сам себе не веря.

Иванова тоже посмотрела на него с сомнением. А после очередной любовной феерии, когда утомленные и расслабленные они лежали вполоборота друг к другу, она, утихомиривая дыхание, прерывисто зашептала ему в ухо:

— За эти дни с тобой я поняла, что, как и без Америки, не смогу теперь жить без тебя... — И тут же, без перехода: — Поедем со мной! И на всю оставшуюся жизнь Санта-Моника станет нашим раем для двоих...

И только тут до Метелина стало доходить, что не погостить она его зовет, а вроде как насовсем. И снова пробрал его озабоченный холодок неясного беспокойства.

— Ты серьезно? — надеяясь, что он все-таки неправильно ее понял, спросил Метелин.

— Совершенно! — ни мгновения не раздумывая, откликнулась Иванова, повергнув его в панику.

Все происходившее между ними в эти дни казалось ему чудесным сном. Сну, конечно, рано или поздно придет конец, но пока Метелин с удовольствием предавался ему, не думая, что же ожидает его за границами волшебного сновидения. Однако Танино предложение возвращало его из любовной сказки к реальности, заставляло задуматься о завтрашнем дне их отношений.

— Но я ведь птица несвободная... — начал было вяло отговариваться Метелин, однако Иванова перебила его:

— Вот и надо освободиться, уйти в вольный полет. — И добавила после короткой паузы: — С любимой женщиной. Ведь ты же любишь меня? Правда?

— Правда! — эхом отозвался он, нисколько на сей раз не лукавя.

Уже тогда, накануне первой их встречи в «Лазурите», Метелин понял, хотя не мог еще до конца в том себе признаться, что все эти годы, отделившие их друг от друга, он продолжал Таню помнить и... любить. Любовь не ушла, не покинула его, она просто забилась в дальний уголок его души, затаилась до лучших времен. Совсем как в той песне, которую пела Таня.

Кто-то сказал, что у любви нет прошедшего времени. И был прав. И вот теперь время настало?.. «Любовь глаза свои открыла»?..

—...А раз мы любим друг друга, значит, должны быть вместе, — сказала, словно гвоздь вбила, Иванова.

Метелин же подумал, что в безапелляционной своей решительности она, пожалуй, нисколько не изменилась. И вновь всплыл тот памятный момент из его юношеского далека, когда оставалось только переступить черту открытых ею ворот, и как трудно, даже невозможнo оказалось ему это сделать. Неужели история и в самом деле повторяется? Только вот прожитые годы сделали ответ на вопрос, быть или не быть ему с нею, для Метелина еще более неоднозначным. Зато Иванова, похоже, особых рефлексий по данному поводу не испытывала. Как и в далекой юности, сакрментальное «если любишь, то можно» и сегодня в ее устах звучало и оправданием с отпущением грехов, и волшебным ключиком к заветной двери любовной обители для двоих.

— Но ведь у меня семья, — все же попробовал возражать Метелин, — жена, дети, внуки.

— А что семья? — как-то даже удивилась Иванова, словно Метелин выдвинул совершенно странный — незначительный и несерьезный аргумент. — Дети живут своими семьями, ты им особо не нужен. С внуками же всегда сможешь пообщаться.

— А жена? Ее ведь, как рукавицу, с руки не сбросишь?

— Ты еще, Сереженька, про старый чемодан с оторванной ручкой вспомни: нести тяжело, а бросить жалко... Признайся честно: ведь вы давно уже живете вместе не по любви, а просто по привычке. Разве это жизнь? Это — повинность какая-то.

И здесь Метелину трудно было что-либо возразить. Ему и самому не раз казалось, что его семейная жизнь давно идет по заведенному кругу и держится лишь на привычке совместного супружеского существования, в котором не осталось ни бурных всплесков, ни ярких эмоций, ни раскаленного жара, ни ледяного холода. Тем не менее жизнь эта как форма существования его вполне до сих пор устраивала. Но вот появилась Иванова и... словно палку в их семейный муравейник швырнула...

— Пойми, я ничего не имею против твоей жены. Я ее просто не знаю. Но я знаю, что жить надо по любви и только по любви. А если ее нет, то лучше уйти. Правду говорят — любовь движет миром. А не привычка. Впрочем... — задумалась вдруг Иванова, — есть, наверное, в ней нечто особенное, способное прочно держать тебя рядом. Если это действительно так — скажи, я пойму. И поставим точку...

Метелин молчал, не зная, что ответить. Никаких особенных талантов он за своей женой не замечал. Даже кулинарных. Впрочем, одним талантом она все же обладала несомненно — преданностью и надежностью. Метелину приходилось иметь в жизни дело с разными людьми. Кого-то он сторонился, с кем-то поддерживал приятельские отношения, кому-то мог довериться, кому-то нет. Но только на Валентину свою мог полностью положиться, опереться во всем и всегда. Именно она не давала ему отчаяться, пойти ко дну в самые тяжелые моменты жизни.

Метелин прикрыл глаза и мысленно перенесся в начало девяностых. Их ГИПРО рассыпался на глазах, и какое-то время Метелин находился в подвешенном состоянии, без дела и денег. Это уже потом, позже, когда из осколков института станут возникать разные фирмочки, ему посчастливится оказаться в одной из них, а до тех пор он больше года был самым настоящим безработным. Многие его коллеги срочно переквалифицировались в членков, пополнили ряды продавцов на вещевых рынках. А он, до неприличия честный, не умевший и коробки спичек продать-перепродать, оставался неприкаянным. Все чего-то

ждал, на что-то лучшее надеялся. Другая бы на месте Валентины его живьем сгрызла и кости выплюнула (сколько тогда подобных семейных драм происходило), а она, тоже лишившись работы, терпела, не донимала укорами, не понуждала переступать через себя. Сама взваливала на себя бремя, которое, по идее, должен был нести он. Хваталась за любое дело. Брала у оптовиков на реализацию какие-то шмотки, днями торчала с ними в любую погоду где-нибудь на улице или на бараходке. А вечерами ухитрялась еще и в офисах полы мыть. Теми ее заработками тогда и держались. Даже когда Метелин наконец нашел работу. Поскольку фирмочка, куда он пристроился, долго и мучительно вставала на ноги, и о хороших заработках можно было только мечтать.

— Ты меня слышишь? — потормошила Иванова его за плечо.

— Да, да... — очнулся Метелин.

— Ладно, — вздохнула она, не продолжая разговора, и в голосе ее зазвучала обида.

А на следующий день, после очередного сладостного соития, Иванова, как ни в чем не бывало прижалась к его плечу, снова завораживающе «пела» про калифорнийские красоты и прелести американской жизни, которые будут доступны и ему, Метелину, если они соединят свои судьбы.

Через полуприкрытые веки Метелину виделся облизываемый прибоем берег в роскошной субтропической зелени. По шоссе вдоль него стремительно несся поток шикарных авто. Бесконечное шуршание шин сливалось с неумолчным шумом океанской волны. А дальше — одноэтажные домики на ухоженных лужайках за низенькими штакетничками, будто сошедшие с рекламных туристических буклотов. Метелин чувствовал на своей щеке жаркое Танино дыхание, и из глубины памяти всплывали невесть где и когда прочитанные или услышанные им строки:

Только мне чьи-то губы
шепчут о теплом крае
и что меня ты любишь,
и что придешь весной...

— ...Надо время от времени обновлять, освежать застоявшуюся кровь, — слышал Метелин голос Ивановой.

— Да, наверное... — отзывался он. — Только вот куда девать старую?

— Делать кровопускание, — с нервным смешком отвечала Иванова и тут же, посеребренев: — Нет, правда, иногда наступают моменты, когда надо что-то срочно менять в сложившейся жизни. И менять безоглядно. Со мною такое случалось, я знаю. Тут важно отрешиться от того, что уже было, и — вперед, не оборачиваясь, только вперед!

— Сжигая за собой мосты?

— Можно и так, если хочешь. Тем более что есть ради чего их сжигать. После стольких лет мы вновь нашли друг друга, вернули нашу любовь. Теперь надо сохранить ее и не потерять вновь.

Да, да, не потерять!.. — эхом отозвалось в голове Метелина. Однажды это уже произошло. И теперь, когда судьба предоставила ему новую возможность, — не наступить бы, правда, на те же грабли. Таня, пожалуй, права — надо действовать безоглядно и решительно, несмотря ни на что...

Как часто ему в жизни не хватало именно этой безоглядной напористой решительности! В результате он нередко оказывался на обочине. То его очередь на квартиру при собственном молчаливом попустительстве (видел, что оттирают, да не решился голос в свою защиту подать) вдруг отодвигалась, то более высокая должность, на которую он по праву претендовал, доставалась в итоге куда менее ее заслуживающему, но зато более напористому коллеге. Не всегда, впрочем, и в напористости было дело. Метелин вспомнил, как однажды почти стал он начальником отдела. Уже все было решено и согласовано. Но в последний момент сам отказался от должности, вроде бы

идеально по нему сшитой. Непомерной показалась ответственность — все-таки без малого сорок человек в подчинении. А он всегда был только хорошим исполнителем.

На очередном их randevu Иванова «дожала» Метелина. Он уже готов был следовать за ней куда угодно. А она рисовала ему теперь заманчивые перспективы, которые ждут их в «совместном полете». Он будет заниматься инженерным обеспечением их обоюдных проектов, станет ведущим менеджером фирмы, а там — и ее совладельцем.

— Объединив наши силы, мы продолжим то, что начал Майкл, и распространим наш бизнес по всему миру! А ты сможешь раскрыться по-настоящему, показать, на что на самом деле способен, — с воодушевлением говорила Иванова, и Метелин, заражаясь, верил ей.

Однако чем дальше слушал ее, тем больше мучил вопрос, который сам собой и сорвался с языка, когда она остановилась перевести дух:

— А что, Таня, в Америке нет хороших инженеров и менеджеров? За свои-то деньги ты, наверное, кого-нибудь и получше меня можешь найти прямо там, на месте.

— Ты не понимаешь! — воскликнула Иванова и примолкла, опустив глаза. — Ну, как бы тебе это объяснить?.. — сказала она после короткой паузы. — Конечно, я могу нанять хороших специалистов. И они у меня есть. Но дело-то совсем в другом. Я люблю тебя и хочу, чтобы мы вместе были и в любви, и в деле. Мне очень не хватает сейчас верного надежного человека, которому я могла бы всецело доверять. Хоть в личной жизни, хоть в бизнесе. А ты как раз такой. Я это поняла.

А Метелин про себя подумал, что нужен он Ивановой для исправления крена, возникшего после смерти Дворжецкого, и восстановления жизненного равновесия. И будет ли в нем необходимость после того, как равновесие восстановится и острота ощущения, вызванного случившейся бедой, исчезнет? Но подумал как-то вяло, отстраненно, словно о ком-то постороннем.

Две недели в любовном угаре пролетели незаметно. Через несколько дней должна была вернуться из отпуска Валентина. Иванова тоже засобиралась в дорогу. Звали дела. Она и так задержалась в родном городе гораздо дольше, чем собиралась. Метелин загрустил. От жены за время командировки и ее отпуска да еще благодаря их бурному роману с Ивановой он успел отвыкнуть. А теперь вот придется отвыкать и от Ивановой.

— Ничего, это временно, — словно читая его мысли, успокаивала Иванова. — После наверстаем. А пока суть да дело, будем улаживать формальности. Как только вернусь в Штаты, сразу вышлю тебе приглашение. Оно понадобится для получения визы.

В аэропорт Метелин не поехал. Знал, что обязательно нарвется там на сестру Надьку, а ему очень не хотелось перед ней засвечиваться.

Накануне они с Таней встретились все в том же «Лазурите». Вернее, возле него. В кафе заходить не стали. Просто постояли несколько минут у входа друг против друга, держась за руки, как юные влюбленные. Потом прильнули друг к другу и, не обращая внимания на удивленно оборачивающихся в сторону немолодой уже парочки прохожих, зашлись в затяжном поцелуе. Отстранившись, наконец, Иванова приложила горячую ладонь к груди Метелина, словно метя его личным клеймом, и пообещала:

— Я буду звонить. И ты — тоже. В общем, до связи. Да, еще... — сказала, пристально глядя в глаза с какой-то особой интонацией, словно привораживала: — Все время думай обо мне. О нас с тобой.

Метелин посадил Иванову на такси и долго смотрел вслед.

Часть III

А ведь действительно приворожила. Об Ивановой после ее отъезда Метелин только и думал. О ней и о себе в новой будущей — американской — жизни с возрожденной

любовью. Вообще-то он очень смутно представлял себя в «каменных джунглях» огромной чужой страны под звездно-полосатым флагом. Его представления о ней мало чем отличались от того, что мог он видеть на телезрекранах или страницах глянцевых журналов. Впрочем, Метелин сначала особо и не напрягался по этому поводу. Главное, что там была Таня Иванова, с которой он скоро соединится, чтобы прожить остаток жизни в безмерной горячей любви. Образ Ивановой стал теперь постоянным спутником Метелина.

Но и сама она не давала о себе забыть: каждый день звонила, забрасывала эсэмэсками. Информации в них не было практически никакой, зато чувств и эмоций – через край. Они подливали масла в огонь, и Метелин, готовый в любую секунду сорваться по первому зову Ивановой, не находил себе места.

Хуже всего было ночами. Прожив вместе много лет, Метелины, в отличие от многих супружеских пар в их возрасте, до сих пор делили одно ложе. И если раньше это было для обоих совершенно естественным, как бы само собой разумеющимся, и никаких неудобств не вызывало, то теперь стало для Метелина настоящей пыткой. Ложась в постель, он поворачивал голову в подсознательной надежде увидеть рядом Танино лицо, ощутить горячий жар ее тела, но натыкался взглядом на жену, и на него накатывали обида и неприязнь. Словно кто-то зло подшутил над ним и подсунул совсем другую женщину.

Впрочем, другая и есть. Небо и земля, лед и пламень. Отвернувшись от жены на другой бок, Метелин, стараясь уснуть, невольно сопоставлял их как женщин, и сравнение было явно не в пользу жены. И в молодости-то широковатая в кости и талии, Валентина сейчас и вовсе отяжелела, обабилась. Васильковые когда-то глаза с годами выцвели. Но раньше он этого как-то не замечал. Не с кем было сравнивать. И без нужды. Зато сейчас...

Валентина поворачивалась к нему, приваливалась к его спине – Метелин ощущал ее тяжелую мягкую грудь – и, как делала это всегда, с первой их брачной ночи, забрасывала ему на плечо руку и ногу. В такой позе обычно и засыпала. Рука и нога были теплыми, но Метелину казались они раскаленными клещами. Он инстинктивно дергался и отодвигался на самый край кровати.

Вообще-то, Валентина в проявлениях чувств была по жизни весьма сдержаным человеком. Но сейчас любые, даже случайные прикосновения жены обжигали и раздражали его. Да и не только прикосновения. Весь ее вид рано поблекшей, изрядно потертой жизненными обстоятельствами, увядающей до срока женщины вызывал у Метелина неприязнь.

От Валентины перемены в его поведении, конечно же, не ускользнули. Она ничего не говорила, ни о чем не спрашивала, но посматривала с нарастающим тревожным подозрением. Что еще больше выводило Метелина из равновесия. В их семье подозрительность была не ко двору, поскольку и повода для нее всегда честные и прозрачные отношения между ними не давали.

Метелин понимал, что сам провоцирует эти подозрения, что надо взять себя в руки, сделать вид, что все по-прежнему, как всегда, все течет давно заведенным порядком. Однако лицедействовать не умел, а потому получалось плохо. Но и разоблачить себя нельзя. Какая тогда Америка! Значит, надо как-то подтвердить, что чувства к жене еще остались, что он «по-прежнему такой же нежный». А что лучше добротного секса может стать этому подтверждением?! Как говорится, клин клином...

Чем дольше они с Валентиной жили вместе, тем меньшей потребностью становился для них секс. Весь с точки зрения возрастной физиологии вполне понятная. Но время от времени желание все же возникало и удовлетворялось с обоюдного молчаливого согласия и к общему удовлетворению, как и полагается у живущих душа в душу супружеским. Делалось это, правда, спонтанно, без какой-либо системы и чьей-то из супружеских определенной инициативы. Просто внезапно пробегала между ними искра, импульс, замыкая их тела в единую цепь, заполненную сексуальным электричеством.

Но сейчас Метелину приходилось самому проявлять инициативу. И это было невероятно трудно. Он лежал на спине, угловым зрением наблюдал, как в приглушенном

свете торшера готовится ко сну Валентина — расчесывает волосы, надевает ночную рубашку. Он видел целлюллитные складки на боках крупного тела, и никаких эмоций это давно привычное зрелище в нем не вызывало. Зато когда он представлял на месте Валентины Иванову, по телу его прокатывалась горячая волна желания. Но вот Валентина выключала торшер, громко скрипнув пружинами матраца, опускалась на свою половину кровати, укладываясь поудобнее, затихла... И волна желания у Сергея Васильевича исчезала.

Метелин отворачивался от жены, но усилием воли на полпути останавливал себя, вспомнив о поставленной самому себе задаче. Валентина молчала, но Сергей Васильевич знал, что она не спит. Словно ждала продолжения. А у Метелина было чувство, будто привел он в дом чужую женщину и теперь не знает, как с ней обойтись.

«Нет, так не пойдет!» — рассердился он сам на себя и рывком повернулся к Валентине. Она сделала ответное движение, и они оказалась лицом к лицу. Метелин всем корпусом навалился на жену. Одной рукой он тискал ее теплую податливую грудь, другой задирал подол рубашки, оголяя полные рыхловатые ноги. Рука Метелина поднималась все выше, подбиралась уже к «лону любви», но любовного вожделения не чувствовал. Да что там — тело его вообще никак не отзывалось на его старания. А главное сексуальное орудие постыдно висело тряпкой.

«Ну, что же ты, давай, не подводи!» — мысленно взывал Сергей Васильевич к непослушному своему организму, но тщетно. Интенсивные полумесячные занятия «Камасутрой» с Ивановой оказывались сейчас самым печальным и постыдным образом.

«А что, если это навсегда?» — вдруг пришло в голову Метелину, и он испугался. Но ведь так хорошо у них все недавно получалось с Таней! На месте жены ему представилась обнаженная Иванова во всей своей жаркой плотской красоте, и снова все в нем ожидало, начинало шевелиться, напрягаться и подниматься, словно организм подключили к нужному источнику питания. Метелин обрадовался — значит, на самом деле ложная тревога. И поспешил воспользоваться неожиданным результатом. Пусть будет вместо Валентины Татьяна.

Стараясь удержать в себе образ разметавшейся на постели Ивановой, Метелин медленно и осторожно, словно проводил космическую стыковку, стал подводить свое орудие к лону. Вот оно слегка коснулось его — осталось только скользнуть внутрь — и вдруг стремительно начало терять крепость и упругость, сдуваясь, как проткнутый воздушный шарик. Получалось, что его, Метелина, организм, словно чувствовал подмену и не давал себя обмануть.

Подергавшись еще немного в безуспешных попытках на теле супруги, Метелин, чуть не плача от досады, сполз на свою половину кровати. Вот и «подтвердил чувства». Вместо хорошего секса, способного развеять любые подозрения в супружеской измене, такой позор! На воре, получается, и шапка загорелась. Хоть проваливайся сквозь землю!

Метелин отвернулся, и тут же почувствовал на своем плече руку Валентины.

— Ну, не расстраивайся! — услышал он ее успокаивающий шепот. — Тебе же не двадцать лет. Бывает...

Бывает... — печальным эхом отозвалось в нем и тут же встретило решительное возражение: — Но ведь не было же до сих пор! А вслух Метелин, оправдываясь, забормотал:

— Простатит, наверное... Аденома простаты или еще что в этом духе. Это, говорят, влияет... Надо к урологу сходить...

— Сходи, обязательно сходи, — поддержала Валентина.

Случившаяся «осечка», оказалось, далеко не самое страшное, что могло произойти. Буквально на следующую ночь Метелин проснулся в холодном поту от собственного крика. Ему приснилась Иванова. В постели рядом с ним. С разметавшимися по подушке черными волосами. Метелин протянул руку, чтобы убрать с ее лба прядь, и лба не ощущал. Рука упала на пустую подушку. «Куда ж она делась?» — подумал Метелин,

откидываясь на спину, и вдруг увидел ее над собой. Она парила под потолком то ли как гоголевская Панночка, то ли как булгаковская Маргарита.

— Иди ко мне! — завораживающим голосом позвала она его.

Неведомая сила оторвала Метелина от постели и поднесла к Ивановой.

— Сейчас мы вырвемся из этих стен и отправимся в свободный полет, как вольные птицы, — сказала она и взяла Метелина за руку.

Из ее ладони потек горчичный жар, наполняя какой-то особенной неземной энергией. Иванова легонько потянула его за собой — и не стало вдруг ни постели, ни стен спальни. Они неслись, держась за руки, куда-то над россыпью городских огней под россыпью звездной. Вот город остался позади, но захватывающий полет продолжался. Наконец, стали снижаться и очутились на краю гигантского обрыва. За спиной стояла ночь, а здесь было уже светло от разгоравшейся на горизонте зари. Метелин глянул вниз. У него перехватило дыхание и закружила голова. Дна пропасти, скрытого густым туманом, видно не было.

— Мы сейчас оттолкнемся от края и полетим навстречу заре. Там — солнечная Калифорния, там — рай для нас двоих, — сказала Иванова, а у Метелина захолодело в груди от одной только мысли, что ему надо будет оторваться от этого прочного края и сгинуть в тартарары неизвестности.

— Делай, как я, и не отставай! — воскликнула Иванова и, взмахнув руками, птицей взмыла над стеной обрыва.

Метелин попытался повторить, но ноги словно приросли к земле. Дикий ужас сковал его. Невероятно страшно было решиться на такой прыжок.

— Ну, давай же, решайся, у тебя получится! Надо только преодолеть себя! — кружка над ним, подбадривала, умоляла, требовала Иванова-птица, но страх был сильнее Метелина.

Иванова-птица сделала над ним последний круг и устремилась к пылающему горизонту.

Метелин понял, что она улетает навсегда, и ужас падения смешался в нем со страхом безвозвратной потери самого сегодня дорогого в его жизни.

— Таня, — закричал он, пытаясь догнать ее голосом своим, — Таня!..

И проснулся от собственного крика.

Проснулась и Валентина.

— Ты чего? — удивленно спросила она.

— Да так, приснилось...

— Интересно, что за Таня тебе приснилась? — спросила жена с ревнивой интонацией.

— Да не Таня. Тебе послышалось. Тома.

— Тома?

— Ну да, Тома. Дочка наша.

Дочь Метелиных действительно звали Томой.

— И чего это ты ее стал вдруг по ночам звать? — недоверчиво усмехнулась жена.

Недели через три после ее отъезда Метелину пришло от Ивановой письмо с приглашением в Соединенные Штаты Америки. Послано оно было, как они заранее и договаривались для конспирации, на главпочтamt «до востребования». Здесь же, в конверте, лежал исписанный изящным, легким и летящим Таниным почерком листок бумаги, где она деловито и коротко инструктировала его о дальнейших действиях. Но заканчивалось письмо совсем в другом стиле и тональности. «Ты мне снишься ночами, не отпускаешь меня ни на шаг. И я с каждым мгновением люблю тебя все больше...» — читал Метелин, и у него заходилось сердце от ответной любви и нежности.

А потом начались хлопоты о визе. Надо было выправить загранпаспорт, собрать кучу разных бумажек — от анкет до сведений о близких родственниках. А после

переправить все это через курьерскую службу в Москву, в посольство США. Там же, в курьерской службе, при подаче заявления с необходимыми документами Метелину назначили и дату собеседования в консульской службе посольства. На собеседовании предстояло присутствовать лично, поэтому надо было ехать в Москву.

И тут Метелину неожиданно подфартило. В проектной документации к одному из договоров, который готовила сейчас их фирма к подписанию, потребовалось согласовать некоторые пункты в столичных инстанциях. «Ты по этой теме — главный разработчик, тебе — и карты в руки!» — сказал шеф, отправляя Метелина в командировку. И это было так кстати! Отпадала необходимость самому искать повод для столичного вояжа.

В Москву Метелин прибыл за пару дней до собеседования. Этого времени ему хватило, чтобы утрясти свои служебные дела. Оставалось то, ради чего он, собственно, сюда и приехал. Утром Метелин отправился по нужному адресу в уверенности, что ждет его полный провал.

Метелину было назначено к половине одиннадцатого. Он пришел к посольству к десяти. На улице обнаружил человек пятьдесят-шестьдесят, приглашенных на то же время. Встал в конец очереди. Простоял около часа, пока милиционер, проверив документы, не пустил в другую очередь — на вход в пристройку к зданию посольства. В самом помещении еще несколько очередей: чтобы сдать в гардероб имеющуюся электронику (мобильники и прочее), потом — металлические предметы вплоть до брючного ремня с пряжкой (совсем как контроль безопасности в аэропортах), чтобы сделать отпечатки пальцев... Наконец, последняя очередь — непосредственно на собеседование к одному из окошечек, за которыми находились консулы.

Шел уже третий час посольского «марафона очередей». Ноги у Метелина гудели. От голода и жажды сосало под ложечкой. Но пришлось еще как минимум на полчаса запастись терпением. Правда, перед консульскими окошками оказался небольшой зал ожидания с рядом стульев, и можно было посидеть, передохнуть.

Метелин облегченно опустился на один из стульев. И неожиданно пришло в голову, что за всю жизнь ему ни разу не пришлось выезжать за пределы своей страны. Бывшие советские республики, ставшие в одночасье Ближним Зарубежьем — не в счет. По служебным делам как-то не было за бугор пути, а на туристические поездки — денег. Их едва хватало на хлеб насущный. А тут предстояло сразу с родиной рас прощаться — раз и навсегда!

Нет, о визе-то он хлопотал, конечно, гостевой, и надо было еще убедить американских чиновников, что у него и в мыслях нет оставаться в США. Иванова на сей счет его инструктировала и в письме, и в телефонных разговорах четко: «Поживешь сначала как турист, позже поменяем твой неиммиграционный статус на иммиграционный. Дальше о виде на жительство станем думать, а там — и об американском гражданстве».

Метелин и в самом деле никогда раньше не думал о том, чтобы покинуть страну и кардинально поменять среду обитания. Даже в лихие девяностые, когда толпы его соотечественников наперегонки бросились кто на «историческую родину», кто туда, где, по слухам, глубже, лучше и слаще. Метелин относился к тем, кто изначально был убежден: где родился, там и пригодился. Большой сибирский город в центре России, где он когда-то увидел свет и прожил большую часть жизни, был «исторической» и всякой другой его родиной и «землей обетованной», вне которой он себя просто не мыслил. До сих пор. А теперь вот получается... Да ничего пока не получается — сам себя осадил Метелин — сейчас дадут ему от ворот поворот, и все вернется на круги своя...

Додумать свою мысль Метелин не успел — подошла его очередь исповедоваться у консульского окошечка. Со стороны это и вправду немножко напоминало исповедальную беседу в католическом соборе. Только в глубине окошечка находился не пастор, отпускающий грехи, а чиновник, дающий или не дающий «добро» на получение вожделенной визы.

Чиновник оказался сравнительно молодым дружелюбным человеком лет тридцати пяти. Метелин подал ему документы. Консул бегло просмотрел их, поднял глаза на Метелина, стал задавать на английском вопросы. С трудом подбирая слова (не часто приходилось ему пользоваться этим языком), Метелин отвечал. Вопросы были в основном профессионального характера: где, кем и давно ли работает, чем занимается компания. И вдруг Метелин услышал:

— Не имеете ли вы намерения остаться в Соединенных Штатах?

— Как остаться? — не понял Метелин.

Ему почему-то показалось, что это консул предлагает ему остаться в Америке.

— Насовсем. Эмигрировать.

До Метелина дошел, наконец, истинный смысл вопроса. И снова подумалось ему, что в гробу бы он их Америку видел, если б не Иванова. Да и неизвестно еще, приживется ли он там вообще...

— А зачем? — вопросом на вопрос ответил Метелин.

— Америка — лучшая в мире страна, в которую все стремятся! — с пафосом сказал консул.

— Так уж и все? — усомнился Метелин. — Я вот не стремлюсь. Мне чужая земля не нужна. Моя — здесь, в России. Из любопытства взглянуть на вашу хваленую Америку — другое дело.

— Хорошо, хорошо, — заулыбался консул и застучал по клавиатуре компьютера.

Пауза затянулась на несколько минут. Метелин томился, не зная, что ему ждать дальше, к чему готовиться, в нужном русле прошла беседа или нет...

Наконец чиновник оторвался от компьютера и, послав Метелину еще одну лучезарную улыбку, сообщил:

— Ваша виза одобрена.

Метелин пробормотал слова благодарности и пошел на выход. Ни радости, ни удовлетворения он не испытывал. Зато Иванова, когда он сообщил ей по телефону о результатах своего похода в посольство, выплеснула в трубку протуберанец эмоций. А через несколько дней, уже вернувшись домой, в той же курьерской службе, через которую посыпал документы в посольство, Метелин получил свой загранпаспорт с готовой визой. Путь в Америку был открыт.

Метелин подал заявление на отпуск. Как раз с середины сентября он ему по графику был положен. Заказал на это время билет в Нью-Йорк. Там в аэропорту Кеннеди его собирались встречать Иванова, чтобы отправиться с ним дальше, на другой конец Америки, в Лос-Анджелес, в окрестностях которого ждал их «рай для двоих». Она и о деньгах на проезд для него позаботилась.

До вылета из Москвы оставалось еще почти три недели. Надо было их как-то пережить.

В офисе это удавалось легче. Приводя перед отпуском дела и бумаги в порядок, Метелин на время отвлекался от посторонних мыслей. Но иногда, словно чем-то неожиданно пораженный, вдруг застывал над ворохом документов. Один простой вопрос, на который, однако, у него не находилось ответа, вводил Метелина в ступор — неужели он больше никогда не вернется к этим привычным делам и людям, с которыми проработал много лет и многое смог пережить? Скоро, совсем скоро он исчезнет отсюда навсегда. Украдкой, тайно, обманом, убегом. Метелин представил, как вытянутся лица у коллег, привыкших видеть в нем не только хорошего специалиста, но и достаточно надежного и предсказуемого человека, когда они узнают вдруг о его бегстве. За кого они его примут? За оборотня? Нельзя разве как-то иначе?

Метелин об этом и Иванову в очередном телефонном разговоре спросил.

— А то ведь какое-то паническое бегство получается.

— Иначе будут сложности с твоей иммиграцией и перспективами на американское гражданство, — пояснила Таня и добавила с укоризной: — Ты и сам это должен уже понимать. Знаешь... — сделала она секундную паузу, будто что-то вспоминая. — Я в свое время от Славки тоже просто взяла и сбежала...

«Ну, да, сравнила... Там совсем другой случай, — молча возразил ей Метелин. — Хотя...»

— Ладно, Сереженька, не вибрируй и не расслабляйся. Резкие решения бывают иной раз и единственно верными. Потом из Штатов позвонишь или напишешь и всем все объяснишь. И сослуживцам бывшим, и родственникам. А сейчас лучше тихо, без шума исчезнуть.

«Ну, ладно, с фирмой тихо, «по-английски» расстаться можно, — размышлял Метелин. — А с родными?»

Родственный круг Метелина постоянно редел. Давно уже ушли в мир иной отец с матерью, родители жены, три года назад погиб в автокатастрофе его старший брат. Не было рядом детей и внуков. Сын с дочерью жили отдельно своими семьями, но постоянно звонили и время от времени наезжали в гости. И когда собирались все вместе, получались настоящие праздники. Теперь вот предстояло обрубить и этот последний, семейный, корень, связывающий его с родной землей...

Метелин решил сходить напоследок на кладбище. На родительский день, в мае, они были там с Валентиной, поправляли, убирали могилки, но тогда было совсем другое дело. Сейчас Метелин пришел один, попрощаться.

Родители и брат были похоронены в одной оградке. Их каменные надгробия выстроились короткой шеренгой — на правом фланге отец, на левом брат, в середине связующим звеном мать. Метелин сел на лавочку за деревянный столик, которые были вкопаны здесь же, в оградке, достал из пакета плоскую стеклянную фляжечку с водкой, пластмассовый стаканчик. Налил его до половины. Повертел в пальцах. Самые родные ему люди строго и серьезно смотрели на него с надгробных фотографий.

— Вот как бывает, — виновато вздохнул Метелин, обращаясь к ним. — Папа, мама, Дима, вы уж простите меня...

Он выпил, следом после короткой паузы еще. Водка, обжигая горло, прокатывалась в пищевод и разливалась по телу теплом воспоминаний о тех далеких днях, когда все еще были живы и вместе, одной семьей.

Вспомнилась их небольшая, но стараниями мамы всегда уютная квартира, где хоть и тесно, но места хватает всем. Вкусно пахнет борщом, котлетами, пирогами, на которые мама была горазда. Валентина у нее потом училась. И не только кулинарному делу, подозревал Метелин, но и искусству семейной жизни. Мама умела уравновешивать человеческие отношения. И дома, и на работе. И делала это с естественной легкостью и непринужденностью. Любые конфликты затухали при ней как бы сами собой. Каждому мама находила необходимые слова, а то, бывало, успокаивала и вовсе без слов — ей иной раз достаточно было просто обнять или погладить по голове, чтобы освободить от гнева или обиды. Отец полуслутя называл мать миротворицей и говорил, что она придает их семейному кораблю прекрасную остойчивость.

Впрочем, и без него самого этот корабль себе трудно было представить. Внешне мрачноватый, немногословный, отец на самом деле был человеком отзывчивым и добрым. Он всю жизнь проработал на реке практически в одной должности, не помышляя ни о какой карьере, хотя возможности продвижения ему предоставлялись, а подрастающие сыновья требовали все больших затрат. Но отец был при своем деле, и это для него оставалось главным. Нехватку же денег в семейном бюджете он во многом компенсировал своими умелыми руками, следы которых в их семейном хозяйстве можно было найти где угодно. К тому же — «мужик в доме должен уметь делать своими руками все или почти все», — любил повторять — и сыновей учил. От отца они с братом и кроме этого многое

переняли: его сдержанность, взвешенность, последовательность, ну, и, наверное, его преданность, верность. Как много в жизни он для него значил, Метелин особенно остро почувствовал после его смерти, когда и сам давно уже был отцом.

Снова вспомнился Метелину тот первый в его жизни рейс в низовья Большой реки, к Ледовитому океану. Они с отцом у борта теплохода с грузом для северян любуются пожаром таежного заката. Ноют с непривычки после вахты плечи, спина. «Ничего, терпи, — ласково треплет его по загривку отец. — Глядишь, настоящим речником станешь».

Речником не стал, но с реками дальнейшая судьба Сергея Васильевича связала прочно. А ведь тогда все и началось.

Правда, и без влияния старшего брата, которому Метелин в юности вольно или невольно подражал и за которым тянулся как нитка за иголкой, тоже не обошлось. Во всяком случае, вслед за ним, только из-за разницы в возрасте позже (к тому моменту Дима уже успел получить диплом), Сережа и в институт тот же пошел. Да и вообще, брат был для него в их юные годы авторитетом и покровителем. А в навигацию, когда отец месяцами не бывал дома, Дима автоматически становился его полномочным представителем. И Сережа воспринимал это как должное. Тем более что взятой на себя отцовой властью старший брат не злоупотреблял, дедовщину по отношению к младшему не устраивал, хотя и распускаться тоже не давал.

Нет теперь родителей. Отец едва до пенсионного возраста дотянул — рак съел. А лет через пять не стало и матери. Накануне кончины, словно предчувствуя свой скорый уход, она напутствовала сыновей: «Чтобы ни происходило вокруг, не бросайте друг друга, ребята, держитесь вместе. Тогда все переможете». В стране уже начинался развал и раздрай, и слова матери звучали пророчески. Да они, по сути, таковыми и были.

Но нет уже и брата. Не за кого держаться. Выходит, подумал Метелин, он теперь как бы свободен от материнского завета. Именно «как бы»... Да, они покоятся под могильными плитами, но он-то живой, и в живом подлунном мире остается их полномочным представителем.

«Хорош полпред, если готов бросить и предать!» — невесело усмехнулся Метелин и налил в стаканчик еще.

Новая порция водки живительного тепла не добавила, окропив вместо этого нёбо осиновой горечью. Метелин пытался перебить ее, закусив яблоком, но горечь не проходила. Метелин запрокинул голову. Шумели над могилками высокие березы, стряхивая вниз золотистую осеннюю листву. Метелину подумалось, что и таких берез он там, за океаном, не увидит.

«Родники мои серебряные, золотые мои россыпи...» — услышал он вдруг где-то внутри себя знакомый еще со студенческих лет хриплый голос и чуть не заплакал от сознания того, что все это скоро останется далеко позади, в недосягаемой прошлой жизни.

Метелин тяжело поднялся — слегка закружилась от хмеля голова, прошелся по оградке, смел с могилок опавшие листья, протер эмалевые портреты на надгробиях. Отступив на пару шагов, осмотрел свою работу. Очищенная от пыли эмаль засияла, однако лица родителей и брата почему-то, наоборот, потемнели и посусорели.

— Еще раз — простите и не поминайте лихом, — сказал Метелин, давясь застрявшим в горле горьким комом.

Повернулся и шагнул за оградку. Ему почудилось, что родичи осуждающие покачали головами вовсю. Метелин начал выбираться по узкому лабиринту между могил к центральной аллее, но через несколько шагов почувствовал страшную усталость. Он привалился к вставшей на пути березе и понял, что совсем не хочет отсюда уходить. Что не в силах расстаться с этим насовсем. Что должен периодически возвращаться сюда.

Отвлек Метелина звонок мобильника.

— Привет, — услышал он Танин голос. — Чем занимаешься?

— Да вот... На кладбище зашел родителей и брата проводить.

— Любовь к отеческим гробам?

— Что? — не понял Метелин.

— Пушкина вспомнила, — пояснила Иванова и продекламировала:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

«Как верно!» — подумал Метелин, но тон Танин ему не понравился. Почудилась насмешка. Продолжать разговор расхотелось.

— Сережа, ты куда пропал? — наткнувшись на его молчание, встревожено спросила Иванова.

— Ничего плохого не вижу в «любви к отеческим гробам», — отозвался Метелин.

— Да кто бы сомневался? — сказала Иванова. — Ты что, из-за этого обиделся?

— Нет. Просто...

— У меня, между прочим, на том же кладбище свои «гробы», — напомнила она. —

Перед отъездом ходила я туда маму с папой проводывать. Это нормально, это правильно. Только знаешь, любовь эта от места жительства не зависит. Она, как и бог, должна быть всегда в тебе и с тобой, питать твое сердце, но не держать его мертвым якорем, не становиться помехой. В общем, милый мой, смотри на вещи трезво...

В самом деле, чего это он, — устыдился Метелин. Таня умела рассеивать сомнения и возвращать душевное равновесие. Даже сам голос ее, волнующий и возбуждающий, действовал бальзамом на душу.

С кладбища Метелин уходил уже в другом настроении. Снова захотелось побыстрее очутиться на другом краю земли, чтобы обнять Таню и начать жизнь свою с чистого листа. Оставалось, насколько это возможно, зажав свои нервы и чувства в кулак, спокойно дождаться времени «Че».

Но спокойно не удалось. На следующий же день Метелин неожиданно прокололся, глупейшим, можно сказать, образом лопухнулся — уходя на работу, оставил на тумбочке в прихожей свой сотовый. Вспомнил о нем лишь в обед. В это время обычно звонила Таня. Но перерыв заканчивался, а мобильник молчал. Метелин проверил свои карманы и похолодел: ведь сам же утром в поисках какой-то бумажки на минутку вытащил его, да так и забыл на тумбочке.

Ну, забыл и забыл — что за проблема? А проблема была в том, что Валентина, в отличие от него, работая неподалеку, на обед ходила домой. Могла взять трубку, уступая настойчивому звонку (а они у Ивановой были заряжены такой же целеустремленной энергией, как и все другое, чтобы она ни делала), услышать Танин голос. Ничего, конечно, особенного — мало ли кто спрашивает. Жена обычно и не интересовалась происхождением его звонков. Но когда включается женская интуиция, трудно предсказать, как может повернуться дело. Еще хуже, если Валентина прочтет очередную нежную эсэмэску, которыми Иванова забрасывала его каждый день...

После обеда Метелин не находил себе места. Домой он сорвался, не дождавшись окончания рабочего дня.

Валентины еще не было. Мобильник лежал на тумбочке. Метелин схватил его. Так и есть — два пропущенных звонка! А вот и эсэмэска. «Привет, мой дорогой! Почему не отвечаешь на звонки? Как дела? Жутко скучаю. Считаю дни до нашей встречи. Целую и люблю в энной степени!» — высветились на дисплее слова. К этим Танинным посланиям Метелин успел привыкнуть, но в то же время ждал их всегда с нетерпением ребенка, которому обещан подарок «от зайчика». Однако же сейчас его прошиб холодный пот.

Валентина появилась через полчаса, молча прошла в спальню. Пока она переодевалась, облачалась в домашний халат, Метелин лихорадочно соображал — прочла жена эсэмэску или нет. Валентина перебралась на кухню, загремела посудой. Теряться дальше в догадках не было сил, и Метелин решил провести разведку боем.

— Я утром на тумбочке свой мобильник забыл, — как можно безразличнее сказал Сергей Васильевич. — Ты когда в обед домой заходила, по нему никто не звонил?

— Звонили и даже очень настойчиво, — ответила, как показалось Метелину с вызовом, Валентина. — Даже пришлось трубку взять.

— И кто там был по мою душу? — постарался оставаться в той же тональности Метелин.

— Да вот не захотели со мной разговаривать, — уперлась в него ледяным взглядом Валентина, и Метелин понял, что об эсэмэске она тоже знает.

Кто другой на месте Валентины, наверное, тут же закатил бы жуткую истерику, но устраивать сцены было не в ее характере. Она даже не стала спрашивать, кто автор любовной эсэмэски. Просто молчала и вела себя так, будто в квартире, кроме нее, никого нет. И это было по нервам еще сильней.

Может, выложить ей честно все прямо сейчас, облегчив душу перед отъездом, — мелькнула мысль, но как это сделать, Метелин не представлял. Да и что он расскажет? О девочке Тане, которая на заре туманной юности дала ему от ворот поворот, а теперь вот, снова возникла в его жизни уже зрелой красавицей и успешной бизнес-леди, тоскующей о надежном друге и компаньоне, и позвала его с собой в заокеанскую светлую даль? И как это будет понято человеком, который до сих пор считал его нераздельной своей половиной? Как многолетний обман? Нет, не поворачивался язык! Видно, и правда, проще позвонить, а еще лучше написать уже оттуда, из Америки.

Метелин долго не ложился спать, ожидая, когда уснет жена, но и в постели чуть ли не до утра не смыкал глаз, переживая случившийся конфуз.

Завтракали молча. Валентина по-прежнему в упор не видела его. Метелин, уткнувшись в тарелку, не поднимал глаз. Любой более-менее опытный «ходок» уже давно бы, наверное, «отмазался», придумав не один вариант оправдания. Напрочь, например, открестился бы от эсэмэски, сказав, что кто-то просто номером ошибся или, вообще: мол, я — не я и собака не моя. Но Метелин не был «ходоком», не отличался ни находчивостью, ни умением убедительно вешать лапшу на уши. Да и момент упустил. Промолчал вчера на последнюю реплику Валентины, не стал возражать, опровергать и тем самым как бы признал, пусть и косвенно, свою вину.

Тане о перехваченной женой эсэмэске Метелин не стал говорить. Зачем, если сам ротозей! А вечером его ждал новый сюрприз. Вернувшись с работы, Метелин увидел в зале рядом с диваном дорожную сумку, с которой ездил по командировкам. Сумка была раскрыта, и там уже лежала стопка белья, его любимый тренировочный костюм, электробритва...

Обычно Валентина сама собирала его в поездки. Да, но ведь ни о какой новой командировке с тех пор, как вернулся из Москвы, он ей не говорил! С чего же она взяла? «Считаю дни до нашей встречи» — вспомнилась Метелину эсэмэска, и он тяжело опустился на диван — как тут не догадаться! И получается, что вовсе не в командировку, а в путь дальний, насовсем она его собирает. Вроде как от дома отлучает, знать дает — вот тебе бог, а вот порог. И все молча, без единого слова и вопроса. Вроде как был человек — и нет его. А на нет и суда нет. Остается только чемодан за порог.

Муторно стало от этого Метелину. Душили злость и обида. Многие годы совместной их жизни взять и молча демонстративно зачеркнуть! Смотри, как бы локти потом кусать не пришлось! — мысленно пригрозил он жене. А впрочем, даже и хорошо, что так. Последние сомнения рассеяны, и теперь ему возврата уж точно нет.

В спальню, на свое законное супружеское ложе Сергей Васильевич не пошел. Ночь провел в зале на диване. Уснул, как ни странно, почти мгновенно. Снилась Таня, небоскребы и океанский прибой.

Встал выспавшимся, бодрым. Засобирался на работу, но вспомнил, что сегодня выходной, и приуныл. Пробить целый день наедине с женой ему не улыбалось. Тем более что Валентина по-прежнему молча избегала его, а он, в свою очередь, обиженный ее

вчерашним демаршем с дорожной сумкой, не собирался делать первым шаги к примирению. Надо было что-то придумать.

Но придумывать ничего не пришлося. Позвонила дочь и сказала, что собирается с детьми навестить их. Сергей Васильевич обрадовался. И не потому лишь, что появился естественный выход из ситуации. Детей своих, а тем более внуков, он любил и всегда рад был их видеть. Сын женился недавно и обзавестись потомством еще не успел, зато у дочери подрастали двое мальчишек-погодков четырех и пяти лет — Вася и Сережа. Старшего назвали в честь деда Сергеем, и Метелин этим страшно гордился. Дочь жила в отдаленном «спальном» микрорайоне, но по выходным старалась с ребятишками стариков своих навещать.

Едва только они пришли, Метелин увлек внуков за собой в парк неподалеку и провел там с ними весь день, катая на аттракционах, пони, давая вволю поскакать на надувном резиновом батуте, поиграть в детском городке, порыться в песочнице, просто побегать по парковым аллеям и газонам. Сергей Васильевич их лимонадом, мороженым, сахарной ватой, покормил в летнем кафе. Он с улыбкой смотрел на резвящихся внуков, узнавал в них некоторые свои черты, и ему было хорошо. Их детская радость передавалась и ему. Возвращались, когда начало вечереть. Ребятишки так заигрались, что Метелину стоило немалого труда увести их из парка. Согласились только тогда, когда он клятвенно пообещал, что в следующий выходной они снова проведут в парке весь день.

Пообещал и прикусил язык. Через неделю он будет уже далеко отсюда. И увидит ли эти две веселые мордашки когда-нибудь вообще?.. Прекрасное расположение духа, в котором Метелин пребывал все время в парке, стало быстро таять, улетучиваться, уступая место такому знакомому в последние дни тягостному унынию.

Отъезд из родного города Метелин наметил на понедельник. Рейс до Москвы он выбрал такой, что времени на стыковку с нью-йоркским рейсом, учитывая переезд из Домодедово в Шереметьево, оставалось в обрез. «Зачем лишнего болтаться по столице?» — говорил он сам себе. Сильно, конечно, при этом рисковал Метелин. Не дай бог, какая задержка в пути или накладка, и все — помашет ему крыльями с высоты заокеанский «Боинг». Однако подспудно, в чем он и сам себе не признался бы, как раз на это надежда у Метелина и теплилась.

Но до понедельника оставались еще целые сутки. День простоять и ночь продержаться... А день воскресный, нерабочий. Сходить к кому-нибудь в гости? Но Сергей Васильевич ни с кем не приятельствовал до такой степени, чтобы нагрянуть без предупреждения. Да и не хотелось напоследок лишнего общения. Но и натыкаться то и дело взглядом на жену, заполнившую квартиру одним большим живым колючим укором, тоже не было сил. Ладно, решил Метелин, можно просто в парке побродить, посидеть. Но тут услышал, как хлопнула входная дверь. Валентина опередила его, ушла сама. Видно, ей тоже было невмоготу находиться рядом с ним.

Сергей Васильевич облегченно вздохнул и взялся за дорожную сумку. Таня строго-настрого наказала ему не брать с собой много вещей — только самое необходимое. В результате сумка осталась полупустой. «Так и получается, — подумал Метелин: — Обзаводишься одним, другим, третьим, в доме тесно от всякого барахла — все кажется нужным, важным, а приходит время, и в сухом остатке — пшик на дне дорожной сумки».

Соображая, не забыл ли какую-нибудь действительно необходимую вещь, Метелин выдвинул один из ящиков письменного стола, и в дальнем его углу рука нашупала что-то мягкое. Он извлек оттуда полиэтиленовый мешочек, вытряхнул на стол содержимое и увидел вязаные девичьи рукавички. Сергей Васильевич задумчиво помял их в руке, поднес к носу и почувствовал горячий жар Таниной ладошки. Поколебавшись, снова вложил рукавички в пакет, который отправил на дно сумки. При встрече вернет наконец-то хозяйке. Пусть напомнят ей, как начинались их отношения.

В последнюю свою ночь на родине спал Сергей Васильевич отвратительно. Без конца ворочался на диване. Чуть свет уже был на ногах, хотя самолет улетал ближе к полудню, и еще вчера Метелин хотел «проспать» уход жены на работу, чтобы потом спокойно отправиться в аэропорт.

Валентина по-прежнему молчала. Только теперь уже не смотрела мимо. Скорее, наоборот, напряженно следила за каждым движением мужа. Иногда, казалось, она порывалась что-то сказать, но сдерживала себя. Метелину бы воспользоваться моментом и разрядить обстановку, самому начав разговор. И если уж и не признаться, то тогда, наоборот, попытаться уверить, что сознаваться ему не в чем, что все идет своим чередом, а он действительно собрался в командировку и денька через четыре вернется. По крайней мере, расстались бы нормально. Но Сергей Васильевич уже закусил удила. Бесприворечия пришпорил его и не давал пойти вспять.

Наконец Валентина собралась уходить. Метелин хотел остаться в зале, но передумал — все-таки последний раз видит — и вышел за ней в прихожую. Сентябрь стоял теплый, бабье лето в разгаре. Ходили пока еще без плащей и курток. Валентина была в красивом нарядном платье, которое, впрочем, не делало ее более стройной. Метелин мгновенно представил на ее месте Иванову, и опять сравнение было далеко не в пользу супруги.

«И чего вырядилась?» — неприязненно подумал он, ожидая, когда жена откроет входную дверь и переступит порог прихожей.

Валентина щелкнула замком, потянула дверь на себя, впуская прохладный поток воздуха с лестничной клетки, на какие-то мгновения замерла, словно бы не решаясь оставить квартиру, потом резко обернулась к Метелину. Губы ее дрожали, в глазах стояли слезы, грудь тяжело вздыхала в сильном, по всей видимости, волнении. Метелин крайне редко видел жену такой — она в любых обстоятельствах умела держать себя в руках, и ему стало ее жалко. Валентина впилась в Метелина взглядом, будто собралась проникнуть напоследок до самого донышка и запечатлеть в памяти навсегда. Были в нем и недоумение (что и почему так случилось?), и отчаяние (рушились десятилетия прожитой жизни, все, что долго складывалось по кирпичику в совместных трудах и усилиях, по обоюдному, казалось бы, чувству и согласию), и мольба-призыв (одумайся, остановись, не делай этого!). Не в силах выдержать ее взгляда, Сергей Васильевич опустил глаза. Валентина глубоко вздохнула и вытолкнула из себя одно-единственное слово:

— Прощай!

Метелин видел, с каким трудом далось оно Валентине, но ничего обнадеживающего для нее в ответ у него не нашлось, и он промолчал.

Валентина так же круто, как до этого, развернулась и, давясь слезами, выскочила на лестничную площадку. Метелин слышал, как хлопнула за нею входная дверь, как вызывает она лифт, как закрываются с железным лязгом его створки, но продолжал стоять истуканом в прихожей. Чем же она виновата, что его на старости лет заносит на жизненном вираже? И разве заслуживает она такого расставания? — спрашивал себя Метелин и корил: какая же он, все-таки, по отношению к ней скотина!

После ухода Валентины Сергей Васильевич позавтракал, бесцельно послонялся по квартире, заглядывая во все углы, постоял на балконе, глядя сверху на золотой осенний листобой. Интересно, подумал, а там, в Калифорнии, листопад бывает? Вряд ли — субтропики. Ну, все, решил, — пора! Закинул на плечо сумку, пошел в прихожую, отмечая по привычке, не оставил ли чего включенным. Когда закрывал дверь, сначала не мог попасть ключом в замочную скважину — не слушались пальцы. Осилив кое-как замок, погладил дерматин дверной обивки и шагнул к лифту...

Полет до Москвы прошел без малейших задержек и накладок. Все тика в тику. И в Шереметьево доехал без проволочек.

Сразу возле входа в терминал Метелин прошел через пункт досмотра пассажиров и багажа. Дальше — таможенный контроль. Пока проходил его, вспомнил последний разговор с шефом.

— Хорошо тебе, Сергей Васильевич, отдохнуть, подкопить сил, — напутствовал шеф. Они тебе пригодятся. Когда вернешься, тебя будут ждать великие дела. — И на немой вопрос в глазах Метелина пояснил: — Очень серьезные заказы на подходе. Так что набирайся сил, готовься...

...Ну, да, хмыкнул Метелин, — «когда вернешься»...

Регистрация на самолет в Нью-Йорк уже началась, и Метелин направился к стойкам регистрации рейсов, на ходу глазами отыскивая нужную ему. А вот и она. Подал билет и паспорт. В ожидании, пока девушка за стойкой сделает необходимые формальности, Метелин прикрыл глаза. Вернее, веки его смежились сами собой. Сказывалась последняя бессонная ночь дома, да и когда в Москву летел, как ни старался, вздрогнуть не смог. И вот теперь дрема обволакивала его, мерцая сполохами видений.

...Метелин погладил дерматин двери и направился к лифту. Его створки раздвинулись, и Метелин увидел Валентину. Остановившимся взглядом, молча, смотрела она на него. Ее глаза не спрашивали, на кого и почему он ее променял. Это было уже совсем не важно. «Будет ли тебе лучше от собственного вероломства?» — говорили они...

...И тут же следом увиделся Метелину теплый, промытый недавним дождем августовский день. Они и брат на даче у родителей. Каждый со своим семейством. Дети у обоих еще небольшие. От их птичьего звонкого голоса шумно и весело. Да и взрослые кажутся еще такими молодыми, полными сил и здоровья. Даже отец с матерью. Обедать садятся за сколоченный из досок и вкопанный в землю стол под развесистой черемухой. Отец наливает взрослым собственного изготовления настойку, пережидает, пока уимется детвора, поднимает стакан и, окидывая всех затуманившимся взором, растроганно говорит:

— За счастье видеть вас всех вместе!

И вместе с теплом настойки тогда действительно накатывало ощущение переполняющего счастья.

Но был ли он, Метелин, на самом деле по-настоящему счастлив все свои семейные годы? Или только жил в ожидании этого счастья, даже не зная, какое оно?

И вот появилась Таня...

...Ожил, начал подавать свои позывные мобильник. Метелин вынырнул из сонного омута, очнулся. Достал из кармана куртки телефон. По высветившимся на дисплее цифрам номера понял — это она, легка на помине!

— Ты сейчас где? — услышал в трубке Танин голос.

— В аэропорту. У стойки регистрации.

— Никаких задержек и прочего нет?

— Нет, все по расписанию.

— Прекрасно! Тогда, как всегда, нежно целую и с нетерпением жду в Нью-Йорке.

Гуд бай!..

Звонок Ивановой вызвал у Сергея Васильевича реакцию бодрящей, поднимающей тонус инъекции. Сердечная тяжесть отступила.

Получив назад свои документы вместе с посадочным талоном, Метелин поблагодарил девушку за стойкой и, подхватив сумку, которую оформил как ручную кладь, направился в зону паспортно-визового контроля. На ходу подумал, что посадка на самолет напоминает бег с барьерами, из которых остался фактически только один. Дальше — «накопитель», или, как называют его в международных терминалах, «стерильная зона», где остается только дожидаться, пока пригласят на посадку. Скорей бы преодолеть этот последний барьер! А там — вольной птицей к своей любимой, к счастью, к которому столько шел!..

На их рейс у стойки паспортно-визового контроля скопилась небольшая очередь. Метелин пристроился в хвосте, поставил сумку на пол, и снова веки его начали слипаться, обволакивая вязкой дремой. Гул аэропорта стал глушее, невнятней, словно через вату пропущенный. Пребывая на грани яви и сна, Метелин автоматически подталкивал ногой сумку в сторону стойки сообразно движению очереди.

Перед входом в «стерильную зону» он вдруг увидел Таню. В плотно облегающих стройные бедра джинсах, тонком, упруго натянутом на груди легком свитерочке под распахнутой спортивной курточкой, с непокрытой без единого седого волоса головой она была невероятно хороша и молода. Таня призывающе махала ему рукой. Метелин даже и не удивился, почему она здесь, а не за океаном. Может быть, это он уже там? Нет, возразил Сергей Васильевич сам себе, наверное, еще здесь. Слух уловил всплывшие откуда-то издалека слова объявления о продолжении регистрации на рейс Москва — Нью-Йорк.

Таня, улыбаясь, махала рукой там, впереди, а Метелин чувствовал, что кто-то и здесь, за спиной, не спускает с него глаз. Догадываясь, хотел повернуться, но почему-то оробел. Решил не оглядываться, смотреть только в сторону Ивановой. Однако же и ответно помахать ей рука не поднималась. Все-таки обернулся — и нервная дрожь пробрала от пяток до макушки: так и есть — ОНИ пришли его проводить! ВСЕ вместе!

ОНИ предстали перед ним, как будто сошли с семейного фото. В центре — рука об руку — мать с отцом, справа — брат с женой и небольшими еще сыновьями, слева — Валентина, за спиной которой их уже взрослые сын и дочь. Перед Валентиной — внук. Валентина — в том же нарядном платье, в котором Метелин видел ее утром. У Валентины мешки под глазами, обрисовался второй подбородок, заметно, как ее расплывающаяся фигура теряет четкость очертаний. Руки Валентины лежат на плечах внука, и вздутые синеватые вены ладоней лишь подчеркивают тот грустный факт, что ее «женское время» неумолимо уходит.

На этом фото недоставало только самого Метелина. Он уже как бы отделился, перешагнул рамку кадра. Через несколько минут он пройдет паспортно-визовый контроль, преодолеет последнее препятствие и станет для всей своей родни — почившей и здравствующей — отрезанным ломтем...

— Ну что вы замерли! — услышал Сергей Васильевич позади себя сердитый голос пожилой мадам. — Двигайтесь, не задерживайте!

— Извините, ради бога, извините! — очнувшись, забормотал Метелин, подпихивая вперед сумку и делая вслед пару шагов.

Движение в очереди замерло в ожидании, пока оформят очередного пассажира, и Сергей Васильевич снова стоя задремал...

...Иванова продолжала махать ему рукой из «стерильной зоны». И что-то вроде бы кричала ему оттуда. Слов не было слышно, но Метелин прочитал по губам: «Я люблю тебя и жду! Остался последний барьер на нашем пути!..» И сердце Метелина рванулось к ней.

Но он тут же вспомнил о НИХ. Теперь ОНИ стояли вокруг него полукольцом и тоже что-то беззвучно говорили ему.

По их губам Сергей Васильевич читал:

— Бросаешь нас, сынок, от добра добра взялся искать? — сокрушалась мать.

— И будет ли новое на чужой стороне лучше? — вторил ей отец.

— Значит, жар-птица счастья тебя за океан, Серега, поманила? — насмешливо спрашивал брат. — Смотри, как бы потом вороной она не оборотилась!

— Я тебе всю жизнь больше чем себе верила, а ты предателем оказался! — с горечью констатировала Валентина, а дочь в полном недоумении вопрошала:

— Папа, что с тобой случилось? Ты же всегда был лучшим в мире отцом?..

Не зная, что ответить дочери, Метелин перевел взгляд в сторону Ивановой. Губы ее шевелились с удвоенной энергией.

— Не слушай никого! — читал он по ним. — Мы с тобой любим друг друга, а значит, должны быть вместе. Все остальное неважно. Отрешись от того, что было, и не оборачиваясь на прошлое, вперед, только вперед, к нашей с тобой новой прекрасной жизни! Остался последний барьер...

Метелин переводил взгляд с родных на Иванову и обратно и чуть ли не физически ощущал себя канатом, который каждая из сторон пытается перетянуть. Силы примерно равны, и все теперь зависит только от него: в какую сторону качнется он сам...

— Прошу ваш паспорт и визу, — услышал Сергей Васильевич и понял, что он уже возле стойки паспортно-визового контроля.

— Да, да... — спохватился Метелин и полез во внутренний карман куртки.

Он нашарил документы, но рука так и осталась в кармане. Метелин беспомощно оглянулся, потом бросил взгляд в сторону «стерильной зоны». Ни здесь, ни там никого не увидел. Тем не менее, он по-прежнему чувствовал их присутствие. И Таня, и ОНИ замерли, напряженно ожидая, подождет ли он сейчас собственноручно последний оставшийся за собой мост...

— Мужчина, нельзя ли быстрей? — поторопили его за стойкой, а стоящая за ним строгая мадам проворчала:

— Заранее не мог приготовить.

— Извините, сейчас, извините... — пытался Метелин извлечь непослушными пальцами паспорт.

Наконец кое-как справился с неподатливым карманом, выдернул документы и положил на стойку. И ощутил спиной тяжкий разочарованный вздох. И почувствовал, как впереди в восторге захлопала в ладоши Иванова.

Девушка в униформе авиакомпании вернула документы. Препятствий впереди больше не было. А позади «горел» последний мост. Метелину оставалось каких-нибудь десяток шагов, чтобы переступить порог его новой жизни, за которым обратного пути уже не будет...

Сергей Васильевич неуверенно двинулся к «стерильной зоне». Движение давалось ему с таким трудом, словно скован был он кандалами, а в сумке нес тяжеленные гири. Он весь взмок.

В шаге от вожделенного «порога» остановился перевести дух, смахнуть пот и тут почувствовал на своем запястье нежное прикосновение детской ладошки. Рядом никого не наблюдалось, но Метелин уже знал, что это была ладошка одного из его внуков-погодков. Они — один повыше, другой чуть пониже — держались за руки и смотрели на него, задрав русые головенки, а Сережка тряс деда за запястье и спрашивал:

— Деда, а когда ты вернешься? Ты обещал опять с нами в парк пойти. На весь день. Обещания надо выполнять, деда. Сам говорил...

И это была чистая правда: говорил, внушил постоянно желторотым птенчикам своим, что слово надо держать, а обещания выполнять.

И что-то лопнуло внутри Сергея Васильевича перетянутой струной, сломалось, лишило его энергии целенаправленного движения.

— Мужчина, с вами все в порядке? — встревожено спросила дежурная у входа в зону ожидания посадки

— Да, да... Все нормально, нормально...

— Тогда проходите, пожалуйста! — пригласила она.

В ответ Метелин круто развернулся и пошагал в противоположную сторону.

— Куда вы? — удивленно воскликнула ему вслед дежурная. — Вход здесь!

— Что-то, наверное, забыл, — предположил стоявший рядом с ней полицейский.

А Метелин, ускоряя шаг, словно промедление было смерти подобно, продолжал уходить туда, откуда недавно начинал он свой «бег с препятствиями». И чем дальше уходил, тем свободней ему делалось.

Остановился Сергей Васильевич лишь когда очутился за пределами терминала. Площадь перед ним была забита легковыми машинами, першило в горле от бензинового перегара, но только сейчас, наконец, впервые за несколько последних дней Метелин почувствовал настоящее облегчение.

«Эх, Метелин, опять ты упустил свой шанс!..» — услышал он внутри себя голос Тани. И почему-то совершенно не огорчился.

Заверещал мобильник. Метелин некоторое время смотрел на высветившийся номер Ивановой, размышая, как поступить с настойчиво трезвонившим телефоном. Потом отключил и опустил его на дно сумки.

По пути рука Метелина наткнулась на пакет с рукавичками. Вынув их из сумки, задумчиво повертел перед собой. Снова увиделась ему гибкая фигурка девочки, обтянутая свитером и спортивными брюками, ее забавный помпончик на шапочке и он сам, сжимающий красными, как клешни вареного рака, руками лыжные бамбуковые палки. Видение появилось и исчезло. Только послышалось тихим отзвуком: нет, не повернуть время и не вернуться к своему началу, к тому, что было. Из того сокровенного далека лишь сладостно щемящее душу ощущение неизбывной свежести первого чувства навсегда остается с тобой.

Сергей Васильевич отыскал в аэропорту почтовое отделение и долго сидел над листом бумаги, пытаясь объяснить Тане в письме, что же такое с ним в последний момент случилось. Но слова на бумагу не ложились, потому что и сам себе он не мог дать на это никакого вразумительного ответа. Как нежданно-негаданно знойным июлем все накатило, так тихим бабьим летом непонятным образом и схлынуло.

Изрядно поломав голову, все-таки написал на четвертушке листа: «Я должен остаться, хотя и по-прежнему тебя очень люблю. Прости!» Потом вложил записку в пакет с варежками, который тут же бандеролью отправил на калифорнийский адрес Ивановой.

Наблюдая, как проштамповывает работница почты бандероль, представил себе удивление и смятение Ивановой, когда она получит ее и прочтет записку.

Потом достал из сумки телефон, обнаружил за то очень недолгое время, что искал почту и занимался бандеролью, два пропущенных звонка от Ивановой. И это, подумал, только начало. В покое не оставит. Мобильник на день рождения подарила ему Валентина. Телефон ему нравился, его было жалко. Но... Сергей Васильевич прошел в небольшой скверик возле левого крыла терминала и зашвырнул его в кусты.

Теперь оставалось одно — возвращаться домой...

Стояла глубокая ночь. Метелин купил билет на ближайший рейс в их город и вышел на свежий воздух. Он знал, что по возвращении предстоят ему еще долгие и тяжелые объяснения с Валентиной, которая никогда быстро не воспламенялась, но и остыvalа медленно, и прощала тяжело. Но сейчас это уже не имело для него никакого значения.

Метелин вдохнул полной грудью прохладный воздух, и ему стало так хорошо и вольготно, словно он уже успел побывать изрядное время на чужбине и, набравшись не лучших впечатлений, вернуться, наконец-то, обратно...

СМЕРТЬ В РАССРОЧКУ

1

Николай Шумаков нашел Юлю по объявлению в толстенной, как «Нью-Йорк Таймс», рекламной газете «Доска объявлений». Одна из ее страниц пестрела завлекающими приглашениями к интимным встречам. Познакомиться для любовных утех

предлагали «изящные брюнетки», «аппетитные шатенки», «длинноволосые, длинноногие, эффективные блондинки», «красивые в чулочках», «ласковые, темпераментные, гостеприимные девушки с яркой внешностью», «красавицы Сибири», «сногсшибательные массажистки», «принцессы нежности и ласки», «элитные», «пышногрудые», «фигуристые» с «круглой попкой» и просто «маленькие, худенькие», но «сладенькие девочки», готовые удовлетворить любые фантазии и возбудить «даже мертвого»...

Ассортимент был на любой вкус, цвет и кошелек. Николай от души повеселился, читая объявления. Глаза разбегались от предложений одно зазывнее и экстравагантнее другого. Но по своему предпринимательскому опыту он знал: чем бросче и назойливей реклама, тем, как правило, хуже товар. Поэтому после некоторых размышлений остановился на скромном объявлении: «Симпатичная блондинка Юля познакомится лично». Николай набрал указанный телефон...

Такого рода способ завязывания интимных связей был им еще не опробован. Пользовался, правда, пару раз услугами девочек по вызову, которых, как пиццу на дом, доставляли клиентам шоферы-охранники, но эти встречи оставили у него ощущение наспех и всухомятку съеденных не первой свежести дешевых бутербродов, которыми ни голода не удовлетворил, ни удовольствия не получил. Одна изжога.

Впрочем, женским полом Николай по жизни вообще особо не увлекался. Появлялись, конечно, время от времени подружки, завязывались отношения, но потом это как-то само собой рассасывалось, исчезало. Позже и вовсе не до того стало: слишком многое в последние годы на него навалилось: смерть старшего брата, затем матери, разрыв с отцом... Ну и небольшой бизнес свой надо было ставить на ноги. А это нескончаемые хлопоты, когда с темна до темна крутишься, как белка в колесе. Не до баб! Теперь, слава Богу — тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо! — дело вроде бы налаживается: успел и квартирку купить, и машину, и перспективы просматриваются неплохие. Так что можно себе позволить и расслабиться немного...

Интуиция Николая не подвела. Юля оказалась весьма привлекательной и интересной особой. Она не смотрелась секс-бомбой, но все у нее было на месте, все ладно пригнано. И, что поразительно, ни в миловидном мягкого овала открытом лице ее, ни в синевозеленоватых больших глазах, меняющих цвет (как позже заметил Николай), словно морская волна в разную погоду, ни во всем остальном облике девушки не просматривалось еще той печати порчи и порока, которую неизбежно и очень быстро накладывает древнейшая профессия. Юля была пока свежа, не залапана, не замусолена множеством чужих губ и рук. Когда Николай впервые увидел ее на пороге своей квартиры — саму скромность и чистоту, которые еще больше подчеркивали ее простенькая синтетическая курточка, а под ней незатейливое платьице с белым шелковым воротничком и дешевые туфли, — он невольно подумал, что с такой, как она, хоть сейчас можно смело отправляться к родителям на смотрину. Но показывать ее ему было некому и незачем. Да и жениться в обозримом будущем Николай не собирался.

Первое впечатление, впрочем, было обманчивым. Во всяком случае, в постели Юля оказалась куда искуснее Николая. Но шло это, как все больше убеждался он, скорей не от большого собственного опыта, а от самой ее натуры, отмеченной и чувственностью, и внутренним темпераментом, и фантазией, и даже артистизмом. В ней каким-то непостижимым образом уживались современная, без лишних комплексов «герлз» и тургеневская барышня.

С Юлей Николай по-настоящему отдыхал. И не только в постели. Она была разносторонней девушкой. Хорошо пела, аккомпанируя на гитаре, знала уйму стихов, вообще отличалась начитанностью, в отличие от Николая, «искурившего», как в той поговорке, «один букварь с братом на двоих». И Николай сначала никак в толк не мог взять, отчего такая интересная и развитая девушка пустилась по волнам эротического бизнеса. Однажды он прямо спросил ее об этом. Юля болезненно поморщилась, словно ей наступили на больную мозоль, и сказала:

— Зачем тебе знать?

— Да так... — отчего-то смутился Николай. — Вроде бы не один уже день вместе, хочется побольше о человеке узнать.

— Ничего интересного, — отмахнулась Юля. — Обычная история. Деньги нужны.

— Помолчала и, вздохнув, сказала: — За учебу платить надо. Я на четвертом курсе филфака в педуниверситете учусь. Да и одеться-обуться прилично тоже хочется. А Жизнь-то нынче вон какая дорогущая! Чтобы дешевое бельишко купить, месячной стипендии не хватит.

— А родители?

— Разошлись они. Отец свалил неизвестно куда, а мать с новым мужем живет. Им совсем не до меня. Да и они мне оба по барабану.

— Ну а другим способом нельзя заработать?

— Можно, наверное, но у меня как-то не получалось. Я и официанткой в пиццерии была, и уборщицей в офисе, и всякие рекламные листовки по почтовым ящикам раскидывала. Везде гроши, да и те сразу не получишь, вечно задержки. А у меня и так кругом долги.

— А что... здесь больше выходит?

— Если судить по моим однокурсницам, — да. У нас полгруппы этим делом занимается. Кто в массажных салонах, кто по вызову. У всех прикид отличный, косметика, кольца-перстеньки, ни в чем себе не отказывают. Я среди них как золушка.

— И тогда ты решила, что панель — лучшее место для заработка? Сам того не желая, съязвил Николай.

— А что — думаешь, когда на фирме бизнесменишки, вроде тебя, пытаются оттряхать за просто так прямо на рабочем месте, — это лучше? — с вызовом ответила Юля. — Понимаю, что за все надо платить! Так уж лучше я сама предложу свой товар и цену ему назначу. На панель я, конечно, не пошла бы. Там и противно, и опасно. Можно так нарваться...

— Нарваться можно везде, — заметил Николай.

— Можно, — согласилась Юля. — Но тут ты как бы сама себе хозяйка: не нравится клиент — откажись от него.

— И многим ты уже отказалась в своей индивидуальной трудовой деятельности? — уже предчувствуя ответ, поинтересовался Николай.

Юля потупилась и смущенно призналась:

— Не успела я еще никому отказать. Я только начинаю...

— Дай Бог, чтобы и остальные клиенты у тебя были такие же хорошие, как я, — самодовольно сказал Николай.

— И чтобы их было как можно меньше, — со значением, смысл которого, впрочем, Николай сразу же просек (девушка явно искала долговременного партнера-спонсора), уточнила Юля.

— Слушай, а возраст для тебя значение имеет? — вдруг спросил Николай, осененный какой-то мыслью.

— В каком смысле?

— Ну, к примеру, пожилого человека будешь обслуживать?

— Почему бы и нет, если он того стоит? — пожала плечами Юля.

— Стоит, стоит... — невнятно пробормотал Николай, захваченный какой-то идеей...

2

Вот он, — показал Николай на вышедшего из подъезда мужчину. Юля подалась вперед, к лобовому стеклу, чтобы лучше разглядеть, но Николай резко осадил ее:

— Еще высунься, ручкой помаши...

Мужчина тем временем приближался. Стройный, подтянутый, фигурой своей он никак не походил на человека, которому, по словам Николая, было под шестьдесят. Темно-русые вьющиеся волосы слегка тронуты сединой. Как и небольшая аккуратная бородка, завершающая продолговатое с правильными чертами лицо мужчины. Легкую горбинку его прямого носа оседали солнцезащитные очки. Вполне, в общем, привлекательная внешность. Как-то не похож он на отморозка, которого рисовал Юле Николай, уговаривая ее на это щекотливое дело...

Связь их длилась уже не одну неделю. Николай то пропадал на какое-то время, то звонил, вызывая Юлю к себе на квартиру, и она честно отрабатывала свои деньги. Было бы лучше, если б Николай вообще взял ее на содержание, но он не спешил и расплачивался за каждый визит отдельно. И вот однажды он сделал ей предложение. Не в смысле замуж пойти, но тоже заставившее ее задуматься.

— Знаешь, — сказал Николай, — ты можешь заработать куда больше, чем я тебе сейчас плачу, и не в час по чайной ложке, а почти сразу.

— Как это? — удивилась Юля.

— А вот так, — сказал Николай. — Надо сделать одно дело...

Дело же состояло в следующем. Есть на земле один злобный монстр-старикан. Этот страшный человек появился в их доме после смерти отца Николая, погибшего несколько лет назад в Таджикистане, где служил в дислоцированной там 201-й российской дивизии. Гость представился сослуживцем и другом отца и попросился к ним на постой на некоторое время, пока не обустроится в незнакомом городе. Мать по доброте душевной и в память о муже согласилась. Она и предположить не могла, какие беды тем самым навлекает на свой семейный очаг. Позже оказалось, что этот монстр занимается наркоторговлей и возглавляет организованную преступную группу, поставляющую наркотики из Средней Азии. В нее вовлек он и старшего брата Николая — Бориса. Во время операции по захвату накодельцов он был убит. Узнав об этом, мать наложила на себя руки. Монстру же удалось ускользнуть. Николай остался последним из их семьи свидетелем его злодеяний, поэтому вынужден был бежать и скрываться. Но вечно скрываться невозможно, да и терпение лопнуло. Пришла пора навсегда «закрыть» негодяя. Однако сделать это не так просто. За ним не только мафия, но и коррумпированные органы, благодаря которым он всегда может вывернуться, выйти сухим из воды. А если от него не избавиться раз и навсегда, будут продолжать страдать честные, ни в чем неповинные люди, литься реки крови. Поэтому надо действовать осторожно и хитроумно — чтобы комар носа не подточил...

— У меня есть один план, который поможет нам нейтрализовать этого упыря... — понизив голос, хотя никого, кроме них двоих в комнате не было, говорил Николай.

План был гениально прост, хотя исполнение его требовало определенных усилий и времени. И Юле отводилась в нем главная роль. Заключался план в следующем. Юля должна была обаять и влюбить в себя старого негодяя, вступить с ним в длительную связь...

— Как с тобой? — уточнила с каким-то царапнувшим Николая вызовом Юлия.

— Со мной, не со мной... — поморщился он. — В такую, которую ему не хотелось бы прерывать. Поняла?

— А дальше?

— А дальше мы будем сживать его со света, — нехорошо усмехнулся Николай, и тут же лицо его сделалось серьезным и жестким.

— Каким образом?

— Будешь подсыпать ему один порошочек, который станет его и убьет... Впрочем, когда до этого дойдет, поговорим отдельно.

— Значит, хочешь использовать меня в качестве киллера? — возмутилась Юля.

— Ой, только не надо этой дешевой криминальной мелодрамы! Просто стоит задача быстрее очистить землю от злодея и преступника и получить за это... ну, скажем... — наморщил на секунду лоб Николай, — три тысячи баксов.

— И всего-то? За такого можно было бы и больше! — окончательно завелась Юля.

— А сколько ты хотела? — раздраженно спросил Николай.

— Да раза в три больше!

— В три раза?! — изумился он. — Девять штук только за что, будешь подсыпать ему порошочек?..

— Который сведет его в могилу, а меня — за решетку, — закончила Юля.

— Ну, его и в самом деле отправит куда надо, но тебе-то бояться совершенно нечего.

— Да, конечно, я с ним буду жить, он при мне умрет, и мне нечего бояться... Ври да не завирайся. Начнется следствие, и я первая подозреваемая. Так?

— Не совсем. Понимаешь... — Николай погладил Юлю по плечу. — Порошок действует медленно, постепенно и незаметно. Он доводит организм до критического состояния — и наступает смерть. Но самое главное — через два-три часа после приема от него не совершенно остается следов. И никакие криминалисты с любыми их анализами его не смогут обнаружить. Все чисто. Представляешь?

— Так не бывает, — недоверчиво сказала Юля.

— Бывает... — возразил Николай. — В наше время все бывает.

— Ну, хорошо, а если он догадается про меня... Мне ж тогда не жить!

— А ты сделай так, чтоб не догадался. За хорошие деньги можно и постараться.

— Это ты называешь — хорошие деньги?

— Да ты их своим промыслом и за полгода не заработаешь.

— Зато и без риска.

— А тут что за риск? — начал злиться Николай. — Ну... минимальный...

— Для тебя... — не сдавалась Юля. — Ты в сторонке останешься, в тенечке. А я жизнью буду рисковать

— Ладно — пять и по рукам, — назвал новую цену Николай.

Юля задумалась.

Если все так, как говорит, Николай, то, правда, чем она рискует? Юля и сама где-то слышала или читала об удивительном порошке, который чудесным образом заметает за собой следы. Но это, кажется, секретное изобретение спецслужб?.. Впрочем, сегодня все тайны продаются и покупаются, и у Николая тоже вполне может оказаться нечто подобное. С другой стороны, убийство есть убийство, как его ни обставляй. Но ведь и старики, если верить Николаю, убийца, на совести которого не одна загубленная душа. Так что одним больше, одним меньше... Вокруг столько крови, что лишняя капля ничего не изменит... Еще и доброе дело она, глядишь, сделает: избавит мир от такого... Тоже мне, Робин Гуд в юбке! — тут же усмехалась про себя Юля.

Однако, как ни крути, Николай предлагал хорошие деньги, на которые она смогла бы серьезно поправить свои дела и решить большинство текущих проблем. Надоело уже вот так жить, не имея ни опоры, ни поддержки...

Жалкая провинциалка из глухого райцентра, где можно только тихо умирать от беспросветной тоски, Юля поехала после окончания школы в областной город, полная радужных надежд. Ей казалось, что ждет ее здесь прекрасное будущее: получит хорошее образование, заведет семью и будет жить красиво и счастливо, как в дамских романах, которые обожала ее мать. Однако реальность очень быстро рассеяла розовый туман ее мечтаний.

Юля хорошо сдала вступительные экзамены в педуниверситет, но, в результате, ей предложили только платное обучение. И лишь благодаря отцу, который на первых порах, когда после развода еще продолжал жить в райцентре, как мог, поддерживал ее, оплачивая учебу и общежитие, чем вызывал раздражение и злость матери, уверенной, что он

выбрасывает деньги на ветер, а девке надо искать выгодного мужа, Юля продержалась в вузе два года. А потом отец куда-то уехал, не оставив никаких координат, исчез, растворился, словно и не существовало его никогда. Может, уже и в живых нет. Мать же, найдя себе нового мужа, на дочь смотрела теперь как на досадную в ее жизни помеху.

Надеяться больше было не на кого, Юля осталась один на один со своей жизнью, которая зияла пугающей финансовой брешью. Надо было добиваться университет. Правда, сейчас Юля, уже имевшая некоторое представление, как живут российские педагоги на свою нищенскую зарплату, вовсе не была уверена, что вузовский диплом существенно изменит ее дальнейшую жизнь. Тут мать, возможно, была и права. Но по врожденной привычке доводить начатое до конца, Юля решила вуз не бросать и упросила ректорат отсрочить ей сроки выплаты за очередной семестр. Но уже и эти сроки проходили, а положение почти не менялось. Еще и из общаги попросили за неуплату. Хорошо хоть подруга Ленка выручила: на квартире, которую снимала, приютила. В общем, куда ни кинь, везде клин. Случайные же заработки никак не спасали.

Однажды им с Ленкой попалась на глаза рекламная газета, где «милашки» и «обаяшки» предлагали себя желающим. Они зачитывали объявления вслух и от души хохотали. А потом Ленка сказала: «А что — может, и нам с тобой попробовать? Чем мы хуже всех этих «кошечек»? Дадим о себе в эту же газету объявление, укажем телефоны. Работать будем без посредников».

Решили, что каждый должен представлять себя сам, но достаточно скромно и со вкусом. Ленка написала о себе: «Умна, красива, молода! Приеду в гости хоть куда!», а Юля — совсем лаконично: «Симпатичная блондинка познакомится лично». Ленка сама же оба объявления в газету и отнесла. Юля при этом ни на что особенно не рассчитывала, отнеслась скорее как к шутке. Но через несколько дней сначала «клонули» на Ленку, и Юля спешно ретировалась, уступая подруге жилплощадь, а потом и ее «вызвонили» и пригласили на интимное randevu...

И не так оказался страшен черт, как его малют. Наверное, потому, что первые Юлины клиенты не были ни бандитами, ни сексуальными маньяками или извращенцами, а были просто затурканными своими женами и семейными проблемами мужичками в поре «кризиса среднего возраста», решившими хоть разок в жизни поискать приключений на стороне. При немалом своем семейном стаже были они неловки и неуклюжи в постели, и Юле приходилось самой брать инициативу на себя. Зато каждый изливал душу по полной программе, словно приходил не к проститутке за любовными утехами, а к попу на исповедь. И это было куда неприятнее и утомительнее, чем чувствовать на себе чужое нелюбимое тело. Но поскольку теперь это становилось частью ее работой, приходилось терпеть, изображая, с одной стороны, страсть, а с другой — участливое внимание. Впрочем, и то, и другое удавалось ей без особого труда, как нечто вполне естественное, включающееся в нужный момент само собой.

Николай на ее «профессиональном» счету стал не то не то шестым, не то седьмым. И, можно сказать, постоянным клиентом. Во всяком случае, Юле очень хотелось бы на это надеяться. Не только потому, что он приносил ей довольно ощутимый для ее положения доход. С ним было проще и легче. Он был достаточно молод, недурен собой, хорошо сложен, неплох как сексуальный партнер. И, слава Богу, не лез с душевными излияниями. С ним можно было беспечно поболтать, посмеяться, даже стихи почитать. Юля не загадывала далеко, и нынешние достаточно теплые, непринужденные их отношения ее вполне устраивали. И вдруг это неожиданное предложение...

Сполохи сомнений, впрочем, мелькали в голове Юли недолго. В зеленом дьявольском свете вожделенных баксов, застилающем ее сознание, растворялись последние рефлекции...

Мужчина поравнялся с их машиной — Николай поспешил прикрыться газетой — и, не обратив на авто ни малейшего внимания, повернул направо.

— Куда он? — спросила Юля.

— Есть неподалеку одна кафушечка, «Зеленый попугай» называется. Любит он там посидеть, пивка попить. Кстати, удобное место для знакомства. Твоих «коллег» там не бывает, поэтому все сойдет за чистую монету. Еще и за непорочную деву примет, если постараешься, — хмыкнул Николай.

Он легонько надавил на педаль газа и медленно двинулся следом за «клиентом».

— На вот тебе его фото, пригодится, — протянул он небольшого размера фотографию явно из семейного альбома.

— А как его звать?

— Анатолий Борисович. Надеюсь, скоро он тебе сам представится. А вон и заведение, — показал Николай на кирпичную пятиэтажку старой постройки. В глубину ее полуподвала вела каменная лесенка в несколько ступенек, увенчанная с улицы аркой, на которой красовалось — «Зеленый попугай».

«Клиент» уже спускался вниз. Вот он потянул на себя золоченую ручку и скрылся за темно-коричневой входной дверью.

— Действуй! — сказал Николай.

Юля вздохнула, и стала выбираться из машины.

3

Юля потянула золоченую ручку двери на себя и прошла внутрь. Здесь оказалось довольно уютно. Интерьер кафе был стилизован под старинную таверну. На краю стойки бара Юля увидела клетку с большим зеленым попугаем, который, заметив ее, закричал надтреснутым голосом: «Добр-р-ого здр-р-авия!» Видимо, приветствовать этой немудреной фразой каждого вновь пришедшего входило в его обязанности дрессированной птицы.

Юля прошла к стойке и огляделась. Посетителей было немного. Несколько парочек за массивными деревянными столами в интимном полусумраке подвальчика потягивали кто пиво, кто напитки покрепче. «Клиент» сидел в дальнем углу в одиночестве. Юля почувствовала на себе его заинтересованный взгляд. Тем лучше! Оставалось только решить: самой, подсев к нему за столик, завязать знакомство, или подождать у стойки в надежде, что он возьмет инициативу на себя и подойдет ее «снять». А если не возьмет, не подойдет? Будет из своего угла на нее пялиться, а дальше — тишина. Юля заказала коктейль и с робостью человека, впервые попавшего в подобное заведение, направилась в сторону «клиента».

По совету Николая Юля надела то самое темно-синее платье с белым шелковым отложным воротничком, в котором он впервые увидел ее на пороге своей квартиры. В сочетании с меняющимися, как морская волна, сине-зеленоватыми глазами оно подчеркивало в ней столь неожиданный на фоне нынешней отвязной молодежи и пленительный для настоящего гурмана-ценителя женской красоты облик тургеневской барышни. «Он человек несколько старомодный, в таком виде ты ему больше понравишься», — уверил Николай. — И вообще, я думаю, чем сильнее ты будешь прикидываться скромной овечкой, тем больше у тебя шансов на успех нашего мероприятия».

Возле столика «клиента» Юля приостановилась, словно раздумывала, где бы устроиться: здесь, или подсесть к парочке по соседству.

Анатолий Борисович любил коротать в этом уютном кафе свободные вечера, разглядывая из дальнего своего полутемного уголка посетителей. Юлю он заметил сразу, как только она вошла. И тут же у него возникло удивительное предчувствие, что с этой

девушкой у него будет многое связано. Удивительное потому, что он был мужчиной уже далеко не первой молодости, и разве может быть что-то общее между ним и этим юным современным созданием. Вот только на нынешних девиц она не очень походила. Было в ее облике нечто такое, что навевало на воспоминания о собственной молодости. Словно и пришла она оттуда, а, может, и из еще более давних времен, отмеченных заповедной чистотой и возвышенностью чувств.

— Девушка, присаживайтесь сюда, — пригласил Анатолий Борисович. — Разделите мое одиночество.

— А если я тоже хочу одиночества? — помимо воли вырвалось у Юли, и она испугалась: ведь ее задачей было как раз, наоборот, в ближайшее время, по крайней мере, разделять одиночество этого, пока еще совсем незнакомого ей человека.

— Ну, тогда за одним столом окажутся два одиночества, — мягко улыбнулся «клиент». Он кого-то напоминал ей. Только вот вспомнить не могла.

Юля осторожно поставила на массивную столешницу свой коктейль и нерешительно села напротив.

— Что-то я вас здесь раньше не видел.

— Я случайно сюда заскочила... На минутку...

Вспомнив, что за «случай» привел ее сюда, Юля слегка поперхнулась, поднеся к губам тыльную сторону ладони, кашлянула разок-другой, собираясь, настраивая себя на нужную волну, и спросила:

— А вы здесь часто бываете?

— Да можно сказать — регулярно. Если только дела не заставляют куда-нибудь на время уехать. Я живу неподалеку. Но дома в пустых стенах не очень весело, а здесь люди. В то же время, спокойно, уютно. А что еще старику надо!

— Да какой же вы стариk? — удивилась Юля, и удивление ее было вполне искренним.

Его стать и исправка, многим нынешним молодым с их ранней сутулостью или пивными животиками — на зависть, были видны в нем даже сейчас, когда он расслабленно сидел за столом, поглаживая аккуратной ладонью пивную кружку. И чуть впалые щеки его, и с небольшой ямочкой подбородок были тщательно выбриты, что тоже придавало ему моложавости. Волнистые волосы над высоким лбом непослушно распадались на два темно-русых крыла. Если что и выдавало его возраст, так это борозды трех глубоких морщин на лбу и совершенно седые виски. По всей видимости, он не пользовался парфюмом — от него не пахло ничем, кроме чистой здоровой мужской кожи, и это Юле понравилось: иные мужики по полведра всякой дряни на себя выливают. Один из Юлиных клиентов заявился к ней, распространяя такой густой аромат хвойного дезодоранта, что когда вспотел, перейдя к «делу», Юлю чуть не вырвало: было ощущение, будто лежит она рядом с елкой, под которую только что нагадили.

Солнцезащитные очки Юлины визави снял, и теперь она видела его глаза: большие, чуть склоненные к скулам, в полусумраке заведения казавшиеся темно-синими, почти черными. Они смотрели на нее внимательно, но не было в них, к удивлению Юли, того животного похотливого интереса, к которому в последнее время она уже почти привыкла, также воспринимая его как часть своей новой работы. Глаза были теплыми, немного грустными. От них не хотелось отворачиваться или опускать взор.

— Стариk, конечно! — снова улыбнулся «клиент». — Скоро шестьдесят стукнет. Но за комплимент все равно спасибо!

«Кто ж так клеится? — подумала Юля. — Другой бы на его месте половину лет себе скостили да хвост павлиному распустил, а этот — мои года — мое богатство!..»

И это ей тоже понравилось.

— Тогда вы просто чудно сохранились для своих лет, — сказала Юля. — Вы, наверное, бывший спортсмен? — предположила она.

— Скорее бывший военный, — сказал он. — Разрешите представиться: Анатолий Борисович. А вас?

— Юля.

— Вы очаровательны, Юленька! — с чувством сказал Анатолий Борисович, потянул ее ладошку к себе, и Юля почувствовала тепло его чуть жестковатых губ.

Рук ей никогда не целовали, и ощущение было непривычным. Настолько трогательным, что чуть слезы не навернулись.

— А вы?..

— Что я?

— Попробую сам угадать... Вы скорей всего студентка.

— Вы так проницательны! — сделала удивленные глаза Юля, а про себя с тоской подумала, что в таком сиротском «прикиде» ее, кроме студентки из провинции, живущей вдалеке от бедных родителей, разве что еще за детдомовку или бомжиху можно принять.

— Но мне пора, — привстала со своего места Юля.

— Посидите еще! — стал упрашивать Анатолий Борисович, однако Юля, решив, что на первый раз, пожалуй, хватит, а то как бы не переиграть, на уговоры не поддалась. Проводить себя тоже пока не позволила, но пообещала заглядывать сюда почаше, чем необычайно, заметила она, окрылила «клиента», еще раз поцеловавшего ей руку на прощанье.

4

В следующий раз они встретились через день — здесь же, в «Зеленом попугае», столкнувшись прямо у входа. Анатолий Борисович был в синих джинсах и в тон им легкой спортивной куртке на молнии, еще больше подчеркивавших его стать и моложавость.

— Может, погуляем? — предложил он, и Юля не заставила себя упрашивать.

Стояла середина августа, лето шло к исходу. Было еще тепло, но уже не жарко. В кронах деревьев пробивалась золотые осенние пряди.

Они бродили по скверу неподалеку от «Зеленого попугая». Потом сидели на открытой почти пустой террасе летнего кафе. Анатолий Борисович угождал Юлю мороженым, и все больше задумчиво молчал.

Уж не пронюхал ли он чего о ней, не догадался ли, зачем она рядом с ним оказалась? — пугалась Юля, ощущая на себе его взгляды и боясь оторвать глаза от мороженого. — А теперь вот соображает, как расправиться, — передергивало ее от страха. — Он же — мафиози, — вспоминала она рассказы Николая, — главарь банды! Что ему стоит выхватить сейчас пистолет с глушителем, как в телесериалах, и — пук! — ее прикончить! Да он сам, наверное, и мараться не станет. Подойдут сзади два его братка-бандюгана, завернут ей руки назад, запихают в багажник и увезут в лес. А там наиздеваются и живьем закопают. Или сожгут, облив бензином. Боже, и зачем она только согласилась на это дело!..

Холодея от ужаса, Юля оглянулась. За спиной никого. На асфальтированную площадку перед кафе выходили лучи трех аллеек, обрамленных ровно подстриженным низкорослым кустарником. По ним катали коляски молодые мамаши и бабушки водили за руку внуков. Машин поблизости не было...

— Что с вами, Юля? — вернул девушку к действительности встревоженный голос Анатолия Борисовича.

Юля повернулась, встретилась с ним взглядом и успокоилась. Взгляд этот не предвещал ей ничего плохого. Скорее наоборот. Его синие глаза (на солнечном свету они уже не казались темными) излучали сразу и восторг, и обожание, и влюбленность, и...

печаль. Так смотрит ребенок на игрушку в магазинной витрине, о которой давно мечтал, но которая ему пока недоступна.

И разве же такие глаза могут быть у злодея, которому нет места на земле?..

— Все нормально, Анатолий Борисович, все нормально, — тряхнула головой Юля, отгоняя свои страхи, и снова подумала, что он ей кого-то напоминает. Какого-то киноактера из старых советских фильмов. И кого-то еще...

Теперь они встречались почти каждый вечер. И каждый из этих вечеров был по-своему неповторим. А все вместе — замечательны для Юли тем, что впервые в жизни за ней ухаживали по-настоящему красиво, галантно, без пошлых намеков и поползновений в первое же свидание, но и без пыли в глаза. Анатолий Борисович не забрасывал ее охапками цветов, не водил по шикарным ресторанам, не купал в шампанском на загородных виллах, не обвешивал ее драгоценностями, не возил «отрываться» по заморским курортам. И не потому, что и не по карману было, сразу же поняла и почувствовала Юля, встречаясь с ним, а просто не по нутру. Они шли то в театр, то в концертный зал, то в зоопарк, а то оказывались среди разновозрастной и разношерстной публики в бардовском клубе, где в сполохах свечей плачут и смеются гитары вместе с хриплоголосыми своими хозяевами. А иногда просто гуляли в укромных аллеях и смотрели, как начинают обнажаться деревья, устилая опавшими листьями дорожки. Вспоминались пушкинские строки про «багрец и золото» и левитановские картины.

— До чего же красиво, не правда ли, Юленька? — говорил Анатолий Борисович, протягивая руку навстречу падавшему листу, и, грустно улыбаясь, добавлял: — Как не хватает нам этого вот естественного покоя и умиротворения в нашей суетной жизни! — Но тут же спохватывался: — Извините, это я, пожалуй, уже по-стариковски. Молодым покой, наверное, даже и не снится.

«Полный отстой!» — хотела Ленка, узнав о «странностях» нового Юлиного «клиента», а ей нравилось. Нравилось, что в ней видят человека, а не смотрят на нее прежде всего как на объект вожделения, что окружают ее той особенной чувственной атмосферой, которая возносит, возвышает и дает возможность ощутить себя полноценной женщиной.

Со сверстниками и однокурсниками все было по-другому. Примитивнее и скучнее. Удивительно, но будущие педагоги редко выбирались в театр или на концерт. Занятия, университетская библиотека, общага, в одном из холлов которой два раза в неделю дискотека. Дефицит своих парней восполняют курсанты из соседнего высшего военного училища, ребята здоровые и напористые, как молодые бычки, с полутора извилинами в голове, да и те работают в одном направлении — быстрее в охапку да в койку. Правда, свои немногочисленные педагогические особи мужского пола — и того хуже. У бычков хоть с плотью все в порядке. А эти алкоголем и наркотиками по большей части так подорваны, что весь пар в «свисток», то есть в пустопорожний треп только и уходит. Да и от него на второй минуте зубы начинает ломить. Пробовала Юля и с теми, и с другими. Хрен оказывался редьки не слаше. Скучно! Словно кукла ты механическая. Хотя, может быть, она слишком привередливая. Девки-то их, педагогини, за «бычков» с удовольствием замуж выскакивали...

Анатолий Борисович годился Юле чуть ли уже не в дедушки — ей двадцать один, ему под шестьдесят, но она совершенно не воспринимала его стариком, чувствовала себя с ним удивительно легко и забывала о разнице в возрасте.

Он был удивительно начитан, и, когда Юля иной раз начинала в эмоциональном приливе декламировать стихи любимых поэтов, он вдруг подхватывал на полуслове и заканчивал строфи или стихотворение. Он знал толк в театре, в хорошей музыке, эстраде. В нем чувствовался тонкий вкус. Он вообще много чего знал, видел. И умел также со вкусом рассказать. Но даже и молчать с ним было легко.

Впрочем, и разговаривая о том, о сем, непринужденно занимая друг друга этими разговорами, они, словно заранее договорившись, обходили темы личные. Юля,

интуитивно боясь спугнуть его неосторожным словом или вопросом, о подробностях его жизни не спрашивала, да и о себе распространяться не спешила. Анатолий Борисович тоже держал здесь дистанцию.

С Николаем у Юли интимные встречи прекратились. Он и не настаивал. Зато проявлял жадный интерес к тому, как развиваются ее отношения с Анатолием Борисовичем, и тропил:

— Тащи быстрее в постель и объявляй ему «шах»: мол, переспал, значит, как честный человек обязан жениться.

— А если не согласится?

— Я так понимаю, что он уже втюрился в тебя по уши?

— Может, и втюрился, только захочет ли жениться? — У Юли вдруг сладко заныло сердце.

— Захочет, не захочет... — пожал плечами Николай. — Это я так, образно сказал. Будете просто сожительствовать. Меньше мороки. Так что хватит романтических встреч, давай ближе к телу и делу...

Юля сразу же вспомнила о конечной цели, поставленной Николаем. Острый шилом кольнуло под сердцем, и стало как-то неуютно, зябко — ледяным ветерком обожгло. Все вроде бы получалось лучше некуда: зверь сам бежал на ловца, оставалось только захлопнуть клетку, окончательно пленив его. Но зверь оказался совсем не таким зверским, каким его Юле старались преподнести, а очень даже симпатичным и милым. И доверчивым в ожидании тепла и ласки. А потому его было жалко.

5

Обычно их свидания начинались возле входа в «Зеленый попугай». Встречались здесь, а уж потом отправлялись куда-нибудь. Пару раз Анатолий Борисович подъезжал за ней на видавших виды «Жигулях» одной из ранних (какой именно — в этих тонкостях Юля разбиралась плохо) модели.

— Прошу в мою, подстать хозяину, старушку, — распахивая дверцу, с неловкой улыбкой приглашал Анатолий Борисович.

Машина шла на удивление ходко; отлично, видимо, отлаженный мотор работал едва слышно, да и Анатолий Борисович, чувствовалось, был прекрасным водителем. Такому бы да крутую иномарку в руки! «А почему, кстати, он ездит на этом раритете? Для супер-пупер-мафиози как-то даже неприлично...» — спросила сама себя Юля, но вслух ничего не сказала.

Еще больше удивила Юлю квартира Анатолия Борисовича.

Перевалил свой экватор сентябрь, зарядили дожди. Похолодало. «Зеленый попугай», у дверей которого они по традиции встретились, почему-то сегодня не работал: то ли на санитарный день, то ли учет был закрыт. Промозглая сырость к прогулкам на свежем воздухе не располагала, и Анатолий Борисович, смущаясь, предложил зайти к нему. Наконец-то! — обрадовалась про себя Юля. И не только потому, что скоро появится возможность «перейти к делу». (Это-то как раз ее все больше пугало). Хотелось уже не просто встреч и ухаживаний, а более целенаправленного и четкого развития сюжета их отношений.

Апартаменты грозного «мафиози» оказались обычновенной двушкой в «хрущевке» с крохотной прихожей и тесной кухонькой. Евроремонтом, как и богатством, здесь не пахло. В зале, еще с советских, видимо, времен — вишневая мебельная «стенка» с золотистой инкрустацией, такой же раритетный диван-кровать. А еще стол и пара кресел. Современным был, пожалуй, только телевизор «Тошиба». В спальне Юля увидела широкую тахту и темно-коричневый полированный трехстворчатый шифоньер. Точно

такой же, как и у них дома, куда еще девочкой Юля вешала на плечики свои платья и блузки.

Отличали же квартиру чистота и порядок, никак не вяжущийся с расхожим представлением о заплеванном холостяцком быте. Тем более удивительные, если учесть, что вести ее к себе в гости Анатолий Борисович сегодня явно не планировал и к встрече не готовился.

Позже Юля спросила у Николая, очередной раз допытывавшегося по телефону, как идут у них дела, почему ее «клиент» ездит на такой доисторической тачке и обитает в столь непрезентабельной хатенке. Как-то не очень вяжется с образом наркобарона.

— Много ты их видела!.. — сердито засопел Николай в трубку. — Разные они бывают. А этот — шифруется, старается не светиться. Есть у него и «мерсы», и коттеджи, и недвижимость за бугром... — все есть. Только не для твоих глаз и не по твою душу. Не об этом тебе надо думать...

Она и не думала.

Анатолий Борисович отправился на кухню варить кофе, а Юля лихорадочно соображала, как ей поступить. Прямо сейчас раздеться — на, мол, хватай меня, пользуйся? Но, ведь, он девочку домой на час по прейскуранту не заказывал, чтобы так вот: раз, раз — и быстрей на матрас. Если она и правда подобным образом поступит, то, пожалуй, только дело все испортит. Да и самой ей как-то совсем не хотелось превращаться из предмета воздыхания а его глазах в обыкновенную шлюху, готовую отдаться чуть ли не за чашку кофе. Но и дальше тянуть резину тоже...

Аппетитно запахло кофе, звякнули чайные ложечки, послышались шаги Анатолия Борисовича, а Юля так и не придумала, как ей себя сейчас вести. Ну и пусть все катится само собой — решила она — куда уж кривая вывезет!..

В дверях залы появился Анатолий Борисович, выкатывая передвижной столик, на котором дымились кофейным ароматом две фарфоровые чашечки, лежало в плетеной соломенной корзиночке печенье, а рядом — коробка шоколадных конфет. Хозяин квартиры расставил все это на журнальном столике возле дивана и придинул к нему кресла, пояснив: «В них удобнее».

Последовала продолжительная пауза. Чувствовалось, что и Анатолий Борисович пребывает в некоторой растерянности от их «тет-а-тет». До сих пор оставаться полностью наедине им еще не приходилось. И это его тоже сковывало.

— Хороший кофе, — отхлебнув из чашечки, похвалила Юля и спросила: — Анатолий Борисович, а вы здесь живете один?

— Сейчас один. А когда-то нас тут было четверо — целая семья. Нормальная человеческая семья: муж, жена, двое сыновей.

— А где они сейчас?

Анатолий Борисович торопливо, даже как-то несколько судорожно прихлебнул кофе, помрачнел. Кожа на его скулах натянулась, поперечная складка на лбу, над переносицей прорисовалась резче и глубже, проступили и напряглись желваки, словно от внезапно приступа изо всех сил сдерживаемой боли. И Юля подумала, что, наверное, зря его об этом спросила.

— Извините... — пробормотала она.

— Да нет, что вы, Юлечка, все нормально! — улыбнулся Анатолий Борисович, справившись с собой. — Все нормально. Как-нибудь, если захотите, конечно, мы поговорим и об этом, и о нас с вами, и о многом другом подробнее. Надеюсь, у нас будет достаточно времени...

И Юля невольно подумала, как же непохож он на ее «клиентов», успевавших за час отведенного им времени пролить ей на подушку бурные потоки крокодильих слез о тяготах семейного быта.

Дальше разговор как-то не пошел. Анатолий Борисович молча гладил ручку кофейной чашечки, не отрывая от нее взгляда. Был он сейчас где-то не здесь и думал о чем-то своем.

Юля стала прощаться.

Анатолий Борисович очнулся, засуетился, стал бормотать извинения, порывался проводить. Юля удержала его.

— До встречи! — сказала она в дверях.

— До скорой! — поправил он, взял ее ладонь в обе руки.

6

Ждать пришлось недолго. Уже через два дня Анатолий Борисович позвонил ей и пригласил вместе поужинать.

Они, как всегда, встретил ее у «Зеленого попугая». Юля подумала, было, что сейчас они спустятся в полуподвал кафе, но Анатолий Борисович смущенно и в то же торжественно сказал:

— Юля, я хотел бы опять пригласить вас (они до сих пор были на «вы») в свою одинокую берлогу. Я не очень люблю заведения общепита, но, уверяю, вы не пожалеете, если отужинаете у меня дома.

— А дома еще и лучше, — легко согласилась Юля, ничего слаще студенческой столовой и не видевшая.

Во второй раз за эту неделю Юля переступила порог квартиры Анатолия Борисовича. Сегодня она сверкала еще большей чистотой. Знакомый журнальный столик был застелен узорчатой скатертью и сервирован на две персоны, а на самой его середине в красивой вазе цветного чешского стекла благоухали бордовые розы. Из кухни доносились вкусные запахи, от которых невольно текли слюнки.

Анатолий Борисович провел Юлю в зал, усадил за столик и исчез на кухне. Через несколько минут столик был заставлен салатами и закусками.

— А на горячее у нас будет парная телятина в белом вине и грибном соусе, тушеная в горшочках. Пусть она еще немного потомится в духовке, а мы пока займемся вот этим...

— В руках Анатолия Борисовича появилась запотевшая бутылка «Алазанской долины».

— С этим вином у меня связаны воспоминания о прекрасной солнечной Абхазии.

— Вы там отдыхали? — спросила Юля, принимая от Анатолия Борисовича бокал с темно-розовым, в тон стоявшим на столике цветом вином.

— Служил я там, Юленька, несколько лет служил. Я ведь, кажется, говорил, что я бывший офицер, а ныне — военный пенсионер. — За ваше здоровье и за то, что вы осчастливили своим присутствием мое скромное жилище! — поднял бокал Анатолий Борисович.

Юля отпила несколько глотков. Полусладкое вино мягко и ласково обволакивало нёбо. Юля почувствовала вкус спелого винограда и свежесть безмятежного утреннего моря.

— А я думала, что вы бизнесмен, — сказала Юля, грея в ладошках бокал и слушая, как виноградное тепло расходится по телу.

— Да какой там бизнес! — махнул рукой Анатолий Борисович. — Так, мелкая коммерция в подспорье к пенсии. А до пенсии я двадцать семь лет в армии прослужил. И дальше бы, наверное, служил, если бы не вся эта свистопляска в стране. Часть нашу расформировали, я по выслуге лет пенсионером стал. Чем заняться — ума не приложу! Везде все рушится, валится. Воровать да торговать оставалось. Воровать, хоть застрели, не смогу — так уж с пеленок воспитан. Пришлось торговать. Вернее в одном месте покупать подешевле, в другом продавать подороже. Раньше это спекуляцией называлось,

сейчас — коммерция... Но это молодой красивой девушке, я думаю, совсем не интересно, — спохватился Анатолий Борисович.

— Нет, нет, что вы! Как раз наоборот! — воскликнула Юля и осторожно спросила: — А семья у вас есть?

— Семья... — помрачнел Анатолий Борисович. — Когда-то была и семья. Даже, как мне казалось, неплохая...

— Расскажите! — попросила Юля, дотронувшись до его ладони.

— Да и рассказывать-то особо нечего. Я только-только лейтенантом стал, она пединститут окончила, как мы познакомились. Понравились друг другу, решили пожениться. А потом — служба, гарнизоны. Офицерская жена за мужем, как ниточка за иголочкой. Хочешь — не хочешь, а, получается, обе судьбы воедино слиты. Не каждая женщина такую долю вынесет. Работать моей жене приходилось, кем придется, а когда дети пошли, то совсем на домашнее хозяйство переключилась. Там ведь, на дальних точках, не только детсадов, школ-то иной раз в радиусе многих километров не было. Нахлебалась она этой нашей военной романтики — что и говорить! Но сыновей подняла. Двое их у нас было: Боря и Коля.

— Было?

— Да, было. Сейчас один Николай остался. Борис погиб...

— Простите, что я...

— Нет, ничего. Мне и самому невмоготу носить это в себе... Ну так вот. Школу они оканчивали уже здесь. Меня, наконец-то, в большой город перевели. Квартиру дали. Вот эту самую. Ох, как мы тогда все радовались, помню! Раem наша хрущоба казалась. А то ведь до этого все частные углы да служебное жилье. А теперь у ребятишек своя комната появилась. Каждому письменный стол купили...

Анатолий Борисович сделал паузу, вспоминая, как любовно гладили коричневую полировку столов счастливые сыновья, но, спохватившись, продолжил:

— Сыновья у меня погодки. Боря старший. Разные они у меня были. Боря — весь на эмоциях, на чувствах. Душа добрая, нараспашку. Со всеми поделится, никого не обидит. Совершенно непрактичный. Коля — другой. Тот — больше себе на уме, тот прагматик. Бориса в магазин лучше было не посыпать: или сам обсчитается, или его обсчитывают, или, того хуже, деньги где-нибудь по дороге потеряет. А то и купит совсем ненужное. Николай все точно рассчитает и купит, да и себе еще выгадает. Недаром в бизнес подался. Но между собой жили дружно. Друг за друга горой...

Анатолий Борисович глубоко вздохнул.

— Боря школу почти на одни пятерки окончил. И в институт легко поступил. Только вот не туда, куда душа лежала. Он-то, по сути, гуманитарий, а пошел в технический вуз. Мать настояла. Была убеждена, что настоящий мужчина обязательно должен быть при технике.

— А военным, как вы, он не хотел стать?

— Нет, к военной службе тяги он никогда не испытывал. И правильно. Тем более что времена пошли аховые, всюду развал, в армии тоже. Человек в форме из защитника Отечества чуть ли не в пугало превратился. А Боря парнишкой был ранимым, остро все воспринимал. Но пошел он все-таки в некотором роде по моим стопам: поступил на факультет авиационной и космической техники. Самый престижный в том его вузе. Два курса отучился. Все нормально. А на третьем как бес в него вселился. Захандрил, учебу запустил. Сессию зимнюю завалил. А потом и откровенно заявил: не хочу здесь учиться, не нравится, не мое это. Жена, конечно, в слезы. Подумай, мол, о будущем: сейчас без диплома ни в одну более-менее приличную контору не сунешься, никакой карьеры не сделаешь, еще и в армию загребут. А он уперся — лучше уж в армию. Так в институт и не вернулся. Хотя была возможность восстановиться. Нет. Пошел на курсы шоферов, потом в автоколонну устроился. Только поработать долго не пришлось. Весна, майский призыв.

С институтом расстался, никакой отсрочки нет — призывают и его. Жена в панике. Надо сына выручать, отмазывать...

В памяти Анатолия Борисовича всплыл тот погожий майский день, когда они с женой узнали, что Бориса забирают в армию. «Надо что-то делать, что-то срочно предпринимать!» — взволнованно говорила жена, а Анатолий Борисович искренне недоумевал, почему их сына надо «отмазывать», спасать от армии. Почему он не должен, как другие молодые люди, отдать долг родине? Послужит положенное и вернется. Тело и характер закалит, жизнь более трезво оценивать начнет, да и просто обрести себя армия поможет — рассуждал Анатолий Борисович, вызывая со стороны жены ответную бурю возмущения. «Так может говорить только бесчувственный солдафон, который не любит своих детей! — негодовала она. — Боря не создан для армии, он там, чует мое сердце, пропадет». — «Ну, тот, кто для нее создан, остается в армии навсегда, — возражал Анатолий Борисович. — Остальные просто выполняют положенный воинский долг. И я не понимаю, почему одни его будут выполнять, а другие в это время отсиживаться в кустах?» — «Ты не о других, о сыне своем волнуйся! — не унималась жена. — Он ведь на Кавказе окажется. И головы ему там не сносить. А про долг не надо. Те, кто эти долги выдумал, нам всем гораздо больше должны. Тем более что их-то детки в армии не служат, в «горячих точках» не воюют, не гибнут».

Помнится, они с ней тогда крупно повздорили. Жена обиделась, надулась и, как потом оказалось, в поисках путей спасения сына от армии стала действовать самостоятельно.

— Отмазали? — вернулся к реальности голос Юли.

Анатолий Борисович покачал головой. Хотя, подумал он, наверное, могли бы, если бы не его дурацкая принципиальность, не гипертрофированное чувство долга. Жена сумела найти в военкомате нужного человека. Дело оставалось за деньгами. Но их-то как раз и не было. Тогда жена предложила Анатолию Борисовичу срочно продать машину.

Продать машину!.. Самое ценное, не считая квартиры, что в их семье тогда оставалось. К покупке машины Анатолий Борисович готовился не один год, а когда ее приобрел, то полюбил ее, как собственных детей. Автомобиль стал для него чуть ли не единственной отрадой и отдушиной. Без него Анатолий Борисович себя уже просто не представлял. Впрочем, он мог бы пожертвовать и им, зная, что жертва благая, очистительная. Однако в этом Анатолий Борисович как раз и не был уверен. Ведь речь шла, по сути, об элементарной взятке, а давать ее какому-то потерявшему совесть и честь прохиндею в погонах, Анатолию Борисовичу — офицеру, безупречно и незапятнанно прослужившему в армии четверть века — было не только омерзительно, но и просто невозможно.

— Нет, не отмазали! — нервно потеребил край салфетки Анатолий Борисович. — В начале июня его забрали. Попал он в автомобильную часть. Сначала служил в соседней области, а потом, как и чуяла жена моя, их отправили на Кавказ. Месяца три там пробыл. Пару раз весточки от него получали. Писал, что все нормально. Потом ни слуху, ни духу...

— А дальше? — воскликнула Юля, подаввшись к Анатолию Борисовичу.

— Дальше? Дальше мне целое следствие пришлось провести, чтобы узнать правду. Только лучше ее было и не знать! — дрогнувшим голосом сказал Анатолий Борисович. — Везли они боеприпасы в одну из частей. Машина Бориса подорвалась на радиоуправляемом фугасе. Разнесло вдребезги. Ничего не осталось ни от машины, ни от солдат в ней. Даже похоронить нечего...

Анатолий Борисович замолчал. Глаза его предательски засияли. Было видно, что ему тяжело и больно от этих воспоминаний.

Юля сама едва сдерживалась, чтобы не расплакаться.

Но Анатолий Борисович уже взял себя в руки.

— Да вы кушайте, Юленька, кушайте! — засуетился он. — Салатики вот, ветчинку. А я сейчас горячее принесу.

Он поспешил на кухню, а через несколько минут появился с подносом в руках, на котором красовались два расписных керамических горшочки, исходящих обалденным мясным ароматом.

Анатолий Борисович аккуратно составил на стол горшочки, один пододвинул Юле.

— Под телятинку давайте выпьем. И — ешьте, ешьте! А то, наверное, отбиваю аппетит своей болтовней.

— Нет-нет, мне очень интересно! — поспешила заверить Юля и смущилась, подумав, что интерес к чужому горю под горячее блюдо и вино, может быть, совсем неуместен.

— Ну, тогда я, пожалуй, доведу свой рассказ до конца. В общем, так и не похоронили мы Борю. Где-то бродит его душа неприкаянной. А жена моя стала с тех пор пить. Страшно пить, по черному. Быстро опустилась, из симпатичной моложавой женщины стала на глазах превращаться в старуху. Куда-то пропадала временами. Возвращалась мятая, грязная, со спутанными волосами, с полубезумными глазами. А когда трезвела, с ненавистью говорила: «Почему не убили тебя? Чтобы ты сдох под колесами собственной машины!» В гибели сына она винила меня одного. Слушая ее, я и сам начинал верить в то, что так оно и есть. И становилось невыносимо. Смерть брата Николай переживал тоже очень тяжело. Смотрел на меня волком, шарахался, как от прокаженного. Он уже на четвертом курсе в это время учился. В том же самом институте. Только специальность другая. Н-да...

— А как сейчас ваша жена? — осторожно спросила Юля в нехорошем предчувствии.

— Уже никак. Отравилась она. Каким-то суррогатом алкогольным отравилась. Пила всякую дрянь — вот и нашла смерть на дне стакана. Несколько лет как один живу.

— А Николай?

— Ушел. Ни брата, ни мать мне не простили. Сказал, что это я их в могилу свел. Проклял, можно сказать. Даже отомстить обещал.

— Как отомстить?

— Да уж не знаю — как. Может, просто в запальчивости сказал. Но какой у него при этом был взгляд ненавидящий!.. А парнишка он злопамятный. Обид не любит прощать.

— Но в чем вы-то перед ним виноваты?

— В том, наверное, что не продал тогда машину, не нашел денег для взятки. Может быть, следовало послушать жену и переступить через себя. Сына бы сохранил...

— Но тогда и вы сами стали бы другим.

Анатолий Борисович задумчиво вертел вилку.

Юля почувствовала прилив горячей жалости к этому человеку. Ей вдруг вспомнился отец. В тот момент, когда он навсегда уходил из дома. Мать в накале нервного срыва что-то почти бессвязное кричала ему вслед, а он растерянно улыбался, кусая побелевшие губы, и все не решался ступить за порог. «Папа!» — бросилась к нему Юля и повисла на шее, заливаясь слезами. Для нее, четырнадцатилетней тогда девочки, отец был лучшим на свете мужчиной. Она самозабвенно любила его всем своим маленьким сердцем, как могут это делать только дети, и страшно боялась потерять. Отец ушел, а боль разлуки и жалость к отцу потом долго еще не давала Юле покоя. Со временем боль и жалость поутихли. А теперь словно бы вновь возвратились из ее детства. И Юля вдруг поняла, кого, кроме советского киноактера Олега Стриженова, напоминал ей с первых дней их знакомства Анатолий Борисович. Ее отца! И неудержимо захотелось, как тогда к отцу, броситься этому человеку на шею.

Порывисто вскочив, Юля в одно мгновение оказалась за спиной Анатолия Борисовича, обняла за плечи и прижалась к спине, ощущая, как исходит от него уютное домашнее тепло. Анатолий Борисович благодарно погладил Юлину руку и приложился к ней губами. Девушка обняла его еще крепче...

— Я буду скучать без тебя. Очень скучать, — сказал Анатолий Борисович при расставании в тот вечер, впервые обращаясь к ней на «ты», и попросил: — Пожалуйста, приходи ко мне еще, обязательно приходи!.. — Он слегка запнулся. — Если, конечно, захочешь. — И горячо добавил: — Я всегда тебе буду рад!

Ночью Юля долго не могла уснуть, продолжая чуть ли не каждой клеточкой своего существа ощущать исходящее от Анатолия Борисовича тепло, чувствовать его любовные токи. Лишенная с уходом из семьи отца ласки и любви, она сейчас словно бы вновь обретала некогда ею утерянное.

Уснуть Юля смогла только под утро, но пробудилась на удивление свежая, бодрая, в прекрасном расположении духа.

И тут зазвонил мобильник.

— Да! — поднесла Юля трубку к уху.

Это был Николай.

— Ну, как дела? — поинтересовался он.

Прекрасное настроение ее сразу же улетучилось. Будто невесть откуда взявшаяся черная туча вдруг закрыла солнце, сделав радостно сияющее утро мрачным и унылым. Голос Николая вернул ее на грешную землю, отрезвил, заставил вспомнить о той неприглядной роли, какую уготовил он ей, а она согласилась.

— Юля, ты слышишь меня? — спросил Николай, не получив ответа.

— Да, да... — спохватилась Юля. — Что-то с телефоном... Теперь слышу.

— Как, говорю, наши дела подвигаются?

— Да вроде ничего, — отозвалась Юля. — Вчера ужинала с ним... И уточнила: — У него дома. Приглашал еще. Вот...

— Значит, заглотнул наживку! Это хорошо. Давай-ка зайди ко мне сегодня вечерком, поболтаем, обмозгуем дальнейшие действия. Жду. Пока!

На лекциях Юля сидела сама не своя. Красивая сказка закончилась, не успев толком и начаться. А ей придется теперь отбывать предложенный номер, играть роль в чужом спектакле.... Роль злодейки? Или, наоборот, героини, спасающей мир от злодея?

После вчерашнего визита к Анатолию Борисовичу Юле уже не очень-то верилось в ту жуть, что рассказывал о нем Николай.

Вечером Юля пришла к Николаю.

— Ну, как идет совращение злобного старца? — весело спрашивал он за чаем.

От этого тона Юлю покоробило, однако она не подала вида, но возразила как можно равнодушнее:

— Да никакой он не злобный. Нормальный старики. Вежливый, обходительный.

— Ну, это он может. С ласковой улыбкой пришьет — и глазом не моргнет!

Юля невольно передернула плечами.

Заметив ее реакцию, Николай успокаивающе приобнял девушку за плечи:

— Ну, тебе-то бояться пока нечего. До девок молодых он падок. А то, что Анатолий Борисович стал к тебе неровно дышать, — замечательно! Но, еще раз тебе говорю: надо развивать успех. И как можно быстрее. Раскочегарь старика, чтоб совсем голову потерял, поживи с ним, — наставлял Николай. — И действуй, действуй!.. — Николай ушел в другую комнату, через минуту вернулся с белой пластиковой аптечной баночкой. — Вот, — протянул он ее Юле. — Подсыпай в чай или кофе по чуть-чуть — не больше четверти чайной ложечки, и старики будет тихо загибаться. — Николай глумливо хохотнул: — Так сказать, смерть в рассрочку.

Юля открыла баночку. Ничем не примечательный желтоватый порошок... Снова закрутила крышку. Положила баночку к себе в сумочку.

— Только аккуратнее, — сказал Николай. — И осторожнее. Чтоб не заметил. Да, и еще вот... — Он запустил руку во внутренний карман куртки, достал портмоне, отсчитал с десяток рыжих пятитысячных купюр, протянул Юле: — Небольшой задаточек. Чтоб не так скучно было, — хмыкнул Николай.

— Мог бы и побольше отслюнявить, — сделала недовольную мину Юля.

— Остальное получишь, когда дело сделаешь, — сказал Николай.

— Ладно, я пойду, — поднялась Юля.

— Куда ты, на ночь глядя? Оставайся, — попытался удержать ее Николай.

— Готовиться к выполнению задания, — с кривой ухмылкой сказала Юля.

— Утро вечера мудренее. Выспимся, а уж утром, со свежими силами... — продолжал уговаривать Николай.

— Я на двух стульях сидеть не умею, — жестко отрезала Юля, и Николай отступил.

— Ладно, — согласился он, — после наверстаем.

— Там видно будет... — неопределенно отозвалась Юля, выходя за порог его квартиры.

8

Несколько последующих дней Юля провела в суете и беготне, пытаясь хотя бы частично решить накопившиеся проблемы. А ночи проводила снова практически без сна. Только на сей раз бессонница была тяжелой и мучительной. В полудреме Юля видела рядом Анатолия Борисовича, слышала его мягкий баритон, и в сознании ее никак не укладывалось, что этот очень обаятельный, душевный и нежный, как она успела почувствовать, человек может оказаться жестоким преступником. На свете все, наверное, бывает, но это ж каким надо быть мастером перевоплощения, чтобы вести такую невообразимую двойную игру!

А вот игры-то, как раз, Юля за время их общения и не почувствовала. Вполне естественен был с ней Анатолий Борисович: не рисовался, стараясь понравиться, не бравировал, например, своим военным прошлым, хотя другой на его месте, наверное, столько бы тут наплел — не переслушаешь. Напротив, говорил о себе всегда скрупультно и сдержанно.

«Может, потому и сдержанно, что боялся лишнего сболтнуть, потому что «оборотень»?..» — холодела от догадки Юля, но тут же и гнала ее от себя. Женское чутье решительно не принимало эту мысль. А чутью своему Юля доверяла. Да и то, что узнала она о семейной трагедии Анатолия Борисовича от него самого, совершенно не совпадало с версией Николая.

Но если Анатолий Борисович никакой не злодей, то почему тогда такой лютой ненавистью пылает к нему Николай, зачем, из каких побуждений вынес смертельный приговор? Мутная какая-то история. Что-то здесь было не так...

За прояснением ситуации следовало бы, вероятно, к Николаю и обратиться. Но то же чутье Юле подсказывало этого пока не делать. С одной стороны, вряд ли станет он что-то сейчас прояснить, скорей будет стоять на своем, а с другой — Юле хотелось не с чужих слов, а самой для себя во всем разобраться, убедиться окончательно, что за человек Анатолий Борисович. Поэтому решила пока с выводами не спешить, присмотреться, а для этого воспользоваться приглашением Анатолия Борисовича и, может быть, даже пожить у вызывал у Юли искреннюю симпатию. Да, но ведь не просто пожить, говорил, вспомнила Юля, а «начать действовать». То есть травить Анатолия Борисовича, подсыпать в пищу яд, который должен свести его постепенно в могилу.

«Смерть в рассрочку», — вспомнила Юля, и ей стало тошно. Какая же она идиотка! Согласилась на душегубство, даже еще ничего не ведая о человеке. Ведь то, что Николай

наговорил ей про Анатолия Борисовича, пока лишь слова, ничем не подтвержденные. Зато сама она видела и ощущала в нем совсем другого человека, и он вызывал у Юли искреннюю симпатию. А уж об исходивших от Анатолия Борисовича флюидах любви, которые улавливала она всем существом своим, и говорить не приходилось. И вот теперь, когда пробежала между ними искорка, ей предстояло стать орудием убийства в чужих руках, не зная ни цели истинной, ни мотивов. Да, но ради чего она сама-то согласилась на это? Ради нескольких тысяч «зеленых»?..

При воспоминании о деньгах у Юли заныло сердце. «Так, может, отказаться, пока не поздно и от них, и от всего этого? — подумала она и тут же сама себя одернула: — Ага, отказаться... Не надо было аванс брать. А то, как голодная рыба наживку, заглотнула эти грязные деньги, а теперь вот попробуй с крючка сорваться!.. Так вернуть — и все дела! Вернуть... — тяжело вздохнула Юля. — Было бы что возвращать. Нет уже тех денежек — растрячены! Часть за учебу отдала, остальные на покупки разошлись....» И еще сильнее заломило в груди.

9

Юля готова была хоть сейчас перебраться к Анатолию Борисовичу, но не знала, как это лучше обставить, чтоб не показаться подозрительно навязчивой. Все, однако, неожиданно решилось самим собой. Хозяйка квартиры, где жили они с Ленкой, прияя получить деньги за минувший месяц, прямо с порога заявила, что у нее через несколько дней женится сын и переедет сюда жить с молодой женой, а им, разумеется, квартиру придется освободить.

Это известие подруг крайне обескуражило. Впрочем, Ленка горевала недолго. У нее в городе было немало родственников и знакомых. Она и квартиру могла бы не снимать — просто ей хотелось быть независимой. Но — раз такие обстоятельства — она найдет себе приют.

— Перебьюсь, — беспечно сказала Ленка, но тут же озабочено спросила: — А ты как?

— Не волнуйся, придумаю что-нибудь, — успокоила ее Юля и тотчас же подумала об Анатолии Борисовиче: он был теперь единственной ее надеждой и пристанищем.

Теоретически, правда, оставался еще и Николай. Но сожительствовать с ним Юле совсем не хотелось. С момента последнего разговора он стал вызывать в ней нарастающую неприязнь. Во всяком случае, Юля все отчетливей начинала понимать, что в постель с Николаем она больше не ляжет.

Да, но как ей снова очутиться в уютной квартирке Анатолия Борисовича? И отнюдь не в качестве девушки по вызову.

Однако и тут все вышло самым естественным образом. Анатолий Борисович после занятий, когда Юля сидела в университетском скверике в размышлении, как ей дальше жить и куда податься, сам позвонил и поинтересовался ее делами. Насколько возможно бодро Юля ответила, что все нормально, но сразу же почувствовала, что он ей не поверил. Анатолий Борисович и в самом деле через короткую паузу спросил:

— Юлечка, у тебя что-то случилось?

— Хозяйка в квартире отказалась, — тут же призналась она и, не сдержавшись, всхлипнула.

А вечером Юля перенесла свой нехитрый скарб, умевшийся в одном чемоданчике, к Анатолию Борисовичу. Не скрывая своей радости, он хлопотал вокруг нее, приговаривая:

— Все хорошо, Юленька, все ладненько. Жилплощадь у меня небольшая, но нам двоим, думаю, места хватит, проживем — в тесноте, да не в обиде.

— А сколько... — сказала Юля, намереваясь спросить о величине квартплаты, но, вспомнив, что пришла сюда не по объявлению жилье снимать, смешалась и замолчала.

— Что ты, что ты! — замахал на нее руками Анатолий Борисович, все верно поняв.
— Какие деньги? Ты — моя дорогая гостья, а с гостей денег не берут. Живи на здоровье, сколько хочешь!..

И стали они жить под одной крышей. Если бы Юлю спросили, как можно называть это их совместное существование — она, наверное, не нашла бы, что ответить. И в самом деле. Кем они были? Любовниками? Сожителями?

Едва ли. По той хотя бы причине, что в постель вместе не ложились и спали в разных комнатах. Анатолий Борисович никаких пополнений склонить ее к сексу не делал, хотя Юля чувствовала, что он был бы счастлив, случись такое. А она, в свою очередь, и отказывать ему не стала бы. И не потому, что это предусматривал «сценарий» Николая. Просто Анатолий Борисович нравился ей все больше, и все ближе Юле хотелось с ним быть. Но он держал себя в руках и ничего лишнего себе не позволял. Вот такими, наверное, думала Юля, наблюдая за Анатолием Борисовичем, и должны быть истинные джентльмены: честными и щепетильными в отношениях, уважающими человеческое (женское, в первую очередь) достоинство. Хотя, понимала, что существует, видимо, и куда более прозаическая причина его сдержанности: он просто боится ее. Ну, не ее самое, конечно, а ее молодости, которая кажется ему непреодолимым препятствием. Оно и в правду: почти сорокалетняя разница в возрасте — не шутка.

Впрочем, Юля и не ждала от Анатолия Борисовича никаких решительных шагов. Пусть все зреет само собой. Если есть чему. А пока Юле было просто хорошо у этого человека, к которому она привязывалась все сильней.

Когда они сходились вечерами вместе после дневных своих дел, начинались долгие, иногда за полночь разговоры.

О чем они говорили? Да о чем угодно! О политике, текущих событиях, о книгах, театре, культурных событиях, моде... Юле казалось, что нет темы, которую бы Анатолий Борисович не смог бы поддержать, в любой чувствовал себя свободно и уверенно. И она все больше поражалась его разносторонней эрудиции. При этом Анатолий Борисович не давил своим многознанием и кругозором, умел слушать не хуже, чем говорить, а оттого общаться с ним было особенно легко и приятно.

10

И все бы замечательно, если бы не Николай. Он звонил ей и требовал отчета. А Юля не знала, что ему сказать. Сначала врала, что Анатолий Борисович якобы уехал в командировку.

— Командировку? — удивился Николай и тут же спохватился: — А, ну да... Он же у нас под предпринимателя «косит». Наверное, за очередной партией «дури» отправился.

От Юлиного внимания это не ускользнуло, но виду она не подала.

— И когда вернется? — спросил Николай.

— А он мне не докладывает. Я же не жена ему, — с невольным раздражением ответила Юля.

На время Николай оставил ее в покое. Но где-то через неделю в квартире Анатолия Борисовича раздался телефонный звонок. Они с Юлей только что сели ужинать.

— Кто бы это? — пожал плечами Анатолий Борисович и пошел в коридор к стоявшему на тумбочке городскому телефону.

— Ало, ало! Ало, говорите же!.. — доносился оттуда его голос.

В открытую дверь кухни Юля видела, как он недоуменно покрутил перед собой трубку и опустил ее на рычаги.

— Звонит кто-то, а не откликается, — сообщил он.

— Может, ошиблись? — предположила Юля.

— Скорее всего, — согласился Анатолий Борисович. — Мне сейчас по городскому телефону очень редко кто звонит. В основном по сотовому.

А Юля поняла, что это — Николай.

И полчаса спустя, как бы в подтверждение ее догадки, Юля услышала его голос в трубке своего мобильника:

— Вернулся твой разлюбезный.

— А ты откуда знаешь?

— Разведка донесла! — хохотнул Николай. И уже серьезно: — Так что — работай!..
Дня через три Николай снова вызвонил ее.

— Ну, как? — спросил.

— Не получается, — сказала Юля.

— Что не получается?

— Порошок незаметно подсыпать. Я все время у него на глазах. Такое ощущение, что пасет он меня: ходит за мной, как приkleенный, не оставляет одну, — стала жаловатьсяся Юля.

— Так придумай что-нибудь, — повысил голос Николай. — Ну, там, кофе ему утром в постель. Пока кофе готовишь, сто раз можно подсыпать.

— Кофе в постель... — в замешательстве повторила Юля.

— Ну, да. К примеру... — сказал Николай и тут же догадливо спросил; — А ты что — в постель его еще не затащила?

— Нет, — призналась Юля.

— Да что ж ты за «прости господи» такая, если, молодая и смазливая, старика не можешь с собой уложить? — взъярился Николай.

— Ты базар-то фильтруй! — обиделась Юля. — Тем более что Анатолий Борисович меня за «прости господи» вовсе не держит. Он ко мне, как к порядочной девушке относится. А если я, прикинь, на него сразу вешаться начну, то могу ведь и дело завалить. Тогда уж действительно за проститутку, кем-то ему подосланную, — сказала она со значением, — и примет. Так что лучше, как мудрость гласит, поспешать медленно.

Несколько секунд трубка молчала. Видимо, ее владелец, осмысливал услышанное. Потом Николай уже более миролюбивым тоном поинтересовался:

— Чем же вы тогда там с ним занимаетесь?

— Мало ли чем... Он мужик интересный.

— Ладно, давай и правда без спешки, — согласился Николай. — Только сильно тоже не затягивай. И не заигрывайся.

Юля и сама понимала, что «заигрываться» опасно. Не может же она бесконечно оттягивать исполнение «приговора». Сколько веревочка ни вейся... Но и исполнить его — чем дальше, тем яснее Юле становилось — она не в силах. С каждым прожитым с Анатолием Борисовичем под одной крышей днем крепла у Юли вера в то, что не может он быть преступником и злодеем, и все рассказываемые про него страшилки — скорее всего заведомая сознательная ложь и напраслина, необходимая в каких-то неясных пока для нее, но явно сомнительных целях, самому Николаю.

Юля лихорадочно искала выход из создавшегося положения и ничего не могла придумать такого, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Только все чаще леденил сердце страх: как бы ей самой не скормил Николай смертельный порошок, узнав, что она специально тянет резину.

А может, возникла мысль, рассказать все честно Анатолию Борисовичу? И как это, тут же спрашивала себя Юля, будет выглядеть? Раскаявшийся наемный убийца, в слезах и соплях предупреждает жертву, у которой к нему нежные чувства, о грозящей смертельной опасности и на коленях молит простить? Но признаваться в том, что она и возникла в один прекрасный момент в жизни Анатолия Борисовича именно затем, чтобы жизни его и лишить, Юле как раз совершенно не хотелось. Узнав правду, Анатолий Борисович

справедливо увидит в ней подлую и коварную змею, которую пригрел на груди своей, и она немедленно рухнет в его глазах с заоблачной высоты, на какую он успел ее вознести, в ту грязь, где барахталаась до встречи с ним. И это было для Юли куда страшней и невыносимей, нежели страх расплаты от мстительной руки Николая. А в том, что, если она вдруг захочет оставаться не при делах, Николай постараается жестоко отомстить ей, Юля уже почти не сомневалась. Вот и чувствовала себя между молотом и наковальней.

Была еще мысль заявить в полицию. Но и тут возникали угрозы для нее самой. Во-первых, она пойдет как соучастница и сама сядет. Но это как раз пугало Юлю меньше. А вот Анатолий Борисович... Его вызовут на допрос, и он все о ней узнает, какая она гадина и сволочь...

Наконец, пометавшись, Юля решила: пусть Николай думает, что «процесс пошел». И когда тот, явно нервничая, очередной раз стал допытываться у нее, что да как, Юля как можно бодрее сказала:

— Расслабься, лед тронулся!

— Да ты что! — обрадовался Николай. — Молодец, хвалю! — И озабочено спросил:

— Ничего не заметил, все чисто?

— Да вроде...

— Замечательно! Продолжай в том же духе. Только будь осторожна.

— А долго продолжать-то? — спросила Юля уже без прежней бодрости. — Сколько дней я это делать должна?

— Ну... точно не знаю... — неуверенно сказал Николай. — Тут еще от организма зависит. У твоего клиента здоровье лошадиное. Тоже надо учитывать. Недельки две-три, наверное, придется повозиться. В общем, следи за его самочувствием...

Значит, и ей самой отпущенено не намного больше — невесело подумала Юля.

11

— Анатолий Борисович, а вы в Таджикистане служили? — отважилась как-то спросить Юля.

— В Таджикистане? — переспросил он. — Нет, в самом Таджикистане не служил. А вот по соседству — да. За речкой Пяндж. В Афганистане. В составе, как тогда это официально называлось, ограниченного контингента советских войск. Как летчик военный выполнял боевые задания. На МИГ-21. Прекрасный самолетик! Прямо-таки братом мне стал. Н-да... Но это давно уже было — в 85 и 86 году я в Афгане воевал. Совсем молодой еще, недавно из училища. А почему ты спросила?

— Да так, интересно... — смутилась Юля, а про себя подумала: «Врет все Николай. Мозги пудрит. Сказки про мафиози лепит, чтобы, наверное, благородным мстителем показаться».

И ей стало легче. Словно очистилось от муты, грязи стекло, и промытой, в четких, ясных и таких, какие они есть на самом деле, подробностях, увиделась Юле картина за окном.

Оставалось, правда, на этой картине одно непроясненное место. Если Анатолий Борисович совсем не такой, каким его пытаются представить Николай, то за что, все-таки, ему хочет он на самом деле так жестоко отомстить? Но ответа пока не находилось.

А обычно сдержаный в своих воспоминаниях, Анатолий Борисович в тот вечер много рассказывал об афганской войне, своей авиачасти, боевых товарищах. Он говорил, а Юля чувствовала, как дорога ему эта часть его жизни.

— У вас, наверное, и награды есть? — спросила Юля.

Анатолий Борисович помолчал несколько мгновений, будто что-то решая для себя, потом поднялся, прошел в другую комнату и вскоре вернулся с двумя коробочками.

— Вот, — сказал он, открывая их. В одной поблескивал темной рубиновой эмалью орден Красной Звезды, в другой — серебристым металлом медаль «За отвагу». — Есть еще всякие там памятные и юбилейные, но они не в счет...

Анатолий Борисович трепетно погладил награды, а Юля глядела на него и думала, что вот он настоящий, непридуманный герой, которым надо гордиться.

И тут же словно шилом ее прокололо: а чем будет гордиться она — тем, что по чьему-то мстительному хотению лишит жизни этого человека?..

Анатолий Борисович, между тем, видела Юля, что-то хотел и не решался ей сказать. Уж не догадывается ли, с какой целью она здесь, испугалась поначалу девушка, но тут же и отогнала свой страх — в его взгляде ничего другого, кроме любви к ней, не читалось. И от предчувствия у нее сладко заныло сердце.

Предчувствие не обмануло. Уже на следующий день Анатолий Борисович встретил ее на пороге своей квартиры необычно торжественный, в добротном, с иголочки, выходном костюме, который, судя по всему, надевался им в самые важные и торжественные моменты, как и красивый галстук, стягивающий ворот белоснежной сорочки. В его начищенные штиблеты можно было смотреться, как в зеркало. Да и сам он весь сиял, благоухал хорошим одеколоном. Таким Юля его еще не видела и не смогла скрыть искреннего удивленного восхищения.

— Ух, какой вы сегодня! Прямо-таки жених!

Анатолий Борисович смешался, покраснел. Покрутив шеей, словно воротник мешал ему свободно дышать, откашлялся и сказал со значением:

— Может быть, так оно и есть, Юлечка. — И, дождавшись, пока она разденется, переобутся, бережно взял ее под локоть и проводил в залу. Она шла и чувствовала, как от волнения подрагивает его рука.

А в зале, в центре овального стола в хрустальной вазе красовался роскошный букет гладиолусов.

— Какие красивые! — показала них Юля и спросила: — По какому поводу такое роскошество?

— По очень важному, Юля, — ответил Анатолий Борисович, кашлянул в кулак и уточнил: — Во всяком случае, для меня... — Он сделал паузу, словно собирая силы преодолеть невидимый барьер, потом с какой-то отчаянной решимостью, будто в крутое пике бросил свой истребитель, сбивчиво и взволнованно заговорил:

— Юлечка, я люблю тебя... Я влюбился в тебя сразу, как только увидел в первый раз в «Зеленом попугае». Ты появилась и будто теплое солнышко подвальчик этот осветило. А я подумал, что, наверное, само небо знакомит меня с тобой. Я, конечно, понимаю, что между нами пропасть лет и мы — альянс неравный, что я просто недостоин тебя и все такое. Но ничего не могу с собой поделать и без тебя жизни уже не представляю... Вижу — не слепой, что мне трудно всерьез на что-то рассчитывать, но все равно... Теплится все равно надежда, что и мне на склоне жизни, как говорил поэт, «блеснет любовь улыбкою прощальной»... — Анатолий Борисович глубоко вдохнул и сказал внезапно севшим голосом: — Юлечка, выходи за меня замуж! А уж я постараюсь сделать все возможное и невозможное, чтобы ты об этом не пожалела...

Он выхватил из вазы гладиолусы и протянул их Юле. От неожиданности она чуть не выронила букет.

К этому признанию Юля была внутренне готова, подспудно ждала его, но прозвучавшее предложение все равно застало ее врасплох, подняв в душе вихрь противоречивых чувств.

И как сейчас поступить — она не знала. По той, прежде всего, причине, что между ними — прав совершенно Анатолий Борисович — «пропасть лет». И эту дистанцию не сократишь, не преодолеешь. Она жить только начинает, а он... А что он? Юля искоса глянула на Анатолия Борисовича. Склонив голову, он покорно ждал ее ответа. Вон какой

еще мужчина! И со здоровьем, и с образом жизни все у него в порядке. На зависть многим ее ровесникам...

И снова некстати вспомнился Николай. И подумалось Юле, как бы, ему благодаря, жизнь эту вместе с Анатолием Борисовичем и не закончить... Прожить долго и счастливо они не успеют, но помереть в один день могут...

Как назойливую кусочную осу, отмахнула Юля от себя эту мысль. Она исчезла в темной глубине сознания, но девушка знала, что не насовсем, и в какой-то момент снова вынырнет и продолжит зудеть, не давая покоя.

Но что же ему сейчас ответить — мучилась Юля. Ответить согласием? Но готова ли она на серьезную совместную жизнь, если сама еще такая молодая, настоящей любви не испытавшая, если не выбродило еще в ней до конца женское естество. Так, может быть, Анатолий Борисович и есть ее любовь и судьба? Нет, не грезилось ей о такой любви и судьбе. Так ведь и девочкой по вызову она себя во снах своих не видела!..

— Анатолий Борисович... — Юля положила ему ладонь на грудь. — Простите меня, но я, честно, не знаю, что вам ответить. Так это неожиданно для меня. Дайте хоть немного подумать.

— Конечно, Юлечка, конечно. Дело серьезное... — забормотал Анатолий Борисович, прижимая ее ладонь.

И опять почти всю ночь проворочалась Юля без сна. Вопрос был поставлен, а она не могла на него ответить. И не с кем посоветоваться. Ленка правды об их связи не знала и считала Анатолия Борисовича всего лишь одним из Юлиных клиентов — папиком, решившим вспомнить молодость. Кого-то другого, кому она могла доверять сердечные тайны, у Юли не было.

А когда под утро впала она в сонное забытье, явился отец и, присев на краешек кровати, погладил ее по голове шершавой ладонью. От нее исходили такие же тепло и любовь, какие ощущала Юля, находясь рядом с Анатолием Борисовичем.

— Папа? — беззвучно прошептала она. — Что делать? Он же намного-намного старше!

Отец не удивился, словно заранее знал, о чем речь. Он еще раз провел ладонью по ее волосам и сказал:

— Возраст любви не помеха. Была бы, главное, любовь...

И исчез. Словно и не сидел тут только что, с краюшку.

Утром, проснувшись, Юля Анатолия Борисовича дома уже не застала. Возникло ощущение, что он специально ушел пораньше. Обиделся за вчерашнее? Напрасно, ведь она пока не сказала ни *да*, ни *нет*.

Зато с утра пораньше дал знать о себе телефонным звонком Николай.

— Ну, как там наш больной? — без лишних вступлений деловито спросил он.

— Жив пока, — хмуро отозвалась Юля.

— А самочувствие?

— Говорит — не очень. Жалуется, что голова стала болеть, и подташнивает, сдерживая себя от закипавшей злости, врала Юля.

— Это хорошо, — удовлетворенно констатировал Николай. — Скоро, глядишь, цепная реакция пойдет: то там заболит, то сям...

«Вот, гад, радуется, что человек может помереть мучительной смертью!» — возмутилась про себя Юля, но промолчала.

— Ладно, старушка, продолжай в том же духе! — напутствовал на прощанье Николай.

Как ни странно, разговор с ним взбодрил ее, отмел последние сомнения и придал... решимости. В самом деле, чего она ломается? Ну, старше, ну, намного, но он же любит ее, и на руках будет носить. Любит ли она? Юля задумалась. А как это определить? Она никогда еще по-настоящему не влюблялась, и ей просто не с чем сравнивать. Но он ей

глубоко симпатичен — это точно! И ей хорошо рядом с ним. Так что же еще тогда надо? Она с облегчением тряхнула головой и помчалась на лекции.

12

День для Юли тянулся бесконечно. Отсидев, как на иголках, три пары, она еще с полчаса рассеянно слушала в коридоре университета Ленкину болтовню обо всем и ни о чем, теряясь в догадках, когда вернется домой Анатолий Борисович. Обычно он предупреждал при расставании, во сколько примерно будет. Но сегодня утром они разминулись, не успев ничего сказать друг другу.

Кое-как отвязавшись от Ленки, Юля зашла на обратном пути в магазин, купила торт, фрукты и бутылку вина. «А то все он да он, — укорила она себя. — Давно пора и самой проставиться».

Анатолий Борисович, к счастью, еще не вернулся. Можно было утихомирить колотившееся то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения сердце, привести себя в порядок.

Долго этим Юле заниматься не пришлось. До морщин ей было далеко, Свежая еще молодая кожа в особом уходе не нуждалась. Да и вообще косметикой Юля не увлекалась. Чуть подкрасила губы — и все. Хорошо бы, конечно, по такому случаю еще и переодеться во что-нибудь более приличнее. Но Юля по природе своей не была тряпичницей, не следила за модой. В повседневной обыденности ее вполне устраивали джинсики с футболкой, легкой кофточкой или свитерочком. А каких-то особенных событий или праздников в ее жизни не было. Студенческие вечеринки — не в счет. Тем более что там тех же джинсиков с футболкой вполне хватало.

Однако, получив от Николая аванс, Юля все же решила прибарахлиться. Они полдня проторчали с Ленкой в магазинах, и купили ей шикарное, как ей показалось (а, по мнению Ленки — так, ничего себе) платье, прекрасное (по Ленкиной же классификации — по крайней мере, не стыдно перед мужчиной раздеться) белье, сногсшибательные (вполне для приличного общества сносные — Ленка) туфли и сапоги и еще кое-что по мелочи. Теперь все это богатство лежало в ее чемодане. Все хотела покрасоваться перед Анатолием Борисовичем, но сдерживала себя — боялась, спросит, откуда у бедной студентки все это добро. И что она ему ответит? Зато сейчас ему не до расспросов будет.

Переодевшись во все новое, Юля встала перед зеркалом трямо и себя не узнала. Оттуда, из зазеркалья на нее смотрела очень симпатичная молодая дама в элегантном бирюзовом с легкой искрой платье. В его вырезе нескромно терлись друг о друга при каждом движении две тронутые легким загаром выпуклости. «Стопудово сексуально!» — сказала бы Ленка, и Юля была с ней согласна.

В таком виде она и навстречу Анатолию Борисовичу вышла, когда услышала, как щелкнул дверной замок.

Увидев преображенную Юлю, Анатолий Борисович потерял дар речи. Минуту-другую он остолбенело стоял у двери, с молчаливым восхищением оглядывая ее, потом шагнул навстречу со словами:

— Какая же ты сегодня красавая!

А увидев рядом с его букетом в центре стола вино, фрукты и торт Анатолий Борисович и вовсе растерялся.

— Неужели у тебя сегодня день рождения? — спросил и всплеснул руками: — Да что же не предупредила-то? Я бы... подарок...

— День рождения у нас, наверное, сегодня у обоих будет, — прервала его Юля. — Если, конечно... — она запнулась, справляясь с волнением, и закончила: — Ваше недавнее предложение остается в силе.

— Мое предложение... Ты согласна?..

Юля молча кивнула.

— Юлечка!..

Анатолий Борисович привлек к груди.

Эту ночь они провели вместе. И это была сказочная ночь! Такого глубокого удовлетворения и светлой радости Юля не испытывала никогда. Ложась с Анатолием Борисовичем в постель, она, конечно же, боялась, как все пройдет, получится ли у них что-нибудь. И это поначалу сковывало ее и напрягало. Анатолий Борисович тоже чувствовал это. Он осторожно просунул ей руку под шею, слегка притянул к себе, чуть повернувшись, легонько коснулся губами Юриной щеки и тихо сказал:

— Давай просто пока полежим, успокоимся, хорошо?

В ответ Юля плотнее придвинулась к Анатолию Борисовичу. Голова ее теперь покоилась на его плече. Они затихли. Юля слышала, как пульсирует кровь в висках и учащенно бьется о грудную клетку сердце. Но уже через минуту кровь отхлынула от висков, и сердце стало входить в нормальный ритм. В то же время, все явственней ощущала Юля, как пронизывают ее идущие от плеча Анатолия Борисовича токи. Они одновременно и успокаивали, и освобождали от скованности и зажатости, и заряжали какой-то особенной, неодолимо влекущей ее к этому человеку энергией. Юля повернулась к Анатолию Борисовичу и...

Что было дальше, осталось как бы вне памяти. Просто казалось Юле, что их слившимися воедино в объятиях друг друга телами играет волна штурмящего моря, которая то вздымает все выше и выше, то швыряет с пенного гребня вниз, заставляя замирать в сладком испуге. Все круче становилась волна, все чаще и яростней ее всплески...

Приходить в себя и возвращаться в реальность Юля начала, когда ее тело начали терзать судороги сильнейшего оргазма. Словно там, в морской пучине задела она ненароком электрического ската, который разряжал теперь в нее накопленную им морскую энергию.

Обессилевшие, беззвучно лежали они с вытянутыми по швам руками. Юля не знала, о чем молчал Анатолий Борисович. Она же размышляла о том, какая, все-таки, огромная разница между тем, когда делается **это** по необходимости, и тем, когда все происходит по обоюдному чувству и желанию. Совсем другое дело! Тело и душа освобождаются от всего, что мешает любви, чувства рвутся в головокружительный полет, а мужчина и женщина в вожделенном любовном экстазе растворяются друг в друге. «Потому, наверное, подумала Юля, это и называется **сoitие**.

И вспомнила, как принесла однажды Ленка купленную на книжной толкучке «Камасутру», и как рассматривали они картинки с различными позами и читали их описания. Но в памяти Юли они как-то не задержались. Зато хорошо запомнилось ей, как объясняла знаменитая книга значение слова **сoitие**. По «Камасутре» это «вершина и цель любви, объединяющие наслаждение души, разума и тела». И то, что произошло между ними несколько минут назад, утверждение древнеиндийских мудрецов прекрасно подтверждало. Как и то, что никакого соития до сих пор ни с кем у нее, Юли Сотниковой, не было. А что и случалось время от времени, имело другое название — более низменное и животное — совокупление. Отличалось же одно от другого одним важнейшим ключевым моментом — любовью. В совокуплении не то, что «вершиной и целью», она вообще не подразумевалась.

Тогда получается... Юля села, даже забыв натянуть на себя одеяло. Получается — она все-таки любит Анатолия Борисовича?

— Конечно же! — сама неожиданно для себя воскликнула Юля, словно отметая последнюю шелуху сомнений.

Анатолий Борисович тоже оторвался от подушки, поднялся, удивленно глядя на Юлю. А она обхватила его за плечи и, уткнувшись ему в грудь, радостно прошептала:

— Я вас люблю...

На следующее утро Юля встала чуть свет. Спать уже совсем не хотелось. Не включая света, она прошла на кухню, глянула в окно и замерла, завороженная. Крупными густыми хлопьями падал снег. Первый в этом году настоящий снег. Шел он, по всей видимости, давно, может быть, всю ночь. Уже не осталось ни клошка голой земли. Окна квартиры выходили во двор с детской площадкой, несколькими металлическими гаражами, припаркованными у подъездов машинами. Они тоже были укутаны слоем белейшей снежной ваты, который становился с каждой минутой все толще. Снег искрился под люминесцентными фонарями, освещавшими двор, делая и детские городушки, и автомобили, и деревья в снежном убранстве чем-то сказочно-волшебным.

Захваченная пейзажем за окном, Юля не слышала, как подошел Анатолий Борисович. Он обнял ее за плечи и восхищенно воскликнул:

— Красота! — Потом, помолчав, сказал: — Вот пусть и наша жизнь с тобой будет такой же светлой, чистой и прекрасной, как этот снег начала зимы...

Весь день жила Юля в окрыленном состоянии. Казалось даже порой, что стоит взмахнуть ей руками — и оторвется она от земли.

— Ты чёй-то? — удивлялась, глядя на нее, Ленка.

— Да ничего, все путём, все замечательно! — излучая радостное сияние, — расплывчато отвечала Юля.

Не хотелось ей пока раньше времени подруге во всем признаваться. Спугнуть боялась...

Вернувшись с занятий, Юля приготовила ужин и стала ждать Анатолия Борисовича. Пришел он позже обычного и выглядел не очень.

— Что-то, Юленька, я себя неважно чувствую, — признался он, садясь за стол.

Юля пощупала его лоб. Горяченький! Поставила градусник. Тридцать девять с половиной! Перепуганная Юля вызвала «скорую».

— Хрипов в легких нет. Стало быть, не пневмония. Скорее всего — ОРЗ, — предположил приехавший через полчаса врач «скорой» и сказал, сделав укол: — Завтра участкового терапевта вызовите.

«Скорая» уехала. Юля, приподняв Анатолия Борисовича за плечи, с трудом напоила теплым чаем. Его был озноб. Зубы стучали о кружку, чай расплескивался, оставляя на пододеяльнике рыжие пятна. Вскоре Анатолий Борисович забылся в беспокойном сне. Ночью он что-то бессвязно бормотал, вскрикивал, вскакивал, сбрасывая одеяло. Юля со поправляла одеяло, и слезы сами собой катились по щекам.

Назавтра врач из поликлиники диагноз «скорой» подтвердил. Предупредив, что высокая температура продержится несколько дней и к этому надо быть готовым, она назначила лечение, и Юля помчалась в аптеку.

Купив нужных лекарств, Юля вышла из аптеки. И услышала, как звонит ее мобильник.

— Ало! — поднесла она его к уху и услышала голос Николая:

— Привет, дорогуша! Как поживаешь?

— Ничего... — сухо ответила Юля. Николай был сейчас совершенно некстати.

— А клиент? Созревает?

— Скорее уже дозревает. На глазах тает, — неожиданно для себя сказала Юля.

Она не собиралась этого говорить, она вообще не хотела сейчас объясняться с Николаем, но вот как-то само собой с языка сорвалось...

— Так, так, так... С этого места поподробнее.

— А что подробнее? Жар у него. Бредит.

— Слушай, Юля, мне бы хотелось на него взглянуть, — сказал Николай, и Юля от такой вопиющей наглости чуть не задохнулась.

— Ты что, дурак совсем! — закричала она в трубку. — Он же в тяжелом состоянии, не сегодня-завтра, может, Богу душу отдаст, а ты!.. Дай ему помереть спокойно!

— Дам, дам... Но я должен глянуть напоследок на него живого. Надо мне, понимаешь, надо...

— Совсем оборзел! — выходила из себя Юля.

— Давай сделаем так, — пропуская мимо ушей ее негодование, сказал Николай. — Я где-нибудь через часик подъеду...

— Тебе же русским языком говорят...

— В дверь звонить не буду — скину тебе СМС-ку, что я за дверью. Ты откроешь. А я тихонечко войду и погляжу на него. Всего делов-то.

«Проверяет, зараза!» — подумала Юля, но спорить больше не стала. Решила, что, может быть, так и лучше. Увидит больного — на время отвяжется. А там посмотрим...

Ровно через час ее телефон звякнул, сообщая о принятой СМСке. Юля прочитала сообщение: «Я за дверью». И открыла дверь. На пороге стоял Николай. Ни слова не говоря, Юля приложила палец к губам. Николай понимающе кивнул и вслед за нею проследовал к спальне. Дверь ее была приоткрыта. Николай просунул в проем голову и замер в этой позе.

Анатолий Борисович, слава Богу, спал. Заснул он недавно. Стоя за спиной Николая, Юля слышала, как больной тягуче стонет во сне.

Через несколько минут Николай оторвался от созерцания и повернулся к Юле с довольным видом:

— Молодец, старуха! Думаю — недолго протянет, душегуб!

«Сам ты!..» — чуть не вырвалось у Юли, но она вовремя прикусила язык.

— У тебя карточка банковская есть? — вдруг спросил Николай.

— Нет.

— А сберкнижка?

— Сберкнижка есть. А что?

— Неси сюда.

Юля принесла, с грустью думая, что она уже практически пустая.

Николай переписал реквизиты и вернулся назад.

— Когда коньки откинет, немедленно звони мне, и я сразу же перекину на твой счет деньжонки. За вычетом уже полученных, конечно.

— В баксах?

— В рублях. По текущему курсу.

Когда Николай оставил квартиру, Юля на цыпочках подошла к тахте. Анатолий Борисович уже не стонал, но дышал по-прежнему трудно, и заострившееся лицо его время от времениискажали легкие судороги дававшей знать о себе головной боли. Юля положила на покрытый испариной лоб свою ладонь. Температура явно не спадала. Юля присела на стул у изголовья, поправила край одеяла и подумала вдруг, а что если он и правда не одолеет болезни. Не молодой ведь... Но, подумав так, испытала она какое-то двойственное чувство. С одной стороны, жалость и сострадание к находящемуся на грани небытия человеку, а с другой...

Вкрадчивый неприятный голос внутри нее сказал: «Вот и решение твоей проблемы. Умрет клиент сам, преступления не будет, ты остаешься не при делах, а Николай будет в уверенности, что он отдал Богу душу с твоей помощью и хитроумного яда. Цель достигнута, все довольны. Ты срочно сваливаешь из квартиры, и забываешь все это, как страшный сон...»

Юля вскочила, едва не свалив стул, испуганно оглянулась, словно собралась увидеть того, кто говорил ей эти слова. Пустая комната за ее спиной немного успокоила, и Юля тихонько прошла на кухню. Она долго сидела, опершись локтями о стол, и услышанные ею там, у изголовья Анатолия Борисовича, слова не выходили из головы.

А может, это сама жизнь подсказывает ей такой выход?.. И делать ничего не нужно. Только ждать. Ждать чего? Смерти человека, который стал ей близок, которого она уже, можно сказать, полюбила? Можно сказать... Да полюбила ли, если хочет выпутаться из своей паутины ценой его смерти, если готова предать, переступить через клятвенное обещание быть с ним... Но ведь, правду сказал поэт — «не отрекаются любя...» Иначе это и не любовь вовсе. Иначе и то, что произошло между ними позапрошлой ночью, было все-таки совокуплением, а не соитием — не «вершиной и целью любви»? И он тогда, получается, у нее такой же клиент, как и до него другие?..

«Бог ты мой! — вдруг встрепенулась Юля. — Да что ж за мысли в голову лезут? Гнать их надо поганой метлой! И Анатолия Борисовича не хоронить заранее, а выхаживать, на ноги ставить...»

14

Высокая температура у Анатолия Борисовича продержалась еще несколько дней. Юля почти неотлучно была при нем. Даже на лекции перестала ходить. Одного его она оставляла только при необходимости наведаться в аптеку или магазин.

Наконец, Анатолий Борисович пошел на поправку, и Юля вздохнула с облегчением.

Но Николай не давал ей расслабиться. Он называл с одним и тем же вопросом: «Ну, как?»

— Как, как? — закипала каждый раз от злости, слыша его голос, Юля. — Тяжелый, но еще живой. Сам же говорил, что организм у него крепкий. Вот и борется, наверное, со смертью.

— Ничего, никуда он от старухи с косой не денется. Все равно ему кранты. Днем раньше, днем позже. Подождем...

— Ну, жди, жди... — ворчала Юля, отключая телефон.

От этих разговоров щипало в горле, и сердце сжималось от тоски. «Сейчас пойду и все ему расскажу. И будь, что будет!» — вспыхивало в Юлиной голове, но тут же она и остановила себя: «А то и будет, что удар его может хватить от такого признания. Тоже мне, нашла подходящий момент. Он еще от болезни не отошел».

Анатолий Борисович, между тем, едва справившись с недугом, снова вернулся к вопросу об их отношениях.

— Юлечка, — говорил он ей, тщательно подбирая слова и держа правую руку за спиной, — Если ты не разумела связать со мной жизнь, то надо бы, наверное, как-то... оформить... Я понимаю... сейчас люди и без всяких формальностей живут... Но я по-другому воспитан, и хотел бы не просто сожительствовать. Понимаешь?..

Юля молча кивнула и увидела вдруг себя в подвенечном платье и фате с пышным букетом в руках. А рядом с собой — Анатолия Борисовича, подтянутого, моложавого, в темном строгом костюме, в галстуке. Они идут под руку к дверям с вывеской ЗАГС... Видение кончилось, а Юля подумала, что свадебное платье и фата — пожалуй, чересчур, слишком уж подчеркивает их разницу в возрасте. Надо что-то попроще, чтоб не так привлекало внимание...

— Тогда вот... — Анатолий Борисович убрал руку из-за спины и протянул Юле небольшую красную пузатенькую коробочку.

С учащенным сердцебиением Юля открыла ее и увидела два золотых колечка разных размеров...

А через несколько дней стараниями Анатолия Борисовича, уговорившего заведующую ускорить регистрацию, они с Юлей расписались в районном ЗАГСе. Процедура заняла пятнадцать минут, прошла буднично, тихо, без свидетелей с обеих сторон (Юля не предполагала, что и это при желании возможно) и вообще посторонних глаз. Так решили они по обоюдному согласию. От свадебного пиршества тоже отказались. Да и для кого устраивать?

Отец Юлии как в воду канул. А мать она приглашать не собиралась. За время учебы она всего раз побывала дома, но мать встретила ее с таким холодным равнодушием и плохо скрываемым раздражением, что Юля сразу же почувствовала себя отрезанным от семейного каравая ломтем. Впрочем, и каравай-то был теперь для нее уже совсем чужим. И часу не проговорив с матерью, Юля засобиралась назад. Возвращаясь в город, она домой решила больше не приезжать.

Анатолий Борисович, в свою очередь, тоже был против многолюдного сборища.

— Да и не осталось вокруг меня практически никого, кого бы я хотел на своем празднике видеть, — с грустью признался он.

— А ваш сын? — напомнила Юля.

— Николай? — нахмурился Анатолий Борисович и мотнул головой: — Нет, лучше я его потом когда-нибудь в известность поставлю.

Они спустились с крыльца ЗАГСа.

— А знаешь что? — сказал Анатолий Борисович. — Без банкета с гостями мы, конечно, обойдемся, но вдвоем-то мы все равно должны отметить это знаменательное для нас событие!

— Ага, — согласилась Юля. — В «Зеленом попугае»?

— Почему в «Попугае»?

— А мы там познакомились.

— Верно, — засветился улыбкой Анатолий Борисович. — Ну, тогда в «Зеленый попугай»!..

15

Зимой Анатолий Борисович выгонял свою машину из такого же старого, как она, металлического гаража очень редко, поэтому в ЗАГС они приехали на такси. От ЗАГСА до «Зеленого попугая» было несколько кварталов, но они пошли пешком. Слегка пощипывал щеки легкий морозец. Недавно выпавший снежок уже не таял, а лишь крахмально хрюстал под ногами. Он очищал воздух от городских газов и дымов, добавляя ему чистоты и свежести. От этого ли воздуха, или же от недавней брачной процедуры Юля раскраснелась, была необыкновенно хороша, и Анатолий Борисович, бросая на нее восхищенные взгляды, откровенно любовался ею.

Расписали их в три часа дня. До вечернего наплыва посетителей еще далеко, и в «Зеленом попугае» об эту пору было малолюдно. Они прошли через весь зал. Столик, за которым любил когда-то коротать свободное время Анатолий Борисович, был свободен.

— Вот здесь мы и познакомились, — сказал Анатолий Борисович и спросил: — А ты помнишь, как это было?

— Конечно! — откликнулась Юля. — Я стояла неподалеку и раздумывала, куда бы сесть. Вы пригласили к себе за столик, сказали: «Девушка, разделите мое одиночество».

— А в ответ я услышал: «Если я тоже хочу одиночества?»

— И вы сказали на это: «Тогда за одним столом окажутся два одиночества».

— И вот теперь, — Анатолий Борисович погладил Юлю по руке, — два одиночества соединились в одно не одинокое целое, которое, надеюсь, уже не распадется никогда.

Юля глубоко вздохнула и положила голову Анатолию Борисовичу на плечо. Он осторожно, словно боясь спугнуть ее, достал из внутреннего кармана смартфон и, отставив его на длину вытянутой руки, сделал фото.

— Селфи на память? — улыбнулась Юля...

Когда они вышли из «Зеленого попугая», на улице уже стемнело. День был почти совсем по-зимнему короток.

— Погуляем еще? — спросил Анатолий Борисович.

— Погуляем, — согласилась Юля.

И они побрали, обнявшись, по одной из аллеек сквера, начинавшегося у «Зеленого попугая». Искрился снег под светом фонарей. Шуршание автомобильных шин, доносившееся с проезжей части пролегающей невдалеке магистрали, напоминало неумолчный шум речной воды. Идти было легко и приятно.

Но что-то вдруг насторожило Юлю. Ей почудилось, что за ними кто-то пристально наблюдает. Незаметно, стараясь не привлечь внимание Анатолия Борисовича, она огляделась. Ничего вроде бы подозрительного. Но ощущение слежки не оставляло. Они прошли еще немнога, и у Юли заныло в груди от нехорошего предчувствия. Она еще раз повернула голову в сторону проезжей части и тут, наконец, заметила тихо едущую чуть позади них и почти впритирку к обочине машину. Юля узнала ее. На этом бежевом «Lexuse» с небольшой, но заметной вмятиной внизу правой передней дверцы, Николай подвозил ее тогда в первый раз к «Зеленому попугаю». А теперь, значит, устроил слежку...

В радостной суете последних дней Юля совсем забыла о Николае и той страшной роли, на которую он ее «подписал». Сладостное предоощущение наступающей счастливой поры в ее жизни застило на время, отодвинуло в тень остальное. И вот теперь все возвращается на круги своя. И этот «Lexsus», бесшумно скользящий вдоль обочины, — он словно жестокий дьявольский знак, зловещая «черная метка» ей...

Юле стало не по себе. Сердце колотилось и подкатывало к горлу. Ноги не слушались. Ей казалось, что еще несколько мгновений, и она рухнет в этот пушистый, не обмятый снежок. Выручила возникшая на их пути садовая скамейка. Юля опустилась на нее, тревожно глядя на проезжую часть. «Lexsus» тоже выжидающе остановился. Юля представила себе, как через тонированные стекла напряженно смотрит в их сторону Николай.

— Притомилась? — погладил ее по плечу Анатолий Борисович и сел рядом.

Его близость немного успокоила Юлю. Появилась надежда, что и сейчас все как-то само собой образуется. Ну, выследил, ну, и что?.. Посмотрит, посмотрит, да и уедет вовсюси. Потом, правда, доставать начнет... Но это потом, а сейчас поскорее бы убрался и не портил окончательно такой прекрасный для нее день. Юля почти убаюкала себя этими мыслями, как вдруг зазвонил ее мобильник.

— Алло! — поднесла она его к уху, вставая со скамейки.

— Так вот, значит, как у нас все происходит! Я жду, что эта скотина вот-вот дубаст, а он, оказывается, живехонек-здоровехонек, и, как я вижу, в кафушках с тобой развлекается... Как это понимать? Ты что, хочешь меня кинуть, пытаешься, как лоха, развести? Смотри, паскуда, с огнем играешь?

— Это ты поосторожнее, едва сдерживая ярость, отозвалась Юля. — Мы теперь с ним, между прочим, законные муж и жена. Так что...

— Да я вас обоих...

Телефон отключился. И тут же Юля увидела, как распахнулась передняя дверца «Lexusa», из машины выскочил Николай в не застегнутой куртке-«каляске», сбитой на затылок вязаной шапочке и почти бегом направился к ним.

Юля спрятала телефон, вернулась к скамейке. Анатолий Борисович во все глаза смотрел на спешащего к ним человека, явно его узнавая.

— Коля?! — удивленно воскликнул Анатолий Борисович, когда тот оказался перед ними. — Какими судьбами? Что-то случилось?

— Случилось! — выкрикнул Николай. — Все уже давно случилось. Еще тогда, когда Борька по твоей милости погиб и мокрого места от него не осталось, когда потом и мать следом... пережить не смогла... Их смерть на твоей совести. И ты это прекрасно знаешь!..

— Да нет, сынок, чиста моя совесть. И вся моя «вина» только в том, что я поступил тогда честно.

— Да кому твоя честность нужна, если из-за нее гибнут родные люди?..

«Сынок?..» — ударило Юле в уши, и словно невидимая цепь замкнулась: все связалось после этого ключевого слова, все встало на свои места. Никакой Анатолий Борисович, конечно, не наркобарон и не главарь преступной группировки, выдуманный Николаем, а... — вот, оказывается, где собака зарыта — его собственный отец, которому он мстит за смерть брата и матери.

Юля вспомнила, как рассказывал ей об этой семейной трагедии сам Анатолий Борисович, и только теперь ей сделалось по-настоящему страшно, что едва не стала она орудием изощренного отцеубийства в мстительных руках родного сына.

«Еще не вечер!..» — ядовитым огнем вспыхнуло в ее голове, и игольчатой болью прокололо сердце. «Нет, нет, нет! — молча сказала Юля самой себе и крепко, до желваков на скулах сжала зубы, словно это как-то могло помочь не свершиться злу.

— Это у нынешних поколений все меньше остается святого и все больше эгоизма. Нас воспитывали в любви в первую очередь к родине, а не себе, и родину защищать считалось святым долгом и почетной обязанностью мужчины...

— Только вот не надо этой вашей советской демагогии, — перебил Николай. — Ты-то в армии не за спасибо — за деньги служил, а Борька, считай, задарма. И погиб ни за что...

— То есть как это ни за что? — возмутился Анатолий Борисович. — За нас с тобой, за землю нашу. И Борис свой долг с честью выполнил...

— Да сдался бы ему этот долг! — упрямо твердил сове Николай. — Если б ты тогда свою тачку не пожалел, мать обязательно Борьку бы отмазала.

— Всё на деньги меряешь? — с обидой сказал Анатолий Борисович. — Все вы сегодня на деньгах помешались. Золотой телец глаза застит — молитесь на него, готовы глотку друг другу перегрызть.

А ведь Анатолий Борисович прав, — слушая их ожесточенный на повышенных тонах спор, соглашалась Юля. Застит, да еще как! В этом ослеплении и она чуть не погубила человека. Ни за что, ни про что, ничего, как говорится, личного, просто за деньги.

— Ну, да, зато ты чистенький, белый и пушистый. Пробы ставить негде! Говоришь, мы на деньгах помешались? Да нет, это тебе они башку так замутили, что дороже судьбы родного сына оказались... Жадность обуяла такая, что спасти Борьку не захотел. И погубил.

— Что ты несешь?! — побагровел Анатолий Борисович. В конце концов, армия не тюрьма, чтоб от нее спасать. И не я его погубил. Так сложились обстоятельства — сам знаешь...

— Обстоятельства... — презрительно скривился Николай. — Останься Борька дома, ничего бы и не было.

— А, ладно! — устало и как-то, показалось Юле, обреченно махнул рукой Анатолий Борисович. По всему было видно, что разговор на эту тему возникал между ними не раз и к согласию он отнюдь не приводил.

Анатолий Борисович повернулся к Юле, взял ее под руку и сказал:

— Пошли!

— А тебе не интересно, кого ты пригрел? — остановил его Николай вопросом.

— Не понял? — уж, было, сделав первый шаг, притормозил Анатолий Борисович.

— Я про эту шлюху, которая рядом с тобой.

— Выбирай выражения, парень! — жестко сказал Анатолий Борисович. — Это, к твоему сведению, отныне моя законная жена.

— Отныне... А до ныне была «девочка по вызову», которую наняли, чтобы тебя прикончить.

— Как прикончить? — растерялся Анатолий Борисович.

— А вот так: сначала ублажить, потом прикончить...

— Ой, да не слушайте его! — умоляюще воскликнула Юля. — Пойдемте отсюда, пойдемте домой, я все объясню...

— Объясни, объясни. Как в доверие втиралась, как отравить собиралась.

— Замолчи, гад! — рванулась к Николаю Юля.

Анатолий Борисович удержал ее за руку и с неожиданным спокойствием спросил:

— А заказчик кто? Кто нанял-то?

Николай замешкался.

— Уж не ты ли сам?

— Да хоть и я! — исступленно заорал Николай. — Ни Борьку, ни мать я тебе не прощу. Ты их убил, значит, и тебе нет места в этой жизни!

— Вот оно как... Ну, что ж, в тебе всегда была червоточинка. Но я и подумать никогда не мог, что ты можешь до такой степени прогнить... Ладно, — глухо сказал Анатолий Борисович. — Будем считать, что с этого момента нет у меня и другого сына...

— Напугал! — зло скривил губы Николай. — У меня отца давно нет...

Анатолий Борисович круто повернулся в ответ и зашагал по бульвару прочь от скамейки. Юля растерянно топталаась на месте. Девушку била нервная дрожь. Предстоящее объяснение с Анатолием Борисовичем ее очень пугало. И больше всего боялась она того, что после сейчас услышанного о ней Анатолий Борисович, как и Николая, навсегда вычеркнет ее из своей жизни. Однако с Николаем дело обстояло, пожалуй, еще хуже и страшнее. Если надежда на то, что Анатолий Борисович поймет и простит, в самой глубине Юлиной души все-таки теплилась, то ожидать нечто подобное от Николая не приходилось. Слишком уж ослеплен он был злобным желанием отмщения, чтобы позволить кому-то встать на пути его осуществления.

«Но ведь мы же теперь супруги. А, значит, я просто обязана сейчас быть рядом с Анатолием Борисовичем. А он пусть решает, как дальше поступить со мной: по любви, совести или еще как!...» — пришла вдруг Юле спасительная мысль.

Она бросилась догонять Анатолия Борисовича, но тут услышала за спиной голос Николая:

— Стоять!

Юля оглянулась. С перекошенным лицом Николай бежал за ними, пытаясь что-то выдернуть из кармана куртки, и кричал:

— Ты просто так не уйдешь, сволочь, все равно тебе не жить!..

«Это конец! — подумала Юля, принимая слова Николая на свой счет. — Сейчас догонит и убьет! И Анатолий Борисович не успеет помочь. А может, и не захочет...»

Николай, наконец, высвободил правую руку из кармана куртки, и Юля увидела в его руках пистолет. От страха она рванула что было сил. И услышала за своей спиной резкий хлопок.

Анатолий Борисович был уже совсем близко. Юля увидела, как он, только что размашисто шагавший, резко остановился, словно сходу наткнулся на какое-то препятствие, и на плече его начало набухать и расплываться темно-красное, почти бурое

пятно. Анатолий Борисович повернулся. Юля увидела его недоуменные глаза, гримасу боли на лице и поняла, что Николай выстрелил в отца.

Обернувшись, она натолкнулась на обезумевший ненавидящий взор Николая. Он снова наводил на отца пистолет. Тот все с тем же недоумением, зажав ладонью окровавленное плечо, смотрел на Николая, не делая никаких попыток уйти, убежать, уклониться...

— Не стреляй! — закричала Юля.

Пистолет в руке дернулся, ствол чуть опустился. Николай, скосив глаза в сторону Юли, тоном, от которого мороз пробрал по коже, пообещал ей:

— А с тобой, шлюха продажная, поговорим отдельно...

Ствол принял прежнее положение, палец лег на спусковой крючок...

Не думая больше уже ни о чем, Юля, преодолев в мгновение ока оставшиеся между ними метры, бросилась Анатолию Борисовичу на шею, пытаясь загородить его.

Николай опять открыл огонь. Снова и снова нажимая на спусковой крючок, он с иступленной яростью выкрикивал вслед раздающимся выстрелам:

— Это тебе за Борьку!.. Это тебе за мать!.. Это тебе за нашу покалеченную семью!..

Он палил, пока не кончились патроны. После каждого выстрела Юлина спина окрашивалась точно таким же, как и у Анатолия Борисовича, темно-красными пятнами, но девушки не убирали рук с его шеи. И только когда пальба затихла, они оба, как и были в объятиях, повалились на землю, пачкая снег своей кровью.

К ним бежали люди. Анатолий Борисович держал голову Юли на коленях, гладил ее и, глядя в остановившиеся глаза, что-то бессвязно говорил и говорил ей, не обращая внимания на собирающуюся вокруг них толпу.

Почти одновременно подъехали «скорая» и полиция. Изрешеченная пулями Юля не подавала признаков жизни. Но Анатолия Борисовича врачи все никак не могли убедить, что ей уже ничем не помочь, а вот ему надо срочно в больницу.

Николай стоял в трех шагах от них, продолжая судорожно сжимать в опущенной руке травматический пистолет. Он был в полном ступоре. Полицейские едва разжали его пальцы, чтобы забрать оружие...

Анатолия Борисовича прооперировали. Рана оказалась не тяжелой, но крови, пока не лег на операционный стол, он потерял изрядно. Поэтому и в больничной палате ему пришлось проваляться почти месяц. Да и после выписки рука еще долго не могла нормально работать. Хоронить Юлю ему не довелось. Пока лежал в больнице, ее тело забрали родственники и увезли в свой райцентр.

Анатолий Борисович собирался съездить, побывать на ее могилке, но не успел. Еще не закончилось следствие, когда его нашли мертвым в своей квартире. Обнаружили Анатолия Борисовича соседи, у которых он хранил запасной ключ. Им показалось подозрительным, что несколько дней подряд Анатолий Борисович не выходит из дома, не отвечает на звонки — в дверь и телефонные. Решили посмотреть, не случилось ли чего...

Анатолий Борисович сидел за столом, уронив голову на руки. Вокруг лежали семейные фотографии и смартфон с тем самым «селфи» на память, который был сделан Юлей в «Зеленом попугае», когда зашли они отметить свое бракосочетание. Анатолий Борисович был мертв. Врачи констатировали «обширный инфаркт».

Суд над Николаем Шумаковым состоялся на пороге лета следующего года. Обвинялся он по статьям «покушение на убийство» и «убийство по неосторожности». Вину свою он признал частично. Признался, что никак не ожидал, что Юля бросится закрывать собой отца, а остановиться уже не смог. В остальном вины за собой не видел и все твердил, что таким, как Анатолий Борисович, на земле не место.

Взвесив все обстоятельства случившегося, суд назначил Николаю наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима...

ГРЕШЕН НАШ ПУТЬ...

У этого питейного заведения, занимавшего часть некогда большого заводского общежития, не имелось, как полагается, на входе вывески, приглашавшей заглянуть сюда желающих с такого-то часа утром до такого-то вечером. Впрочем, о его существовании и распорядке работы окрестные завсегдатаи и так были прекрасно осведомлены.

К открытию на высоком железном крыльце в несколько ступенек, ведущих к массивной металлической входной двери, обычно уже томилось с десяток страждущих поправить подорванное накануне чрезмерным возлиянием здоровье. Народ терпеливо ждал продавщицу, и когда ровно в восемь утра она, провернув два раза ключ в замке, отмыкала дверь, с облегченным вздохом устремлялся за нею...

«Наливайка»

Официально, по документам, заведение значилось просто закусочной — одной из нескольких, входивших в состав общества с ограниченной ответственностью «Виночерпий», занимающегося продажей на разлив алкогольных напитков. Посетители же называли заведение, как кому заблагорассудится, но чаще всего «наливайка» или, с оттенком седой старины, — «шинок».

Когда-то общежитие выходило своим фасадом прямо на оживленный проспект, а левым крылом на пересекающую его улицу, ведущую к заводоуправлению крупного предприятия. По другую сторону улицы расположилась районная администрация. Но на волне предпринимательского бума, наплодившего массу разного рода павильончиков, ларьков и прочих временных сооружений малого бизнеса, между общежитием и тротуаром проспекта, возле остановки общественного транспорта возникла под одной, пластиковой, крышей череда торговых точек. Выкрашенная в зеленый цвет, она напоминала гусеницу. Были здесь и продуктовый магазинчик, и пекарня, из которой разносились на всю округу запахи свежих лавашей и булочек, и чебуречная, и столовая, и мясная лавка, и даже цветочный киоск.

Всем этим заворачивал кавказец Казахмед. Место для своей «гусеницы» он выбрал удачное. Одна только остановка общественного транспорта уже обеспечивала его торговые точки необходимой клиентурой. Лаваши, чебуреки, беляши, выпечку народ, часто далеко не местный, транзитный, покупал охотно. А в маленькую, но уютную столовую Казахмеда, в обеденное время заходили перекусить работники близлежащих организаций и даже чиновники районной администрации. Не пустовали и магазинчик с цветочным киоском.

Общежитию же «торговый центр» Казахмеда вид на проспект загородил. Но, может, и хорошо, что загородил. А точнее спрятал от посторонних глаз ту нетрезвую публику, которая постоянно клубилась на асфальтовом пятаке возле крыльца «наливайки», дымно и шумно перекуривая на свежем воздухе перед принятием очередной дозы вожделенного зелья.

В отличие от Казахмедовского ТЦ, местоположение шинка, напротив, могло показаться весьма неудачным. Хотя бы потому, что слева на него строго и осуждающе взирали окна администрации, куда не заастала «народная тропа», по которой шли и шли со всего района люди: старики-пенсионеры, молодые мамаши с детьми на руках, за руку и в колясках, люди разных возрастов, занятий и национальностей. А в правом крыле общежития, всего в полутора сотнях метров от «наливайки», разместилось отделение

вневедомственной пультовой охраны, оберегающее от незаконного проникновения квартиры граждан.

Соседство, на первый взгляд, неприятное для алкогольного заведения, ничего хорошего ему не сулящее. На самом же деле, все трое, плюс загородивший своим ТЦ Казахмед, соблюдали по отношению друг к другу толерантность и сохраняли вполне добрососедские отношения.

И ничего, в общем-то, удивительного тут не было. Хозяева закусочной помещение арендовали на законных основаниях, что подтверждали соответствующие бумаги, подписанные через дорогу в районной администрации. То же происхождение имели и разрешительные документы Казахмеда, откусившего для своего бизнеса лакомый кусочек районной земли. А полицейским было и вовсе наплевать, кто с ними рядом. Они охраняли квартиры, а не общественный порядок. Да и сами иногда заглядывали в шинок инкогнито пропустить на скорую руку «соточку».

В общем, географическое положение почти никаких неудобств заведению не создавало. Недовольными были только жильцы общаги. И не раз жаловались в администрацию как на «наливайку», так и на Казахмедовскую «гусеницу». Первая раздражала их беспокойным непрезентабельным контингентом, вторая — рычанием моторов и выхлопными газами машин, подвозящих товар в магазинчик, муку в пекарню и чебуречную, картошку, овощи и мясо в столовую. А все это вместе, по убеждению жильцов, приводило к нездоровой обстановке и большим неудобствам в проживании на их придомовой территории.

Но к жалобам жильцов и в районе, и даже в мэрии, куда они тоже иногда долетали, оставались глухи. Бумаги у предпринимателей были в порядке, законность соблюдена (с помощью каких «подручных средств» — вопрос уже другой). Что касается жалоб, то жаловаться у нас нынче любят, очень любят. Да и невозможно сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты...

Две женщины в «амбразуре»

Закусочная делилось на две неравные части. Одна, побольше размерами, была залом для посетителей, стоя угощавшихся за четырьмя высокими круглыми одноногими столиками на массивных для устойчивости тумбах; другая, поменьше — производственным помещением с запасами алкоголя (разливное вино в огромных пластиковых канистрах и напитки покрепче в разнокалиберных бутылках, зазывавшие посетителей яркими этикетками с настенных полок) и нехитрой, «моментальной», как окрестил ее кто-то из завсегдатаев, закуской (дольки лимона и апельсина, карамельки и шоколадные конфеты, пирожки, разогреваемые желающим в микроволновке). Разгораживала обе части стена с «амбразурой» посередине и широким прилавком, который некоторые клиенты использовали при необходимости еще и как дополнительный столик.

Справа от «амбразуры» висело нечто вроде доски объявлений, поверх которой красовалась напечатанная на принтере большими черными буквами надпись: «Уголок потребителя». На ней была вывешена копия лицензии на право торговли спиртным и другая информация о заведении. Правда, однажды какой-то шутник попытался покуситься на чинность «доски», пририсовав толстым фломастером всего одну букву. Теперь, натыкаясь взглядом на нее, посетители покатывались со смеху. Продавщица Лена сначала никак не могла понять, что их так веселит, пока, сгорая от любопытства, не вышла посмотреть, над чем смеются клиенты. И увидела кривоватую, явно нетвердой рукой выведенную букву «у», прислонившуюся к «п», привносявшую в первоначальный смысл названия уже несколько иной смысловой оттенок

— Юмористы доморошенные! Я вам покажу «уголок употребителя!.. — рассердилась Лена и сняла доску с испорченной хулиганской рукой надписью.

Она была женщиной строгой и такого глумления над официальным, можно сказать, «сайтом» своего заведения допустить не могла.

Обслуживали шинок две продавщицы. Работали по трое суток кряду, столько же потом отдыхали. Трое, в общем, через трое. По разным обстоятельствам обеим такой график был удобен и, наверное, не в последнюю очередь и поэтому работали они здесь, меняя друг друга на «боевом посту» не один год.

Впрочем «боевым» их пост был, пожалуй, и без кавычек. Но об этом позже...

Сменщицу Лены звали Надеждой. Но это для публики хорошо ей знакомой и близкой по возрасту. Молодое поколение обращалось к ней либо по отчеству — Надежда Федоровна, либо просто «тетя Надя». Она уже перешагнула пенсионный рубеж и абсолютному большинству этой алкогольной молодежи годилась в матери. Невысокая, полноватая, вся в мягко перетекающих округлостях, с круглым же добродушным лицом, она и впрямь походила на многодетную мамашу, которая с улыбкой наблюдает через свою «камбразуру» за веселой возней пьющих «ребятишек».

А может, они и правда казались ей пусты уже и взрослыми — непутевыми и с вредными привычками, — но детьми. По старой памяти и привычке. Ведь Надежда Федоровна в прежней жизни была воспитателем детского сада и отдала этому делу более четверти века.

В отличие от нее Лену, Елену Алексеевну, в заведении редко кто называл по отчеству, тем более «тетей». Наверное, потому, что и выглядела она значительно моложе напарницы, хотя разница в возрасте у них была невелика. Да и немудрено при такой стройной и легкой, прямо-таки девичьей фигуре, выглядеть по-иному. Тонкий нос с горбинкой и чуткими ноздрями на продолговатом узком лице вызывал ассоциацию с гордыми античными красавицами. Некоторые очарованные ею посетители, бывало, и называли ее Еленой Прекрасной.

В шинок Елена Алексеевна пришла несколько позже Надежды Федоровны, но тоже уже давно. Правда, в отличие от напарницы, пришла не из системы образования, хотя, глядя на Лену, строго-неприметную, несколько даже надменную, вполне можно было принять ее за бывшую учительницу старших классов, умеющую держать своих недорослей в ежовых рукавицах, а из банковской сферы. Случилось так, что у банка, в котором Лена проработала многие годы после окончания экономического факультета, отобрали лицензию, он прекратил существование, а большинство сотрудников осталось не у дел. Банки лопались, как мыльные пузыри, выбрасывая на улицу все новые порции безработных финансовых служащих, и найти новое место становилось все сложнее. Труднее еще и потому, что сзади напирали только что получившие дипломы выпускники, которых ощущалось явное перепроизводство. Помыкавшись, Лена по рекомендации старой знакомой пришла в ООО «Виночерпий», надеясь перекантоваться здесь какое-то время, пока не найдет себе что-нибудь более подходящее. И задержалась...

...Первый вал страждущих откатывался быстро. Продавщицы едва успевали наполнять одноразовые пластмассовые стаканчики, двигавшиеся по прилавку непрерывной ритмичной чередой, как по ленте конвейера. Да и чего время занимать. Притушил горящие колосники — и шагай себе с богом, не мешай следующему сделать то же самое. Унылая согбенная очередь, с потухшим безжизненным взором, держась на ногах из последних сил, до самой «камбразуры» двигалась, в тяжелом болезненном молчании, словно боялась расплескать в словах остатки уходящей из тела *мочи*. Зато потом, за пределами прилавка, когда стаканы пустели, взоры начинали загораться и оживать, плечи расправляться, прорезываться голоса. Взбодренная вином жизнь налаживалась, входила в привычное русло...

Но то была только утренняя прелюдия к большому питейному дню. Основной контингент, «кадровые», так сказать, укротители «зеленого змия» подтягивались ближе к полудню.

Эти никуда не спешили и простоявали за столиками часами. Здесь все были друг с другом знакомы, и едва ли не каждый входил сюда, как в дом родной. Да «наливайка» для большинства из них и была вторым домом. Ну, или «клубом по интересам», которые в начале третьего тысячелетия вошли у нас в большую моду. Интерес же был у посетителей шинка один, общий — связующий и сплачивающий — выпить и поговорить «за жизнь», пожалиться на судьбу-злодейку и уронить на грудь собутыльнику прожигающую, как серная кислота, алкогольную слезу.

Шинок был общей для всех его клиентов жилеткой, но каждому тут находилась и жилетка индивидуальная. Роль таких жилеток для утомленных змием плакальщиков нередко выполняли продавщицы заведения. Им плакались даже охотнее, чем сотрапезникам. Плакались на стервозных жен, всегда готовых подставить подножку родственников, подлых друзей-товарищей, сволочных начальников, гадов-ментов, (переиначенных народом после преобразования милиции в полицию в понтах), так некстати оказавшихся на пути из «наливайки» к дому, да и вообще на всю эту поганую и нескладную жизнь, от которой только здесь, в шинке, и спасение. Надежда с Леной терпеливо выслушивали, утешали, подбадривали, давали советы и походили в проеме амбразуры на католических священников, исповедующих через специальное оконце свою греческую паству.

Всякой твари по паре

Народ в шинке собирался разный. Подобных заведений в городе было раз, два и обчелся, поэтому стекались сюда с разных его концов. Но преимущественно — с окрестных улиц, зажатых с одной стороны чередой выстроившихся в затылок друг другу заводов, а с другой — овражистой поймой грязной речушки, давно уже превратившейся в городскую сточную канаву.

Район был промышленный, игравший в советское время значительную роль в экономической жизни города, но сейчас, после всяких перестроек, перетрясок, смены курсов и формаций почти все его предприятия «лежали на боку» и являли собой жалкое зрелище. Их замечательные когда-то труженики большей частью оказались на улице и, выживая, промышляли, чем могли. А вот наиболее сообразительные и ушлые командиры производства и в рыночной стихии не растерялись, быстро найдя способ жить безбедно и бесхлопотно — сдавали заводские помещения коммерческим и прочим желающим структурам под их нужды. От нужд этих иной раз потягивало весьма ощутимым криминальным душком, но бывших отцов-командиров советского производства это не смущало — деньги-то ведь не пахнут!..

— Нет, ты глянь, что эти гниды творят! — возмущался в «наливайке» по сему поводу долговязый, сухой, как жердь, остролицый очкастый мужик с седой шкиперской бородкой.

По паспорту был он Алексеем Михайловичем Тихоновым. Но в шинке его чаще всего звали просто Тишайший. Склонный к философствованию и чтению исторических романов, Тихонов часто рассказывал собутыльникам про своего средневекового тезку царя Алексея Михайловича, которого, по преданиям, подданные за мягкость характера и недеятельный натуру окостили Тишайшим. Тихонов тоже был мужиком смирным, беззлобным, неконфликтным, можно даже сказать, слабохарактерным. Потому, наверное, и к нему прилепилось то царское прозвище.

Инженер-технолог в прошлой жизни, Алексей Михайлович много лет проработал на том самом заводе, руководство которого предавал сейчас анафеме. Года три оставалось

ему до выхода на пенсию, как попал он под каток сокращений. Уволили быстро, без проволочек. Словно подсек Тихонова и выдернул из привычного родного водоема неведомый хитрый рыбак. Забился, затрепыхался Алексей Михайлович, не понимая, что происходит. На завод Тихонов пришел сразу после института, места работы больше не менял, и, оказавшись не у дел, страшно растерялся, не представляя, что же делать дальше. Но поскольку массовые сокращения шли и на других предприятиях, где ему, опытному производственнику, можно было бы попытать счастья, а ничего другого — ни торговать, ни воровать он не умел — Алексей Михайлович затосковал и запил. И жизнь его стала сползать под откос. Жена, отчаявшись увидеть супруга прежним — при стабильной зарплате и премиях за хорошую работу, уважаемым в коллективе человеком, приличным семьянином — махнула на него рукой. У взрослых детей была своя жизнь, которая вполне вписывалась в жизнь окружающую. Бывшие друзья-товарищи были заняты собственным спасением.

Впрочем, кое-кто из его сослуживцев сюда, в «наливайку», тоже наведывался. Общаясь с ними, Алексей Михайлович понял, что, слава богу, не одинок — таких, как он, вышвырнутых за ненадобностью из одной жизни и не нашедших себя в другой — на самом деле много. Это приносило облегчение и некоторое успокоение. Всплывало даже из глубин минувшего забытое, было, ощущение коллективизма.

Не давал этому чувству снова угаснуть и пропасть окончательно один из постоянных собутыльников Алексея Михайловича — Беспалый. По паспорту Федор Огородников, он работал на том же заводе, только в соседнем, кузечно-прессовом цехе. А Беспалым его прозвали после травмы, когда однажды оттяпало ему, глубоко похмельному, механическим молотом четыре пальца на левой руке.

— Ничего, Михалыч, не боись! — бодро говорил Беспалый, отхлебывая из стакана вино. — Прорвемся! — Будем держаться друг за друга — и прорвемся!

Кто за кого должен держаться, куда прорываться — не пояснял, да это было и не важно. Сам настрой Беспалого, его оптимизм Алексея Михайловича грел. Он вообще здесь, в «наливайке», грелся. И в прямом смысле — посредством винопития, и в переносном. И не он, конечно, один. Многие спешили сюда, чтобы отгородиться от суэтного бытия внешнего мира, забыться в окружении себе подобных в винных грезах. А кто-то, подчас, и спрятаться от посторонних глаз, отсидеться, пережидая шухер.

Как делал это время от времени уркаган Ваня Битюг. Крупногабаритный, почти квадратный в широченном размахе мощных плеч, с коротко стриженной лобастой головой на бычьей шее и грубой лепки лицом, он в точности соответствовал своей кличке, которую, впрочем, сам не жаловал и морщился, когда кто-то называл его так. «Здесь не зона», — говорил он. Завсегдатаи «наливайки» об этом знали и старались звать его просто по имени. Или, как ему больше нравилось, на грузинский манер — Вано. Хотя за кавказца его принять можно было с большим трудом. Разве что в темноте.

Битюг тоже с удовольствием «грелся» в «наливайке» между «ходками» на зону, коих у него за три с половиной десятка лет бурной разбойно-воровской жизни набиралось не то пять, не то шесть. Впрочем, о них Вано-Битюг особо не распространялся. Поговаривали за его спиной, что он хоть и со стажем рецидивист, но звезд особых на своем поприще не хватал, иначе не лакал бы здесь вместе со всеми дешевую бормотуху.

Судимостями были отмечены и некоторые другие завсегдатаи шинка, но это фактически никак не влияло на общую атмосферу заведения и взаимоотношения его посетителей, которые в целом были уважительные и вполне доверительные. О чем говорила хотя бы такая деталь его будничной жизни. Табачный дым в помещении «наливайки» был вне закона. Следили за этим строго. Поэтому перекурить выходили в любое время года на улицу, или на крыльцо. Выходили, смело оставляя на столиках недопитые стаканы. Здесь не крысятничали и у своих не воровали. Тем более — спиртное. Кому не на что было выпить либо решали проблему тут же, у амбразуры, сшибая по

рублю, по два, либо на улице с помощью сердобольных граждан, готовых «войти в положение».

Кто наливает, тот и за порядком наблюдает

В силу специфики заведения народ здесь собирался, естественно, только пьющий. Выпивалось много, но, за очень редким исключением, домой клиенты добирались на своих ногах. Во многом благодаря продавщицам, зорко следившим за состоянием подопечной публики. Они точно угадывали, когда тот или иной посетитель доходил до кондиции, а тем более опасно приближался к «красной» черте, и незамедлительно на это реагировали.

— Так, Вован! — кричала со своего рабочего места вглубь зала Надежда (или Лена — смотря чья была смена). — Давай-ка, завязывай! А то уже дребезжишь — скоро посыпешься.

— Да все нормально, теть Надя! — пробовал возражать Вован, заранее, впрочем, зная, что бесполезно.

Если тот же Вован продолжал упрямиться, продавщица, не напрягая голосовых связок, спрашивала со значением:

— Может, тебе помочь с доставкой на дом? Вызовем машинку с синей мигалочкой. Домчит с ветерком...

Каким бы пьяным ни был, намек упрямец понимал и, уже больше не переча, шел, пошатываясь, к выходу.

Действенна была и другая применяемая продавщицами превентивная мера. Заметив, что клиент начинает «дребезжать», ему переставали наливать. И бесполезно было упрашивать плеснуть хотя бы полстаканчика «на посошок». Не проходили также попытки доброхотов взять этот «прицеп» как бы на свою долю. Зато и домой клиенты доходили без эксцессов и приключений на свою...

Находились, конечно, и особо упертые и куражливые, которые стремились продемонстрировать во что бы ни стало свою «самостоятельность» и «независимость». Тогда Надя (или Лена) выходила из рабочего помещения «на линию огня» и с холодным металлом в голосе обещала:

— Будешь выступать дальше — дорогу сюда можешь забыть. Мы тебя (подразумевалась напарница) даже на порог не пустим.

В шинке повисала тишина. Буян, собиравшийся продолжить кураж, с пьяной ухмылкой поворачивался к собутыльникам, иска моральной поддержки, но наталкивался на глухое молчание. А кто-то из пожилых уже мужиков, потрепав по плечу, говорил ему:

— Ты и в самом деле... того... Отдохнул бы чуток... А то ведь, — кивал на продавщицу, — и правда не пустит.

Предпринимая последнюю отчаянную попытку сопротивления, буян вдруг и как-то не очень к месту заявлял:

— А вот ученые доказали, что выпивать не вредно. И даже полезно...

— Выпивать, а не пить, и в дозах гомеопатических, а не идиотических, — жестко парировала продавщица.

И буян окончательно сдувался, как проколотый шарик, и осторожно бочком обходя Надю (или Лену), ретировался.

Продавщицы, казалось бы, при этом сильно рисковали. Ведь пьяный человек часто агрессивен и непредсказуем. Но, во-первых, Лена с Надей были женщинами смелыми и решительными, из тех, которые коня на скаку остановят, не говоря уж об ослабленных алкоголем посетителях «наливайки», а во-вторых, они уже по самому статусу своему стояли как бы «над схваткой» и были «по умолчанию» неприкословенными для посетителей «наливайки». Как когда-то пианисты-таперы в ковбойских салунах, над

головами которых висело предупреждение: «Не стреляйте в пианиста. Он играет, как может».

Когда-то, на заре существования ООО «Виночерпий» в его заведениях имелись штатные охранники. Но себя они не оправдали. Были ленивыми, трусоватыми и, увы, неравнодушными к зелью. Перебравших клиентов и дебоширов трогать не решались, исчезая в самый ответственный момент, зато угоститься за счет присутствующих были очень даже не прочь. Большую же часть дня проводили они в укромном уголке рабочего помещения, подремывая на стульчике. Зато настойчиво требовали прибавки «за вредность». В конце концов, убедившись в их бесполезности, хозяева ООО своих «блюстителей порядка» сократили, переложив их охранные функции на хрупкие плечи продавщиц. И они с ними неплохо справлялись...

Некоторые хлопоты доставляли «залетные», местных порядков не знавшие. Но и с ними Лена с Надей без особого труда справлялись. За столиками «залетные» часами не приставали: быстро и деловито выпив, бросив за щеку карамельку, уходили. Иногда возвращались, чтобы повторить, но не напивались. Пресекать приходилось, главным образом, их попытки закурить по незнанию в помещении. Им объясняли, что здесь «вагон для некурящих», и инцидент исчезал.

«Залетными» были обычно рабочие окрестных предприятий, дождавшиеся после двух-трех месячной задержки зарплаты. Они выпивали пару стаканов, набирали про запас вина в полиэтиленовые «полторашки» и спешили осчастливить получкой семью.

Но когда на пороге заведения возникал незнакомый субъект уже в состоянии полного непотребства, красивая, женственная, изящно тоненькая, как статуэтка, Лена, обычно спокойная и выдержанная, преображалась вдруг в злобную фурию и пронзительно, так, что стекла звенели, орала из амбразуры:

— Куда же ты прешься, конь педальный, чмо синее?!

Публика в шинке испуганно втягивала головы в плечи. Находящийся на грани полного бесчувствия «конь педальный» не сразу понимал, что происходит. Но уже через несколько мгновений Ленин оклик «прожигал» его пьяную «броню», доходил до сознания и заставлял убираться вовсю.

За словом в карман Лена никогда не лезла. Но однажды от удивления и она не смогла найти, что сказать.

Потомок великого Чингисхана

Заскочил как-то в ее смену в «наливайку» здоровенный, крупнее даже Битюга, широкоскулый узкоглазый мужик.

— Налейте мне большой стакан водки, — попросил. — И дольку лимона на закуску.

Лена с сомнением посмотрела на азиата — большой пластиковый стакан вмешал пол-литра жидкости, а заказал-то мужик не бормотухи слабенькой, а водки, но, ничего не сказав, налила.

Азиат поднес к носу стакан, понюхал содержимое.

— Водка не паленая, качественная, — поспешила успокоить Лена.

Ничего не ответив, азиат выдохнул и, не отходя от амбразуры, приложился к стакану. В горле его несколько раз булькнуло, стакан на глазах изумленной Лены опустел. Азиат швырнул в рот следом дольку лимона, глянул мельком на посетителей и снова обратился к Лене:

— Еще полстакана.

Подошедший за очередной порцией вина Вован уж, было, стал протягивать в амбразуру деньги, да так и застыл от удивления. Завороженная азиатом Лена зависшую руку Вована даже не заметила.

Распochав новую бутылку водки, она отлила половину ее содержимого необычному посетителю. На этот раз ему хватило всего двух глотков. Глаза у Лены стали квадратными. А мелочь посыпалась из руки Вована и, подскакивая, со звоном покатилась по прилавку.

— Ты откуда такой? — приходя в себя от увиденного, спросил Вован.

— Земля моих предков — Монголия.

— А много ли монгол может выпить? — поинтересовался Вован.

И монгол, расправив плечи, сверкнув прорезями глаз, с невероятной гордостью ответил:

— Да сколько угодно! Для потомка великого Чингисхана пределов нет!

И так же неожиданно и стремительно, как появился, исчез.

Сначала Вован подумал, что, наверное, допился уже до глюков и вот мерещатся всякие видения в облике монгола, лакающего водку в количествах и скоростью неимоверных. Но питейный день сегодня для него только начинался, и до видений, по идеи, было еще далековато. Тогда Вован решил проверить себя на детекторе трезвости — Лене.

— Ты этого... монгола сейчас видела? — спросил он, боясь услышать «нет», а с ним и отлучения сегодня от выпивки, но Лена утвердительно кивнула головой:

— Ну и здоров же, черт!.. — восхищенно констатировала она, не находя больше никаких иных слов.

Другим здесь не климат

Алкогольные персонажи в «наливайке» встречались разные. А вот носители других тяжких пороков — наркоманы, там, гомики, или, не дай бог, педофилы — сюда не совались. Им тут был и не климат. Ими в лучшем случае брезговали.

Как и самыми темными, отстойными пьянчугами, грязными, ниже плинтуса опустившимися бомжами. Да они и сами появлялись здесь чрезвычайно редко. По той, прежде всего, простой причине, что им не хватало денег даже на то непрезентабельное пойло, которым здесь торговали. Эти довольствовались все больше фанфуриками со спиртосодержащими жидкостями для гигиенических целей типа «Настойка дуба», или «Настойка боярышника» которые всегда и в любом количестве, дешево и сердито можно было приобрести в парфюмерном или хозяйственном отделе промтоварного магазина и даже в газетном киоске.

Не тусовалась в «наливайке» и сопливая молодежь. Народ тут обретался в основном взрослый, поживший, много чего повидавший и испытавший. Разве что Санёк был моложе остальных здешних завсегдатаев, хотя, с другой стороны — судя по всему, тоже судьбой не балованный, битый.

В документах (как потом выяснилось) он значился Александром Никифоровым, но все в шинке звали его Санёк. Откуда и как появился здесь этот худой белобрысый голубоглазый паренек, никто не знал, не помнил. Даже вездесущие продавщицы. Возник незаметно и также незаметно в этих стенах существовал. Любимым его местом была неглубокая ниша в кирпичной стене с батареей отопления. Зимой здесь было тепло и уютно, а летом — прохладно. Тут днями напролет Санёк и подпирал чугунную батарею, рассеянно взирая на гомонящую публику, а иногда, уставая стоять, устраивался прямо на полу под нею и, привалившись спиной к ее ребрам, засыпал. Иногда пропадал на день-другой, снова возвращался. К этому привыкли, и место в его любимом проеме никто не занимал.

О себе Санёк не распространялся. Знали только, что сирота, бывший детдомовец, а в настоящее время перебивается, чем придется. Жалели пацана, сочувствовали, а кто-то и

выпить-закусить за свой столик приглашал. Санёк охотно соглашался, особенно закусить, поскольку голодный был всегда. Сердобольные продавщицы тоже подкармливали. И даже в нарушение всех правил в крепко морозные зимние ночи оставляли его в шинке ночевать на невесть откуда взявшемся здесь надувном матрасе под той же батареей. Впрочем, ничем особо они при этом не рисковали. Дневная выручка ежевечернее забиралась. А рабочее помещение, где хранился алкоголь, оставалось под замком за крепкой стальной дверью. Тем более что воровскими наклонностями Санёк не отличался. А вот на заботу откликался благодарностью: к открытию «наливайки» зал для посетителей сиял чистотой. И пока сменная продавщица управлялась с первыми клиентами, Санёк прибирался на улице: в зависимости от сезона то снег на территории сгребал, то подметал.

В общем, прижился Санёк в шинке настолько, что без него заведение и представить себе уже было невозможно. Кто-то из завсегдатаев однажды назвал его «сыном шинка», и Санёк словно бы новый социальный статус себе обрел.

К полудню шинок бывал уже полон. За столиком в дальнем от окна его углу располагались те, кому было пятьдесят и за, старёры. Их связывали свои интересы, воспоминания (чаще всего ностальгические) о жизни ушедшей, их выпестовавшей, свое видение сегодняшней. Сопоставление «века нынешнего» с «веком минувшим» было главной темой их бесконечных застольных разговоров. Но, конечно, не единственной. Не брезговали и текущим моментом. Народ, как ни крути, был грамотный, из разных источников информированный о том, что творится в мире. Как тут не порассуждать о политике и политиках, о Европе и Америке, разногласиях в арабском мире и международном терроризме, с которым никто, кроме России, фактически не борется... А какому мужику не любо, да еще за стаканом, поговорить о таких сугубо мужских увлечениях, как рыбалка или охота? Своя рыбацкая или охотничья история имелась у каждого. Не обходилась стороной и семейная жизнь. О ней вспоминали часто и дискуссии на эту тему вспыхивали неподуманные.

За столиком у окна кучковались более молодые — пацаны. Эти, перебивая друг друга, густо уснащая и без того убогую речь громкими матами, все больше хвастались своими «подвигами». Один, как киношный герой Джеки Чана, на днях легко разогнал целую толпу уличной шпаны, пытавшейся преградить ему дорогу. Другой проявил себя намедни настоящим половым гигантом, осчастливив за ночь сразу нескольких красоток. Третий утверждал, что он запросто переплывал реку, на которой стоит их город, а она без малого километр шириной... Да про что тут только по пьянке не «заливали»! Зная друг друга давно и хорошо, никто никому не верил, но и сомнений не высказывал. В своей-то истории, которая рвалась наружу, правды было не больше.

Когда уставали «токовать», переключались на игры. Играли в кости, нарды, перекидывались в картишки. Играли когда просто так, бескорыстно, иногда на интерес — по маленькой денежке. До больших выигрышей или проигрышей не доходило, но азарт перехлестывал через край, и продавщицам иной раз приходилось, высовываясь чуть ли не по пояс из амбразуры и повышая громкость голосовых связок, урезонивать игроков.

Столики в середине шинка оживали уже когда день подходил к зениту. Появлялись строители из соседних строек, разный другой пришлый народ.

Любовь зла...

Наконец, возникали на пороге последние завсегдатаи «наливайки», как бы завершая своим присутствием ее групповой портрет.

Один из них, военный пенсионер Фадеев (или просто Фадеич) — пожилой коренастый мужчина простоватого, но строгого обличия, приходил в шинок с внешне

чем-то с ним схожей собакой по кличке Мальчик — обычной, однако очень дисциплинированной, беспрекословно слушавшейся хозяина дворнягой.

Прихрамывая, Фадеич шел к амбразуре, здоровался с продавщицей и, слегка улыбаясь одними губами, просил пlesнуть им с Мальчиком.

Надя, если была ее смена, ответно понимающе улыбалась и, пока наливалась Фадеичу большой стакан вина, успевала поинтересоваться о его здоровье, житье-бытье, посетовать на погоду и произнести еще столько слов, сколько хозяин Мальчика не слышал за весь сегодняшний день.

Если хозяинчала Лена, то Фадеича с Мальчиком она встречала бурной радостью. Схватив какой-нибудь предназначенный на закуску клиентам пирожок или беляш, она высакивала из рабочего помещения и бросалась к собаке, начиная гладить и прижимать ее к себе. Собаки были большой слабостью одинокой безмужней Лены. Мальчик вежливо забирал из ее ладони беляш и благодарно вилял хвостом. Лена трепала напоследок Мальчика за ухом и бежала наливать Фадеичу. Потом оба — человек и собака — неспешно шли к столикам, на ходу отыскивая свободное местечко.

Обычно оно находилось за столиком старпёров. Мужики приветствовали неразлучную пару и наперебой спешили оказать Мальчику внимание: кто погладить, кто лапу у пса попросить, а кто и угостить, чем бог послал. Находились шутники, которые даже вино в стакане к собачьему носу подносили. Мальчик позволял себя погладить, нехотя, но подавал желающим лапу. От угощения — кусочки хлеба, сала, колбасы — отказывался. То ли хозяин так воспитал, то ли сам брать у кого попало брезговал...

Когда дело доходило до вина, которое подсовывали ему шутники, Мальчик нюхал, морща нос, сердито фыркал и угрожающе рычал, словно говоря: «Сам травись этим дерзьмом, дурака кусок!» Шутник испугано отдергивал руку со стаканом и удивлялся:

— От хозяина тем же самым пойлом пахнет? На него ж не рычит!

— Сравнил... — возражали ему. — Хозяин верному псу в любом виде хорош. Потому что он — хозяин!..

Фадеич потягивал из пластикового стакана вино, слушал разговоры соседей, иногда перекидывался с ними словом-другим, а Мальчик терпеливо ждал, когда, наконец, хозяин двинется в обратный путь. Фадеич могостоять за столиком, смотря по настроению и обстоятельствам, и полчаса и даже час, а Мальчик все это время спокойно подремывал у его ног. Хозяин находился рядом, значит, и волноваться не о чем.

Наконец, Фадеич прощался, Мальчик вскакивал, и они покидали «наливайку». По пути Фадеич заходил в столовую Казахмета. Выпitoе подогревало аппетит, пора была еще обеденная, а кормили здесь неплохо и вполне по пенсионерскому карману. Тем более что готовить одинокому Фадеичу было все равно некому. Фадеич скрывался за дверью столовки, а пес оставался на улице. И чем дольше сидел хозяин где-то там, за стеной, скрытый от его взора, тем сильнее беспокоился Мальчик. Он начинал поскучивать, взлаивать, потом метаться возле столовки, пугая прохожих. Но вот Фадеич, сытый и довольный, выходил, пес с облегчением бросался к нему, счастливо колотя хвостом по земле, и оба продолжали прерванный путь к дому...

Почти следом за Фадеичем появлялась в шинке еще одна колоритная парочка — гусь да гагарочка. Он — среднего роста лысоватый мужичок, она — на голову выше своего спутника гренадер-баба с топором вытесанным лицом и сиплым, почти мужским басом. Они шли под руку, хотя со стороны казалось, что он просто висит на ее локтевом сгибе, а она волочет его за собой.

Ее зовут Маша, его — Вася, и он, как Мальчик Фадеича, слушается ее беспрекословно. Они поднимаются по крыльцу шинка. Ступеньки жалобно скрипят под их грузной поступью. Так же, не расцепляясь, подходят они к амбразуре, раскланиваются с продавщицей как добрые знакомые.

— Леночка, накати, пожалуйста, нам с Васильком по соточке водочки и лимончик, — рокочет Маша в амбразуру.

Лена наливает, подает стаканы.

— Оттаскивай, Василек! — командует Маша, а сама, пока он ковыляет, приволакивая ногу, к одному из средних столиков, неспешно рассчитывается.

Постоянные клиенты встречают их приветственными возгласами, рукопожатиями. Чувствуется, они здесь свои.

Василек — весьма эрудированный мужик по части различных природных чудес, и каждый раз, появляясь в шинке, спешит рассказать, что успел прочесть или увидеть по телевизору за время недолгого с собутыльниками расставания.

— …Представляете, мужики! — округляя глаза, сообщал он. — Пиранья эта самая — смотреть не на что: голова да хвост, а какая хищная и страшная! Руку в воду сунь — обгложет, как собака кость!..

— И что там какая-то пиранья? — осаживала Василька Маша. — На себя лучше глянь — голова да тыкалка. Даже хвоста нет.

— Зато тыкалка какая! — гордо расправлял плечи Василек.

— Какая? — насмешливо гудела Маша. — Как напьешься, и протыкнуть что надо, не можешь…

К амбразуре за время их визита Маша делает несколько подходов, а в перерывах между ними парочка выходит на крыльцо покурить.

Наконец, когда Маша появляется у амбразуры в очередной раз, Лена, с сомнением оглядывая отяжелевшего, навалившегося грудью на столик Василька, говорит:

— А не пора ли нам, Маня, пора? Василька кроватка зовет…

Маша оборачивается, некоторое время смотрит на Василька, словно видя его впервые, потом согласно кивает головой:

— Щас, Леночка, пойдем. С него хватит. А мне на дорожку — пятьдесят.

Эти пятьдесят она выпивает крадучись, чтобы не заметил Василек, прощается с Леной и зычно командует:

— Василек, пошли! Сеанс окончен.

Закемаривший, было, Василек вздрагивает, отлепляется от столика, некоторое время держится за его край, боясь остаться без опоры. Но Маша уже рядом, и он снова повисает на ее спасительной руке.

— Маша, не оброни его по дороге! Лучше на плечо закинь, сподручней будет!.. — незлобиво зубоскалят вслед собутыльники.

— Ничо, еще ни разу не потерялся… — добродушно откликается прокуренным басом Маша.

Они не муж и жена, просто сожители. Оба пьющие и курящие. Странное впечатление производят они вместе — настолько внешне разные. Но, с другой стороны — прямо-таки, наглядная иллюстрация великой объединяющей силы любви — и к алкоголю тоже.

— Ты, Машка, его, наверное, и поколачиваешь дома? — предположил как-то Вован.

— Ты чо! — возмутилась Маша. — Это какого другого мужика я могу, если надо, и в бараний рог согнуть, а своего-то… — И вдруг, озарившись внутренним светом, призналась с неожиданной гордостью: — А вот он, бывает, так ли еще мне по щекам отхлещет…

— Дак ты ж Васьки на голову выше! Он ведь до щек-то твоих и не достанет.

— А он подпрыгивает. Или на табуреточку встанет.

— И ты терпишь?

— Когда любишь — терпишь! Да и какое это битье? Щекотка одна…

Кикиморы и иные особи женского рода

Заполнявшийся пьющим людом шинок разноголосо гудел, как заводской цех в разгар рабочего дня. Этот ровный и несколько даже монотонный гул иногда нарушался резкими, выпадающими из общей тональности звуками — будто на одном из токарных станков цеха с визгливым скрежетом ломался резец. Значит, между посетителями, чаще всего игроками, вспыхивала перепалка. Или же только что рассказанный кем-то анекдот венчал бурный взрыв смеха.

Эмоциональная подоплека могла быть разной, но носила обычно мирный характер — до драк, как правило, дело не доходило. Если они вдруг и случались, то отношения выясняли уже за пределами «наливайки». А так жизнь этого питейного заведения текла в основном размеренно и спокойно, можно даже сказать, чинно и благородно. До тех, правда, пор, пока не появлялись тут некоторые особи женского пола.

Вообще гостями шинка женщины были не столь уж редкими. Но, как говорится, женщина женшине рознь. Одни, стесняясь, заскакивали на минутку-другую, чуть не крадучись, избегая любопытных взоров, выпивали и спешили убраться восвояси. Другие, напротив, чувствовали себя довольно уверенно, охотно составляли мужчинам компанию, подолгу простоявая с ними за столиками. И оказывали в какой-то мере благотворно-смягчающее влияние. Во всяком случае, речь собеседников в присутствии дам становилась заметно цензурнее, громкость убавлялась, а из разговоров улетучивались скабрезность и грубость, столь характерные для чисто мужских посиделок.

Но время от времени возникали в «наливайке» и особы, а вернее особи совсем иного рода...

Они врывались в заведение, как вихрь, как смерч, как стая саранчи. Едва умытые и плохо причесанные, но густо накрашенные, кое-как одетые, с пропитыми и прокуренными голосами, развязные и циничные, они мало походили на прекрасную половину человечества. Наполняя шинок визгом, гамом, забористо-подзaborной руганью, эти особи неопределенного возраста и пола видом своим и ухватками ассоциировались скорее со слетающейся на шабаш болотно-лесной бесполой нечистью и нежитью. Завсегдатаи их так и звали за глаза — «кикиморами».

Обычно их было трое — Люси, Ирэн и Мэри, как сами они себя называли. А проще — Людка, Ирка и Машка, как без лишних наворотов обращались к ним в шинке. Несмотря на то, что держались вместе, подругами они не были. Просто одной компашкой пили да куролесили. Тишайший называл их «строителями», имея ввиду «соображать на троих».

«Кикиморы» устремлялись к столику у окна, вешались на шею пацанам, ломая ритм их общения, пытались «расколоть» на халявную выпивку. Они уже и так были «на воздухах», но неугомонная алкогольная душа требовала «продолжения банкета».

На пацанов женское присутствие действовало в противоположном, в отличие от степенных старпёров, направлении. Громкость резко прибавлялась, словам цензурным места оставалось все меньше, а пьяного куража и выпендрёжа становилось все больше. И так это сильно походило на современные телевизионные ток-шоу, где все разом что-то говорят, а точнее — орут благим матом, заглушая друг друга, и никто никого не слушает, что у случайного посетителя «наливайки» невольно возникало желание нашарить под рукой пульт и поскорее выключить «ящик».

Повинуясь «основному инстинкту», мутнеющие сознанием пацаны распускали перья перед «кикиморами», которые с каждой новой порцией выпитого становились для них все краше. Совсем как в классической формулировке записных пьяниц: «Некрасивых женщин нет — мало водки!»

Потом спутанным клубком «кикиморы» с пацанами выкатывались наружу покурить, и шабаш продолжался на свежем воздухе — то на ступенях крыльца, то перед ним, пугая случайных прохожих и вызывая очередной взрыв негодования жильцов общежития. Лишь

труженики Казахметовской «гусеницы», привыкшие к шумным соседям, спокойно и равнодушно взирали на шоу с «кикиморами».

— Шалавы! — ругалась Надежда. — Как вас только земля носит, твари?

Лена относилась к ним сдержанней, но тоже не жаловала. От праведного гнева продавщиц «кикимор» спасало только то, что в шинке они долго не задерживались и с таким же трескучим шумом, как и появлялись, улетучивались.

Заглядывала время от времени в «наливайку» и дурочка Нюша. Натуральная дурочка, с соответствующей справкой, выданной психбольницей, откуда ее иногда выпускали под надзор родственников, а потом забирали опять. Обнажая розовые младенческие десны в беспринципном смехе, она корчила рожи, показывала язык и, как птица крыльями, взмахивая руками, кружилась по свободному пространству шинка. Очнувшись у амбразуры, Нюша останавливалась, переводила дух, потом запускала в карман потертой дубленки руку, извлекала горсть монет и высыпала их в пластмассовую тарелочку для мелочи в углу амбразуры. Ей наливали вина. Она пила, словно горячий чай, дуя на него и швыркая. Допив, утирала губы рукавом дубленки и снова начинала кружиться.

У столика пацанов тормозила, какие-то мгновения молча разглядывала их, потом заливалась смехом и кричала:

— Эй, пацаны, кто моим женихом будет? И, уже таинственным полушепотом: — У меня и квартирка есть. Заживем!..

У нее и правда была отдельная квартира, которая досталась ей от какого-то умершего родственника. Здесь и жила во внебольничные периоды под присмотром бабашки с матерью, которые чуть ли не ежедневно навещали ее.

Пацаны охотно отвлекались от игры в карты или кости, предвкушая веселое шоу от Нюши, наперебой приглашали девушку за свой столик.

— Сначала скажите, кто на мне жениться будет, — капризничала Нюша.

— А вон Вован, — предлагал кандидатуру Битюг.

— Я б с удовольствием, — откликнулся Вован, — да у меня уже Валька есть.

— Ну и что? — щерился во весь рот Битюг. — Будешь сразу с двумя жить. Как в гареме. Вальку старшей женой назначишь, а Нюшку — любимой. Красота!

— Хорошо, конечно, — соглашался Вован, — да только не уживутся они вместе. Валька Нюшку порвет.

— Нет, мне холостого надо, — говорила Нюша.

— Тогда вон Паштет, — как рефери на ринге выбросил Битюг вверх руку стоявшего рядом с ним длинного худощавого кадыкастого парня с нервным лицом и желтой фиксой во рту.

— Не, я молодой еще, мне нельзя, — стал отказываться Паштет.

— Так ненадолго же! — продолжал ломать комедию Битюг. — Женишься, поживешь недельку-другую, потом ее в дурдом поправлять здоровье отдашь, а сам в это время хату продашь и свалишь с бабками, куда глаза глядят.

— Не, — помотал головой Паштет. — Ты же, Битюг, знаешь — я по грабежам больше... А мошенничество — не мой профиль. Не подписываюсь.

— Во, бля, что делается! — картинно изумлялся Битюг. — Такую красавицу-невесту, да с прекрасным приданым, и никто замуж не берет?..

— А ты меня и возьми, — предлагала Нюша.

— Да я бы со всей душой! — пламенно воскликнул Битюг и тут же гаснул, словно о чем-то вдруг важном вспоминая: — Только не получится, любовь моя, ой, не получится! — И чуть ли не слезу горючую в стакан ронял.

Восторг в бездумных Нюшиных глазах уступал место удивлению. Она слушала Битюга с широко открытым ртом, а он, между тем, называл причину своего «не получится»:

— Не смогу я, красавица моя, насладиться нашей с тобой любовью. Другие, казенные, квартиры мне светят. «И, может, старая, тюрьма-а-а Центральная, меня парнишечку по новой ждет! — неожиданно приятным баритоном пропел Битюг. И уже своими словами завершил начатую мысль: — А дальше судья зачитает приговор, защелкнут на моих рученьках браслеты стальные и погонят по этапу в край непуганых медведей лет на двадцать. Вот и прикинь: могу ли я на такой срок жену свою молодую оставлять одну? Лучше совсем не жениться, чем медленно чахнуть от тоски в разлуке...

Стоявшая недвижным истуканом во время тирады Битюга Нюша вдруг заливалась слезами. Не ожидавший такой реакции Битюг, ненадолго терялся, а потом принимался успокаивать девушку. Нюша уткнувшись мокрым лицом в его плечо, затихла.

— Деньги есть? — вкрадчиво интересовался у нее Битюг.

Нюша утвердительно кивала.

— Тогда давай выпьем по стакашку? За любовь.

Нюша вытирала рукавом глаза, запускала руку за пазух и протягивала Битюгу сотню. Наливая на всю сотню четыре стакана, Надежда выговаривала Битюгу.

— Зачем дурочку обираешь? Она не соображает, а ты пользуешься.

— Никого я не обираю. Попросил ее — она дала. Сама же с нами и выпьет.

— А ей, как раз, больше бы и не надо. Еще немного выпьет и совсем шифер посыплется.

— Ладно, — соглашался Битюг. — Прослежу.

Он и в самом деле минут через пятнадцать выводил Нюшу на свежий воздух, прощался и слегка подталкивал в сторону ее дома:

— Туда, Нюша, иди, туда...

Нюша послушно шла, но как только Битюг исчезал за дверью шинка, разворачивалась на сто восемьдесят и направлялась к остановке транспорта. Хмель действовал все сильнее. Хотелось петь, плясать, что-то кому-то говорить. А на остановке много людей, есть перед кем выступить. Шоу Нюши продолжалось на улице.

Наконец, сморившись, она ложилась на скамейку остановочного павильона и с блаженной улыбкой засыпала. Когда было тепло и без осадков, ее не трогали. В осенне-зимние холода ее будили и сажали в автобус.

Месяц-другой ни в шинке, ни в его окрестностях Нюшу не видели (то ли под домашним арестом находилась, то ли в больнице отлеживалась), затем примерно в том же духе повторялось все сначала.

После очередного Нюшиного визита Тишайший философски заметил:

— Без дураков мир не полный.

— Почему? — удивился Беспалый.

— Они помогают баланс в жизни сохранять.

Появлялась в их компании время от времени еще одна особь. Представлялась она при знакомстве Юлей и внешне заметно отличалась от «кикимор». Миловидная, еще не утратившая свежесть лица и стройность фигуры, с хорошо развитой грудью, она способна была вызвать неподдельный мужской интерес не только у пацанов. Поглядывали на нее и мужчины серьезнее. Чем Юля небезуспешно время от времени и пользовалась. Однако при всей своей внешней привлекательности, отличалась Юля отъявленной скандальностью и стервозностью. Задирала пацанов, хамила старпёрам и даже, случалось, дерзила продавщицам. Но стоило ей «положить глаз» на какого-нибудь заинтересовавшего ее мужчину, Юля преображалась в невинную овечку, томную романтическую барышню, словно изумленную, каким-то ветром ее могло занести в этот пьяный гадюшник.

И ведь клевали некоторые — знакомились, заводили разговоры, сочувственно вздыхали, слушая придуманные ею на ходу печальные истории о несчастной Юлиной судьбе, угощали, давали денег, а то и уводили для «продолжения отношений»...

В какое время года в «наливайке» было меньше народу — сказать трудно. Возможно, летом, когда народ разбредался кто по дачам, кто на разные сезонные работы «сшибать копеечку» на дальнейшее пропитание. Поздней же осенью, подкопив жирок, засевшими снова слетались в шинок и в его уютном тепле блаженно оттягивались в товарищеском кругу. В предновогодние и посленовогодние дни наступало временное затишье (семейный, все-таки, праздник, который полагается проводить дома), но с середины января «наливайка» снова функционировала на полную мощность.

Впрочем, в любое время года жизнь здесь не замирала. Люди появлялись и исчезали. Чаще всего незаметно. Как бы ниоткуда возникали, а со временем тихо, «по-английски», уходили, не возвращаясь, в никуда. Тишайший по сему поводу заметил, что такая циркуляция происходит по двум обстоятельствам: одни расстаются с «наливайкой», бросая пить, во что верится с громадным трудом, другие, что гораздо реальнее, окончательно сраженные зеленым змием, завершают свой греческий алкогольный путь. А сам процесс этой «прибыли-убыли», делал вывод Алексей Михайлович, есть косвенное подтверждение физического закона сохранения массы (если в одном месте убыло, то в другом прибыло), еще три века назад открытого Ломоносовым и Лавуазье.

Явление седого ботана

Где-то в середине января и появился в заведении этот странный субъект...

Время было обеденное, зал почти полон. Все шло привычно заведенным порядком.

Один из столиков в середине шинка оккупировали «дженрльмены строительной удачи», обсуждавшие виды на грядущий шабашнический сезон.

Другой — среднего возраста мужички, в фигурах которых еще угадывались остатки былой спортивной стати. А их разговоры подтверждали, что общаются бывшие спортсмены. Профессиональные боксеры — если конкретнее. Бойцы вспоминали минувшие дни: турниры, бои, тренеров, сотоварищей, с которыми бились на рингах или выступали вместе единой командой. Вспоминали, словно поминали безвозвратно ушедшую спортивную молодость — прекрасную пору, где они хоть и не достигли сияющих драгоценными металлами побед вершин, но которая осталась для них первой и единственной на всю жизнь любовью.

На них посматривали с опаской и уважением. Но им ни до кого не было дела и ни на кого они не обращали внимания. Они кайфовали уже от самого ностальгического общения друг с другом.

За столиком старпёров Тишайший философствовал на тему человеческого счастья:

— Вот говорят: все мы — кузнецы своего счастья, — вешал он, подняв вверх указательный палец. — А я бы уточнил — кузнечики. Кузнечики своего счастья.

— Почему кузнечики? — удивлялись собутыльники.

— Видите ли... — задумчиво подпирал Тишайший тем же пальцем дужку очков на переносице — Все зависит от молота, которым счастье куется. Чем тяжелее молот, тем лучше — счастье весомей.

— Ага, тогда кувалдой надо херачить! — смеялся Беспалый.

— Можно и кувалдой, — соглашался Тишайший. — Если кувалда по силам. А поскольку люди мы очень испытые, с подорванным здоровьем, и большие тяжести нам неподъемны, то и молоточки счастье свое ковать предназначены теперь не большенькие. Потому и кузнечики мы, а не кузнецы. А настоящих-то кузнецов сегодня мало, очень мало. Даже среди трезвых.

— Откуда тебе знать? — возражал Беспалый. — Молодежь вон, поди, нонче, как и в наше время, сразу за кувалду хватается. Да и себя вспомни: не с молоточка ж начинал...

— Не с молоточка, — кивал Тишайший. — Но просто за кувалду схватиться — проку мало. Ее еще удержать в руках надо...

— Ага, — поддерживал Беспалый. — Удержать и научиться ковать, а не махать попусту.

— Именно! — поддакивал Тишайший. — А это далеко не каждому дано. Поэтому и молот, которым счастье начинаешь ковать, усыхает со временем до маленького молоточка, а сам ты из кузнеца превращаешься в кузнечика. Да и вообще, — делал несколько неожиданный для темы своего рассуждения вывод Алексей Михайлович. — В молодости мир бесконечен, а к старости сужается до стакана вина в такой вот «наливайке».

Тишайший отхлебывал из стаканчика, собираясь сказать что-то еще, но его внимание отвлек взвизг открываемой входной двери и новый посетитель, появившийся на пороге в клубах морозного пара.

Вошедший огляделся и двинулся к амбразуре. В своей поношенной синтепоновой зимней куртке, меховой шапке с потертым кожаным верхом и козырьком, прозванной в народе «кастрюлей», в черных растоптанных ботинках, где-нибудь в уличной толпе он был бы просто незаметен. Да и здесь среди публики шинка мало чем выделялся.

Задерживало внимание только его лицо. Высоколобое, продолговатое, с профессорской бородкой клинышком, правильными чертами, глубокими носогубными складками, придававшими одновременно и аскетизм, и благородство, и интеллигентность, оно казалось нездешним, выпадающим из общего контекста местных физиономий.

Впечатление усиливали искристая седина волос, матовая бледность и налитые глубокой живой синевой глаза. Лена позже признавалась, что если в них смотреть пристально, они затягивают. Как в омут. Но Лена увлекалась изотерикой, поэтому у нее были свои, особенные ощущения.

Пока же, положив обе руки на прилавок, посетитель смотрел на Лену ясным доброжелательным взором.

— Голубушка, — заговорил он мягким, приятным, чуть надтреснутым баритоном.
— Чем попотчуете озябшего путника?

Лена, для которой комплименты клиентов давным-давно стали не более чем комариным жужжанием, на кое она не обращала никакого внимания, впервые за годы работы в шинке вдруг засмутилась. Никто в этих стенах не называл ее столь старомодно, но и красиво — голубушка!.. От этого обращения веяло теплом и лаской, которой так не хватало одинокой Лене.

Она встрепенулась и, разгораясь румянцем, торопливо взялась перечислять ассортимент своего заведения:

— А на закуску могу разогреть пирожки — с капустой, с луком-яйцом, картошкой. Есть еще чебурята.

— Как-как? — переспросил посетитель.

— Это такие... ну, как бы мини-чебуреки, — пояснила Лена.

— Надо попробовать, — решил клиент и попросил к чебурёнку стакан вина.

Приняв от Лены стакан и закуску, он ступил на шаг в сторону и быстренько, чувствуя себя явно не в своей тарелке, выпил вино и справился с чебурёнком.

— Неплохо! — промокнув губы платочком, похвалил он не то выпивку, не то закуску, а не то все сразу. — И уютно у вас тут, — добавил, одарив продавщицу милейшей улыбкой, которой окончательно вогнал ее в краску.

— Заходите, — ответно улыбнулась Лена.

— Обязательно! — пообещал посетитель и, бросив исподлобья прощальный взгляд на публику, поспешил к выходу.

О пришельце, не вписывавшемся в общую картину заведения, тут же забыли и не вспомнили бы, наверное, больше никогда, не объявившись он в «наливайке» следующим полднем вновь.

— Ты глянь-ка? — удивился Вован. — Опять этот престарелый ботан пришкандыбал.

Как и накануне, тот бочком пробрался к амбразуре, поздоровавшись, попросил налить стаканчик вина. Как и вчера, торопливо осушил его, достал из кармана сухую галетку, похрустел ею. Подумав, взял еще стакан, выпил уже не спеша, маленькими глоточками. И ушел под недоуменными взглядами завсегдатаев.

Появился «ботан» в шинке и на другой день. И прямо в дверном проеме налетел на Вована, рвавшегося на улицу покурить.

— Извините, — сказал ботан, уступая дорогу.

— Извините... — передразнил Вован. — Ты, дорогой, дверью случайно не ошибся?

— Что так? — удивился старишок.

— А то, — стал заводиться Вован. — Люди сюда, между прочим, пить ходят, понял?

— А я, молодой человек, по-вашему, ссать сюда хожу? — срезал Вована старишок.

Вокруг одобрительно засмеялись. Вован, не ожидавший от седого ботана такой дерзости, пулей выскочил на крыльце...

Старик с той поры стал наведываться в шинок регулярно, все сильнее разжигая свою персоной любопытство аборигенов шинка.

Вообще-то к старикам в «наливайке» относились уважительно, и если бы ботан встал со своим стаканом за один из столиков да рассказал о себе алкающей братве, излил душу, все бы вопросы, наверное, сами собой отпали. Но, не отходя от прилавка, он явно не стремился к общению с «братьями по стакану», чем только сильнее подогревал любопытство и подозрения.

Уже само появление его казалось подозрительным. Не засланный ли казачок, не сексот какой? Потягивает винцо и наблюдает за ними втихаря, а потом передает, куда следует, утверждал Вован. Однако Тишайший с ним не соглашался:

— Да кому мы где нужны! Если и сболтнем лишнего — что с того. Не те времена. В Интернет зайди — какую хренотень там только не гонят, кто чего на кого только не наговаривает, какие помои только не льют!.. Самого президента полошут — будь здоров! И ничего.

— Так там никто своими именами не подписывается. Сплошные псевдонимы. В лучшем случае — «пользователь», «гость»... А мы-то здесь живем, собственными персонами и под своими именами.

— А он у тебя, у меня или у кого другого из нас имя-фамилию, анкетные данные спрашивал? Он вообще к нам не подходит.

— Может, у него в кармане шпионское какое устройство, и он все записывает и снимает на расстоянии.

— Ага, видеокамера в пуговице. Да проще этих устройств по стенам вокруг понатыкать и засыпать шпионить никого не надо.

— Ну, тогда получается, что этой белой вороне просто пойло здешнее нравится? — развел руками Вован.

— Ой, да не бери в голову! — сказал Тишайший. — Какие только чудики сюда не заглядывают!

— Да уж... — пробормотал Вован.

Тему эту он больше не поднимал, но червь сомнения продолжал его гладить. Наконец, Вован не выдержал и однажды прямо в лоб спросил у Интеллигента (так промеж себя завсегдатаи стали называть старишку):

— Вот, все-таки, скажи, уважаемый, почему ты здесь?

— А что, разве вход сюда только избранным?

— Нет, конечно, но ты, извини, смотришься тут как-то...

— Э, милый мой, перед этим делом, — Интеллигент звонко щелкнул себя по кадыку, — как голые в бане, все равны.

— Оно так, — сказал Вован, — только ведь одни пьют в шикарных кабаках дорогие вина, а другие эту вот бормотель, — поскреб он ногтем по пластику стакана.

— Намек понял, — сверкнул нержавейкой вставных зубов стариик. — Тут, любезный мой, все от кармана зависит. Позволяет карман — наслаждаешься французским коньяком и фруктами в уютном зале хорошего ресторанчика, а не позволяет... — Интеллигент помял рукой отворот куртки Вована. — Эх, любезный ты мой, если бы мне, карман позволял, я бы тоже, наверное, совсем другой ассортимент и в другом месте употреблял. Но, видишь ли, миллионов я не нажил, а хилая моя пенсия вынуждает довольствоваться вот этим демократическим напитком, — поболтал Интеллигент стакан с недопитым вином.

Старик теперь появлялся в «наливайке» практически ежедневно. К нему привыкли, перестали смотреть как на нечто чужеродное и относились уже почти как к своему. Несколько смущало, правда, других ветеранов шинка, что Интеллигент не вливается в их ряды, а торчит на отшибе, словно чурается, но и к этому привыкли — мало ли у кого какие «стараканы» в голове.

Да, в общем-то, никого стариик особо и не чурался. С завсегдатаями раскланивался. В чужие беседы не ввязывался, но и совсем от них не уходил, если сильно уж докучали. Иногда в чем-то поправлял старпёров в их бесконечных дискуссиях на любые темы, порой что-то подсказывал, дополнял — ума у него, оказывается, была палата! Пытались «тестировать» его каверзными кроссвордными вопросами — бесполезно: ходячая энциклопедия, а не стариан. Одно слово — Интеллигент!

Впрочем, Интеллигентом в глаза почти не называли. Выведав у продавщиц, что имя-отчество старика Арсений Ильич, так в основном его и называли. А старпёры как люди близкие ему по возрасту — чаще просто Ильич.

Отличался Интеллигент и процессом питания. Каждый свой приход он употреблял одинаковое количество вина — шесть пластмассовых двухсотграммовых стаканчиков в три захода по два стакана за каждый. Первый стакан выпивал быстро, в несколько крупных глотков и протягивал опустевшую тару в амбразуру для повтора. Пока продавщица наливалась, грыз сухую галетку. А другой стакан потягивал уже не спеша, разглядывая публику. Допив, шел на улицу, и с полчаса отсутствовал. Видели его чаще всего задумчиво стоящим возле Доски почета районной администрации. Она была закрыта с тыла высокими елями, и даже в самые ветреные дни здесь было тихо. Подышав свежим воздухом, стариик возвращался, выпивал по той же схеме новую порцию, снова проветривался, а потом делал третий, завершающий заход. На этом визит Интеллигента в шинок заканчивался. Продолжения не следовало ни при каких обстоятельствах. Арсений Ильич прощался с продавщицами до следующего раза.

— Надо же! — удивлялся, наблюдая за ним, Тишайший. — Четко по системе пьет.

— Как отмеряно, — уважительно кивал Беспалый.

А Лена хвалила и ставила Интеллигента в пример другим постоянным клиентам:

— Молодец, мужчина! Свою меру знает. Не то, что вы, проглоты: лакаете не до упору даже, а до усёру!..

В поисках спонсоров

Выбранное Интеллигентом место было не совсем удобным для спокойного возлияния и созерцания. Стариик хоть и в сторонке стоял, но все равно как бы на перекрестке путей между входной дверью, амбразурой и столиками. Интеллигента то и дело ненароком задевали, даже, бывало, толкали. На что он попросту не обращал внимания. Реагировать поневоле приходилось на шаромыг. Эти терлись возле прилавка постоянно. Денег своих у них никогда не было — угощались «на шару». Интеллигента как

потенциального своего спонсора они, разумеется, не могли они не заметить. Каждый раз, завидев его, кто-нибудь из них обращался к нему со стандартной просьбой:

— Братан, войди в положение, выручи...

И дальше называлась сумма — от рубля и выше — в зависимости от потребности, аппетита и наглости шаромыги. Одни просили со слезой в голосе, другие с ухмылкой, третьи и вовсе с шуткой-прибауткой типа вот этой: «Чтобы мужичку воспрятать, нужно пятачок достать».

Интеллигент поначалу «входил», «выручал». Потом, когда все завертелось по следующему кругу, понял, что процесс бесконечен, и начал объяснять этим убежденным захребетникам, что существует он на небольшую пенсию, не имея никаких иных доходов нет, а вот им, достаточно еще молодым мужикам, на стакан можно было бы и заработать.

Шаромыги картинно обижались, жаловались, подкрепляя жалобы красочными примерами из собственной жизни, что если бы не судьба-злодейка, лишившая их любимой работы, сбережений, жилья, здоровья (ассортимент в любых вариантах был у них весьма богат), то разве стали бы они тут беспокоить добрых людей?.. И один за другим, осознавая, что старик для них потерян, отставали от Интеллигента.

Окуляр, видимо, до такого понимания еще не дозрел, когда в очередной визит Интеллигента в шинок подкатился к нему с сакральным «выручи, братан».

Окуляром этого сорокалетнего рыхловатого и мешковатого мужика прозвали за поблескивавшие на носу очки. Интеллигентности и солидности они ему, в отличие, скажем, от Тишайшего, не прибавляли никаких, зато поводом для погоняла были замечательным. Окуляр ошибался в шинке от открытия до закрытия, путался под ногами и старпёров, и пацанов; ни те, ни другие в свои компании его не жаловали (был безнадежно туп и занудлив), ашибко пьяного и вовсе гнали от себя взашей.

Кто он был в прошлом, никто не знал, да и знать не хотел. «Наверное, как и я — бывший интеллигентный человек», — предположил однажды Тишайший. «Не, по-моему, он сразу бомжарой родился, — возразил Беспалый. — А мамка его вместо молока бормотухой поила и шакалить на стакан с малолетства учила».

...Окуляр выжидающе смотрел на Интеллигента.

— И сколько же вам, любезный, для счастья нужно? — поинтересовался тот.

— Дай на стакан!

— М-да... Сразу видно, что вежливости вас, молодой человек, никто не учил. Мне за семьдесят, а я на «вы», вы в два раза моложе — ко мне на «ты». О, времена, о, нравы! Все встало с ног на голову. И про волшебное слово, похоже, тоже ничего не слышали...

— Какое-то волшебное? — не понял Окуляр.

— «Пожалуйста», называется.

— А, это... — небрежно махнул рукой Окуляр.

— Значит, на стакан?

— Ну, да. Можно и больше.

— Аппетиты растут на глазах, — вздохнул Интеллигент. — То пару рублей просили добавить — на стакан не хватало, а теперь, видишь ли, сразу на стакан с закуской подавай!

— Так это... Инфляция... — нашелся Окуляр.

— Тут не инфляция, а прямо дефолт получается, — усмехнулся старик и жестко сказал: — Просил бы уж сразу на литр — все равно, сам знаешь, куда, а то и подальше посыпать!

За столиками засмеялись. Окуляр, что-то пробурчав, ретировался. Больше он Интеллигента не беспокоил — даже к амбразуре старался не подходить, его завидев.

Не оставила без внимания Интеллигента и Юля. Довольно долго их пути не пересекались — так получалось, что в шинок они приходили в разное время, — но к исходу февраля все-таки сошлись.

Юля переступила порог «наливайки» румяная с мороза, в короткой «дутой» куртке на молнии, ей под цвет бирюзовом шарфе и вязаной шапочке с кокетливым помпончиком, в тугу обтягивающих стройные ноги синих джинсиках. Небрежно окинув взглядом публику, она помахала неведомо кому ручкой, потом прошла к амбразуре, поздоровалась с Леной и, вынув из кармана горсть мелочи, стала считать.

— Ленок, — наконец оторвалась от этого занятия, — здесь едва на полстакана.

— Значит, налью полстакана, — бесстрастно отозвалась продавщица.

— Так это ж чё? Ни голове, ни...

— А я что могу сделать?

— Ну, стаканчик-то налей по старой дружбе!

— И с какого перепугу я тебя угощать буду, подруга ты моя ненаглядная?

— Тогда в долг дай.

— В долг? Тебе? А ты отдашь?

— Отдам, Ленок, ей бо, отдам!

— Ой, да не пускай птичек... — стала заводиться Лена.

— Каких птичек? — не поняла Юля.

— А есть такие маленькие птички: не «пи...ди», называются. Скорее рак на горе свистнет, чем ты кому-то что-то отдашь!..

Поняв, что дальнейший спор бесполезен, Юля огорченно отвернулась от амбразуры. И тут же наткнулась взглядом на стоявшего в метре от нее с левой стороны прилавка Интеллигента. С полминуты она оценивающе рассматривала его, а потом прямо-таки запела, поигрывая карими глазками:

— Ой, какой интересный мужчина здесь объявился! — Интеллигент промолчал. А Юля все так же сладкоголосо продолжила: — Какими судьбами вы к нам сюда? — И придвинулась к нему.

— Да теми же самыми... — туманно откликнулся Интеллигент, инстинктивно отодвигаясь.

— Понятно, — зафиксировала Юля взглядом почти опустевший стакан старика и со слезой в голосе пожаловалась: — Деньги вот дома забыла. А мелочишки в кармане даже на полстакана не хватает.

Интеллигент безучастно молчал, глядя мимо нее.

— Не поможете бедной одинокой женщине? — еще на полшажка придвинулась Юля.

Арсений Ильич вздохнул, порылся в кармане куртки и все так же молча протянул Юле десятирублевую монету. Проворно выхватив ее и присовокупив к остальной мелочи, Юля протянула всю горсть в амбразуру:

— Наливай!

Лена поморщилась, но налила.

— Ну, за знакомство! — повеселев, сказала Юля и, не дожидаясь ответной реакции, приложилась к стакану.

— Вроде бы и не знакомились еще, — возразил Интеллигент, удивленно наблюдая, с какой жадностью поглощает Юля вино и как хищно при этом раздуваются ее ноздри, сводя на нет всю внешнюю привлекательность.

— Какие проблемы — познакомимся! — воскликнула Юля, переводя дух, и протянула старику перевернутую верх дном лодочку своей ладони: — Юля. А вас?

— Меня? Зачем?

— Ну, а как же мы дальше будем общаться, если я не знаю, как вас зовут? — засияла глазками Юля.

— А вы, барышня, уверены, что мы и дальше будем?..

— А почему ж нет? — перебила Юля Интеллигента. — Вы дядечка — ничего, симпатичный, я — тоже. Сейчас махнем еще и поговорим за жизнь. — Юля бесцеремонно

забрала у Интеллигента опустевший стакан и вместе со своим протянула в амбразуру: — Ленок, наполни оба!

— А деньги?

— Так вот же! — погладила Юля Интеллигента по плечу. — Мужчина угощает.

— Чего? — чуть не по пояс высунулась из амбразуры изумленная Лена. — Арсений Ильич, правда, что ли? — спросила она.

Интеллигент в ответ только рукой махнул, а Юле сказал:

— Мне, конечно, лестно внимание молодой симпатичной женщины, однако постоянным спонсором вашим я, извините, становиться не собираюсь.

— Неужели ни капельки не нравлюсь? — округлила Юля глаза. — А я-то уже начала надеяться, что между нами хотя бы ниточка завяжется. — Она продолжала легоночко гладить Интеллигента по плечу. — Скоро и весна придет, пора любви настанет. Любви ведь все возрасты покорны — правда? — игриво прислонилась щекой к рукаву его куртки Юля.

— Может быть... — сказал Интеллигент. — Только не все ее порывы благотворны. Во всяком случае, для меня. Да и годы не те.

— Ничего, со мной о годах забудете...

— Ну, чего ты к человеку привязалась, — возмутилась наблюдавшая за их диалогом Лена. — Ищи себе других спонсоров — непонятно, что ли?

— Да где их найдешь?.. — вздохнула Юля. Она с сожалением посмотрела на пустые стаканы, на Интеллигента и пошла к пацанам.

— Что это за прелестное дитя? — проводив ее взглядом, спросил Интеллигент.

— Да уж куда прелестнее, — презрительно хмыкнула Лена. — Кукушка она, Арсений Ильич, натуральная кукушка!

— Как так?

— А вот так! Вы не поверите, но у нее четверо детей.

— Сколько? — действительно не поверил Интеллигент.

— Четверо, Арсений Ильич, четверо. И все от разных, как бы это помягче сказать, производителей. А кто от кого — она, наверное, и сама не помнит. С кем пожила — от того и прижила.

— Надо же! А сверху и не подумаешь, что многодетная мать. Еще, поди, и пособие получает?

— А как же! На него и существует. Только до детей оно не доходит. Пропивает все, сволочь! Еще, сами видите, и не хватает...

— Хорошо, а дети-то где и как живут?

— А вот так: кто у бабушек обретается, кто в интернате или детдоме. Прав-то родительских она лишена.

— Ну, а папаши детям своим помогают? Алименты хотя бы платят?

— Бог с вами, Арсений Ильич, какие алименты! С кого? С такими же пропивашками и сожительствовала. Лишь первый муж — единственный законный — более-менее нормальным мужиком был, трудяжкой. Да не выдержал — сбежал от нее и исчез бесследно.

— А сейчас у нее есть кто?

— Нет. Временный простой. В поиске спонсора баба. На вас вот примерялась.

— Да какой с меня прок, со старика. Ей бы кого-нибудь типа здешних пацанов.

— Ой, не смешите меня! От них толку и вовсе нет. Всё в стакан ушло. Юлька как раз и проверяла — каждого из них попробовала. Да по большому счету ей не мужик нормальный нужен, а карман с деньгами. Спонсор, одним словом. Чтоб доить его она могла в любое время дня и ночи, в любых количествах. А самца ей найти одноразового — не проблема...

Лекарство от одиночества

Отстранившись от остальной публики шинка, почти ни с кем плотно не общаясь, Интеллигент, вместе с тем, сблизился с продавщицами. Они обращались к нему по имени-отчеству — все-таки он был заметно старше, себя же, в свою очередь, просили звать просто по именам — это как бы молодило их.

Им нравилось с ним разговаривать. Интеллигент умел слушать — вернее выслушивать их с душевным соучастием — и теперь сам стал для Надежды с Леной той «жилеткой», которой служили они для других клиентов. Арсений Ильич не приставал к женщинам с расспросами, но они и без того с большой охотой изливались ему. У обеих несколько лет назад умерли мужья, и, наверное, от одиночества еще сильнее хотелось выговориться и почувствовать, что сказанные слова не растворились в пустоте, что они услышаны. И если у Надежды оставались дети, внуки, а с ними семейные хлопоты, не дающие расслабляться, заставлявшие держать себя в тонусе, то бездетная Лена жила совсем одна и, казалось бы, ей было особенно тяжко.

Но... Жаловалась на жизнь, на вдовью долю в основном Надежда. Лена, наоборот, оставалась всегда бодрой, энергичной, исходила позитивом и оптимизмом.

— О том, как жизнь у тебя, и не спрашиваю, — говорил Арсений Ильич, здороваясь с нею в очередной свой приход. — Все равно скажешь — лучше всех.

— Конечно, лучше всех! — искрилась очаровательной улыбкой Лена.

— Несмотря ни на что?

— Разумеется! Что ни происходит с нами — все во благо!

— Ну, хорошо, а как с грузом прошлого? С потерями и утратами? — с прозрачным намеком спросил Интеллигент.

— На прошлом, каким бы оно ни было, не надо зацикливаться, — уже серьезно ответила Лена. — Нужно жить, прежде всего, настоящим и думать о будущем. И весь негатив оставлять за пределами своего «эго». Тогда и все вокруг, как сквозь промытое стекло, станет видеться более светлым и чистым.

— Даже этот вот бесконечный спектакль с пьяными персонажами?

— А что? Нормальные персонажи. Не лучше и не хуже, чем в других местах. Только с вредными привычками. Но они их и не скрывают. Не стараются показаться хоть на рубль дороже. Какие есть, такие есть. Я до «наливайки», пока не сократили, в крупном банке работала. Все чистенькие, ухоженные, улыбки с лица не сходят. Будто со страниц глянцевых журналов. Залюбоваться можно. А присмотришься — бог ты мой! Гадюшник такой, что шинок наш просто отдыхает!.. Исподтишка пакостят друг другу, подлянки устраивают, подставляют, кляузничают, подсиживают... А посмотрели бы вы на них на корпоративах! Как напытятся, маски сползают и настоящие рыла из-под них вылезают. Нет, у нас, в «наливайке», по сравнению с теми, банковскими, очень даже порядочный и не двуличный народ. Интриг никто не плетет, камня за пазухой не держит. Всё напрямую скажут, честно, если что. Мирно договориться не сумели — пошли, настучали друг другу по морде лица, а потом вернулись и на мировую выпили.

— И часто «стучат»? — поинтересовался Интеллигент.

— Да нет, — сказала Лена. — В основном переговорным путем все улаживают. Не в пример многим политикам. Конечно, люди, у нас всякие, сами видите. Юльку или, там, «кикимор» и людьми-то называть не хочется. Но есть и очень даже приличные. Как вы, например... — Интеллигент смущенно кашлянул. А Лена, не заметив этого (или только сделав вид), продолжила развивать свою мысль: — И причины сюда ходить у каждого разные. Правда, ведь?

— Правда, — согласился Интеллигент. — Тупо выпивать я и дома могу, вдвоем с телевизором. И не дороже получится, если в соседнем магазине каким-нибудь дешевеньким винным напитком пробовляться. Но... — Арсений Ильич умолк, задумавшись, потом, как бы сбросив с себя оцепенение, сказал: — Одиночество — вещь

тяжелая, болезненная. С некоторых пор я это особенно остро почувствовал. А стены пустой квартиры его лишь усиливают. И алкоголь в таком случае плохо помогает.

Однокая Лена понимающе вздохнула. Ей хотелось спросить, почему Интеллигент тоже одинок и что с «некоторых пор» так обострило его ощущение одиночества, но не решилась. О подобных вещах в шинке не спрашивали и в душу не лезли. Кто хотел — сам ее раскрывал и пускал желающих после энного количества выпитого. Другое дело, что душонки оказывались частенько такими скучными, что и заглядывать в них не хотелось.

— Я и хожу-то сюда, чтобы от одиночества до белой горячки не допиться и не рехнуться, — объяснил Интеллигент свое посещение шинка. — А здесь, все-таки, народ, жизнь, какая-никакая...

— Только, я смотрю, вы не очень-то с народом нашим общаетесь.

— Видимо, не мой круг, Леночка.

— Да тут из разных кругов люди.

— Ну, значит, не привык пока.

И снова пробрало Лену нестерпимое любопытство. В каких кругах он вращался, кто был в прошлой жизни? И опять не давала сорваться с языка своего мучащим ее вопросам...

С детских лет по приютам скитался...

Был в «наливайке» еще один человек, с которым Интеллигент охотно общался, — Санёк. А он, в свою очередь, настолько привязался к старику, что каждое его появление ждал с нетерпением. И когда Арсений Ильич, наконец, возник в дверях, как воробушек вспархивал со своего насиженного места и чуть ли не бегом обрадовано спешил к нему.

Санёк любил поговорить со стариком. Они шли на улицу, если было не слишком холодно, или уединялись в углу шинка возле двери в рабочее помещение.

— Ой, дедынька, если б ты знал... — начинал обычно Санёк, предваряя свой рассказ. А рассказывал он в основном о себе и детдомовской жизни.

— Я ведь, дедынька, сирота. Мамка меня нагуляла, да от меня потом и отказалась. Еще в роддоме. Ни ее, ни папашу своего я никогда не видел, кто они, как зовут, живы ли — понятия не имею. О том, что они у меня вообще были, от воспитательницы в детдоме узнал. Такие, дедынька, как я, социальными сиротами называются. Сперва ждал, что однажды объявитя родная мамка и заберет меня домой — в детдомах об этом все мечтают, потом перестал, начал надеяться, что найдутся добрые люди и усыновят. Были такие счастливчики, сам видел, завидовал страшно! Все детдомовские завидовали. Каждому в семью хотелось...

Санёк шмыгал носом, кривился, глаза его влажнели. Арсений Ильич успокаивающе трепал парнишку по плечу:

— Ну, ну, Санёк...

Санёк тер ладонью глаза, нос, проглатывая комок в горле, печально вздыхал и продолжал свой горький рассказ:

— Жизнь, дедынька, в детдомах — не сахар. Нет, так-то вроде и ничего: крыша есть, в чистой постели спишь, кормили нормально. Но все равно как-то не в жилу было. А то и просто стрёмно. В детдоме ведь как? Кто сильней, тот и пан, и слабыми погоняет. Драки всю дорогу.

— Борьба за существование, — сказал Интеллигент.

— Вот, вот! Я хилый был, мне доставалось. И старшие пацаны били, и даже ровесники иногда. Существование было хоть волком вой. Я сначала терпел, потом, когда совсем невмоготу сделалось, в секцию бокса записался, чтобы хоть отбиваться мог, пока не забили совсем. Занимался. Старался. Даже в соревнованиях участвовал. Хотя спортсмена из меня все равно не получилось. Тренер говорил, что злости мне спортивной

не хватает. А я и правда не злой. Это плохо, наверное. Добрый труднее жить... Но все равно спорт мне помогал. Сдачи стал давать, когда наезжали. Пацаны в детдоме начали меня опасаться, даже старшие. Я и сейчас, если что, любому могу и в бубен, и в пятак...

— Правильно, себя в обиду давать не надо. Даже если физически слабей, — одобрял Интеллигент. — А то ж на шею сядут, ноги свесят и всю жизнь погонять будут.

—...Мы, дедынька, в школу в соседний интернат ходили, — рассказывал в другой раз Санёк. — Там с интернатовскими стыкались всю дорогу. Они себя вроде как хозяевами школы считали. Но тут проще — я не один, а с кодлой нашей детдомовской. Нас хоть и меньше, зато мы сплоченней. Одолеть нас трудно было. Ну, пацаны — ладно. А вот с некоторыми учителями приходилось совсем плохо. Была у нас в восьмом классе физичка. Не старая еще, симпатичная на вид. Только глаза ледяные и улыбка змеиная. Глянет — мороз по коже. А улыбнется — страх берет, как бы ее улыбка-змея с губ не соскользнула да не ужалила насмерть. Без ехидства слова не могла сказать. И не любила никого. А нас, детдомовских, и вовсе терпеть не могла только потому, что мы детдомовские. Иначе как «твари безродные» да «приблудное отродье» и не называла. Колы и двойки раздавала направо и налево, как подзатыльники. Редко, кто трояк заслуживал. Я однажды два урока физики пропустил по болезни. Справку принес. Все равно две пары влепила — по каждой за урок! Из-за нее школу не закончил. После восьмого класса ушел. А мог бы аттестат получить и дальше учиться.

— На кого?

— Да я, дедынька, и не знаю. О профессиях нам ни в школе, ни в детдоме ничего толком не рассказывали. А сам-то, глядя вокруг, что узнаешь? В поселке, где детдом находился, всего и предприятий — небольшая станция железнодорожная, элеватор да швейная фабрика. Вот и все, где работать можно было. Знали, конечно, что на самом деле профессий много. Из телевизора, там, или из газет рекламных, — в них много объявлений печатается, где по разным специальностям люди «требуются». Но это у кого они есть. А если нет, как у меня? Вот то-то и оно...

— А в ПТУ какое-нибудь пойти не пробовал?

— Как, дедынька, не пробовал — пробовал! Владимир Сергеевич — это директор наш бывший — мне и характеристику хорошую дал, и рекомендацию. Поехал я в областной центр. Нашел училище, куда директор советовал, а его закрывают — не нужны, говорят, мы больше, потому и работать дальше не будем. Я в другие ПТУ стал торкаться. Но и там непроханжа. Либо тоже медным тазом накрылись, либо, не про меня они. В одних — учишь, пожалуйста, да ни общаги нет, живи хоть на улице, ни питания, а где и есть, так там нас не ждали: свой же брат детдомовец почти все места занять успел. Поторкался я, поторкался — рукой махнул. Вернулся домой. Хорошо, что Владимир Сергеевич в положение вошел, оставил в детдоме. Еще и работенку дал, раз в школу не хожу. Разнорабочим определил. Зарплата небольшая, ну, и за питание немного высчитывали. Но все равно что-то оставалось. Нормально жилось. Зиму перекантовался. А весной меня тетка к себе взяла.

— У тебя тетка объявила?

— Да не родная, дедынька, приемная. Вернее, я у нее приемным стал.

— Значит, дождался своего часа — нашлись люди добрые и для тебя, в семью взяли.

— Ага, нашлись, — невесело подтвердил Санёк. — Да не совсем добрые.

— Как так?

— А вот, дедынька... В нескольких километрах от нашего поселка село Никольское. При советской власти там большой и богатый совхоз был. Потом, когда всё наперекосяк пошло, совхоз развалился, остатки разворовали. Один детдом по соседству с деревней остался.

— Разворовать не успели?

— Да нет, — сказал Санёк. — Тут, видишь, какое дело... Я раньше этого не знал. В семье-то детдомовцев берут не за спасибо. За каждого пособие полагается. И, говорят,

неплохое. Вот жители Никольского, когда совхоза и работы не стало, этим делом промышлять взялись. Кто одного, а кто и нескольких детдомовцев к себе брали. Подписывали договора, получали деньги... У кого-то ребята нормально жили, а у кого... Я к тетке Федоре попал — Федоре Афанасьевне. У нее, кроме меня, еще трое было: две девки, один пацан меня помладше. Снег едва стаял, а мы уже с темна до темна вкалываем: я Пашка, пацан тот, спозаранку в хлеву за коровой и свиньями убираем, дрова колем, девки по дому прибираются, на кухне помогают, а потом все на огород. Пацаны землю копать и грядки делать, девки — грядки засевать, а когда все в рост пойдет, полоть. У нее земли чуть не тридцать соток. У соседей мотоблоки и все такое, а Федора на тракториста, чтобы участок вспахал, денег жалела. Вот мы с Пашкой этот проклятый огород лопатками целыми днями до кровавых мозолей и ковыряли. А Федора еще и подгоняла: шевелитесь, лодыри детдомовские! Чисто физичка наша школьная.

— А куда ей столько земли? Семья большая?

— Какое там — одна! Дети все в городе и к ней не ездят. Раз только видел, как сын ее старший приезжал. Да и тот часа не пробыл, что-то ей передал в пакетах и отвалил.

— А чем же она свои сотки засаживает? Картошкой, овощами?

— Картошкой, конечно, тоже. И овощами разными понемногу. Но больше половины огорода — дедынька, ты не поверишь! — у нее занято чесноком.

— Чесноком?!

— Да, дедынька, чесноком. Представляешь: несколько длиннющих, через весь огород грядок с чесноком! Когда взойдет — красиво! Зато потом маяты сколько: и поливать надо, и полоть, и рыхлить. Девки наши на солнцепеке прямо в борозды в обморок падали. Водой отливать приходилось. Да и потом до поздней осени возни с этим чесноком было...

— Зачем же ей столько чеснока? — еще больше изумлялся Интеллигент. — Бочками, что ли, засаливала?

— Не, дедынька, тетка его головками поштучно продавала. То в поселке на станции, то в городе. Утром садилась на электричку с сумкой чеснока, вечером возвращалась пустая. Страсть как бабло любила. Она всем подряд торговала: и цветами, и овощами, но самый большой навар был у нее с чеснока. Да еще, прикинь, за нас, детдомовских, получала. Та еще кулачка была!

— И вы, стало быть, — поскреб бороду Интеллигент, — на нее бесплатно батрачили?

— Так и есть! — подтвердил Санёк. — А жадная!.. Другим нашим детдомовским, кого в семье из того же Никольского брали, какие-никакие обновки покупали — одежонку там, обувку, а мы всю дорогу в рванье. Жили в старой щелястой стайке — от сквозняка спрятаться некуда, спали на гнилой соломе. Жрали в основном ту же мелкую картошку, что свиньям Федора варила, иногда прокисшее молоко давала, чтобы просто в землю не выливать. А летом овощи с огорода мы сами приворовывали. Когда удавалось. Федора за огородом зорко следила. Если кто попадался, прутом тальниковым так охаживала, что неделями потом кожа зудела. Зимой немного полегшее было, но тоже...

— И долго ты так батрачил?

— Года два, дедынька. Подумывал — уж не сбежать ли мне. Но тетка опередила. Как только огород вскопали, сказала: «Все. Я тебя вырастила, на ноги поставила. Дальше — сам, как хочешь. Совершеннолетний уже. И договор на тебя кончился»... Тут как раз повестка из военкомата. Весенний призыв начался. Я обрадовался. И долг, думаю, Родине отдам, и годик, а может, и больше, нормально поживу, ни о жилье, ни о пропитании не заботясь. Службы я не боялся. Тяжелее, чем в детдоме или у Федоры, надеялся, не будет. В общем, серьезно так настроился. А на медкомиссии — облом: не годен к строевой, говорят, плоскостопие. Ну, невезуха! Вернулся обратно в поселок. А там — куда? Федора выставила. Остался детдом. Пришел к директору. Гляжу — в кабинете совсем другой мужик сидит. На пенсию, говорит, твой Владимир Сергеевич ушел. Набрался я духу и у

нового директора попросился в детдоме оставаться любую работу исполнять. Но этот — не Владимир Сергеевич, на жалость его не возьмешь. Нет — и всё! Восемнадцать исполнилось — вали отсюда, больше находиться не положено, другим места нужны, детдом не резиновый.

— И ведь прав формально, — заметил Интеллигент.

— Да я, дедынька, понимаю. И не в обиде. Ну, а мне-то куда деваться?

— Слушай, но ведь тебе как бывшему детдомовцу-сироте государство по закону должно дать жилье. Ты знаешь об этом?

— Знаю, дедынька. Директор хоть в детдом и не пустил, но про жилье подсказал. И даже нужные бумаги в районную администрацию помог собрать. Огромное ему спасибо!

— И что дальше?

— Отдал я эти бумаги по назначению. Поставили на льготную очередь. Жди, сказали.

— Ну, вот! — обрадовался Интеллигент.

— Эх, дедынька, она хоть и льготная, но движется, оказывается, хуже всякой другой. Там же, в администрации, знающие люди мне сказали, что ждать можно годами и не дождаться. Особенно одинокому и холостому. А ждать где? В поселке и приткнуться негде. Снова в город подался. Думал, здесь где пристроюсь. Как же! С образованием, с дипломами устроиться не могут — куда уж мне! А без прописки и разговаривать не хотят.

— Ну, в дворники хотя бы. Там, вроде, и жилье служебное можно получить.

— Тут азиаты все позанимали. Говорят, они выгоднее.

— Н-да, куда ни кинь — везде клин, — покачал головой Интеллигент. — Замкнутый круг какой-то. А где ж ты тогда в городе жил?

— Когда тепло и без дождя, в скверике рядом с вокзалом кантовался. Там лавочки, поспать можно было. Рядом цыгане целым табором стояли. Менты их не трогали. А с ними и меня. Цыгане еще и подкармливали. Потом чавалы куда-то уехали. Меня с собой звали. Но я забоялся. Тут Гоша подвернулся.

— А это кто?

— Он бригаду собирал. Бани, там, летние кухни, туалеты, беседки, заборы, ворота и прочую фигню на дачных участках ставить.

— Ты ж не строитель?

— На подхвате тоже кому-то надо быть. Пилил, строгал, материал подносил — делал, что скажут. А вообще Гоше громаднущее спасибо, что пожалел и взял. Все лето на дачах провели. Там и жили, где работали. Ну, да мне не привыкать. До белых мух шабашили.

— И как, успешно?

— Я, конечно, при расчете меньше всех получил, но так ведь по квалификации и расплата. Я и этому рад был страшно. Сколько лет живых денег не видел! Ну, думаю, на зиму в городе где-нибудь угол сниму, работенку какую найду для поддержания штанов, а весной Гоша обещал снова в бригаду взять...

Санёк смолк, погрустнел, что-то, видимо, вспомнив.

— А в «наливайку»-то как тебя занесло? — спросил Интеллигент.

— Да как... — вышел из задумчивости Санёк. — Когда расчет получили, бригадир предложил окончание сезона отметить. Ведь мы пока работали — капли в рот не брали. Сухой закон! Сначала хотели в какой-нибудь кафушке или пельменной посидеть, но передумали: и дороговато, и не поговоришь свободно.

— То есть с матами и на полную громкость, — усмехнулся Интеллгент.

— Ну, да... Тогда один из наших сказал, что знает хорошее место, где все тики-так, и привел в «наливайку»...

— Отметили?

— Ой, дедынька! Лучше бы не отмечали!

— Что так?

— Я ж к этому делу не привыкший. Напился так, что ничего не помню. Проснулся в каком-то дворе на лавочке. Вокруг горки, городушки разные. Видать, площадка детская. Как сюда попал — сам ли забрел по пьянке, города не зная, или бригадники по дороге бросили? — без понятия. Голова трещит, мутит меня. Ночь глубокая. А конец октября уже, холод пробирает. Во внутренний карман ветровки руку запустил, а там пусто. Нет моих денег, за лето заработанных. Кто-то успел пьяного обчистить. И так мне обидно стало — и за то, что без денег остался, и за то, что дурак такой и неудачник, и за жизнь-некладуху, которая мне досталась, что я расплакался, как маленький. В детдоме думал: вот расстанусь я с ним и совсем другая жизнь у меня начнется — хорошая, счастливая, солнечная... Началась... — опять зашмыгал носом Санёк.

— Да уж... — сочувственно сжал его плечо Интеллигент. — И концов, конечно, не нашлось.

— Да где там! Я в «наливайку» вернулся, тете Наде рассказал (ее как раз смены были), а она мне — твои собутыльники, может, и общими. Как же можно, я удивляюсь, весь сезон как одна семья жили. Так ведь и в семье бывает не без урода, она говорит. Тем более что из-за денег некоторые на все идут. Скажи спасибо, что в живых оставили, дурака простодырого... Долго еще меня тетя Надя ругала, но потом пожалела — стаканчик вина налила бесплатно и пирожок дала. Легче стало. Огромное им с тетей Леной спасибо, что меня из «наливайки» не выгоняют, даже ночевать разрешают...

Санёк впервые за многие их беседы улыбался, и Арсений Ильич отмечал про себя, какая у парнишки, несмотря ни на что, добрая, открытая и светлая улыбка.

— Эх, бедолага!.. Ладно, время обеденное. Пошли по стаканчику пропустим, да чебурятами закусим.

Первый праздник весны

Февраль простоял необычно теплый и почти безветренный. Зато март, словно взявшийся наверстывать упущенное предшественником, ударил забористыми морозами с пургой и выygами. На глазах росли сугробы. Сухой колючий снег, подгоняемый злым ветром, наждаком скреб лица прохожих, заставляя то и дело поворачиваться спиной. Крыльце «наливайки» задувало так, что ноги по щиколотку и выше утопали в снегу. И это при том, что Санёк чуть ли не каждый час очищал крыльце. Снег прорывался даже в шинок, где пометавшись по полу несколько мгновений, оставлял после себя мокрые талые пятна.

— Ну, погодка! — сказал, стряхивая с себя снег, Интеллигент. — И это называется первый весенний месяц!

— Ой, мужчина, и не говорите! — охотно согласилась вошедшая следом бомжеватого вида женщина.

Интеллигент смёл, наконец, с себя остатки снега, стряхнул его с большого продолговатого конусообразного газетного свертка в правой руке и двинулся к амбразуре. По пути он развернул сверток, скомкав газету, бросил ее в одну из стоявших под прилавком коробок для использованных разовых стаканчиков и бережно огладил большой букет разноцветных, еще только начавших раскрываться тюльпанов.

— Ой, какие красивые! — услышал он за своей спиной голос бомжеватой женщины.

Интеллигент заглянул в амбразуру. Лена сидела за большим столом в середине рабочего помещения, и что-то подсчитывала на калькуляторе. На столе красовалось несколько красных гвоздик, желтых веточек мимоз. Интеллигент перевел взгляд на свои влажные, еще не проснувшиеся тюльпаны и довольно улыбнулся. Арсений Ильич не стал отвлекать Лену и обернулся на голос.

— Нравятся? — спросил он.

— Не то слово! — восхищенно отозвалась женщина. — Как в сказке. На улице мороз и вьюга, а здесь такие цветы! Можно понюхать?

Интеллигент поднес к ее лицу букет.

— Божественно! — закатила глаза женщина, вдыхая тонкий цветочный аромат.

Интеллигент, шевеля губами, еще раз оглядел букет.

— Что за черт! — воскликнул он. — Здесь же четырнадцать!

— Что четырнадцать? — не поняла бомжеватая.

Не ответив, Интеллигент снова пересчитал цветы.

— Так и есть — четырнадцать... Но я же пятнадцать просил — нечетное число!

Цветочница, видно, напутала. Хорошо, что вовремя заметил, а то бы... — сокрушенno бормотал стариk, озираясь. Он явно не знал, что предпринять.

Но тут взгляд его наткнулся на бомжеватую, и какая-то явно понравившаяся ему мысль, озарила лицо Арсения Ильича. Он вытянул из середины букета самый большой цветок и протянул женщине:

— С праздником вас, голубушка, с 8 марта!

— Это мне? — не поверила она.

— Вам, вам.

— Спасибо!.. — растерянно и растроганно поблагодарила бомжеватая, прижала цветок к груди и вдруг заплакала.

— Вы чего? — заволновался Интеллигент. — Я что-то не так сказал?

— Ой, мужчина! — глотая слезы, отозвалась бомжеватая, — Да мне ведь в жизни никто никогда цветов не дарил.

— Как не дарил. А ухажеры?

— Какие, мужчина, ухажеры? Бог с вами!

— Но кто-то же, хотя бы в молодости, за вами ухаживал: на свидания приглашал, в любви признавался, цветы с подарками дарил?

— Да какая там любовь! — горестно всхлипнула бомжеватая. — Всегда одно и то же было: сначала квасили, потом трахались. Как говорится, раз-раз — и на матрас! И вся любовь... Как со школы еще это началось, так до последнего и продолжалось. А слова ласкового за всю жизнь ни от кого не слышала. — Бомжеватая перестала давиться слезами, слегка успокоилась. — Большое спасибо, мужчина! — с чувством поблагодарила она еще раз. — Вы очень душевный человек...

В амбразуре появилась улыбающаяся Лена.

— Здравствуйте, Арсений Ильич!

— Здравствуй, Леночка!

— Да вы не один, а с шикарным букетом.

— Это, Леночка, тебе, — протянул Интеллигент букет. — С первым тебя весенним праздником, ласточка ты наша.

— Ой, спасибо, Арсений Ильич, большущее спасибо! Балуете вы меня.

— И не я один, смотрю, — показал Интеллигент на цветы на столе.

— Принесли некоторые... — беспечно махнула рукой Лена. — А от вас, честно говоря, не ожидала. Вдвойне приятно. — И спросила: — Вам как всегда?

— Да, Леночка, — сказал Интеллигент, — как всегда. Впрочем... — покосился он на бомжеватую. — Налей, пожалуйста, отдельно еще стаканчик винца.

— Ей, что ли? — брезгливо глянула Лена на женщину. — И охота вам, Арсений Ильич, на всякую... тратиться?

— Так женский праздник, и она тоже, все-таки, какая-никакая женщина. Пусть угостится...

Угощать Интеллигенту в этот день пришлось не только бомжеватую незнакомку. Как только та ушла в дверях шинка возникла Юля.

— Всем привет! — выбросила она вверх руку.

Пацаны радостно загомонили (а то, что за женский праздник без тех, для кого он выдуман?) и стали наперебой приглашать Юлю к себе за столик. Старпёры из своего угла благосклонно покивали ей головами.

Но Юля, выщепив взглядом Интеллигента у прилавка, направилась к нему.

— Какие люди!.. — прямо-таки запела она, подходя к амбразуре.

— Какие? — спросил Интеллигент.

Юля уловила иронию, но продолжала в том же духе:

— Замечательные люди! Красивые, добрые, щедрые, всегда готовые помочь женщине. Особенно в такой замечательный день.

Интеллигент слегка поморщился, сделав над собой усилие, уткнувшись в глаза:

— Поздравляю с Международным женским днем, сударыня!

— Спасибо! — расцвела в улыбке Юля, но тут же и погрустнела: — Только ведь поздравление на хлеб не намажешь... Вот если бы ваши слова закрепить стаканчиком-другим винца, чтобы как следует почувствовать их замечательный праздничный вкус, тогда...

Юля блаженно закатила глаза. Намек был толще некуда. Интеллигент полез за деньгами.

Наполняя стаканы, Лена сказала с усмешкой:

— Вы, Арсений Ильич, и впрямь спонсором становитесь бедным несчастным алкашкам.

— А что делать, Леночка. День сегодня такой — женский. Но это только сегодня...

— Значит, вас Арсений Ильич звать, — сказала Юля и потянулась к нему своим стаканом. — Тогда за знакомство.

Интеллигент кивнул. Юля жадно ополовинила посудину, перевела дух.

— Притушила пожар? — весело прищурился Интеллигент.

— Ой, не говорите — колосники-то горят!

— Смотри, как бы совсем не сгорели.

— Ничё! — блеснула глазками Юля. — Главное вовремя потушить.

— Главное вовремя остановиться, — возразил Интеллигент.

— Вот-вот, — послышался голос Алексея Михайловича, бесшумно возникшего у прилавка с пустым стаканом. — Я тоже всегда говорю, что алкоголь сам по себе ни в чем не виноват. Более того, — поднял палец вверх Тишайший, — это наиболее гуманный из наркотиков. Все дело в том — сколько принято на грудь?

— Да, — поддержал Интеллигент. — По большому счету, одна из вечных мировых проблем как раз и заключается в четком ощущении меры и границ. Отсутствие или недостаток этого чувства чреваты нарушением мирового равновесия, которое может привести к многим бедам: войнам, революциям, разным конфликтам... Но если в каждом из нас будет хорошо развито чувство меры и границ, то этого всего можно избежать даже в глобальном масштабе. С голубого ручейка, как говорится, начинается река...

— Вот! — сказала Лена, назидательно подняв указательный палец. — А ты, Алексей Михайлович, никогда вовремя не остановишься.

— Ну, значит, мне, — погрустнел Тишайший, — такого ощущения, видимо, не дано.

— Ладно, — пообещала Лена, — я тебе по старой памяти, так и быть, меру и грань обозначу. — И уже повышенным до ледяного звона непререкаемым тоном сказала: — Этот стакан, Алексей Михайлович, сегодня для тебя последний!

Что-то невразумительное пробурчав, Тишайший на нетвердых ногах поплелся к своему столику.

— А ведь какой славный человек был когда-то! — вздохнула Лена, провожая его взглядом.

— Ну, что, продолжим наше знакомство? — повернувшись опустевшим стаканом, напомнила о себе Юля.

— И ты, голуба, поведаешь мне, как воспитываешь четверых своих деток.

— Каких деток! — округлила глаза Юля. — Вы меня с кем-то путаете. Разве я похожа на многодетную мать? Я — молодая незамужняя девушка.

— Еще скажи — девственница не целованная, — съязвила Лена.

— Чё ты, Ленка, мне малину портишь? — обиделась Юля. — Только контакт стал налаживаться!..

— Не морочь голову порядочному человеку!

— Уж и поговорить нельзя! — фыркнула Юля и взяла направление к столику пачанов.

Вскрытие покажет...

К середине марта метели утихомирились, морозы отступили, но комфортней все равно не стало. Низкие свинцовые тучи всей мрачной тяжестью своей придавливали к земле, промозглый морок не давал вдохнуть полной грудью. Тревожно и маятно внутри человека. «Погода так и шепчет — зайди да выпей!» — говорят о подобных мерзопакостных днях, заставляющих болезненно сжиматься сосуды и сердце, верноподданные Бахуса. И даже у жрецов здоровья терапевтов-кардиологов не находится на это возражений.

В один из таких дней следом за очередным посетителем в «наливайку» влетел Мальчик. Появился он один, без хозяина. Завсегдатай поначалу не обратили на данное обстоятельство внимания. Думали, отстал Фадеич, сейчас появится. Однако время шло, а его не было.

Мальчик тем временем не находил себе места, метался по шинку, призываю лаял, жалобно подывывал, смотрел на людей полными мольбы глазами.

— Что это с ним? — удивилась Надежда, выглядывая из амбразуры,

Мальчик между тем схватил Интеллигента зубами за штанину и потянул за собой.

— Что-то здесь не так, — покачал головой Арсений Ильич. — Может, случилось что?

Мальчик настойчиво тянул его за штанину.

— Надо бы глянуть... — сказал Интеллигент подошедшему Вовану.

И они поспешили за Мальчиком.

Пес бежал по привычному маршруту, то и дело нетерпеливо оглядываясь на Интеллигента с Вованом.

Фадеич жил всего в квартале от «наливайки» в трехэтажном кирпичном доме с облупившимся фасадом и такими же подъездами. Дом, по всей видимости, строили еще в пятидесятые годы и редко ремонтировали.

Мальчик махом влетел на третий этаж и толкнул лапой одну из выходивших на лестничную площадку входных дверей. Дверь легко подалась, отошла внутрь квартиры.

— Не заперто, — констатировал Вован и первым шагнул в помещение.

Квартирка была небольшая, с двумя проходными комнатами, тесной прихожей, маленькой кухонькой. Оттуда пахло пригорелой кашей. Завтракал хозяин, по-видимому, дома. Интеллигент заглянул в ванную. На веревках под потолком и полотенцесушителе сохло белье. Смеситель подтекал, и от него по эмали к сливному отверстию в днище пролегла ржавая дорожка.

Интеллигент заглянул в залу. Из мебели темно-вишневая «стенка» глубоко советских времен, с выцветшей драпировкой диван-кровать, круглый деревянный стол, несколько простых стульев и, пожалуй, единственная здесь более-менее современная вещь — цветной корейский «Samsung» на тумбочке. С потолка свисала плоская люстра-«тарелка». Все достаточно чисто, опрятно, но, все-таки, витал и по комнате, и по всей квартире застарелый дух запустения и одиночества. Чувствовалось, что квартира для ее

хозяина давно перестала быть надежной гаванью и прибежищем, а тем более неким для тела и души сакральным местом.

И невольно вспомнилось Интеллигенту собственное нынешнее жилище, которое тоже показалось ему временным пристанищем на пороге недалекого уже перехода в мир иной.

— Арсений Ильич! — услышал он взволнованный голос Вована из маленькой комнаты. — Идите сюда, здесь он!

Интеллигент поспешил на зов. Переступив порог, увидел Петра Фадеевича. Он лежал одетый на такой же видавший виды, как и всё остальное здесь, тахте, застеленной пестрым застиранным покрывалом, в неудобной позе. Ноги в темных шерстяных носках наполовину свесились с лежбища, а туловище и голова, наоборот, были отодвинуты от края. Фадеич, похоже, собирался встать, но по каким-то причинам не смог. В застывших глазах боль и удивление. Интеллигент приложил два пальца к шее Фадеича. Пульс не прощупывался.

— Живой? — почти шепотом спросил Вован.

Интеллигент покачал головой и достал мобильник:

— Надо скорую вызвать и полицию.

— Полицию-то зачем? — испугался Вован. — У меня столько приводов! И одна ходка. Приедут, начнут докапываться. Еще, не дай бог, убийство пришлют. Им на таких, как я, мокруху повесить — что два пальца...

— Так полагается, — сказал Интеллигент и спросил: — Ты за что сидел?

— За хулиганку.

— Ну, и успокойся. Никто ничего на тебя не повесит. Тем более что здесь явно нет никакого убийства, — нажимая кнопки телефона, успокоил Вована Интеллигент.

Пока ждали «скорую» с полицией, походили по квартире. Каша на кухонной плите еще не успела до конца остыть.

— Утром варил. Значит, сегодня и умер, — сделал вывод Арсений Ильич, пощупав алюминиевую кастрюлю.

В спальне завыл Мальчик. Выл он с такой душераздирающей тоской, что у Интеллигента с Вованом мурашки побежали по телу. Мальчик стоял у тахты на задних лапах, положив передние на бедро хозяина. Со стороны казалось, что он пытается растормошить его поднять на ноги. Хозяин не двигался, и пес выл все громче и горестней. Арсений Ильич успокаивающе погладил его и увидел, что из глаз собачьих скатываются крупные горошины слез.

Они вернулись в залу.

Полиция и «скорая» приехали почти одновременно. Следов насиленной смерти обнаружено не было. Врач констатировал остановку сердца.

— А почему оно остановилось? — поинтересовался Вован.

— Разные могут быть причины, — сказал врач. — В его возрасте любые проблемы с сердцем возможны. Вскрытие покажет...

При последних словах медика Вована аж передернуло.

— Вот так живешь себе тихо-мирно, попиваешь в любимой «наливайке», а потом раз — и «вскрытие покажет»...

После всех формальных процедур с участием медиков и полиции Интеллигент с Вованом вернулись в «наливайку» ближе к вечеру.

— Ну, что там, что? — допытывалась Надежда.

— Да все, кранты Фадеичу. В ящик сыграл! — мрачно сказал Вован и пробормотал себе под нос: — Вскрытие покажет...

Интеллигент слова Вована подтвердил, но в подробности вдаваться не стал. Он их просто не знал. Как и самого покойного, с которым, кроме «здравствуйте — до свидания», разговоров практически никогда не вел. Да и старпёры, общавшиеся с ним, мало что могли о нем сказать. Потягивая свое винишко, Фадеич в основном помалкивал да слушал.

Знали только, что живет одиноко и замкнуто, а из близких родственников у него только Мальчик. В чем Фадеич за стаканом вина и сам с грустной улыбкой признавался. Даже всезнающая Надежда ничего к этому добавить не могла.

Родственники и наследники (неизвестно какая вода на киселе), однако, очень быстро нашлись. Что ни говори, а двухкомнатные квартиры на дороге не валяются и бесхозными оставаться не могут. Скоренько и незаметно (даже соседи не знали) похоронив Фадеича где-то на кладбищенских задворках, они так же спешно заняли квартиру, выдворив из нее пса. Какое-то время он обретался на лестничной площадке, вскакивая каждый раз, когда открывалась дверь его (уже бывшей) квартиры, бросался туда, но Мальчика грубо и безжалостно отпихивали, и он, горестно взлаивая, отступал. Но потом, видимо, поняв, что хозяина там больше нет и ждать бесполезно, исчез. Кто-то из завсегдатаев шинка после Радоницы, которая нынче вслед за Пасхой была ранней, апрельской, утверждал, что видел Мальчика на кладбище возле одной из свежих могил...

О чем молчал Интеллигент

— Арсений Ильич! — окликнули Интеллигента.

Оглянувшись на голос, он увидел Лену.

— Какая встреча! Не ожидал тебя здесь встретить.

— А я вас.

— Так я рядом, вон в том доме живу.

— А я немного подальше.

— Надо же — соседи, а встречаемся совсем в другом месте!

Они рассмеялись.

— Куда путь держишь, Леночка?

— В торговый центр заходила кое-что себе из обуви присмотреть. Сейчас домой иду. А вы, поди, в «наливайку», собрались?

— Ну... типа того... — смущаясь Интеллигент. — Дело к обеду. Как раз мое время. Ты же знаешь...

— Арсений Ильич, а пойдемте ко мне? — вдруг предложила Лена. — Пообедаем. Пельмешек сварю. А к ним и налью чего-нибудь.

— Ну, что ты, Леночка!.. — окончательно растерялся Интеллигент.

Однако сопротивлялся недолго. Вскоре они уже сидели за обеденным столом на опрятной и уютной кухне Лениной квартиры. Аппетитно дымялись в фарфоровом судке только что сваренные пельмени. Дополняли их маринованные огурчики, сервелат, золотистые шпроты, какой-то весьма затейливый салат, каких Интеллигент уже давно не едал. Лена разливала коньяк.

Интеллигент непроизвольно слюноткнул слюну.

— Ну, за неожиданную встречу, — подняла Лена рюмку.

Они чокнулись, выпили.

— Как все вкусно! — похвалил Интеллигент, накалывая вилкой очередной пельмень.

— Особенно пельмени. Полагаю, что не магазинные.

— Обижаете, Арсений Ильич! Сама леплю. И не только пельмени. Вообще все домашнее предпочитаю.

— А я вот полуфабрикатами перебиваюсь, — признался Интеллигент. — Когда жена была, тоже домашним питались. Она хорошо готовила. А одному и не очень хочется, да и не умею толком.

— А ваша жена... — осторожно начала Лена.

— Теперь уже бывшая, — понял Лену Арсений Ильич. — Не стало ее полтора года назад... — Интеллигент помолчал, словно раздумывая, стоит ли рассказывать дальше, но, слегка комок в горле, продолжил: — Мы из театра возвращались. Уже почти до своей

остановки дошли. Оставалось улицу перейти, да на наш автобус сесть. Я первый на «зебру» ступил, Полина следом. Где-то на середине дороги вдруг слышу за спиной визг тормозов, глухой удар и вскрик Полины. Оглянулся, а она уже на асфальте лежит в крови. И рядом внедорожник. Черный весь, как катафалк. Даже окна непроглядно-темные, тонированные. Одно, где водительское место, приспущенное, и оттуда с матом-перематом несется — куда ж она... под колеса лезет, коза драная!.. Я рта не успеваю раскрыть в ответ, как внедорожник срывается с места и во весь опор мчится дальше.

Интеллигент перевел дух. Лена снова наполнила ему рюмку. Интеллигент благодарно посмотрел на нее и опрокинул в себя коньяк.

— Ну, и как, нашли этого лихача?

— Нет, Леночка, — покачал головой Интеллигент. — Водителя я толком не разглядел. Темно на улице было, а за тонированными стеклами и днем ничего толком не увидишь. Номера машины тоже не разобрал. Грязью был забрызган. Весь день дождь шел.

— А свидетели?

— Когда это произошло, рядом, кроме меня, никого не было. Улица в это время (одиннадцать вечера, двенадцатый шел) вообще пустая была. Да у меня и мысли тогда только о жене были: как помочь ей, спасти. Не удалось. В машине «скорой» по дороге в больницу умерла. Не приходя в сознание.

— Какой ужас! Простите, Арсений Ильич, я не знала...

— Ничего, ничего... Сейчас я отошел немного. А тогда, признаюсь, потрясение очень сильное было. И не только из-за самого факта смерти близкого человека. Хотя и это, безусловно, тоже... Все-таки более сорока лет вместе прожили... Потрясло еще и то, как неожиданно и непредсказуемо жизнь может оборваться. Ничто не предвещало и вдруг... — Интеллигент вертел в руке пустую рюмку. — Не по естественной какой-то причине и даже не по злому чьему-то умыслу, а по какой-то дикой, а оттого еще более трагической нелепости...

— Не такая уж и нелепость, — нее согласилась Лена. — Лихач своим поведением уже провоцировал несчастный случай. Не жена ваша, так кто-то другой мог оказаться на ее месте. Так что тут определенная закономерность тоже присутствует. Только с обратным знаком.

— Возможно... — поставил Интеллигент на место рюмку. — Но от этого не легче. Когда обрушивается вдруг главная твоя опора, всегда страшно тяжело. Словно над пропастью повисаешь. Не знаешь, как удержаться на ее краю, сохранить равновесие. И самого в эту жуткую пустоту тянет. Особенно когда слышался ночами оттуда голос Полины... — У Арсения Ильича дрогнули губы и предательски блестели глаза. — Да, было и такое. Казалось, с ума схожу... Не мог я там больше оставаться. Поменял квартиру, уехал. Раньше я на левом берегу жил, на другом краю города. Теперь в этих краях обретаюсь...

— А дети ваши?.. — осторожно спросила Лена.

— На втором году нашего супружества Полина родила мальчика. Но он и трех лет не прожил. Пневмония сразила. А дальше, будто отрезало — как ни старались, детей больше не было. А брать из детдома чужого ребенка Полина наотрез отказывалась. Хотела только своего, родную кровь. Так всю жизнь вдвоем и прожили. Теперь вот и вовсе один остался...

— Тяжело одному-то.

— Ты же живешь.

— Я моложе. Да и вообще, мне кажется, женщина больше приспособлена к одинокой жизни.

— Пожалуй, — согласился Интеллигент.

— Может, вам снова жениться, Арсений Ильич? — сказала Лена.

— Что ты! — отмахнулся Интеллигент. — На старости-то лет? Да и не смогу я сейчас ни на какую другую женщину переключиться. Ну, ладно, я — старый, а ты почему снова замуж не вышла? — перевел он стрелки на Лену.

— Сначала, как вы, переключиться не могла, а потом уже и не хотелось. Как бы во вкус вошла. У одиночества тоже ведь есть свои преимущества, и даже своя прелест. Свобода, прежде всего, независимость.

— Пока еще не успел этого ощутить, — сказал Интеллигент. — Впрочем, меня и раньше никто особо не ущемлял. Ни в семье, ни в делах моих.

— А чем вы по жизни занимались? — задала Лена давно мучивший ее вопрос.

— Да много чего... Особенно в девяностые годы, когда ради выживания за самые неожиданные вещи приходилось браться. Но в основном я в гуманитарной сфере вращался. Преподавал, журналистом был, редактором. Даже книги пытался выпускать, да не очень удачно — не выдержал конкуренции, сожрали меня акулы книгоиздательского бизнеса. Сейчас, правда, от всего отошел — голимый пенсионер.

Они помолчали.

— Ой! — подхватилась Лена. — Сейчас чайку попьем...

— Спасибо, Леночка! — сказал Интеллигент. — Но я, пожалуй, пойду. Пора и честь знать.

Уже на выходе вдруг сказал:

— Санёк меня беспокоит.

— Санёк? — удивилась Лена.

— Ну, да, Санёк. Сирота неприкаянная. Еще только жить начинает, а уже никому в этой жизни не нужен. Лишний. И просвета нет. А как помочь — не знаю.

Лена только вздохнула в ответ.

Алхас «особенный»

Разгар дня. Шинок полон, но амбразура закрыта. Надежды (сегодня ее смена) все нет и нет. Уже и очередь собралась. «Где ее носит?» — волнуется народ. Душа-то горит и просит! У кого продолжения банкета, а кому еще только горло надо промочить.

Вот, наконец, и Надежда. Румяная, запыхавшаяся, она сдобычным колобком прокатилась к перегородке рабочего помещения, погремела ключом и скрылась за железной дверью. Еще минута-другая томительного ожидания — и амбразура вновь гостеприимно распахнулась. Очередь облегченно вздохнула, выровнялась в затылок, качнулась в сторону амбразуры — процесс пошел...

Перед Интеллигентом оставалось всего два человека, когда в шинок шумно ввалился этот мужик с характерным горбоносым кавказским профилем. Было кавказцу на вид лет под сорок. Арсений Ильич впервые видел его в «наливайке», но ему вдруг показалось, что когда-то и где-то они уже пересекались...

Кавказец, между тем, направился прямиком к амбразуре, расстегивая на ходу куртку и запуская руку во внутренний карман. Не обращая внимания на очередь, протянул в окошко купюру. Надежда в это время в глубине рабочего помещения наливалась очередному клиенту вино на вынос в его посуду — пластиковую полторашку. Кавказец нетерпеливо побарабанил пальцами по прилавку.

— А не встать ли вам в очередь, любезный? — сказал Интеллигент и показал большим пальцем себе за спину. — С той стороны.

— Не за хлебом очередь, — с наглой ухмылкой парировал кавказец.

— Тем более! — повысил голос Интеллигент. — Здесь люди и постарше стоят. Так что — в очередь!

— А мне нельзя в очередях стоять.

— Это почему еще.

— Потому что мое имя — Алхас! — горделиво ответил кавказец.

— Ну и что?

— А то, что Алхас по-абхазски — значит, особый. Понял!

— Что абхазец, я понял. А в чем особость-то? В особой наглости, что ли? — Интеллигент вышел из очереди. — Не знаю, может, где в других местах «особый», а здесь «кособых» нет. — Арсений Ильич решительно вклинился между абхазцем и прилавком, отведя в сторону его руку с купюрой.

— Ты чего? — опешил от решительности старика абхазец и попытался оттеснить Интеллигента, рассчитывая на его пожилую немочь. Но Арсений Ильич стоял крепко, словно каменный утес.

Надежда подала очереднику полторашку. Когда тот отошел, абхазец попытался занять его место, но не успел.

— Куда щемишься, оса назойливая? — пресек попытку следующий очередник — внушиительных габаритов мужик в синей спецовке, на спине которой белыми буквами было выведено «Монтажспецстрой». — Тебе сказали — в очередь. Вот иди и стой, как все! У меня обеденный перерыв скоро кончается, но я стою, не рыпаюсь. А ты прёшься! Особенный нашелся...

По очереди зашелестел, нарастаая, возмущенный ропот.

— Алхас, — высунулась из амбразуры Надежда, — в самом деле, встань в очередь, не зли народ! А то ведь могу и вовсе не налить! — пригрозила она.

Абхазец еще раз тиснул Интеллигента и снова почувствовал крепость его плеча.

— Ладно, — отступил Алхас и, наверное, чтобы «сохранить лицо», сделать хорошую мину при плохой погоде, сказал: — Чего не сделаешь ради женщины? Желание женщины — для меня закон! — И показал в улыбке ровный частокол крахмально белых, крепких зубов кавказского красавца-мужчины.

— А с тобой, старый козел, разговор еще не закончен, — пообещал он, бросаясь к выходу. В очереди, видимо, не собирался стоять принципиально. Наверное, решил, что уж лучше сегодня вообще без выпивки остаться.

— Иди, иди, молодой козел! — бросил ему в след Интеллигент, принимая от Надежды свой стакан вина.

А чуть позже узнал от нее же, что абхазец этот в шинке стал появляться не так давно, где-то с середины осени. Говорили, какой-то родственник Казахмеда. Однако раньше его здесь не видели. Теперь зачастил. И когда как ни придет, всегда развязный и наглый, как танк.

После инцидента очередь быстро рассосалась, и Интеллигент в своем любимом закуточке с левой стороны прилавка не спеша посасывал вино, переваривая ссору с абхазцем.

Взволновал его не сам по себе инцидент — сколько таких в его жизни случалось и еще, наверное, не раз возникнет! Одним больше, одним меньше... Личность этого абхазца вдруг зацепила и напрягла. После перепалки ощущение, что он уже возник в его, Арсения Ильича, жизни, еще больше усилилось. Когда, при каких обстоятельствах — пока неясно, однако Интеллигент сейчас готов был поклясться, что знакомы ему и этот взгляд, и голос. Особенно голос!

И снова вспомнился Арсению Ильичу тот роковой осенний дождливый вечер, когда они с Полиной возвращались из театра...

Услышав режущий визг тормозов, а следом глухой удар и вскрик жены, он резко обернулся и увидел неподвижно лежащую на мокром асфальте Полину. Из уголка ее рта сбегала алая струйка. Рядом стоял черный зловещий внедорожник. Из-за приспущенного тонированного стекла, неслось, густо сдобренное отборным матом:

— Чё ж ты прямо под колеса-то лезешь, коза драная, проехать не даешь!

Арсений Ильич бросился к Полине.

— Полина, Полина!.. — стал тормошить ее.

Она не отзывалась. Арсений Ильич поднялся и шагнул к внедорожнику.

Человека в темном узком проеме приспущенного тонированного стекла разглядеть было трудно. Размытым контуром виднелась лишь верхняя часть лица. Но стремительно нарастающий гнев Арсения Ильича вызывал доносившийся из машины глумливо-издевательский голос, так жутко диссонирующий с возникшей ситуацией.

— Ты же сбил ее, убил!! — задыхаясь от боли и ужаса случившегося, застонал Арсений Ильич.

Стекло еще приспустилось, и Арсений Ильич в неровном пламени зажигалки, от которой водитель прикуривал сигарету, увидел ореховые слегка навыкате глаза. Высокомерное презрение мешалось в них со страхом и лютой ненавистью. Как сейчас, полтора года спустя, понимал Интеллигент — ненавистью к этой старухе, которая вдруг оказалась под колесами его внедорожника. И совсем не важно было, что шла она именно там, где и положено пешеходу, а он гнал по мокрой дороге с бешеною скоростью, и не думая тормозить перед «зеброй»...

Рука Арсения Ильича уже легла на ручку дверцы джипа. До водителя при виде его, наконец, стала доходить вся серьезность момента. Но вместо того, чтобы выйти для объяснения и помочи сбитого им человека, он злобно заорал в лицо наклонившемуся к нему Арсению Ильичу:

— Убери свою сучку с дороги! А то сам рядом с ней сейчас ляжешь!..

Стекло поднялось. Внедорожник грозно уркнул, слегка сдал назад, вывернулся, объезжая труп, и дал по газам.

Не успевший отдернуть от дверцы руку Арсений Ильич пробежал за машиной несколько метров. А дальше джип рванул так, что в считанные секунды его и след простыл.

Арсений Ильич в бессильном отчаянье махнул рукой и вернулся к бездыханному телу жены...

«Неужели между тем лихачом и сегодняшним абхазцем есть какая-то связь? — подумал Интеллигент. — Ореховые глаза?.. Да миллионы людей с такими глазами живут на земле. Ну и что?.. Но вот голос... Голос!.. Говорят, что голоса неповторимы, как отпечатки пальцев. А голоса того безвестного водителя и абхазца Алхаса очень похожи. Как и наглость, с которой оба вели себя. Ладно! — мотнул головой Интеллигент, словно стряхивая наваждение. — Мало ли на свете друг на друга похожего...»

Истина в вине

Санёк появился в шинке в самое пиковое обеденное время возбужденный, с горящим взором. Посетители облепили столики, как тля садовые кусты. Даже прилавок с обеих сторон был занят. Поэтому Интеллигент за недостатком места бродил с пластмассовым стаканчиком по залу, прихлебывая на ходу. Но Санёк сумел протиснуться на свое место возле окна между Вованом и Битюгом.

— Вот! — хлопнул он о край столика небольшой книжной стопкой.

— Что «вот»? — узрев у себя под мышкой малорослого Санька, спросил Вован.

— Так это... Мимо мусорки шел, гляжу — валяются возле контейнеров. Выкинул кто-то, видать. Порылся из интереса — клёвые книжки попадаются.

— Ну, и какие? — спросил Вован.

— И приключенческие есть, про всадника без головы... И фантастические. И преступные...

— Какие-какие? — удивился Битюг.

— О преступлениях и наказаниях, — объяснил Санёк.

— Видимо, «Преступление и наказание» Достоевского, — уточнил Интеллигент, поравнявшись со столиком у окна.

— Ну, да, дедынька, точняк! — подтвердил Санёк и. — А еще с мудростью разной. Вот... — поднял он книгу в сером переплете над головой

— Ну-ка, ну-ка!.. — заинтересованно вытянул шею Тишайший и вышел из-за своего столика. — Дай-ка гляну, — попросил он. Санёк с готовностью протянул книгу. — Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра, — прочитал на переплете Алексей Михайлович.

— А это еще что за зверь?

— Немецкий философ. Очень мощный и интересный. — Тишайший раскрыл книгу и выхватил наугад: — Сила сильных складывается из воли и терпения! Как верно! — резюмировал он и вздохнул сокрушенно: — А у каждого из нас нет ни того, ни другого. Оттого мы и слабые, оттого и все наши беды. — Тишайший захлопнул книгу и попросил: — Санёк, дай почитать?

— Да берите, Алексей Михайлович!

Тишайший, ласково оглаживая книгу, поспешил к своему столику, а Санёк продолжил книжную тему:

— Со стихами книг много. Я эту вот с собой прихватил, — показал он, так же, как и предыдущую подняв над головой небольшой томик, на скромной обложке которого значилось: «Александр Блок. Стихи».

— Да... — задумчиво произнес Интеллигент, скосив глаза на томик. — Раньше за книжками гонялись, макулатуру в обмен собирали, а теперь на помойку выбрасывают... О, времена, о, нравы! Все с ног на голову...

— Ну, с философом понятно — мудрость... Но эту-то сюда ты зачем привез? — показал Вован на Блока.

— Да стихи в ней замечательные, — смущенно потупился Санёк. — А некоторые прямо как про нашу «наливайку» написаны...

— Ну, уж! — недоверчиво хмыкнул Вован.

— Гадом буду!.. — заволновался Санёк. — Нет, ты послушай!..

Послюнив палец, он полистал книжку.

— Вот, — нашел Санёк, что хотел, откашлялся и тоскливо-заунывно, как обычно читают сами поэты, затянулся:

По вечерам над ресторанами,
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух

— Ну, так ведь тут про рестораны, а не про «наливайку», — сказал Вован.

— А тебе прямо один в один надо? Чтоб как на фотке, да? — обиделся Санёк. Вован молча отхлебнул из стакана.

— Ты дальше послушай! — не унимался Санёк;

И каждый вечер друг единственный
В моем бокале отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен...

— Разве не так? Бухнул хорошенко «влаги терпкой и таинственной» — и в ауте: «смирен и оглушен». Домой «на рогах», на автопилоте.

— Ладно, — не стал спорить Вован. — Что там дальше?

И Санёк продолжил с завыванием:

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат

И пьяницы с глазами кроликов...

— Это... — замешкался Санёк, наткнувшись в стихотворении на нерусский текст, — ну, что-то, в общем, кричат.

— А чего кричат-то? — заинтересовался Битюг, убирая свою лапицу с плеча «кикиморы» Ирэн.

— «*In vino veritas!*» — подсказал Интеллигент и пояснил: — В переводе с латыни, языка древних римлян, означает «истина в вине».

— Это точно! — согласился Битюг. — В вине. Стакан-другой махнешь — и уже прозрел: видишь, что к чему и почем.

— Лакеев в нашем заведении я не наблюдал, зато пьяниц с глазами кроликов сколько угодно. Вон на Бокала с Паштетом, хотя бы, взгляни. К бабке не ходи — пьяные кролики с красными глазами, — кивнув в сторону соседнего столика, в свою очередь, прокомментировал предыдущую строчку стихотворения Вован.

— Чего, чего? — заегозил Бокал, еще один из завсегдатаев шинка — тощий, вечно расхристанный мужичок, получивший свое погоняло из-за того, что, выпивая очередной раз, он с пафосом восклицал: «Я поднимаю свой бокал...» А дальше следовала причина, по которой он его поднимал.

— Да говорю же, что в стихе про вас с Паштетом написано. — Вован для пущей убедительности склонил голову к книжке и повторил: — И пьяницы с глазами кроликов...

— На себя посмотри... Правда, Паштет? — повернулся к собутыльнику Бокал.

Паштет, чье погоняло шло от любви к одноименному продукту, которым он, упитанный, не в пример Бокалу, предпочитал другим деликатесам, никак не отреагировал. Паштет отрешенно смотрел в никуда, после энного стакана явно уже «смиренный и оглушенный».

— Не, а дальше, послушайте, дальше! — все сильнее воодушевлялся Санёк.

И каждый вечер в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне...

— Вон она, вижу ее, вижу!! — заставив всех вздрогнуть, заорал вдруг очнувшийся Паштет, показывая пальцем на зарешеченное окно.

Народ обратил взоры к окну. Его проем пустовал, да и быть по-другому не могло, поскольку высокий первый этаж общаги не позволял изнутри видеть то, что происходило на улице.

— Кого ты видишь? — удивился Бокал. — Пустое окно.

— Да глюки у него! — сказал Битюг.

— Нет, — мотнул головой Паштет, — не глюки. Сейчас она войдет.

Он едва успел сказать это, как в дверях показалась еще одна «кикимора» — Люси. Как всегда в рваных джинсах, замызганной, давно потерявшей изначальный свой цвет куртке, вылинявшей коричневой шапочонке, натянутой на уши. Все ошарашено уставились на нее.

— Вы чего? — забеспокоилась Лялька, оглядывая себя.

— Да уж... — засмеялся Вован. — Девичий стан ремками схваченный...

— Да чё такое-то? Какие проблемы? — совсем растерялась Лялька.

— Да ничё, Люська, проходи, — с улыбкой сказал Битюг.

Люси неуверенно направилась к столикам. А Санёк продолжил свою заунывную декламацию:

И медленно пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна...

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка
И шляпа с траурными перьями
И в кольцах узкая рука.

Люси, уже с испугом косясь на Санька, приближалась к столикам.

— Нет, Санёк, это не она, — поморщившись, сказал Вован, оборачиваясь к проходившей мимо Люси. — Эта дышит перегаром и табачищем. И шляпа с перьями не для ее нечесаной репы.

— А те, которые «духами и туманами», сюда и не заглянут, — возразил Битюг. — Здесь только непуганые шмары пасутся.

— Да это ж плод воображения! — снова завелся Санёк. — Сидит мужик, бухает, и воображает себе прекрасную незнакомку. Не такую, как другие вокруг бабы, обычные, а особенную, ни на кого не похожую — вот в чем фишка! Она, прикинь, в его голове вся такая нездешняя возникает, а чуваку из-за этого видения разные и всё вокруг совсем другим кажется.

Народ за соседними столиками притих, с интересом прислушиваясь к Саньку. Кое-кто и поближе придвинулся. Санёк провел пальцем по странице, отыскивая нужные строки, поднял на публику просветленный взор, и опять полилось из него нечто похожее на шаманское камлание:

И странной близостью закованный,
Смотрю за черную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль...

— Вот он принял еще немного, — оторвавшись от книжки сказал Санёк, то ли самого поэта, то ли его лирического героя имея в виду, — его еще сильнее забрало. Кайф по всем жилочкам понесся... Так, где это?.. — забегал он взглядом по странице. — Ага! — «И всей души моей излучины пронзило терпкое вино», — со смаком прочитал Санёк и тут же резюмировал: — Ну и крышу ему, конкретно, совсем сдвинуло:

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу...

— Красиво!.. — вздохнула Ирэн и плотнее прижалась к Битюгу.

— Такую красотку только на дне стакана, наверное, и увидишь, — покосившись на несвежее с темнеющими под глазами кругами лицо подруги, пробурчал Битюг.

— А у меня, когда напьюсь, только разноцветные круги в мозгу качаются, да мыльные пузыри перед глазами лопаются, — с грустью призналась Люси.

— А чему еще лопаться, если у тебя там ни мозгов, ни воображения, — хохотнул Вован.

— У тебя-то, у тебя!.. — огрызнулась Люси.

— Ну, и чем у чувака сердце успокоилось? — спросила Ирэн. — Так в глюках у него дамочка и осталась?

— Типа того, — с грустью отозвался Санёк. Но тут же уточнил: — Сокровище, что ему привиделось, осталась, от всех спрятанным. И никто не может, кроме самого чувака, то сокровище увидеть.

— Почему? — удивился Вован.

— Потому что не знают — как!

— А он знает?

— Знает! — гордо ответствовал Санёк, будто речь шла непосредственно о нем, и поднес книжку чуть ли не к самым глазам:

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне.

Ты право, пьяное чудовище —

Я знаю: истина в вине!

— Ну, и что? — пожала плечами Люси.

— А то, — догадавшись, снисходительно сказал Вован, — врежь, как следует, и любые сокровища увидишь. Истина в вине!..

— Да... — раздумчиво проговорил Битюг, — знает мужик, о чем базар. Похоже, наш кадр!

— А я о чем талдычу?! — обрадовался Санёк.

— А кто он такой этот... как его?..

— Блок, — подсказал Санёк, показывая обложку сборника. — Александр Блок.

— Великий русский поэт, — опять пояснил Интеллигент. — Писал стихи о Прекрасной Даме и о прекрасной возвышенной любви.

— Сказки все это! — махнул пустым стаканом Бокал. — Таких баб не бывает.

— Может, и не бывает, — сказал Вован. И вздохнул: — А хочется.

— Чего хочется? — не понял Бокал.

— Такую даму... прекрасную... Как у поэта. Хотя бы на дне стакана увидеть...

Лазурные моря Эллады

— Ну, вот, весна совсем расправила крылья. Середина апреля, а тепло, как летом, — сказал Интеллигент, принимая от Лены наполненный стакан.

— Ой, да скорей бы уж она на крыльях своих до настоящего лета долетела! — воскликнула Лена. — Так все надоело: и холода, и дожди со снегом, и работа... Солнышка хочу яркого. Отдохнуть от всего хочу. Чтобы море ласковое на ушко мне нашептывало и по спине ветерком поглаживало...

— И где ж ты, голуба моя, такую благодать хочешь найти?

— В Греции, — сказала Лена.

— Ну, да, — согласился Интеллигент, — в Греции всё есть.

— Всё есть! — эхом отозвалась Лена.

— Проверяла?

— И не раз, Арсений Ильич. Мы ведь с подругой моей лучшей чуть ли не каждый год в Греции отдыхаем. На Родосе были, на Лесбосе были, в Солониках... Нынче летом на Крит собираемся.

— На родину бога богов Зевса?

— А он что — как-то с Критом связан?

— Да с этой землей, Леночка, более половины греческой мифологии связано. Тот же Зевс здесь женился на Гере, а позже, превратившись в быка, привез сюда Европу. Афина родила на Крите бога вина Дионисия...

— Увидишь там этого Дионисия, передай привет от меня и нашей «наливайки», — сказал Лене подошедший с пустым стаканом за добавкой Вован.

—... Тесей в критском Лабиринте победил Минотавра, а потом выбрался оттуда благодаря клубку с нитками, который дала ему красавица Ариадна, — не обращая на Вована внимания, продолжал Интеллигент. — На Крите же, убив свирепого быка, совершил один из своих подвигов Геракл. Миф о Дедале и Икаре, которые полетели на солнце, да сгорели по пути от его лучей, тоже связан с Критом... Так что, Леночка, там воздух просто настоящ на мифах и легендах. Ляжешь в отеле спать — и к изголовью начнутся слетаться мифологические персонажи. Вдруг и сам громовержец Зевс снизойдет к тебе с небес золотым дождем и приляжет рядом, — лукаво улыбнулся Интеллигент.

— А я бы не отказалась, — ответно засмеялась Лена.

— Лучше бы мне там вместо Зевса прилечь, — мечтательно сказал Вован, не спеша к своему столику.

— Тебе нельзя, — возразил Интеллигент.

— Почему?

— От тебя плебейской разливухой несет, а благородные боги пили только нектар.

— Медовуху, что ли?

— Почти. Только гораздо вкуснее.

— А!.. — обиженно махнул рукой Вован и побрел к своей компании.

— А чем тебя, Леночка, Греция так привлекает?

— Там очень красиво. И посмотреть есть что. Древности всякие. Но прекраснее всего там море! Оно разное в разных местах, но в основном небесно-синее и лазурное. И очень прозрачное. В Салониках от нашего отеля до моря метров двести всего было. Утром я бегу по пляжу с розовым песком, а у самой кромки бросаюсь в набегающую волну, раскидываю руки и кричу: «Здравствуй, морюшко мое!» На вечернем закате — снова к морю. Встаю на колени перед волной и говорю: «Спокойной ночи, морюшко!..»

— Романтичная ты, однако, натура, — сказал Интеллигент.

— А то!.. — озорно подбоченилась Лена.

Настоящий кавказский мужчина

Интеллигент осторожно, боясь расплескать содержимое, поставил пластмассовый стаканчик на прилавок, извлек из кармана галетку. Арсений Ильич сегодня чуть припозднился. Обеденный винопой закончился. Народ схлынул. В шинке воцарились покой и тишина. Еще даже не пригубив вина, Интеллигент почувствовал, как растекается по его жилам умиротворение. Такие моменты в шумной «наливайке» случались не часто, и Интеллигент ими особенно дорожил. Но едва он успел взяться за стакан, как услышал визг открываемой входной двери, почувствовал спиной ворвавшийся с улицы в помещение сырой апрельский воздух.

А вошедший, задев на ходу Интеллигента плечом, уже утвердился в проеме амбразуры. На старика он даже не взглянул, но Арсений Ильич и в профиль сразу узнал абхазца и поспешил отвернуться. Неприятный осадок от прошлой их стычки оставался в нем до сих пор.

— Привет, Леночка, привет, красавица, — услышал Интеллигент и удивился тому, каким медоточивым может быть голос абхазца. — Накати-ка, радость моя, соточку коньяку.

Не отходя от амбразуры, абхазец выпил, зажевал апельсиновой долькой, довольно улыбнулся и игриво подмигнул продавщице:

— Все равно ты вкуснее всякого фрукта!..

Он продолжал заливаться соловьем в том же духе, вызывая в Интеллигенте все большее раздражение. Арсений Ильич понимал, что это обычный трёп подвыпившего

ловеласа. Не более того. Алхас не первый и явно не последний, кто под алкогольными парами демонстрировал Лене свое особое расположение. И если Надежда была уже как бы вне зоны эротических вожделений, то на Лену мужики до сих пор еще «клали глаз» и к ней «били клинья», пытались если и не охмурить по полной программе, то хотя бы временно добиться ее расположения. Сама Лена называла эти словоизлияния «художественным свистом» и относилась к ним совершенно спокойно и снисходительно, воспринимая как часть своей неспокойной работы и одну из издержек производственного процесса. Впрочем, если клиент заходил слишком далеко, Лена умела быстро спустить его с небес на грешную землю и поставить на место. Арсений Ильич не раз в том убеждался, но раздражение все равно не проходило.

— Слушай, Леночка! — вдруг прервал свою трель абхазец. — А не встретиться ли нам во внерабочей обстановке — тет-а-тет? Посидим где-нибудь, поговорим за жизнь, за любовь...

— Я не люблю рестораны.

— А не обязательно ресторан. Можно дома посидеть. Поужинать... при свечах.

— Старовата я для интима со свечами. Да и для тебя тоже, — хмуро отозвалась Лена. — Поискать бы кого помоложе.

— Я не люблю зелень недозрелую, мне спелые женщины нравятся. А ты как раз «баба ягодка опять».

— Может, и ягодка, да не про тебя.

— Что так?

— А так! Я женщина серьезная, а ты для серьезных отношений не подходишь. Да их и в мыслях у тебя нет. Тебе нужны девушки одноразовые. Чтобы перепихнуться, похоть свою на время унять и забыть. Так что лучше вон к кикиморам нашим обратись. Им все равно с кем. Они за стакан да небольшую копеечку хоть под чёрта лягут.

— Обижаешь, Леночка! Не надо меня к кикиморам посыпать.

— Ну, тогда к Юлечке подкатись. Тоже безотказная. Еще и красотка — прямо «миссис Наливайка»!

— Не говори мне о ней, не говори! Сволочь она, воровка!

— А вот с этого места поподробнее, — заинтересовалась Лена.

— Да чего там! — расстроено махнул рукой Алхас. — Привел к себе домой однажды, поляну, как путевой, накрыл — все чин-чинарём... А утром просыпаюсь — ни ее уже нет, успела «ноги сделать», ни бабок в лопатнике. Пришлось потом у Казахмеда денег одолживать.

— А может, ты сам успел их до того просадить, а на бедную девушку сваливаешь? — подначила Лена.

— Да она это, Юлька, гадом буду! Я же помню, сколько при себе у меня вечером оставалось. А утром глянул — одна мелочь. И никого, кроме нас двоих, в квартире не было. Воровка! — повторил Алхас и еще раз убежденно и мстительно добавил: — Ну, попадись ты мне, сучка — наизнанку выверну!

Ореховые глаза абхазца гневно блестели. А Интеллигент, исподлобья глядя на него со своей стороны прилавка, снова ловил себя на мысли, что знакомы ему и этот взгляд, и этот голос...

— Вот, Алхас, не зря говорят: остерегайтесь случайных связей, — усмехнулась Лена.

— Ну, это... Бес попутал! А вот с тобой у нас будет все по-другому, — пообещал Алхас.

— Как это? — весело округлила глаза Лена. — Кошелек подальше спрячешь, чтобы снова пустой не оказался?

— Что ты такое говоришь? — возмутился Алхас. — Зачем ты себя с этой шлюхой вороватой сравниваешь? Она мизинца твоего не стоит! А тебе я... — абхазец на мгновение задумался, потом, тряхнув головой, воскликнул: — Я тебе покажу, как может

любить настоящий кавказский мужчина! В Абхазию увезу, к морю. Ты будешь моей королевой!..

— Ну, ладно, настоящий кавказский мужчина, потрепались — и хватит, — посеръезнев, оборвала его Лена. — Работать надо. Клиенты ждут.

Шинок был почти пуст. Из «ождущих» клиентов был только Интеллигент у прилавка. Расставив локти, абхазец заполонил собой практически все пространство амбразуры, и старик не знал, как протиснуть туда руку с опустевшим стаканчиком, чтобы снова наполнить его. Заметив это, Лена прикрикнула на абхазца:

— Алхас, отходи, отходи, нечего на прилавке виснуть, людям мешать. — И, бесцеремонно отодвигая кавказца, сказала уже Интеллигенту: — Давайте, Арсений Ильич, повторю!

Алхас нехотя отодвинулся.

Интеллигент принял от Лены наполненный стакан, отхлебнул, поднял глаза и встретился с взглядом абхазца.

— Чего уставился? — сказал тот через несколько мгновений их молчаливой дуэли. — И вообще, какого хрена ты тут трешься, старый пердун? Канай вон со своим пойлом за столик!

— Не тебе указывать, куда мне идти и где со стаканом стоять, — парировал Интеллигент. — И повежливей. Вас там, на Кавказе разве не учат уважительному отношению к старикам?

— Здесь не Кавказ!

— Ну, так и что — здесь, выходит, можно борзеть и наглеть? А насчет «старого пердuna»... Ты хоть и моложе вдвое, а вони от тебя во много раз больше!

Ореховые глаза Алхаса потемнели до черноты, налились ненавистью. Он схватил старика за грудки. Они были примерно одного роста и комплекции. Только за абхазцем стояла молодость со всеми ее физическими преимуществами.

— Алхас, прекрати! — высунулась из амбразуры Лена. — Что ты никому проходу не даешь? Ко мне приставал-приставал, теперь до старика докопался. Иди своей дорогой и не вяжись ни к кому!

Абхазец отпустил Арсения Ильича и, изрыгая ругательства, рванулся к выходу. У двери обернулся, одарил напоследок испепеляющим взглядом, и Интеллигент еще больше утвердился во мнении, что именно эти взгляд и голос хранят его память с того трагического осеннего вечера.

Недолгим было расставанье...

А через несколько дней новая стычка Алхаса с Интеллигентом. Хотя поначалу ничто ее не предвещало. Народу в шинке было немного: несколько старпёров, да одинокий Битюг-Вано, скучающе глядевший в окно.

Разговор у старпёров сегодня вертелся вокруг темы современного партийного многообразия в стране.

— Вот в советское время была КПСС — и всё. Выбора никакого. А хотелось альтернативы и разнообразия... — рассуждал Тишайший.

— Зато сейчас партий развелось, как у собаки блох, — сказал Беспалый. — Названий-то не запомнишь. А какой толк?

— Да никакого!.. — загомонили мужики.

— И не будет! — воскликнул Алексей Михайлович. — Ведь, в сущности, с советских времен ничего не изменилось. Тогда ведущая и направляющая КПСС монополизировала власть, сейчас — правящая «Единая Россия». Только вывески сменили. А хрюн получился редьки не слаше...

— Так, может, нам тоже создать свою партию? — предложил кто-то из старпёров.

— Кому нам? — спросил Беспалый.

— Ну, алкашам. Была же Партия любителей пива — ПЛП, если сокращенно. А нас, алкоголиков, гораздо больше «пивников»!

— Да, — согласился Тишайший. — Немалая получилась бы политическая сила. И влиятельная. Алкоголь ведь не знает границ. Ему тоже все возрасты покорны. Он уравнивает бедных и богатых, люмпенов и олигархов, верующих и атеистов, гражданских и военных, избирателей и депутатов, политиков и чиновников всех мастей, ученых и неучей!.. — набирающим громкость и вдохновенность голосом перечислял Тишайший.

— И какое у этой партии предполагается название? — поинтересовался только что появившийся в шинке Интеллигент.

— Ну, скажем, Партия российских алкоголиков, — поприветствовав его взмахом руки, отозвался Алексей Михайлович.

— И будут называть членов вашей партии ПРАголиками, — улыбнулся, подходя к амбразуре, Интеллигент.

— Праголики, праголики!.. — обрадовано подхватили старпёры, оценив иронию Интеллигента.

Завидев его, Лена, не спрашивая, уже налиvalа ему вино.

— Что-то давно я Санька не видела в шинке? — сказала Лена, выставляя Арсению Ильичу наполненный стакан. — Не знаете, что с ним?

— Ну, как не знать? Он теперь у меня живет. Вдвоем все веселее.

— Да что вы говорите?! — удивилась Лена. — Ну, и как он там у вас? Не опасаетесь? Все-таки, с улицы парнишка, детдомовский...

— А чего опасаться? Парнишка хороший, трудолюбивый, уважительный. В квартире такой блеск навел! За продуктами ходит, сам готовит, стирает. В общем, теперь все хозяйство практически на нем. И работу ему нашли. Подсобником в нашем ЖЭУ. Но это пока. Дальше посмотрим. Может, учиться пойдет, какую-нибудь серьезную профессию осваивать. А здесь что ему делать? Спиваться только да цирроз в молодые лета наживать.

— Ну, здорово! — порадовалась за парнишку Лена.

— Восстановили мы ему украденные тогда, вместе с деньгами документы. Хочу теперь вот его усыновить.

— А не поздновато ли? — засомневалась Лена. — Санёк-то уже совершеннолетний, даже взрослый, можно сказать.

— Ну, это я выясню... — задумчиво поскреб подбородок Интеллигент.

— Всем хэлло! — вслед за скрежетом входной двери послышалось за его спиной.

Интеллигент обернулся. Юля, сделав всем ручкой, двинулась к нему, сияя широкой улыбкой.

— И рот до ушей — хоть завязочки пришей, — сказал Арсений Ильич и предположил: — Наверное, спонсора нашла.

— На пару стаканов... — хохотнула Юля. Она сегодня была явно в хорошем настроении.

С первым стаканом вина Юля тут же, у прилавка, расправилась махом, выпив его, не отрываясь.

— Полегчало? — спросил Интеллигент.

— Есть маненько, — согласилась Юля. — Но надо продолжить.

Она собралась, было, отправить свой опустевший стаканчик в амбразуру, но тут снова заявила о себе скрипучим голосом входная дверь, и в ее проеме возник Алхас.

Завидев его, Юля испуганно втянула голову в плечи, а абхазец заорал прямо с порога:

— Ага, попалась, курва!

Юля демонстративно отвернулась и протянула стаканчик в амбразуру. Но Алхас, в мгновенье ока оказавшись рядом, рванул ее к себе за плечо так, что она развернулась на сто восемьдесят градусов и оказалась с ним лицом к лицу.

— Ты чё, совсем оборзел, что ли? — возмутилась Юля.

— Я оборзел?! — задохнулся от злости абхазец. — И ты еще, паскуда, возникаешь? Обшмонала меня, бабки стырила, пока я спал, слиняла... И я еще оборзел?..

Он придинулся к Юле вплотную. Было видно, как заходила в волнении ходуном ее высокая грудь.

— Да ничего я у тебя не брала, ей бо! Я вообще сроду никогда чужого не брала! — горячо зачалила Юля. — Ты сам куда-нибудь бабки свои заныкал, или просадил, а теперь вспомнить не можешь — где и с кем. А я теперь крайняя...

— Ты мне горбатого не лепи! — сказал кавказец

— Да отскочи от меня! — дерзко ответила Юля.

— Это ты у меня сейчас отскочишь, шмара! — пригрозил абхазец.

— Ой, ой, ой! Напугал зайца морковкой! — ехидно скривилась Юля. И тут же получила удар в лицо.

Охнув, она упала. Но это не остановило Алхаса. Он подскочил к ней и, не давая встать, яростно пнул раз, другой... Юля взвыла от боли.

Старпёы прервали разговор, переключив внимание на происходящее. Битюг оторвался от созерцания заоконного пространства. Лена высунулась из амбразуры узнать, что творится в зале.

От дальнейшего избиения Юлю спас Интеллигент.

— Прекрати! — крикнул он, оттаскивая абхазца. — И как у тебя только рука на женщину поднялась?

— Какая женщина? Где женщина? — повернулся к Интеллигенту Алхас. — Это не женщина, это — блядь подзаборная и воровка! Она меня ограбила!

— А ты что ее за руку поймал?

— Если б поймал, убил на месте.

— Ну, а не пойман — не вор.

— Слушай, ты почему опять не в свое дело лезешь? — снова вскипел Алхас. — Я ведь могу и тебе, козлу старому, рога поотшибать.

— Свои побереги!

— Так... — угрожающе произнес абхазец, вплотную придвигаясь к Интеллигенту.

— Алхас, прекрати! — крикнула, Лена выходя из рабочего помещения.

— Ага, щас! — огрызнулся тот. — Только вот приурка старого рядом с воровкой уложу. Пусть на полу друг дружку жалеют... — И тут же услышал голос Битюга-Вано, неслышно, словно и не было в нем центнера живого веса, подошедшего к ним:

— Не советую пахана трогать.

— А, Вано! Привет, дорогой! — сменил тон Алхас, протягивая ладонь для рукопожатия.

Словно бы не замечая ее, Битюг добавил:

— И от Юльки отвянь.

— Да она ж меня кинула...

— Сам лохом не будь. А пахан верно говорит: не пойман — не вор.

— Что ты с этим своим паханом?.. Он что тут у вас — в законе, что ли?

— Короновать мы его не короновали, но мужик он здесь авторитетный — это точно.

Полоснув Интеллигента на прощание уже знакомым тому ненавидящим взглядом потемневших до черноты ореховых глаз, Алхас круто развернулся и вышел.

Интеллигент с Битюгом помогли Юле подняться. По щекам ее градом катились слезы, размазывая тушь с ресниц, а из носа текла кровь. Под глазом начала синеть гематома.

— Ух, как он тебя разукрасил! — сказал Битюг, дотрагиваясь пальцем до фингала.

— Да рожа-то ладно, — поморщилась от боли Юля. — Спина вот... Не отбил ли почки, гад!.. — И, повернувшись к Интеллигенту, сказала: — А вам спасибо огромное, Арсений Ильич! Если б не вы — запинал бы...

— Ладно-ладно... — засмущался стариик. — Надо кровь остановить. Голову закинь. Лена, аптечка у вас есть?

— Найдем, — сказала продавщица и на минуту скрылась в рабочем помещении.

— Может, «скорую» вызвать? — предложил Битюг.

— Нет-нет! — замотала головой Юля.

— А вдруг сотрясение? — поддержал Интеллигент.

— Ништяк, — криво улыбнулась Юля. — Не впервые. Заживет, как на собаке.

Лена остановила кровотечение, обработала гематому, ссадину на другой скуле. Юля умылась в туалете, привела себя в порядок, снова повеселела.

— Ну, так это... Продолжим банкет?!

— Может, все-таки, пойдешь, отлежишься?

— Не, ну я всего-то один стакан сегодня выпила... Требую продолжения банкета! — закапризничала Юля. — Заодно и раны залечу.

Но разгуляться Лена ей все равно не дала. После третьего стакана непреклонно заявила:

— Всё, твоему столу больше не наливаю. А то, не дай бог, Алхас вернется...

При упоминании абхазца Юля поспешила убраться восьвояси. Битюг вызвался ее на всякий случай проводить.

— Ну что это за жизнь? — сказал Интеллигент, когда они удалились. — Детей побросала, путается, с кем попало, пьет, ворует. Ее бьют смертным боем, а ей все тряпин-трава!

— Ой, не говорите! — согласилась Лена. — От нее и дети родные шарахаются, как черт от ладана.

— Бабенка-то симпатичная. А судьба искалеченная, — вздохнул Интеллигент.

— Так сама же ее и искалечила. И себе, и детям, — возразила Лена. — Всем душу на кулак намотала

— Да жалко, что вот так у нее сложилось.

— Ой, да не жалеете вы ей подобных, Арсений Ильич! Они жизнь видят и понимают совсем по-другому. Как бы в «параллельном мире» существуют, словно бы для них и под них и созданного. Им там по-своему удобно, комфортно, а иного и не нужно.

— Все равно жалко...

Праздник — со слезами на глазах

Начало мая тоже выдалось теплым. Сошел последний апрельский снег, на газонах стала прорыватьсь первая травка.

С тех пор, как Санёк поселился у него, Интеллигент в шинок стал захаживать реже. Сам воздерживался, не желая подавать парнишке дурной пример, и его старался туда не пускать. Да Санёк особо и не рвался. Он теперь был не один. В его жизни появился, наконец-то, родной человек. Пусть не по крови, не по документам, доказывающим это родство, но все равно родной. За недолгие месяцы их знакомства Санёк так прикипел к Интеллигенту, что больше уже и не мыслил себя без него. Стариик теперь был для парнишки и матерью, и отцом, и дедом, и всеми остальными родственниками сразу.

К тому же, у Санька была работа. Не ахти какая — но работа. Ему самому-то и на эту было бы не попасть — среднеазиаты все позанимали. Спасибо Арсению Ильичу — помог, договорился в ЖЭУ.

Для Интеллигента появление Санька в его доме, да и вообще в жизни тоже многое значило. Санёк чем-то напоминал ему рано умершего сына и от этого становился Интеллигенту ближе и родней. С его появлением пошатнувшаяся после смерти жены жизнь стала выправляться, обретать новый смысл.

Девятого мая, посмотрев по телевизору военный парад и шествие «Бессмертного полка», Интеллигент решил зайти в «наливайку»: пропустить стаканчик за Победу, перекинуться парой слов с завсегдатаями — да просто побывать немножко на людях.

— Воздухом подышу — денек хороший, — сказал он Саньку.

Тот лишь головой кивнул в ответ, поглощенный перипетиями идущего по телевизору старого военного фильма.

День выдался ясный, солнечный. Дышалось легко. Исчезла беспокоившая Арсения Ильича в последнее время тяжесть в груди. Путь от дома до «наливайки» он прошел пешком, с наслаждением вбирая в себя воздушно-солнечный коктейль.

Народу в шинке было мало. Три столика из четырех пустовали вовсе. И только старпёры в своем углу продолжали нести бессменную алкогольную вахту.

Интеллигент с порога взмахом руки поприветствовал их и направился к амбразуре. Взяв наполненный стакан, после секундного колебания он двинулся к старпёрам. Круг их раздвинулся, освобождая ему место.

— С праздником! — поднял Интеллигент стакан, и все дружно чокнулись.

— Ты, Арсений Ильич, поди, еще застал ту войну? — спросил, когда все выпили, один из старпёров.

— Ну, как застал?.. — смущаясь Интеллигент. — Разве что самым-самым краешком, если смотреть по дате рождения: я в сорок третьем, в разгар войны родился. Так что первые три года моей жизни действительно на войну приходятся. Но с другой стороны — что я могу о той поре помнить? Да и на свет я появился далеко от всяких фронтов. Иное дело, что и отец мой на фронте погиб, и дядя, его старший брат... Поэтому, можно считать, война и наше семейство, меня в том числе, не обошла стороной...

— Здорово, мужики! — послышалось сразу вслед за гулким хлопком входной двери.

Старпёры оторвались от разговора. По пути к амбразуре им белозубо улыбался Алхас.

Вразнобой ответив на приветствие, они снова вернулись к прерванной беседе.

— Да ежели глубже копнуть, у многих, очень, наверное, у многих, кто постарше, найдется близких людей, той войной кроваво отмеченных. Даже сейчас — уж сколько времени прошло — она аукается, — сказал Тишайший.

— Это так... — согласно закивали мужики.

Алхас, между тем, уже бесцеремонно втискивался в круг старпёров. Они неохотно подвигались, хмуро косясь на абхазца, а он, нимало не смущаясь, уже весело вопрошал:

— За что пьем, мужики?

— За Победу! — коротко за всех ответил Беспалый.

— А кто с кем играл? — поинтересовался Алхас.

— Мы с ними, — туманно сказал Беспалый.

— И кто кого?

— Да мы их, мы! — стал раздражаться Беспалый.

— Да кто мы? — недоуменно уставился на него абхазец.

— Ты что, Алхас, дурак? — вмешался Тишайший. — Не знаешь, что за день сегодня, какая дата?

Абхазец только плечами пожал.

— Эх, ты... — укоризненно покачал головой Тишайший. И с торжественными нотками в голосе пояснил: — День Победы сегодня. День нашей великой Победы над фашизмом, понял?

— А, это... — пренебрежительно махнул рукой Алхас.

— Это, это! — уже с откровенной неприязнью подтвердил Беспалый. — Не знаю, как там у вас, на Кавказе, а у нас **Это** зовется Великой Отечественной войной...

— В которой, кстати, сражались против фашистов вместе с русскими, украинцами, белорусами и прочими нациями СССР, головы за нашу общую родину клали, и народы Кавказа, — напомнил Интеллигент.

— Это было давно и... неправда, — скривился в злой ухмылке Алхас.

— Что значит — неправда? — возмутился Беспалый. — Об этом везде написано.

— Написать что угодно можно. Бумага все стерпит. А на самом деле горцы больше двухсот лет с русскими воевали, землю свою отстаивали, с которой они их сгоняли, как собак поганых! — завелся Алхас. — И против немцев вместе с русскими кавказцы не выступали. Зачем, если немцы ничего плохого горцам не делали, а, наоборот, свободу им несли?

— Свободу на костях!.. — теперь уже вознегодовал Тишайший.

— Зато русские, — не обращая на него внимания, — продолжал абхазец, — когда горцы отказывались воевать с немцами, ссылали их целыми народами в вашу поганую Сибирь да Казахстан на погибель отправляли. Скольких горцев вы лишили тогда родины, скольким сломали судьбу! Вот она — правда, а не то, что в ваших книжках пишут!

— Депортация, при всей ее жестокости, была, все-таки, превентивной, вынужденной мерой, — возразил Интеллигент. — Многие тысячи горцев героически бились с фашистами на фронтах, но хватало и таких, кто ждал их — тут Алхас прав — у себя на Кавказе как освободителей. А это было же как бы миной замедленного действия, готовой взорваться в нужный момент.

— Значит, ты, старик, оправдываешь то, что русские творили в войну с горцами?! — закричал Алхас.

— Нет, не оправдываю, но я пытаюсь отнестись к той непростой ситуации непредвзято и объективно, учитывая, как раз, что горцы горцам были рознь. Одни, как и большинство людей в мире, видели в фашистах смертельную угрозу для человечества, и боролись с ней, не щадя себя, другие...

— Слушай, Алхас! А вот скажи: если бы тебя какая-нибудь машина времени, например, унесла туда, в военные годы на родной Кавказ, на чьей бы ты стороне оказался — кто с немцами сражался, или кто ждал их как освободителей? — перебил Интеллигента Тишайший.

Не ожидавший такого вопроса, абхазец молча уставился на него.

— Нет, правда, — не отступался Алексей Михайлович.

— А чё тут гадать, — не дожидаясь ответа Алхаса, сказал Беспалый. — К бабке не ходи — немцев ждал бы! А потом служил бы им ревностно, сапоги облизывал.

— Ничего никому не облизывал бы! — обиделся Алхас. — Это вы, русские, задницу своему Сталину лизали.

— Он как раз скорее ваш, кавказский, чем наш, и славяне натерпелись от него куда больше других народов. Особенно во время репрессий тридцатых годов, когда миллионы ни в чем не повинных людей и в основном славян были расстреляны, сосланы, как ты говоришь, на погибель, — возразил Интеллигент.

— Какой он наш? Этого шакала отмороженного, вы, славяне, молоком бешеной собаки вскормили! — завопил, выпучив ореховые глаза, Алхас.

— Чего ты тут разорался? — стал урезонивать его Беспалый. — Тебя самого, злого такого, какая собака вскормила?

— Кавказская овчарка! — хохотнул один из старпёров.

Абхазец полоснул всех ненавидящим взглядом.

— Да ладно, — примирительно сказал Тишайший. — Далась тебе эта депортация. Больше семидесяти лет пор прошло...

— Тем более что ты-то здесь при чём? Тебя в ту пору даже и в проекте не было, — поддержал товарища Беспалый.

— Она народа моего коснулась, а, значит, и меня, — парировал Алхас.

— Какого «твоего народа»? — удивился Интеллигент. — Депортировали, как известно, чеченцев, ингушей. А абхазцев никто не трогал.

— Неважно! — закусил удила Алхас. — Все кавказские народы как одна семья: боль одних отзывается в сердцах всех других. — И я тоже несу в себе эту боль! — с пафосом воскликнул он.

— Еще скажи, что через эту боль тебя и к нам, в Сибирь, занесло, — саркастически хмыкнул Интеллигент.

— И занесло! — продолжал распаляться Алхас. — Потому что из-за вас, русских, кавказским народам житья не стало. — Чечня недаром восстала. Жаль, что весь Кавказ за собой против России объединить не смогла. Но по харе вам надавала, — злорадно ощерился абхазец.

— Свою харю побереги! — насупился Беспалый.

— А что — не так, что ли? — огрызнулся Алхас.

— Н-да... — задумчиво, как бы самому себе, сказал Интеллигент. — Вот уж поистине: для кого война, а кому — мать родна. — И уже Алхасу: — А у нас здесь ты не через потомственную боль, о которой так красиво говоришь, оказался. Просто сама жизнь однажды поставила перед выбором: либо без работы и надежд на светлое будущее выживать у себя на исторической родине, либо искать счастья на стороне. А там — свои варианты: торговать, воровать или к бандитам и террористам — убивать. Тоже хорошо платят. Многие твои кавказские сверстники тогда в горы да леса с оружием подались. Не исключаю, что и ты с ними — тоже. — Было видно, как сразу напрягся Алхас и забегали его глаза. Но Интеллигент, словно бы ничего не замечая, продолжал: — А потом понял, что ненароком ведь убить могут и решил рвануть подальше от взрывоопасного Кавказа. И лучшего места, чем наша «поганая» Сибирь, не нашел. Благо сводный брат твой Казахмет уже успел здесь обосноваться, место нагреть. К нему и подался. И неплохо, видно, устроился, если быстренько смог на джип наскрести. Кстати, — перебил сам себя Арсений Ильич, — а где он? Что-то давненько не видно. Сломался, что ли?

— Какой джип? — дернул головой Алхас. — Ты меня, старику, наверное, с Казахметом спутал. У него и джип, и разные другие машины есть. Он их, как перчатки, меняет.

— Да нет, не путаю... — с каким-то потаенным смыслом сказал Интеллигент, в упор глядя на абхазца.

Тот отвел глаза, нервно сдавливая пластиковые бока заметно опустевшего стаканчика.

Старик не стал развивать эту тему, хотя, чувствовалось, старпёры были бы не прочь ее обсудить.

За столиком повисло тяжелое молчание. Под пальцами абхазца стенки стаканчика, то сжимаясь, то расправляясь, звонко щелкали, нарушая воцарившуюся тишину. Так продолжалось с полминуты, а потом Алхас, опрокинув в себя остатки коньяку, как бы возвращаясь к разговору о войне и фашистах-освободителях Кавказа, негромко, но с нескрываемым презрением сказал, ни на кого не глядя:

— Правильно вас немцы в войну звали «руSSIиШ швайн». Швайнами вы были, швайнами и остались!

— Это мы из тебя сейчас швайна кавказской национальности сделаем! — схватил за грудки абхазца и стал трясти Беспалый. — Припёрся незваным в наш родной дом да еще нас же и оскорбляет, пальцы гнет!

— Без всякой депортации понаехали тут, аж в глазах черно!

— Еще и хозяевами жизни себя мнят, а нас за быдло держат... — завозмущались и остальные старпёры.

— Ага, хозяева... Видали мы таких хозяев! В горах у себя хоziйничайте, овцами своими командуйте... — Оттолкнув от себя, Беспалый отпустил, наконец, абхазца. Тот болезненно поворочал шеей и поспешил от стола. У входной двери повернулся, с демонстративным презрением плонул под ноги и выкрикнул:

— Да быдло вы все и есть. Швайны!

— Ах ты, баран!.. — метнулся, было, к нему Беспалый, но Алхас уже и след простыл.

— Вот урод! — выругался Тишайший, когда за абхазцем захлопнулась дверь. — А вся из себя показательно-демократическая Европа нам еще что-то там о толерантности втюхивает. Разве к таким гадам, как этот, можно быть толерантным, если сами они, живя у нас в свое удовольствие, нашим всем, как своим, пользуясь, нас же и терпеть не могут? Они нам в лицо смеются и пллюют, издеваются, в грош не ставят, а мы, выходит, утрысь и дальше терпи?

— Европа уже пожинает плоды своей толерантности, локти кусает, — заметил Интеллигент.

— Еще бы не кусать, — отозвался Тишайший, — если они как тучи саранчи Европу накрыли да еще при этом нагло лезут в чужой монастырь со своим уставом. И ведь не какие-то там отдельные индивиды, а целые народы заражены вирусом национального превосходства. Вон и Алхас — особенный, видишь ли...

— Выродки есть везде. Но я, все-таки, не стал бы судить по ним о целых нациях и народах, — возразил Интеллигент.

Выпили еще по стаканчику, и Арсений Ильич, пожимая мужикам руки, стал прощаться.

Выйдя из шинка, Интеллигент увидел маячившего возле угла чебуречной Алхаса. Казалось, он поджидал кого-то. Арсений Ильич сначала хотел развернуться в противоположную сторону, но, решив, что абхазец может подумать, будто он спасовал перед ним, «особенным», направился к чебуречной.

Когда Интеллигент поравнялся с ним, Алхас придержал его плечом.

— О каком джипе ты там, — мотнул он головой в сторону «наливайки», — вспоминал?

— Да о том самом, — остановился стариk, — на котором ты полтора года назад на Центральном проспекте недалеко от драмтеатра прямо на «зебре» пожилую женщину насмерть сбил.

— Какая женщина? Какая «зебра»? Чего ты гонишь?!

— Не я, а ты гнал тогда... Вспомни, напряги извилины! Последний день октября, поздний вечер, а ты несешься под дождем, как угорелый. Даже когда человека сбил, лишь приостановился на минуту, чтобы обругать, а как понял, что наделал, дальше рванул, шакал трусливый!

— Ты базар-то фильтруй, дед! — возвысил голос абхазец. — Никакого ДТП я не совершил, потому что у меня никогда и машины не было. Понял?

—...Скрылся, а от машины потом, видно, избавился от греха подальше, — не обращая внимания на угрожающий тон, продолжал гнуть свое Интеллигент. — Думаешь — концы в воду спрятал? Не надейся! Я и джип твой, и тебя хорошо запомнил. На всю оставшуюся жизнь. И этого так не оставлю. Ты ведь не просто человека — ты мою жену убил, с которой я полвека прожил!..

У Арсения Ильича перехватило горло, на глаза стали наворачиваться непрошеные слезы. Говорить он уже не мог, зато готов был броситься на абхазца.

Видимо, почувствовав его состояние, Алхас молча развернулся и скрылся за углом.

— Ты чего такой расстроенный, дедынька? — спросил Санёк вернувшегося Арсения Ильича. — Повздорил с кем, что ли?

Интеллигент только рукой удрученно махнул. Это не первая стычка с абхазцем, но нынешняя задела особенно. Смутную поначалу догадку, переросшую затем в полную уверенность, что именно Алхас находился за рулем того злосчастного джипа, сегодня подтвердил он сам. Всем своим поведением, и, конечно же, той реакцией, которая последовала на заявление Арсения Ильича о том, что водитель-убийца и Алхас — одно лицо.

Однако ж поведение к делу не пришьешь. А прямых улик и доказательств, увы, нет. Не станет же он в качестве таковых взгляд и голос абхазца предъявлять. За сумасшедшего сочтут...

Арсений Ильич нервно шагал по комнате. Как быть, с кем посоветоваться? Да хотя просто выговориться? Санёк с тревогой наблюдал за ним.

Наконец, Арсений Ильич остановился, прерывисто вздохнул и... рассказал всё Саньку.

— Вот и получается: интуиция подсказывает, что это он — стопроцентно, а железных аргументов предъявить не смогу. Что делать?

— Да плюнь ты на него, дедынька? Боженька все равно его покарает. Рано или поздно.

— Боженька!.. — передразнил Интеллигент. — Мне самому его надо покарать!

— Не марайся, дедынька, об это говно. Ты его и так уже покарал.

— Как это «так»? — удивился Интеллигент.

— Ты ж, дедынька, сказал Алхасу, что это он на твою жену наехал и смылся, а ты узнал его вместе с его джипом?

— Да, конечно, — подтвердил Интеллигент, не понимая, куда клонит парнишка.

— И сказал, что этого так не оставишь?

— Именно так!

— Ну, вот пусть теперь он ходит и боится, что его в любой момент могут за жопу взять.

— Да кто ж его возьмет, если у меня, ничего конкретного, вещественного против него нет?

— Но он же этого не знает, значит, будет мандражить всю дорогу, ходить и оглядываться. А постоянно жить так, на сплошном нерве, дедынька, очень трудно. Мне хоть и мало годов, но я знаю...

— Ах ты, мудрец мой юный, — растроганно потрепал Арсений Ильич Саньку по плечу.

Последний приют

На исходе мая, как обычно под цветение черемухи, заметно похолодало.

— А почему, дедынька, так? — удивлялся Санёк. — Черемуха холод притягивает?

— Наверное, в холода ей лучше цветётся, — улыбался в ответ Интеллигент, с упоением вдыхая черемуховый аромат.

Было воскресение, у Санька выходной. Они решили прогуляться и теперь не спеша брали по бульвару проспекта, обсаженного черемухой, рябинами, березками. Стояла безветренная тишина, отчего и холод не сильно ощущался.

— Красота! — восхищался Санёк.

— Красота! — соглашался Интеллигент.

Незаметно для себя они дошли до районной администрации. Впереди, огибая угол на пересечении двух улиц, показалась шестиэтажная громада общежития и зеленая казахметовская гусеница, скрывавшая высокое крыльце «наливайки». Остановившись у светофора, Санёк с Интеллигентом одновременно повернули в ту сторону головы, потом переглянулись и рассмеялись.

— Ладно, — сказал Арсений Ильич, — пойдем, заглянем. Давно не забредали.

Была Ленина смена. Увидев их, продавщица обрадовалась:

— Забывать нас стали Арсений Ильич! И ты Санёк тоже.

— Работа, теть Лена, — солидно, с чувством собственного достоинства пояснил Санёк.

— А у меня ноги не всегда доходят, — улыбнулся Интеллигент и спросил: — Друг наш, «особенный», Алхас не появляется?

— Нет, после 9 мая бесследно исчез, испарился. Сама удивляюсь.

— И черт с ним! Что в вашем замечательном заведении новеньского?

— Да, в общем-то, все как обычно. Если не считать Юльки.

— А с ней что?

— Доходит, по-моему.

— В смысле?

— В смысле доживает.

— Так она же молодая еще!

— При такой ее разгульной жизни ни один организм не выдержит. Вот и допрыгала. Ее приятельницы-кикиморы Юльку иногда навещают, рассказывают: жалуется она, что в правом боку постоянно ноет и колет, тошнит и рвет с кровью. И вообще, говорят девки, худеет на глазах и даже желтеет. Все признаки цирроза. Болезнь, конечно, — врагу не пожелаешь!

— Так она в больнице сейчас?

— Какое там! — махнула рукой Лена. — Вон, в общаге над нами кантуется.

— Так она вроде в другом месте жила? — удивился Интеллигент.

— Ой, Арсений Ильич, да где она только не жила. И разве это жизнь? Сердобольная комендантша пожалела ее, пустила на постой, а теперь не знает, что с ней делать.

— А родственники в курсе?

— Да в курсе. На днях мать Юлькина сюда приходила, слезами обливалась, совета спрашивала.

— В больницу ее срочно надо, в больницу!

— Не хочет, упирается. Психует, истерит: здесь, говорит, в общаге и буду сыхать. И вот еще момент какой. Мать Юлькина в шинок не одна приходила, а с внуком, ее старшим сыном. Десятый класс заканчивает. Бабушка убивается по поводу Юльки — кровиночка, все-таки, хоть и оторва, а парнишка ей говорит: «Да не возись ты с ней, бабушка, больше. Брось ее, как она нас бросила!» Бабушка ему: ну как можно — мать, все-таки... А он в ответ: «Ей, значит, все можно? — И жестко так, будто гвоздище в стену вбил: — Не нужна нам такая мать!..» Представляете, Арсений Ильич! Это как же надо измучить собственных детей, что они от нее отказываются??!

Интеллигент только головой покачал.

— А вон и корефанка ее идет. Сейчас последние новости узнаем, — сказала Лена, глядя поверх его плеча на входную дверь. Интеллигент оглянулся. К амбразуре приближалась одна из «кикимор». То ли Люси, то ли Мэри, то ли Ирэн. Для Арсения Ильича все они были на одно лицо, и он их постоянно путал. Ясность внесла Лена.

— Привет, Маня! Как там Юлька?

Кикимора Мэри (она же Маня)сыпанул на прилавок горсть запотевшей в ладони мелочи и, пока Лена брезгливо ее пересчитывала, а потом наполняла стакан вином, тарахтела пулеметной очередью:

— Ой, теть Лена, совсем плоха она стала. Уже ходить сама не может. Когда навешаю, голову сую ей под мышку, руку себе на плечо и волоку в туалет. Как собаку парализованную. Худющая стала. Так ведь и не жрет ничего. Принесу какой-нибудь хавчик, поешь, говорю, Юлька! Не лезет, грит, ничего. Только воду и хлещет. Я ей, когда прихожу, несколько полторашек водопроводной воды набираю и оставляю про запас...

— Небось, заодно и выпить оставляешь? — сказала Лена, подвигая Мане стакан с вином.

— Не-а, теть Лена! Самой не на что бывает... Ну, правда, просила Юлька однажды принести ей чего-нибудь вмазать. У меня как раз бабосы небольшие были. Уважила, приволокла пол-литровый пузырек вашей разливухи. Стала она пить, а вино не лезет.

Представляешь? Вино — и не лезет! Воще! Юлька его туда, а оно — обратно. Прям наизнанку беднягу выворачивает. А блевать-то, прикинь, уже и нечем. Во допилась!..

— Не переживай, тебе до такого состояния тоже недолго осталось, — «успокоила» ее Лена.

— Сплюнь, теть Лена! — испуганно округлила глаза Маня.

— Говоришь, в общаге она? — задумчиво сказал Интеллигент.

— Ну, да, на третьем этаже, — подтвердила Маня, допивая вино.

— Может, сходить, посмотреть, как она там? — Арсений Ильич вопрошающе глянул на Лену.

Продавщица неопределенно пожала плечами.

— А, Санёк? — повернулся Интеллигент к парнишке.

— Давай, дедынька, — с готовностью отозвался тот.

— Покажешь?

Кикимора кивнула.

— Тогда пошли.

— Подождите! — крикнула им вслед Лена. — Я с вами.

Она догнала их на улице с пакетом в руке.

— Выпить-закусить несешь? — покосилась на пакет Маня.

— Ну, прям! — возмутилась Лена. — Минералочки пусть попьет да чебурятами закусит.

Откуковала кукушечка

Внушительных размеров здание общежития внутри казалось еще больше. Интеллигент, Санёк и Лена с Маней шли сумрачным от недостаточного освещения коридору с рядами одного размера массивных дверей по обеим сторонам, которому, казалось, не будет ему конца. Но вот коридор уперся в узкое окно в торце здания, а справа от него обнаружилась дверь пониже и поменьше остальных.

— Сюда, — почему-то полуслепотом сказал Маня и надавила на круглый шишак дверной ручки.

Дверь скрипуче отозвалась и нехотя стала отходить от косяков. Маня шагнула в освобождающийся проем, остальные друг за дружкой последовали за ней.

Возле одной из стен небольшой комнаты высились едва не до потолка стопа сложенных друг на друга ватных серых матрасов. Под подоконником узкого, как в коридоре, и находящегося с ним на одной линии окна виднелась такая же серая отопительная батарея, а возле нее еще один матрас, и на нем нечто, укрытое грязным тряпьем. С оконной рамы и подоконника сползали ошметья давно потерявшей первоначальный цвет (теперь уже и не определить — какой) краски. Сквозь немытые вечношь, наверное, стекла едва пробивался солнечный свет. На полу валялись корки хлеба, засохшие обьедки, недокуренные «бычки», пачки от сигарет; с шуршанием и щелканьем перекатывались пластиковые бутылки, пакеты. Тошнотворный букет помоечного и сортирного амбре с алкогольно-табачным перегаром вполне вписывался во всю эту мерзость запустения и опущения.

— А вонища-то! — поморщилась Лена.

— Наверное, под себя делает, — предположила кикимора. — Ноги-то не ходят.

— А что это за помещение? — спросил Интеллигент.

— Каптёрка общаговская, — пояснила Маня.

— И как наша красавица сюда попала?

— Ну, попервой она в Люскиной комнате жила. На одной койке с ней кантовалась. Сначала всё лады было. Никто особо не возникал. Девки в комнате нормальные. Да и ее хорошо знают. А потом как забухала! Как говно из нее полезло!.. Понты всякие стала

гнуть... Ну, вы же знаете ее... — тараторила Маня. — Девки тоже в долгу не остались — Шаманиха Юльку и заложили.

— Кому? — не понял Интеллигент.

— Да это комендантша — Алиса Назаровна Шаманова. Она Юльку пустила. Как бы по блату.

— А какая между ними связь?

— А мать Юлькина, Арсений Ильич, с этой самой Шамановой на заводе в одном цехе когда-то работали. Приятельствовали. Вот Алиса Назаровна по старой памяти посочувствовала, вошли в положение, пустила Юльку, — вместо Мани прояснила ситуацию Лена.

— Вот-вот, — согласно покивала Маня. — Девки-то Люськины думали, что Шаманиха Юльку попрет из общаги, а она ее — в каптёрку, в «одноместный номер»... — хихикнула кикимора.

— Да уж, «номер»... — покачал головой Интеллигент. — Как она только в этом смираде не задохнется?

Куча тряпья на матрасе вдруг зашевелилась, отодвинулась в сторону, и показалась всклокоченная, нечесаная голова.

— Кто там бухтит над ухом? — сказала голова и медленно, покачиваясь из стороны в сторону, начала подниматься над матрасом, напоминая уклоняющуюся от флейты заклинателя змей кобру.

«Кобра» встала сначала на четвереньки, потом села на матрасе, поджав ноги — в этой позе она стала походить уже на самого заклинателя, только с вороньим гнездом на голове вместо чалмы — и посмотрела на вошедших мутным взглядом.

— Вы кто? Чё надо?

— Да мы это, Юлька, с «наливайки». Я — Мэри, ну, Машка, то есть. Это — теть Лена, продавщица, а это... — замешкалась кикимора, не зная, как представить Интеллигента.

— Арсений Ильич это, — без посторонней помощи вспомнила Юлька, и на ее лице появилось что-то наподобие улыбки.

— Вот, проведать пришли, посмотреть... — сообщила о цели визита Маня.

— А чё на меня смотреть? И так знаю, что страшнее атомной войны стала, — зло сказала Юля.

Видок у нее и правда был не для слабонервных. Исхудавшая и одрябшая, она сейчас совсем не походила ту на прежнюю красивую, фигуристую и сексуальную Юлю, которая еще не так давно притягивала взоры мужчин. Лицо сморщилось, как печеное яблоко, сделалось желто-бурым. Пожелтели белки глаз. А запах ее давно немытого тела еще больше усугублял это впечатление.

— На вот, покушай, водички попей, — поставила Лена рядом с ней на пол пакет.

Юля извлекла полторашку с минералкой, попыталась открутить колпачок и не смогла. Она выматерилась, но маты ее, обычно ядреные, забористые и трескуче-звонкие, как барабанная дробь, прозвучали сейчас жалко и тускло, каким тусклым, мрачным и жалким было все в этих стенах.

Лена молча взяла из ее рук минералку, откупорила бутылку, налила воды в большой полулитровый пластиковый стакан и подала Юле. Та жадно припала к стакану. Стакан в ее непослушных руках тряслся. От газа першило в горле, Юля закашливалась, переводила дух и снова продолжала пить, пока стакан не опустел.

— Теперь перекуси немного, — посоветовала Лена. — В пакете пирожки с капустой и чебурята. Тепленькие.

— Нет, — помотала Юля головой. — Ничего, кроме воды, не лезет.

— Ей бы какой-нибудь питательный раствор, — вставил свое слово Санёк, или бульон.

— Лучше еще водички налейте, — попросила Юля.

Утолив первую жажду, пила она уже медленней, небольшими глоточками.

— В больницу тебе, Юлька, надо, — с жалостью глядя на нее, сказала Лена. — И срочно. Пока не окочурилась в этой берлоге.

— Без больницы обойдусь. Здесь кони брошу. Все равно никому не нужна.

— Как сказать... — взразил Интеллигент, присаживаясь на корточки рядом с Юлей. — У тебя ведь еще и дети есть.

— А им вообще на меня насрать! — с какой-то звериной тоской взвыла Юля.

— А кто виноват? Как аукнулось, так и откликнулось! — сердито отозвалась Лена.

Интеллигент глянул на нее с укоризной и успокаивающе погладил Юлю по плечу:

— Вот и надо, чтобы стало по-другому — чтобы снова увидели они в тебе маму единокровную, — продолжал Интеллигент, не отнимая руки. Юля затихла, внимая ему. Но для этого и самой придется круто измениться — как бы заново родиться. Правда, ведь?

Юля согласно кивнула в ответ, заворожено глядя на Интеллигента.

— А сначала, Юленька дорогая, — негромко и проникновенно разматывал Арсений Ильич клубок своей мысли, — надо вылечиться, восстановить здоровье, потому что — сама знаешь — в здоровом теле здоровый дух. И вот тогда...

Юля вдруг схватила его руку, прижала к щеке, потом начала исступленно целовать ее.

Интеллигент, никак не ожидавший такого порыва, растерялся.

— Что ты, что ты, милая моя!

— Арсений Ильич!.. Никто!.. Только вы!.. Никто!.. — всхлипывала она, размазывая щеки по грязным щекам.

Интеллигент недоуменно посмотрел на своих спутников. В их глазах читалось не меньшее удивление.

— Только вы тогда за меня заступились. Алхас, зверюга, убил бы меня!..

— Ну, ладно, ладно, все же обошлось. Или опять?..

— Нет, я его с тех пор не видела.

— Вот и хорошо! — улыбнулся Интеллигент.

По Юлиному лицу тоже скользнуло некое подобие улыбки, но тут же на глаза навернулись новые слезы.

— Мне бы такого мужчину, как вы... — мечтательно сказала она. — А то все какие-то ханьги попадаются...

— Да какие сами, такие и сани! — снова не сдержалась Лена.

Юля горестно всхлипнула и уткнулась в грудь к Интеллигенту:

— Успокойся, — гладил он ее по косматой голове. — Все у тебя будет: и новая жизнь, и любовь близких, и мужчина, с которым ты будешь счастлива... Но сначала надо полечиться, в порядок себя привести. Вызовем сейчас «скорую» и... сделаем первый шагок к новой жизни. Хорошо?

Юля кивнула. Интеллигент сделал знак Лене, крутанув указательным пальцем возле уха — звони, мол. Лена, достав мобильник, вышла в коридор.

Пока не приехала «скорая», Юля не отнимала головы от груди Арсения Ильича.

— Как хорошо с вами... — умиротворенно бормотала она.

Сидеть на корточках было неудобно. У Интеллигента затекли ноги, ныли суставы, боль отдавалась в спине, но он stoически не менял позы, словно боясь нарушить установившийся между ними зыбкий контакт.

«Скорая» подоспела на удивление быстро. Женщину-врача в белом халате и оранжевым медицинским чемоданом-укладкой в руке сопровождала Лена, за которой следовала еще одна дама постарше и в домашних шлепанцах.

— Кто это? — шепотом спросил Арсений Ильич у Лены.

— Комендантша.

— Фу, какая вонизма! — поморщилась враачиха.

Интеллигент хотел помочь Юле подняться, но врачиша жестом остановила его и сказала:

— Всем выйти, буду осматривать больную.

— Ой, хорошо, что «скорую» вызвать смогли! — воскликнула комендантша Интеллигенту, видимо, приняв его в этой небольшой разношерстной компании за наиболее внушающего доверие.

— А что и раньше были попытки?

— Были, были, — с готовностью закивала комендантша. Но без толку. Никак уговорить не могли. Упрямая.

— Ну, а помещение-то почему так запущено? — спросил Арсений Ильич.

— Так у нас в комнатах жильцы сами убирают. А она... Видите: уже и руки и ноги отказывают, — вздохнула комендантша.

Вышла врачиша.

— Ну, что? — бросилась к ней комендантша.

— Цирроз печени. Декомпенсированный, — сухо проронила врачиша.

— Какой, какой? — не поняла комендантша.

— А такой! — грубовато сказала врачиша, поворачиваясь к Интеллигенту: — Вы, наверное, родственник?

— Не совсем, но...

— В общем, у нее та стадия цирроза, когда печень уже не может выполнять свои функции.

— И что теперь делать?

— Вопрос не ко мне — к специалистам. Но, на мой взгляд, все настолько запущено...

— Ладно, но к специалистам вы ее, надеюсь, увезете?

— Эту грязную бомжару?

— Какая ни есть, но человек все-таки.

— Была когда-то, — жестко сказала врачиша.

— Вы врач и обязаны одинаково милосердно относиться к любым больным, — напомнил Интеллигент.

— Вот только не надо мне права качать! — вспыхнула врачиша, но тут же, взявшись за руки, достала телефон. — Увезем, если водитель согласится. Клятву Гиппократа он не давал, а таких клиентов очень не любит.

Минут через пять появился водитель «скорой» со складными носилками.

— О-о-о!.. — мотнул он головой, заглянув в каптерку. — Не повезу! От нее потом в салоне полмесяца вонять будет. А если еще и нарыгает?

— А как быть? — подала голос Лена.

— Как, как? — сердито отозвался водитель. — Берите такси и везите, куда хотите!

Арсений Ильич подхватил водителя под локоток, отвел в сторонку. С минуту они о чем-то шептались, потом вернулись к остальным. Лицо водителя помягчело, было видно, что короткий разговор с Интеллигентом принес ему удовлетворение.

— Ладно, Галина Павловна, поможем людям, возьмем больную, — сказал водитель.

— Ну, и хорошо, — с явным облегчением согласилась врачиша.

Интеллигент с Саньком уложили больную на носилки и вынесли на улицу. Юля не сопротивлялась. Водитель помог загрузить ее в салон. Юля вдруг встременелась, с громадным усилием приподнялась и зашевелила губами. Но тут же рухнула на носилки. Водитель захлопнул заднюю дверцу и направился на свое шоферское место. Кикимора Маня вызывалась сопровождать подругу. Машина рванула с места и с воем умчалась.

— Чего она там шептала напоследок? — спросила Лена.

Интеллигент пожал плечами, а чуткий на ухо Санёк сказал:

— «Прощайте» и еще «простите», — говорила.

Пока они отсутствовали, очередь в шинке образовалась немалая. Но Лена быстро расправилась с нею, и Санёк с Интеллигентом довольно быстро оказались у амбразуры.

— Чего стояли-то? — удивилась Лена. — Я бы вам без очереди.

— Да ничего. Постояли, отышались чуть-чуть.

Лена налила им с Саньком.

— И как вы этого строптивого шоферюгу уломали? — удивилась она. — «Берите такси и везите, куда хотите!» — вспомнила она его слова.

— Вот я и взял «такси»... Его же «скорую». И он за пару сотен не отказался.

— И Юльку красиво уломали. Что твой психотерапевт! — продолжала восхищаться Лена.

— Да просто с ней давно никто не разговаривал по-человечески, вот она и... Как говорится, доброе слово и кошке приятно. А больному человеку оно, может быть, в числе лучших лекарств.

Через несколько дней Интеллигент снова наведался в «наливайку».

— Как там наша болезнaya? — спросил он у Лены.

— Все, Арсений Ильич, нет ее больше. Приказала долго жить. Вчера Юлькина мать сюда заходила по пути из больницы. Сказала, что врачи ничего уже сделать не могли — слишком поздно. Просила вот помянуть, кто знал Юльку.

— Значит, чуяла она смерть свою, — сказал Интеллигент. — И там, в «скорой», уже с носилок прощалась с нами навсегда. — Он помолчал, сглатывая колючий комок в горле, потер ладонью лоб и сдавленно добавил, как бы подводя черту: — Откуковала кукушечка!..

Наследник

На девятый день после Юлиной смерти, выпив в шинке по стаканчику за помин ее души, Санёк с Интеллигентом возвращались домой пешком.

— Давай посидим, — предложил Арсений Ильич, когда вышли на бульвар проспекта, начинавшийся сразу за районной администрацией.

Они облюбовали одну из ажурных лавочек на полыхавшей яркой зеленью липовой аллее. Интеллигент блаженно вытянул ноги.

— Да, Санёк, грешен наш путь! — сказал Интеллигент. — Много чего мы на нем не праведного совершаляем. — Он помолчал, о чем-то задумавшись, потом снова заговорил: — И смерть далеко не всегда и не все наши грехи искупаает. А уж такая смерть, какую Юля приняла, тем более

— Да, дедынька, — согласно закивал Санёк.

— И зачем только жил человек? — продолжал рассуждать Интеллигент. — Что жил, что не жил. Вся жизнь у этой Юлечки в разгул ушла. Пропила она ее, прокутила, со случайными мужиками в любовных утехах прокувыркалась, настоящей-то любви так и не познав. Детей наплодила (от кого — сама не знает) и побросала, еще при живой матери сиротами оставив. В мир иной ушла вот, а что после себя оставила? Дети от нее отказываются. А собутыльники, тусовавшиеся с ней в той же «наливайке», запомнили ее в основном как стервозную и наглую скандалистку. Да и то ненадолго. Месяц-другой пройдет — и последние воспоминания о ней исчезнут бесследно. Словно и не было никогда. Разве ж ради такой участи появляется человек на белый свет и проходит свой жизненный путь — а, Санёк?

— Не знаю, дедынька... — опустил голову парнишка. — Я когда бродяжничал, скитался, не зная, куда приткнуться, тоже про это думал. Зачем я живу, кому нужен, думал, да надо ли вообще мне жить, если я для других вроде как лишний и обуз? Думал и ничего придумать не мог...

— Ах ты, бедолага!.. — приобнял его Интеллигент. — Не горюй! К старому возврата уже не будет. Это я тебе обещаю. Начнем строить новую жизнь. С чистого листа. Ты и я. Каждый — свою, но вместе. Мне ведь тоже гнет трагедии с Полиной надо преодолеть. Так что... А Юлина судьба пусть остается напоминанием о том, как человеку не гоже жить. Только ты, Санёк... — Арсений Ильич повернул его лицом к себе. — На себя ее все-таки не примеряй. Истоки и причины ваших жизненных драм совершенно разные. Твою породили несчастливо сложившиеся обстоятельства, совершенно от тебя самого не зависящие, объективная, так сказать, реальность, а Юля свою драму создала собственными руками на ровном месте, своим отношением к жизни — «попрыгуньи-стрекозы» и «кукушки» — создала.

Интеллигент помолчал, прикрыв глаза, потом с улыбкой потрепал парнишку по плечу:

— Ничего, Санёк, прорвемся! Нам главное держаться вместе. Пока в ЖЭУ поработаешь, а осенью в какое-нибудь училище определимся. Профессию приобретать надо. Настоящую, на всю жизнь.

— А возьмут, дедынька, в училище-то? — обеспокоенно спросил Санёк. — Я ж после детдома пробовал...

— Теперь вместе попробуем. Да возьмут, никуда не денутся! — без тени сомнения воскликнул Интеллигент.

— Может, и возьмут, — неуверенно согласился Санёк и тут же встрепенулся: — А общага?

— Зачем тебе общага? — удивился Интеллигент. — Будешь по-прежнему у меня жить. И в училище участь, и дальше, когда трудиться на какое-нибудь предприятие пойдешь. А может, надумаешь потом еще и высшее образование получать... Живи! Ты мне теперь как родной. И даже без «как», — уточнил Арсений Ильич. — Мы теперь с тобой, словно иголка с ниткой. А знаешь... — он кашлянул пару раз, словно прочищая горло перед тем, как сообщить важную новость. — Как ты смотришь на то, если я тебя... ну... приемным сыном своим сделаю, наследником, так сказать?

— Дедынька!.. — Восторг в голосе Санька мешался с перехлестывающей через край радостью.

— Тогда так тому и быть, — поднялся с лавочки Арсений Ильич и ласково похлопал по спине тут же вскочившего за ним Санька: — Пошли, наследник!

Нож в спину

Интеллигент не стал откладывать в долгий ящик обещанное «усыновление». Оказалось, однако, в результате хождения по чиновничим кабинетам, что ни на «усыновление», ни на опекунство или попечительство над Александром Никифоровым (в быту Санёк) Арсений Ильич в силу ряда причин претендовать не может. Усыновление по закону возможно лишь до восемнадцати лет (Саньку же исполнилось двадцать), а опека, либо патронаж осуществляется над людьми любого возраста, но недееспособными или больными. Санёк не подходил ни под одну категорию. Но Интеллигент не отчаялся. «Будет день — будет пища, а пока просто пропишу, и пусть живет спокойно нормальным человеком, а не бомжарой каким-нибудь. И так намыкался парнишка. А немного погодя и квартиру на него перепишу. Век-то мой на исходе... — рассудил Арсений Ильич, и как-то сразу легче стало на душе.

В то теплое июньское утро он отправился в очередной поход в районную администрацию. Следовало кое-что выяснить, уточнить. Санёк уже на работе. Чтобы сократить путь, Интеллигент пошел дворами. Шагалось легко, словно и не было за плечами семидесяти с лишним прожитых лет. Подумалось: «Наверное, Санёк на меня благотворно влияет». С тех пор, как в его жизни появился этот обездоленный парнишка,

самочувствие Арсения Ильича заметно изменилось в лучшую сторону. Во всяком случае, он перестал ощущать себя бесконечно одиноким, покинутым всеми человеком, каким казался себе смерти жены. Санёк вывел его из того ступора, в каком пребывал Интеллигент последние полтора года, к живому нормальному бытию. В его лице он снова обрел потерянную, было, после трагедии опору и стимул к продолжению жизни. Прочно поставить Санька на ноги, сделать его судьбу счастливой стали теперь для Арсения Ильича целью и смыслом дальнейшего существования. Потому и по инстанциям разным ходил едва ли не с удовольствием.

Интеллигент пересек очередной двор, который заканчивался аркой, соединявшей два старой постройки кирпичных дома. По ту сторону арки оставался еще один двор, упирающийся в здание районной администрации с тыла.

Подходя к арке, Арсений Ильич укоротил шаг, огляделся по сторонам. Ему показалось, что за ним наблюдают. Но двор был пуст.

«Мерещится», — подумал Интеллигент и шагнул под сумрачный свод арки...

А с другой стороны, по двору, выходившему к администрации, скорым шагом к арке направлялся Паштет. Его мутило после вчерашнего продолжительного возлияния, башка гудела и раскальвалась. Он спешил в шинок «поправить здоровье». Паштет уже миновал почти половину двора когда припёрла его еще одна невыносимая напасть, вынудившая изменить первоначальный маршрут: мочевой пузырь вдруг потребовал немедленного освобождения от содергимого. Паштет приостановился, приплясывая на месте, покрутил головой. Лучше всего, конечно, подходила для этого арка, но до нее была едва ли не сотня метров — не добежать. Зато совсем рядом площадка с мусорными контейнерами. Туда Паштет и рванул, не раздумывая.

Он отливал, стоя за бетонным ограждением площадки, и блаженствовал, испытывая нарастающее облегчение. Даже голова, утихомирившись, перестала трещать, как еще пять минут назад. Продолжая процедуру, Паштет не забывал посматривать по сторонам, не видит ли его кто за этим занятием. Нет, никого вокруг. Даже собачников нет.

Паштет удовлетворенно застегнул ширинку — теперь ему сам черт не брат! И тут увидел, как выскочил из арки мужик, оглянулся по сторонам и побежал в его сторону. Паштет резко присел на корточки. Мужик показался знакомым, но издали не разглядеть. Плиты ограждения состыкованы были не плотно, а между двумя средними и вовсе зазор шириной почти в ладонь. Паштет услышал тяжелое дыхание за контейнерами, потом характерный звук металла о металл. Он осторожно прильнул к зазору и увидел... Алхаса, вытирающего руки носовым платком.

Алхас стоял к нему в полуоборота, настороженно озираясь. Из-за контейнера, закрывающего собой щель в ограждении, абхазец Паштета видеть не мог, за то у того не оставалось никаких сомнений, что это именно Алхас. И его запоминающееся лицо с выразительными ореховыми глазами, и волнистая с серебристой проседью шевелюра... Но встречаться сейчас с ним лицом к лицу Паштету совершенно не хотелось. Во-первых, что-то тут не чисто, а во-вторых, он Алхасу еще с начала апреля стольник задолжал.

Задержавшись у контейнеров на несколько мгновений, Алхас, ускоряя шаг, продолжил путь. Высунувшись из-за ограждения, Паштет смотрел ему вслед, пока абхазец не исчез за углом здания администрации. Паштет с облегчением вылез из своего укрытия. «И чего он вылетел, как кипятком ошпаренный?», — подумал, глядя на арку. Нерешительно потоптался возле контейнерной площадки. Однако любопытство взяло верх, и он направился к арке.

После яркого солнечного света, заливавшего двор, здесь поначалу трудно было что увидеть. Но, немного привыкнув, Паштет разглядел буквально в метре от себя лежащего лицом вниз мужика и удивился про себя: «Надо же, с утра пораньше успел в хлам нажраться!» Правда, мужик был вполне прилично одет и не походил на бомжару или горького пропивашку. «Может, бабло какое найдется?» — мелькнула крамольная мысль.

Паштет воровато оглянулся и присел рядом на корточки, собираясь провести ревизию карманов. На спине мужика, обтянутой бежевой ветровкой, расплывалось между лопаток мокрое бурое пятно, от которого по боку лежавшего уходила вниз к земле такая же бурая дорожка. Чтобы удобнее было шмонать, Паштет перевернул мужика на спину и отшатнулся. Безжизненным остекленевшим взором на него смотрел Интеллигент. Паштет часто видел его в «наливайке». А под телом Интеллигента уже скопилась лужа с характерным запахом крови.

Паштет испуганно вскочил. Выглянул наружу. Двор был по-прежнему безлюден. Паштет побежал подальше от жуткого места. Но, несмотря на страх, какая-то неведомая сила задержала его у контейнеров. Он торопливо заглянул в каждый. Так и есть. На дне одного из них, почти пустого, Паштет увидел сверток. Он достал его, развернул окровавленный мужской носовой платок и увидел нож с наборной плексигласовой ручкой, какие ладят втихаря умельцы мест соответствующих. «Алхас сбросил», — решил Паштет, вспомнив металлический звяк упавшего в контейнер предмета. Паштет немного помедлил, не зная, что предпринять, но, увидев вышедшую из подъезда соседнего дома женщину с собачкой, быстро спрятал нож в карман и поспешил убраться от опасного места.

До «наливайки» от администрации минут пять ходу, но Паштет с час еще, наверное, петлял по окрестным улочкам, словно заметая следы, пока не оказался, наконец, в шинке.

— Вот и Паштет явился — не запылился! — отметила факт его появления Лена.

Паштет окинул взглядом помещение. Первый вал «больных» и страждущих уже склонился. Из постоянных клиентов Паштет увидел только Беспалого да Вована, уныло созерцающих дно только что осущенных стаканов.

— Ты чего такой перепуганный, будто тебя кто из-за угла пыльным мешком шарахнул? — спросила Лена.

— А-а!.. — неопределенно протянул Паштет, подавая деньги и боязливо оглядываясь на входную дверь.

Лена налила и поставила стакан на прилавок.

Паштет судорожно вздохнул и попытался поднести его ко рту. Рука ходила ходуном, стакан не слушался. Паштет призвал на помощь другую руку. Расплескивая, кое-как влил в себя содержимое.

— Вижу, дал ты вчера копоти! — сказала Лена, с усмешкой глядя на его страдания.

Паштет молча протянул ей опустевший стакан.

— Понимаю, такой пожар одним махом не затушишь — смеялась Лена.

— Я, может быть, за помин души пью?..

— Чьей души? — улыбка не сходила с лица Лены.

Паштет еще раз оглянулся на дверь, обвел взглядом помещение. Помявшись еще немного, словно обдумывая, говорить ему, или нет, Паштет придинулся вплотную к амбразуре и с хриплой дрожью в голосе громко зашептал:

— Там, Лена, это... Ну... В общем, старика там грохнули. Ножом... в спину...

— Какого старика? Где? — не поняла Лена.

— Да нашего — Интеллигента! В арке за администрацией.

— Чего ты несешь, Паштет! — отшатнулась Лена. — Арсений Ильич вчера часика в три здесь был. Живехонек, здоровехонек!

— Вчера был, а сегодня — уже нет. Там он, под аркой лежит... В луже крови.

— О, господи! — прижала ладони к груди Лена. — Откуда ты это взял?

— Сам видел...

И сотрясаемый нервным ознобом стал рассказывать.

— А вот этим Алхас его и пырнул, а потом в контейнер сбросил...

Паштет достал из накладного кармана широких защитного цвета штанов что-то окровавленный сверток и положил на прилавок.

Лена со страхом смотрела сверток, не решаясь прикоснуться.

— Ну-ка, ну-ка... — стал разворачивать его Беспалый. Они с Вованом давно маячили за спиной Паштета, внимая его рассказу. — Такие лезвия я когда-то и сам знакомым пацанам ковал. Из легированной стали подшипников хорошие лезвия получались.

— Так, может, твой продукт? — сказал Вован.

— Нет, — покачал головой Беспалый, — это с зоны, скорей.

— Выходит, ты единственный свидетель? — спросил Вован теперь уже Паштета.

— Или подозреваемый, — возразил Беспалый.

Паштет только испуганно вжал голову в плечи.

Беспалый аккуратно завернул нож и передал его Лене:

— Спрячь где-нибудь там у себя! — И повернулся к Паштету: — Тебе эту штуку таскать в кармане незачем. Себе дороже будет.

Лена приняла сверток, а, вернувшись, из глубины рабочего помещения уже с пустыми руками, набросилась на Паштета:

— И ты Арсения Ильича так там и бросил лежать?

— А что я должен был делать?

— А ты не знаешь Полицию вызывать, скорую помощь! — всхлипнула Лена.

— Ну, да, полицию... На свою несчастную жопу... — криво усмехнулся Паштет.

У меня и так две ходки и куча приводов. Попадись я на том месте на глаза операм, на меня первого убийство и повесили бы. А мне снова попадать на кичу совсем не в жилу!

— Ладно, вы как хотите, а я пойду туда, — промокая платком заплаканные глаза, решительно сказала Лена. — Технический перерыв!

Вчетвером они вышли на улицу. Лена замкнула «наливайку». Беспалый с Вованом отправились вместе с ней к месту происшествия, а Паштет бочком-бочком подался в обратном направлении.

Едва миновав администрацию, сразу же увидели возле арки небольшую толпу и ускорили шаг. Но спешили напрасно. Труп уже увезли. Следственная группа тоже собралась уезжать, докуривая возле полицейской машины. От зевак узнали, что в арке нашли пожилого мужчину, убитого, как сказал эксперт, всего пару часов назад ударом ножа в спину. Кто и за что убил — неизвестно. Из документов при убитом был только социальный проездной билет на имя Арсения Ильича Чумакова. Шел, видно, по каким-то своим пенсионерским делам в администрацию. Да вот не дошел... У полицейских ни версий, ни свидетелей.

Лена слушала с окаменевшим, ничего не выражавшим лицом. Лишь непроизвольно катившиеся по щекам слезы выдавали ее истинное состояние.

Полицейские закончили перекур. Стоявший ближе к машине взялся за ручку дверцы. Лена очнулась и рванулась к машине. Угадав ее намерение, Беспалый, схватил продавщицу за руку и потянул к себе.

— Куда тебя несет?

— Я должна им все рассказать об Арсении Ильиче, о том, какой это замечательный человек! И об Алхасе. Это же он, он его убил. И я даже знаю, за что...

— Тише ты,тише! — сжал ее руку Беспалый. — И мы знаем. А что толку? Доказательств нет, а домыслы к делу не пришьешь. Так что кто нам поверит?

— Свидетель же есть — Паштет! И нож! — не сдавалась Лена.

— Да Паштет от всего откажется! Ты же видела, как он очкует. Не поймешь, кого больше боится: ментов, тюрьмы, или Алхаса? А о ноже вообще лучше помолчать, пока его следаки уликой против тебя самой не сделали.

Лена, утихомирив свой порыв прерывисто вздохнула. Полицейские уселись в машину и уехали. Толпа стала расходиться. Отправилась обратно со своими провожатыми и Лена.

Суд скорый...

У входа в «наливайку» уже томились с десяток клиентов, недоумевающих, почему закрыт шинок. Увидев Лену, обрадовано загомонили.

Лена возобновила торговлю. Глотая слезы, на автомате наполняла стаканы, подавала желающим пирожки, чебурята, рассчитывала... Клиенты с удивлением посматривали на нее. Некоторые интересовались: что-то случилось? Лена не отвечала. А сама никак не могла поверить в происходящее. Казалось ей: вот сейчас очередной раз откроется входная дверь, появится на пороге Арсений Ильич и с прекраснодушной, как всегда, своей улыбкой направится к амбразуре и для начала непременно скажет несколько приятных душевных слов, от которых потеплеет на сердце.

Время шло к обеду, народ в «наливайку» прибывал. Старпёры в своем углу собирались почти в полном своем обычном составе. Предмет разговора был один: убийство Интеллигента. Уже выпили пару раз за упокой славного мужика и, как сказал Тишайший, настоящего, а не по кликухе лишь, интеллигента, и рассуждали теперь о жестокой несправедливости судьбы.

— А так всегда и бывает, — говорил Алексей Михайлович, — в первую очередь гибнут лучшие — честные, справедливые, душой чистые. А отморозки, отребье всякое живет себе дальше, как ни в чем не бывало. Почему так?

— Потому что говно не тонет, — тут же дал ответ Беспалый.

Стоявший рядом с ним Паштет понуро свесил голову, словно как раз о нем и шла речь. Послонявшись в гнетущем одиночестве по улице, он вернулся в шинок. В компании всё как-то легче.

— Санёк-то, интересно, знает? Они со стариком хорошо дружили. Говорят даже, что он его к себе жить взял, — сказал Вован.

И как накликал. Через минуту Санёк появился в «наливайке».

Безмятежно улыбаясь, он помахал обществу рукой и пошел к амбразуре.

— Нет, не знает, — покачал головой Беспалый.

— Здравствуйте, тетя Лена!

— А, Санёк, привет! — вымученно улыбнулась она в ответ. — Ты как здесь? Вроде бы на работе должен быть.

— Я отпросился на полчасика. Арсений Ильич в администрацию по делам пошел, а справку нужную дома на столе забыл. Позвонил мне по дороге, просил принести прямо в администрацию. Я и помчался. Пришел, а его там нет. У кабинета подождал-подождал — нет! Наверное, думаю, разминулись. Позвонил ему на мобилу — не отзыается. То ли не слышит, то ли зарядка у телефона закончилась. Он сюда не заходил?

— Да нет, Санёк... — едва сдерживала слезы Лена.

— А там, за администрацией во дворе происшествие какое-то. Возле арки народ толпится, машина полицейская, «скорая». Хотелось узнать, да некогда, спешил... Где же мне теперь его искать. Звякну еще. Санёк приложил мобильник к уху, долго вслушивался в трубку, недоуменно положил телефон в карман. — Не отвечает.

— И не ответит, — положил ему руку на плечо подошедший Беспалый. — Никому и никогда Арсений Ильич больше не ответит.

— Почему? — не понял Санёк, скосив глаза на Беспалого.

— А потому, дорогой ты мой, что нет больше Арсения Ильича. Убили его...

Не в силах больше сдерживаться, Лена закрыла лицо передником своего рабочего фартука и глухим протяжным эхом повторила вслед за Беспалым:

— Уби-и-ли-и-и!..

— Как убили? Кого убили? Дедыньку?

— Дедыньку, дедыньку, Арсения Ильича. Как раз под той аркой, где ты толпу видел, и убили. А полиция со «скорой» по его душу и приезжали.

— Но ведь... я же всего часа полтора назад с ним разговаривал по телефону. Жив он был...

— Дурное дело, Санёк, не хитрое, много времени не требует. Сунул перо под ребро и — привет с того света!

Санёк сполз по стенке под прилавок и заплакал. Лена выскочила в зал. Вдвоем с Беспалым они подняли парнишку и отвели в рабочее помещение, усадив на стул в дальнем его углу.

— Как же так случилось, теть Лена? Кто? За что? — всхлипывал Санёк, размазывая слезы рукавом рубашки.

— Я толком не в курсе, Санёк, — утешающее гладила его по голове, как маленького ребенка, Лена. — У Паштета спроси. Он лучше знает. Он в это время там был. Говорит, что это Алхаса рук дело.

— Алхаса?.. — Санёк перестал всхлипывать, задумался, о чем-то вспоминая. — А ведь дедынька Алхаса предупреждал, что знает о его преступлении, и что этого так не оставит. Он сам мне говорил...

— У них и раньше не раз стычки были, — вспомнила Лена. — Вот и отомстил.

— Да он это скорей от испуга, что разоблачат, — возразил Санёк и горестно махнул рукой: — Хотя теперь уж все равно. Нету дедыньки и не вернуть...

Санёк громко застонал, перекосившись лицом, как от приступа дикой зубной боли, и снова заплакал, медленно раскачиваясь на стуле:

— Дедынька-а-а! Как же я теперь без тебя? Куда мне теперь, сироте, податься? В училище обещал устроить, приемышем сделать, одной семьей жить...

А потом случилось невероятное: на пороге «наливайки» нарисовался... Алхас, собственной персоной. Как всегда, сияющий ослепительной улыбкой, разбитной.

— Вот наглец! — удивился Тишайший.

— А таким ссы в глаза — все божья роса! — сказал Беспалый.

— Так может, и не при делах вовсе? — предположил один из старпёров.

— Ладно, сейчас разберемся, — пообещал Беспалый.

— Здорово, мужики! — подошел Алхас к старпёрам.

— Здоровей видали, — ответил за всех Вован.

Порывшись в полиэтиленовом пакете, Алхас извлек бутылку водки, колбасную нарезку.

— Давайте по пять капель!

— Свое есть, — опять же за всех хмуро отказался Вован.

— А чего ты сегодня добрый такой? — поинтересовался Тишайший.

— Да просто... день хороший, настроение...

— А настроение хорошее, потому что беззащитного старика в подворотне пришил, да? — глядя на Алхаса в упор, жестко сказал Беспалый.

Абхазец откачнулся, как от удара (и это не осталось не замеченным), но тут же взял себя в руки.

— Ты чё гонишь? Какого старика?! — возмутился он.

— Да того самого, которого мы тут промеж себя Интеллигентом кликали, — пояснил Вован. — У тебя с ним тёрки были.

— Да с кем их у меня не было. Что такого? Я человек горячий. Ну, цапнулись пару раз. Помню, из-за Юльки он однажды возникал, когда я ей плюху отвесил за то, что обчистила, курва, меня в моей же квартире. Так ведь я в ответ его и пальцем не тронул. Вон Вано свидетель, — мотнул Алхас головой в сторону Битюга, стоявшего за столиком у окна в компании пацанов.

— А День Победы? — напомнил Беспалый.

— Да, поспорили. Обычное дело за выпивкой. Не очень правильно я, наверное, вел себя. Простите, мужики, каюсь, виноват. Но ведь и тогда терками все закончилось. Хотя признаюсь честно: старики мне, не нравился. Но мало ли кто кому не в нюх. Это же не повод для мокрухи, правда?

— Для кого как... — сказал Беспалый. — Сколько вон судебных приговоров выносится с формулировкой: «убил на почве личной неприязни».

— Меньше ящик смотри, — огрызнулся абхазец. — Сдался мне этот дед! В крайнем случае, настучал бы ему «на почве личной неприязни» по фейсу — и все дела...

— Алхас откупорил бутылку, плеснул в стакан и нервно выпил, забыв, что еще несколько минут назад собирался угостить старпёров. — Так что не было у меня абсолютно никаких причин на мокруху, — занюхав выпи тое тыльной стороной ладони, резюмировал Алхас.

— Была, Алхас, была! — подала голос Лена, появляясь в общем зале, держа в руке пластиковый пакет. Из-за ее спины выглядывал заплаканный Санёк. — Давай, Санёк, — отошла Лена немного в сторону, освобождая парнишке место возле себя. — Скажи, что ты слышал от Арсения Ильича?

Санёк глубоко вздохнул, собираясь с духом, шмыгнул носом, и повторил то, что несколько минут назад говорил Лене.

— Девятого мая дедынька пошел сюда с мужиками праздник отметить, а домой вернулся смурной, расстроенный, лица на нем не было. Я спросил, что с ним. И он мне рассказал... Рассказал, как полтора года назад джип прямо на «зебре» сбил насмерть его жену. Он запомнил лицо водителя, а теперь точно уверен, что тем водителем был он, — показал на Алхаса Санёк.

— Так вот о каком джипе упоминал тогда Интеллигент! — вспоминая их застольный разговор на День Победы, сказал Тишайший.

— А еще дедынька рассказывал, что и Алхасу об этом говорил и предупреждал его, что дела так не оставит.

— Какая хренотень! — опять, но еще более преувеличенно возмутился Алхас. — Ничего подобного я от старика никогда не слышал. Ты, пацан, за базар-то отвечай! И вообще, мужики, пока еще соображать можете, прикиньте. Была б на мне кровь, чего бы ради сразу после убийства я сюда приканал?

— А, может быть, таким образом ты, Алхас, себе алиби решил обеспечить? На всякий случай. Мол, во время преступления был в «наливайке», а народ, то есть все мы, свидетель.

— Ну, а что? — пожал плечами абхазец. — Стопроцентное алиби! Там, где, как вы утверждаете, убили старика, меня никто не видел и видеть не мог, потому что не было меня там, зато здесь — вот он я, перед вами, и все вы это засвидетельствуете.

— Никто, говоришь? Свидетелей нет? А ну-ка!.. — Беспалый жестко ткнул култей Паштета в бок: — Расскажи-ка, болезный, дяде, что видел, знаешь.

Паштет испугано взглянул сначала на него, потом на Алхаса, зашарил рукой по столу. Ему подвинули стакан с вином. Осушив его жадными глотками, Паштет, наконец, заговорил:

— Ну, это... Видел я, как ты, Алхас, из арки выскочил и дёру дал, а по пути в мусорный контейнер сверток окровавленный скинул...

В шинке повисла тишина.

— Еще один мудила... — презрительно скривился Алхас. — Не знаю, кого ты там увидел с бодуна, что тебе глюкнуло? Но ни из какой арки я не выскакивал, никуда не бежал и ни в какой контейнер ничего по пути не выбрасывал, тем более какие-то окровавленные свертки.

— Ничего мне не глюкнуло, — обиделся Паштет. — Своими глазами видел.

— Глаза могут подвести, а аргументов у тебя нет, так что... назидательно сказал Алхас.

— Аргументы, говоришь?.. — Беспалый повернулся к все еще стоявшей посреди зала продавщице: — Лена, предъяви, пожалуйста, этому красавцу аргумент!

Лена, будто только и ждала этого момента, запустила руку в пакет и извлекла оттуда что-то завернутое в окровавленный мужской носовой платок. Обернувшись к ней вслед за Беспалым абхазец при виде свертка побелел. Лена развернула платок. Блеснуло лезвие из нержавейки. Заиграла бликами разноцветная наборная ручка. Алхас подался вперед.

— Стой, не дергайся! — осадил его Беспалый.

— Знакомая вещица, — подошел к Лене Битюг. — Помнится, Алхас зимой ты мне уже хвастался этим перышком. Память о зоне, говорил.

— Это не мое, — севшим голосом отказался абхазец.

— Ага, не твое... — не поверил Битюг. — А пальчики-то на ножичке чьи? Ваньки Ветрова?. И кровушка на платочке тоже не куриная. Любая экспертиза в два счета определит, кому что принадлежит. И тогда тебе хана, Алхас. Лет двадцать зону топтать придется.

Абхазец сделал стремительный рывок — старпёры за столиком глазом моргнуть не успели — и в два прыжка оказался возле Битюга. Тот, словно ожидая этого, отступил едва на шаг, и Алхас пролетел мимо, запнувшись мимоходом о ловко подставленную неповоротливым на вид Битюгом подножку.

Алхас грохнулся на пол, но тут же вскочил и, разъяренный, бросился на Битюга.

Массивный Битюг неожиданно легко увернулся и с недобрым ухмылкой спросил:

— У тебя там, Алхас, в кроссовках, под стелькой еще одного ножичка не запрятано?

— Для тебя, Вано, найдется! — в тон ему отвечал Алхас, выбирая позицию и момент для нового броска.

Расставив руки, они кружились друг против друга в этаком борцовском танце и были похожи сейчас на Пересвета и Челубея, предваряющих битву основных сил.

— А мы что тут на это представление любуемся! — гаркнул вдруг Беспалый. — Битюгу что — одному надо? — И шагнул к поединщикам.

Выпito для поднятия тонуса и боевого духа было достаточно, и старпёры ринулись за Беспалым. Выдвинулись от своего столика и пацаны. Битюгу и развернуться как следует не дали. Да оншибко и не старался. Теперь и без него было кому пересчитать кавказцу ребрышки, сделать отбивную по коридору, натянуть ему кое-что кое-куда и так далее и тому подобное. Поэтому Битюг благоразумно отступил, а старпёры с пацанами теперь с упоением метелили «особенного» кавказца. Руками, ногами — чем придется. Алхас вертко вился между ними ужом, и это спасало его. Наконец, в какой-то момент ему удалось вырваться и выбежать на улицу.

Толпа ринулась за ним. Легкий на ногу Вован на крыльце настиг абхазца и изловчился толкнуть его пяткой в поясницу. Не удержавшись, Алхас кубарем покатился по железным ступеням. Он попытался вскочить и бежать дальше, но не смог. Железные ступеньки сделали свое дело: очень чувствительно и травмоопасно прошлись по его костям. Завсегдатаи шинка настигли абхазца и продолжили избиение, которое грозило вот-вот превратиться в убийство.

Шум битвы ворвался и во владения Казахмеда. Из всех дверей «гусеницы» повыскакивали ее обитатели и сразу бросились на выручку земляка. Теперь уже дрались «стенка на стенку». Перевес «наливайки», вершащей свой праведный самосуд становился все ощутимей. Окровавленный, в клочья изорванной рубахе абхазец валялся тут же, под ногами дерущихся, в пыли между крыльцом и входом в пекарню. О него то и дело запинались, в сердцах пинали. Он каждый раз при этом гортанно вскрикивал. И только это говорило о том, что он еще жив.

Но вот поблизости от побоища раздался визг тормозов. Из чрева сверкающего черным лаком навороченного «Лексуса» выскочили двое кавказцев: один — массивный, лет сорока пяти мужчина — сам Казахмед, владелец «гусеницы», другой — молодой и худощавый — его водитель. Увидев на земле Алхаса, Казахмед мгновенно оценил

обстановку. Шепнув что-то водителю, он, не вмешиваясь в драку, стал потихоньку вытаскивать покалеченное, уже почти безжизненное тело двоюродного брата из гущи дерущихся. Водитель тем временем подвел машину вплотную к полю боя, открыл заднюю дверцу и бросился на помощь Казахмеду, который уже практически выволок Алхаса на чистое пространство. Вдвоем они запихали Алхаса на заднее сиденье. «Лексус» задом отъехал от дерущихся, вывернулся на проспект и исчез в густом автомобильном потоке.

И только сейчас разгоряченные завсегдатаи «наливайки» обнаружили пропажу главного виновника.

— Увез, падла!.. Казахмед увез!.. Спрятать решил!.. Братана спасает!.. — наперебой закричали они.

— Пусть спасает! — сказал вновь оказавшийся рядом Битюг. — Алхас теперь, если и выживет, то все равно инвалидом по гроб жизни останется. Тем более что в больничку ему соваться нельзя. Врачи сразу стукнут ментам. Они обязаны сообщать о травмированных и покалеченных в драках.

Битва после этого сама собой заглохла. Бойцы обеих сторон отпыхивались, приводили себя в порядок, морщась от синяков и ссадин, дуя на разбитые костяшки кулаков. И в это время в неширокое пространство между «гусеницей» и общежитием с воем и включеной мигалкой влетел полицейский «УАЗ»ик. Полицию вызвали встревоженные жильцы общаги.

Приехала она, как всегда, «вовремя» — к шапочному разбору. Выяснение подробностей на месте по горячим следам толком ничего не дало. Каждая из сторон напрочь забыла, из-за чего все началось, и вообще по какой причине был сыр-бор. Вроде кто-то кому-то что-то не так сказал, или не так посмотрел. А может, в споре истину не поделили. Тоже бывает. Да чего только не случается в «наливайке»! Но почему русские выясняли отношения не между собой, а с лицами кавказской национальности, удивлялся один из оперов. Может, стычка на межнациональной почве? От этой версии стороны откостились настолько единодушно, словно только что они не расквашивали друг другу носы до кровавых соплей, а нежно обнимались в порыве высоких международных чувств.

— Чего нам делить? — говорили одни.

— Нечего делить? — вторили им другие.

Об Алхасе, которого увез его брат Казахмед, не обмолвились ни те, ни эти.

Квалифицировав инцидент как бытовую пьяную разборку, полиция с чувством выполненного долга покинула место происшествия. Конфликтующие стороны разошлись по своим местам: одни — продолжать работать, другие — искать истину в вине.

— Жаль, что до конца дело не успели довести, — сказал Паштет, окончательно одыбавшийся после опохмелки и драки.

— Ты что имеешь в виду? — спросил Тишайший.

— Да надо было его, как гвоздь в асфальт вколотить!

— Ну, ты и кровожадный!.. — усмехнулся Беспалый.

— Ничё, Паштет, зато все чисто — никакой мокрухи. — сказал Битюг. — А он наши «ласковые» ручки и ножки навсегда запомнит. Только помнить ему осталось недолго. Интеллигента вот жаль очень. Душевный старик был, теплый...

— Дедынька-а-а!.. протяжно застонал Санёк и опустил голову на столешницу.

Битюг утешающе погладил парнишку по спине и посоветовал:

— Ты, Санёк, с дедовой жилплощади сваливай срочно, а то опера нагрянут — заметут, и окажешься главным подозреваемым. Скажут, грохнул деда, чтоб квартирой его завладеть, и хрен отвертишься. — И подтолкнул парнишку к выходу.

А Тишайший тяжело вздохнул, глядя Саньку вслед:

— Снова сиротинушке горе мыкать...

Грешен наш путь

А глубокой ночью того же бурного дня, начавшегося смертью Интеллигента, занялась пожаром «гусеница». Ее легкие, сочлененные в единую, не очень прочную конструкцию, строения пламя слизало в считанные минуты. Поднявшийся ветер очень поспособствовал этому. К приезду пожарных владения Кахамета догорали, и тушить было уже практически нечего. Им осталось только залить окончательно дотлевающее пепелище.

В причинах пожара разбиралось следствие МЧС и УВД. Оба ведомства сходились в одном (были тому убедительные доказательства): поджог. Но чьих рук дело? Кому и зачем это понадобилось? Свет могли бы пролить очевидцы и свидетели происшедшего, но ведь ночь была на дворе, а свидетелей и днем с огнем, часто бывает, не сыскать! Опросили на всякий случай завсегдатаев шинка. Они пожимали плечами в неведении (или изображали его). В короткое замыкание или неосторожно обращение с огнем вслед за пожарными тоже не верили. Зато промеж себя были убеждены, что «красный петух» — это месть, а может, и кара Господня за убитого Интеллигента. Кто поджигатель? Одному Богу и известно. Не исключено даже, что этот самый поджигатель тут же, между ними всеми и трется. А, вообще-то, старались о том не говорить вовсе...

Похороны одинокого Интеллигента взяла на себя Лена. Пожертвовав скопленными на отдых в Греции деньгами, она сделал все, как надо. В последний путь Арсения Ильича провожали из «прощального зала» областной судмедэкспертизы. Народу было совсем немного — всех их можно было каждодневно видеть в «наливайке». Стояли тихо, без разговоров. Все отведенное на прощание время Санёк с Леной неотступно находились по обе стороны гроба, как часовые в торжественном скорбном карауле.

После кладбища отправились в «наливайку». Здесь и помянули (Лена организовала хороший поминальный обед), закрыв заведение на долгий перерыв, узким кругом тех, в ком оставил Арсений Ильич по прозвищу Интеллигент теплый след и добрую память о себе.

Между тем жители общаги, воспользовавшись ситуацией, сразу же после пожара накатали очередное заявление о недопустимости в их здании функционирования питейного заведения — рассадника алкоголизма, безнравственности и криминала, следствием которого, в частности, явился случившийся пожар.

На сей раз реакция последовала незамедлительная. Буквально через неделю после пожара шинок закрыли, обездолив пьющее население почти половины индустриального района.

О пепелище же, напротив, на какое-то время забыли. Сначала люди на остановке общественного транспорта с любопытством разглядывали его, обсуждали подробности, но потом привыкли и перестали обращать внимание. Только бездомные псы из местных подворотен рылись в обгорелых деревяшках и задирали ногу на особенно им понравившиеся. Да заглянул сюда как-то по старой памяти Санёк. Постоял, склонив голову над пепелищем, потом перевел взгляд на знакомое до боли крыльцо, обсаженное прежде, как липучка мухами, весело гомонящими пьяными клиентами шинка, а теперь пустое и чужое, тяжко вздохнул, что-то вспомнив, и пробормотал:

— Истина в вине... И где теперь эта истина?..

Наконец, подкатил однажды к пепелищу юркий механизм — этакий гибрид бульдозера с погрузчиком — и взялся деловито сгребать пепелище. Следом прибыл самосвал. Погрузчиксыпал в него мусор, а народ на остановке любовался его работой. К концу дня от пепелища не осталось и следа. Словно и не было на этом месте никаких пекарен, магазинчиков и точек общепита. Лишь наглухо задраенная мрачная железная дверь, венчающая высокое металлическое крыльцо, беспрепятственно взиравшая теперь на оживленный проспект напоминала людям сведущим и о существовании некогда на первом этаже общежития питейного заведения, и о бурном прошлом этого места.

* * *

Опрятная, ухоженная, со скромной серебристой металлической пирамидкой и невысокой металлической оградкой, могилка эта приткнулась почти к самому кладбищенскому забору. На могильном холмике всегда можно было увидеть наполненный вином стакан, прикрытый ломтиком хлеба, печенье, конфеты. Удивительно, но местные бомжи, охотно удовлетворявшие свои потребности за счет таких ритуальных подношений покойникам, могилу Интеллигента обходили стороной, словно для них, давно уже не имевших за душой ничего святого, она была святым местом.

А на родительские дни собиралась здесь довольно странная разношерстная компания и поминала усопшего. В ней среди помятых с испытыми лицами мужчин разительно выделялась стройная, миловидная, моложавая дама с греческим профилем и аквамариновыми глазами. Она расстилала на могилке скатёрку, выкладывала закуску, разливала в пластмассовые стаканчики спиртное... Хозяйничала, в общем, и командовала. Остальные терпеливо и чинно ждали, пока она закончит хлопоты.

— Ну, кажется, все! — наконец говорила дама, окидывая взором свой рукотворный кладбищенский натюрморт. — И давала команду: — С богом, мужики!

Поднимался худой и долговязый, как жердь, очкастый мужик с седой шкиперской бородкой и стаканом в руке, устремлял взор к небу и покаянно восклицал:

— Прости нас, Господи! Грешен наш путь!

— Грешен, грешен!.. — словно заклинанье повторяя, эхом откликались остальные.

— Так давайте же, братия, помянем душу безгрешную, здесь упокоившуюся!

Аквамариновые глаза дамы наливались слезами...

ПОДРУГИ

Анку-зенитчицу хоронили в разгар бабьего лета. Прозвище это прилепилось к Анне Николаевне Шумиловой, ветерану Великой Отечественной войны, с тех самых пор, когда вернулась она с фронта, где зенитчицей прослужила без малого два года, с сентября 1943-го и до самой Победы, закончив свой боевой путь под Будапештом.

Анна Николаевна ушла в мир иной последней из ветеранов Сосновского района, своей смертью как бы безвозвратно переворачивая его военную страницу. Хоронили ее на кладбище райцентра с почестями, прочувствованными речами, в присутствии районного и даже областного начальства, учителей и старшеклассников местной школы, офицеров дислоцированной неподалеку воинской части. Несколько солдат этой же части, подняв вверх автоматы, салютовали преданной земле Шумиловой тремя залпами.

А неделей раньше похоронили ветерана трудового фронта Маню-большую. На эту неделю как раз Мария Пахомовна Трошина по прозвищу Маня-большая была моложе Анки-зенитчицы. И «большой» окрестили ее, понятное дело, вовсе не по возрастному признаку. Просто рослой, крупной всегда она была с юных лет.

Маню-большую похоронили на заросшем березняком погосте поселка Залесово, где доживала она у младшего сына свою жизнь. Похороны прошли тихо, незаметно. Народ в поселке был сборный, съехавшийся сюда в разное время по разным причинам из разных весей. Кто-то обосновался здесь еще во времена ликвидации «неперспективных» деревень, кто-то появился уже в девяностые, когда деревни российские затрещали от нового, «перестроичного» уже, вала. Залесово повезло. Оно устояло оба раза, каждый раз впитывая в себя все новых поселенцев. Живя обособленно своей переселенческой волной, они обычно мало знали и интересовались теми, кто появился в селе не с ними вместе. Поэтому и смерть совершенно ничем не примечательной, преклонных лет женщины восприняли равнодушно — как дело сугубо семейное ее родственников.

О фронтовичке Шумиловой известно было, конечно, много больше, но тоже не все. И уж совсем мало кто мог догадываться о существовании некой связи, соединяющей судьбы этих двух, умерших почти одновременно, но в разных населенных пунктах женщин. А она, хоть и совершенно незримая многие годы, была...

* * *

...Захар Егорович Плетнев вернулся из райцентра поздно вечером мрачнее тучи. А ведь ехал туда в приподнятом настроении. Дела в колхозе складывались неплохо. Уборка шла полным ходом. Благо и погода не препятствовала. Если не испортится, уложиться можно в срок, а то и раньше. По «повинностям» тоже в целом нормально. И по отработкам, и по сдаче сельхозпродукции. И по налогам — военному да сельхозналогу — задолженностей, можно сказать, нет. Немного похуже с самообложением — не шибко-то колхозники жаждут покупать эти пустые бумажки — облигации. Тем более что и без того разных поборов выше крыши. Но ничего, успокоил сам себя Захар Егорович, подтянемся. Война как-никак, понимать надо...

В райкоме его оптимизм разделили, призвали и дальше так держать, пообещали даже на районную Доску почета повесить. А пока попросили зайти в райвоенкомат — есть там для него новость.

Военкомат находился неподалеку, и через несколько минут Захар Егорович уже открывал кабинет военкома. И здесь председателя колхоза «Приобский коммунар» ждал жестокий сюрприз.

С военкомом, грузным седым подполковником, за время войны Захар Егорович встречался не раз. В основном по одному и тому же — мобилизационному — вопросу. Война, особенно на первых порах, требовала все новых солдат.

Несколько призывных волн прокатилось по Приобскому. И к середине войны немаленько когда-то село заметно поредело, опустело. Мужиков и вовсе едва четверть на все село осталось. Уже и сорокалетних прибрали. Везде теперь бабы ломили: и за себя, и за мужиков своих — у кого геройски бьющих на фронте постылого врага, а у кого уже и навсегда отвоевавшихся, саваном смерти накрытых.

Захар Егорович тоже успел побывать в той мясорубке. Вообще-то по возрасту для призыва он тогда, в ноябре 1941-го, не подходил. Гораздо моложе ребят, чем он, тридцатишестилетний, брали. Но так уж получилось. Сам добровольцем напросился. Казалось ему, колхозному агроному, что без него война никак не может обойтись. В декабре сорок первого он в составе лыжного батальона сформированной в их сибирских краях дивизии оказался в Подмосковье, неподалеку от станции Дорохово. И в первые же дни жестоких боев понял, что война спокойно кладет на свой кровавый жертвенный алтарь тысячи таких, как он, и что некоторым из них и времени-то было отпущено всего на одну атаку, в которой они даже «ура» закричать подчас не успевали.

Плетневу повезло. Он продержался на передовой чуть больше недели и остался жив. Только попал на девятый день фронтовой жизни под минометный обстрел, получил осколочное ранение в ногу и контузию. Потом три с лишним месяца госпиталей и все — отвоевался солдат, комиссован подчистую. Хромай теперь на правую ногу всю оставшуюся жизнь и слушай то усиливающийся, то стихающий, но никогда не затихающий звон в ушах. Даже завалящей медальки на грудь Плетнев за свое короткое пребывание на передовой не схлопотал. Но он и не расстраивался. Жив остался — вот и награда, самая для него большая!

В родное Приобское возвращался Захар Егорович в начале апреля 1942 года. Навигация еще не началась, поэтому добираться от областного центра до своего села пришлось не кратчайшим водным путем, а на перекладных. Сначала на пригородной «передаче», потом до райцентра на грузотакси, а от него и вовсе на попутках по весенней распутице.

Дни стояли погожие. Солнце жадно съедало снег на полях, то тут, то там образуя черные дымящиеся проплешины оттаявшей земли. Машина петляла среди колков. Под колесами грузовика хлюпала полая вода и чавкала жидкая грязь. Плетнев полной грудью радостно вбирал в себя разнообразные запахи весеннего таяния и думал, что скоро, совсем скоро снег сойдет, солнышко подсушит и прогреет землю, и надо будет приниматься за пахоту, а потом и сев. И от этого предвкушения сладко щемило в груди.

Приобское встретило Плетнева траурной вестью. Село только что похоронило своего бессменного колхозного председателя Петра Ивановича Ситного. Он как возглавил десять лет назад только что образовавшийся колхоз «Приобский коммунар», так руководил им все это время. Наверное, продолжал бы и дальше, но подкосила мужика черная беда. Пришли в дом Ситного похоронки на двух его сыновей — Сергея да Дмитрия. Оба, погодки, были его надеждой и гордостью. Учились в институте, приехали в родительский дом на каникулы. Отсюда и в армию их призвали. А вскоре похоронки. Одна за другой... И сердце Петра Ивановича, сумевшее пережить многие тяжелые испытания, выпавшие на его деревню от войны Гражданской и до войны Отечественной, на сей раз не выдержало — разорвал его в клочья обширный инфаркт от свалившегося в однотасье горя.

Без Ситного село тоже осиротело. Он и Приобское были неразделимы. А на носу пахота, сев и разная прочая сельская страда. Как тут без твердой хозяйствской руки. Поэтому

районное начальство приезд Плетнева искренне обрадовал. Уроженец здешних мест, комиссованный подчистую фронтовик, не один год проработавший под началом Ситного, член партии, он был самой подходящей кандидатурой на председательское место. С его появлением кадровый вопрос решался как бы сам собой.

Времени для раскачки не оставалось. Быстроенько провели собрание колхозников. Захара Плетнева знали хорошо — свой, как-никак, Приобский. С Ситным и под Ситным работал хорошо, пусть теперь в свои руки колхозные вожжи берет.

Так и стал Захар Плетенев председателем колхоза «Приобский коммунар» — Захаром Егоровичем. И как из огня да в полымя попал, брошенный в новые, теперь уже трудовые бои. И нет им счета, а ему передышки вот уже полтора года...

...Завидев входящего Плетнева, военком приподнялся из-за обшарпанного канцелярского стола, протянул руку для рукопожатия. Потом коротко вздохнул и через небольшую паузу подвинул Захару Егоровичу какую-то казенную бумагу: — Вот, разнарядка из области пришла. Из твоего колхоза надо человека. Как минимум...

— Как минимум... — эхом отозвался Плетнев. Да где ж я его возьму, этот минимум? — вскинулся он. — У меня и мужиков-то осталось — раз-два и обучелся, да и те калечные да увечные, к службе непригодные. Почитай, из всех уже сусеков война мужиков выбребла.

Военком поморщился, как от зубной боли:

— Знаю. Не хуже тебя. И не ты один такой. Только речь сейчас не о мужиках. О мужиках я бы с вами, председателями, и не разговаривал сейчас. Прислал бы повестку на Иванова, Петрова или Сидоров и — шабаш! В том-то и закавыка, что не мужики... Девки нужны... Призывного возраста.

Плетнев охнул и мотнул головой:

— Уже и до баб, девок даже добрались. Кто ж тогда у нас тут останется? С кем работать будем, пока девки наши в пехоте?..

— Да хватит причитать, и без тебя тошно! И какая там пехота? Зенитчицами девки будут служить. Подразделение зенитчиц у нас в области формируется. Вот и собираем с бору по сосенке — с каждой деревни по одной ли, две. Да с пяток в райцентре найдем. Так, глядишь, на взвод и наскребем, как требуют. Понял?

— А, хрен редьки не слаше — зенитчицы, пехотинцы! — махнул рукой Захар Егорович.

— Не скажи, — не согласился военком. — С винтовкой по полю под огнем бегать хуже, поди, будет. Сам знаешь. При зенитке-то куда больше шансов целым оставаться. Так что... В общем, давай, Захар Егорович! Срок тебе — до послезавтра.

* * *

Жена собрала Захару Егоровичу поесть, а ему, несмотря на то, что целый день крошки во рту не было, кусок не лез в горло. Озадачил его военком, так озадачил.

Захар Егорович вяло похлебал щей, отложил ложку и, подперев голову кулаком, стал перебирать потенциальных кандидатов для очередной, но такой непохожей на прошлые, мобилизации. Сейчас он чувствовал себя в положении тех персонажей из сказки, которые вынуждены, чтобы задобрить кровожадного дракона, отдавать ему на заклание каждую неделю нескольких девушек.

— Уже и до девок добрались... Что дальше-то будет?.. За детей примемся?.. — глухо бормотал Плетнев, даже не замечая, что говорит вслух.

— Что ты там бубнишь, Захар? — остановилась рядом жена. — Пришел какой-то смурной, бубнишь...

— А!.. — отмахнулся Захар Егорович и выложил ей все, как есть. От жены у него секретов не было.

— Господи, да что же это делается! — вскрикнула жена. — Мало того, что девки и так уже с четырнадцати-пятнадцати годов вместе со взрослыми бабами, как лошади ломят, так еще и...

— Не причитай! — совсем как военком его недавно, осадил Плетнев супругу. — Приказы не обсуждаются.

— Ну, и кому такое счастье привалит? — спросила жена.

— Буду думать.

Думал Захар Егорович всю ночь. Не спал, ворочался, вздыхал. Вставал с постели, дымил возле дверного косяка самокруткой, пил из бачка воду, снова ложился.

Призывного возраста девок в наличии на данный момент в деревне было только две: Аня Шумилова и Маша Жукова по прозвищу Маня-большая. Обеим по девятнадцать, и разница в возрасте между ними всего неделя.

Жили они по соседству, и были подружками с детства «не разлей вода». Смотрелись, правда, вместе диковато. Маня была на голову выше подруги, здоровее. К совершеннолетию ее тело налилось уже не женской силой, и даже мужики Маню побаивались. Аня на ее фоне смотрелась хрупкой тростиночкой, но характером отличалась крепким и потому верховодила в их дружеской связке, подчас просто помыкая послушной, терпеливой и незлобивой Маней. Они и лицом различались как небо и земля. Пышноволосая, караглазая, с тонкими аккуратными чертами миловидная брюнетка Аня и простоволосая, с крупной лепки лицом, носом-картошкой и губами-варениками Маня.

Когда настала пора девичества, симпатичная, бойкая Шумилова и тут была на первых ролях — парни роились вокруг нее, а «коломенская верста» Маня лишь одиноко и уныло подпирала какую-нибудь березу по краю танцевального пятака-«тырла» на деревенских вечерках, любяясь, как отплясывает под гармошку ее подружка с очередным парнишонкой, потаенно вздыхая, что ей это, наверное, и не светит.

Но потом началась война. Как-то быстро и незаметно вымела она с деревенских улиц почти всех молодых парней. Заглохли вечерки с заливистой гармошкой, стало подергиваться бурьяном утоптанное нескончаемой дробью молодых пяток «тырло». Девкам и молодым бабам танцевать друг с другом быстро надоело. Да и времени уже не доставало. Нескончаемая работа выкручивала тела, как старательная прачка белье, не оставляя ничего, кроме усталости.

И чем больше забирала война мужиков, тем больше наваливалось этой работы на женскую половину, которая к середине войны с полным на то основанием могла сказать о себе словами известной поговорки: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик».

Правда, относилось это скорее к Мане-большой, которая и скотника на ферме заменяла, и на лесосеке, если требовалось, и разную другую мужицкую работу делала.

Хрупкая Аня трудилась в основном в конторе, помогала председателю, будучи и за счетовода, и за учетчика, и за секретаря. Девка она была смышленая, в руках у нее все горело. Она освобождала Плетнева от бумажной волокиты и писанины, и уже за одно это он ее ценил.

...В общем, думал Захар Егорович, крепко думал. От дум этих разламывалась голова, и звон в ушах становился пронзительно-нестерпимым.

Конечно, солдат из Мани вышел бы, пожалуй, лучше не придумаешь. И здоровье, и силушка при ней — сама может за собой зенитку вместо лошади или полуторки волочь. И командирские приказы будет беспрекословно выполнять. Нюрка — та норовистей, уросливей, да и здоровьишко, конечно спроть Маньки не то.

Имелось, однако, серьезное «но». Маня была четверной по счету, самой младшей и единственной девкой в семье Пахома Жукова. Самого его и всех троих, еще не успевших обзавестись семьями сыновей войны уже забрала на свое ристалище. И сделала жертвами, давая о том знать стремительно пустеющее семейное гнездо Жуковых ядовитыми стрелами похоронок. Совсем скоро Маня осталась одна с разбитой от горя матерью на руках. Отправить на фронт Маню? Но что станется, если слепой рок приберет там и ее? А

то и становится, что закончится на ней, не успевшей ни полюбить, ни произвести потомство, род Жуковых — славных работящих людей, крестьян высшей пробы, без которых и жизнь-то в деревне трудно себе представить.

У Шумиловых тоже четверо детей, но все девки, и Аня старшая. Если и погибнет, не дай бог, все равно останется, кому род продолжить...

Только вот как он, Захар Плетнев, потом будет родне в глаза смотреть, ежели вдруг Нюрку убьют или покалечат? Не чужая, чать, — племянница, родной сестры дочь. В том и дело...

Потому и пухла у Захара Егоровича голова, и чувствовал он себя между молотом и наковальней.

Чуть свет Плетнев уже был на ногах. Без аппетита похлебал вчераших щей с полузасохшим ржаным ломтем. Стал натягивать сапоги, собираясь уходить.

— Что надумал-то? — спросила жена, убирая посуду.

— Всяко крутил...

— Ну!..

— Вот и выходит по всему, что Нюрке жребий выпадает.

Жена охнула, опустилась на табуретку, покачала головой:

— Ой, Захарушка, не сносить тебе тогда головы. Сеструха-то твоя, Катька, ни в жизнь этого не простит, смертным врагом станешь.

— А по другому мне люди и совесть не простят.

Плетнев, пригнув под притолокой голову, вышел. Через несколько шагов остановился в нерешительности. Идти в правление, а уж потом, когда все отправятся по своим рабочим местам, Катьку притормозить и поговорить, или пойти к ним прямо сейчас? Не любил он ничего откладывать на потом, но тут...

Ноги сами понесли его к правлению.

Колхозная контора уже сколько лет — с тех пор, как раскулачили Семена Выжинига — размещалась в его просторном крестовом доме с большим навесом на резных балясинах над крыльцом, с перил которого до войны по утрам грозьями свисали мужики, нещадно дымя самокрутками перед тем, как разойтись по рабочим местам. Здесь обсуждали международную обстановку, дела в стране, ну, и конечно, в родной деревне. Нет уже на свете многих из тех мужиков — повыбила война. А бабы только коротко, со всхлипом вздыхают, спускаясь с крыльца, вспоминая то каждодневное мужицкое «вече».

Плетнев толкнул входную дверь, переступил порог. Услышал, как гремит ведром Варвара, вечно хмурая бесцветная и без возраста баба. Она приходила раньше всех мыть полы. Увидев председателя, Варвара разогнулась, чтобы поздороваться, и снова взялась за тряпку.

Захар Егорович прошел в просторную комнату. Когда-то в хозяйственном доме она была залой. Ныне сюда собирались по утрам на наряд. Здесь же при надобности Плетнев и правление собирал. В правом углу стоял у окна хоть и облезлый, но все еще крепкий канцелярский стол, которым обзавелся в свое время по какой-то оказии в райцентре Ситный. Здесь и был председательский уголок Плетнева. Сзади ему в затылок строго смотрел с портрета над головой товарищ Сталин. От его тяжелого сверлящего взгляда Плетневу всегда становилось не по себе, и он по возможности старался не задерживаться на своем, как иногда ему мнилось, лобном месте. Благо зоркий председательский глаз требовался во всех уголках колхозного хозяйства.

К письменному столу были придвинуты две табуретки — для посетителей, в первую очередь для заезжего начальства. Располагались они точно напротив портрета, и товарищ Сталин с сидящих на табуретках тоже не спускал суровых глаз. К стенам комнаты жались длинные некрашеные скамьи, отполированные седалищами колхозников. На столе, кроме облупленной деревянной карандашницы с несколькими графитными огрызками, пусто, как на предзимнем поле, с которого свезли на ферму последнюю солому. Пусто, если не считать лавок, и в комнате. Обстановка, под стать самому вождю, сурово-аскетическая.

Плетнев тяжело вздохнул — и как же ему объяснить родной сестре, что он вот родную племянницу...

Начал подтягиваться «командный состав». Лица и голоса в основном бабы, только успевшие по-мужицки огрубеть. Разговоры, правда, все же не мужицкие. Баба, как ни крути, в любом случае баба.

Плетнев распределил дневные задания. Колхозники потянулись к выходу.

— Катерина, подожди! — придержал Захар Егорович уже собиравшуюся переступить порог сестры.

Она удивленно оглянулась, пошла обратно. Полным именем, брат называл ее очень редко.

— Чего, Захар?

И не знал Захар Егорович, как объяснить сестре ситуацию...

— В общем, тут такое дело, Катерина... Анну твою в армию призывают... — бухнул он, словно раскаленный булыжник в кадку с водой бросил.

Сестра непонимающе уставилась на него, переваривая услышанное.

— Ты что несешь-то? Какая армия? Она ж — девка!

— Вот и до девок добрались, — сокрущенно вздохнул Плетнев.

— Ничо не понимаю — буровит, что попало...

Плетнев отчаянно махнул рукой и только что не перекрестился, словно решаясь нырять в ледяную прорубь.

— Дело такое... — повторил он и рассказал про разнарядку военкомата.

— Ну, так чо, — поняв, наконец, о чем речь, сказала сестра, — а причем здесь Нюрка? Ей отдельную повестку прислали?

— Нет, не отдельную. Но у нас всего две девки призывного возраста: Аня вот твоя и Маня Жукова.

— Вот Маньку и посытай. Она вон лошадь какая! Сам бог велел...

— Не гневи бога, Катерина! — посурорвал Плетнев. — Жуковы и так уже все, что могли, войне отдали — четверо домой не вернулись. Манька последняя из детей осталась.

— О Жуковых печешься, а о своей родне подумал? Родную племянницу на смерть посылаешь! — всхлипнула сестра.

— На службу, Катерина, на службу, — поморщился Захар Егорович. А служба разная бывает. И призывают девок не в пехоту, а в зенитчицы.

— Да какая разница! — махнула в сердцах рукой Катерина. — Везде убить могут.

— Могут, — согласился Плетнев. — Только в пехоте шансов гораздо больше быть убитым.

— Вот и посытай свою Маньку!.

— Ну, я ж тебе объяснял... — прислушиваясь к нарастающему шуму и звону в ушах, сказал Плетнев. — Несправедливо будет.

— А меня, сестру твою, обездоливать справедливо? С тремя детьми на руках оставлять — справедливо?

— Мать поможет, она еще бодренькая, мы с Леной поможем.

— У Маньки тоже мать есть.

— Да больная она совсем! После смерти Пахома и сынов ее вон всю разбило. Сейчас хоть Манька за ней ходит, а ее не будет?..

— Уж то не моя печаль, — недобро усмехнулась Катерина и вдруг, почти до визга взвинтив свой голос, заверещала: — А я свою кровиночку на бойню не отдам!!! Не для того ростила!...

Сестра кричала что-то еще, уже не выбирая выражений, но Плетнев слов ее не различал — шум и звон в ушах становились нестерпимыми. Он мотал головой, отгоняя их и вопли сестры.

В дверях возникла перепуганная Аня, схватила мать за плечи, пытаясь унять ее и успокоить. Но Катерина билась в истерике, и дочери вместе с Варварой стоило больших трудов увести ее из правления.

Шила в мешке не утаишь. Вестей в деревне — тем более. По Приобскому стаю воронья разлетелись слухи. Слухи были разные, но в основном сходились во мнении, что между братом и сестрой пробежала черная кошка раздора. То ли Катяка Шумилова отказалась выполнять какое-то председательское распоряжение, то ли покусилась на колхозное добро, а он ее застукал... По утверждению других, Анька сама во всем виновата — дерзила дяде-председателю (ей ведь тоже, как и мамке, палец в рот не клади!). В общем, по той ли, другой или еще какой причине, озлился на них Плетнев и в отместку упросил районного военкома — «подмазав», конечно — выписать повестку на Аньку...

Про Маню-большую никто и не заикался, потому что об истинной сути конфликта попросту не догадывались. Прежде всего, и сама Маня, которая, заменяя на ферме сразу двух ушедших на фронт скотников, занималась привычным делом: раскидывала вилами перед коровьими мордами сено, убирала навоз...

Плетнев ходил, припадая на правую раненую ногу привычными маршрутами по каждодневным своим председательским делам, появляясь то на ферме, то на току, и словно тяжеленный камень на себе волок. Жалко было Аню. Родная душа. Хоть и нешибко он ладил с сестрой, но племянницу любил и, как мог, оберегал. Потому и в конторе держал. А теперь, выходит, снял с нее свой оберег?

Может, правда, — Маньку? Ну, в конце концов, какое ему дело до Жуковых. Своя рубашка, известно, ближе к телу. «Только как бы потом рубашечка эта на всю оставшуюся жизнь в колючую власяницу не превратилась», — подумал Захар Егорович и увидел их всех — Жуковых, живых еще,войной не прибранных.

Хорошее было семейство: дружное, работящее, отзывчивое, душой к людям распахнутое.

Взять Пахома Митрофановича, главу семейства — колхозного кузнеца и мастера на все руки. Что угодно мог выковать и изладить — от простого кухонного ножа до узорчатого трехрежкового подсвечника, какой преподнес он однажды на юбилей Ситному. Видный был мужик, рослый, силищи невероятной. Не красавец. Но незатейливой простоты грубоватое его лицо с крупными чертами и синими глазами (Маня сильно на него похожа) всегда лучилось таким заразительным природным мужским обаянием, что бабы заглядывались на Пахома Митрофановича даже когда шагнул он далеко за грань своей молодости.

Жениться Пахом мог бы, наверное, на любой окрестной красавице, но выбрал жившую неподалеку от их кузни Авдотью Кулакову — невысокую, простоволосую, ничем внешне не примечательную девушку, которая, по мнению многих односельчан, была ему не пара. Но парой они оказались, как раз, замечательной. Словно на их примере бог вознамерился показать другим, какой должна быть настоящая семья.

Никто не знает — не слышал, говорили ли они когда-нибудь друг другу нежные ласковые слова (от громадного, как сарай, Пахома их и слышать-то было бы как-то странно), но и ругани, даже обычной семейной перебранки отсюда не доносилось. Ну, а лучшим свидетельством тому, что существовала меж ними любовь, пусть для постороннего глаза и малозаметная, однако нерасторжимо связующая их, были дети Пахома и Авдотьи: три сына-погодка и дочь, в которых родители души не чаяли, хотя и держали строго, лишних вольностей не позволяя.

Плетнев рано остался без отца. Ему едва пять исполнилось, а Катюхе — семь, когда тот, переходя Обь по апрельскому льду, провалился в полынью и навсегда исчез в мутной вешней воде. Мать замуж больше не вышла, и Захар дальше рос уже без мужского в доме присутствия, чего ему явно недоставало. Может быть, поэтому, став больше, Захар зачастил в кузницу Пахома. Тихонько стоял у стеночки, слушал перезвон молотков, которыми кузнец играючи плющил на наковальне раскаленные докрасна железяки, и ему

было хорошо здесь, рядом с этим дядькой. Не отрываясь от работы, Пахом изредка взглядал на парнишку, весело подмигивал ему, и Захара, словно из горна кузнечного, обдавало сладким жаром.

Когда Захар подрос настолько, что уже мог держать в руках небольшой молот, Пахом давал ему попробовать себя в роли молотобойца. Захара после такого доверия распирало от гордости.

Поляна возле кузницы была любимым местом игр братьев Жуковых. Летом они пропадали здесь чуть ли не целыми днями. Захар был заметно старше их, но с удовольствием возился с ними. А они ходили за ним буквально по пятам, как цыплята.

Потом Плетнев на время расстался с селом. Призвали на военную службу. После демобилизации пошел в сельскохозяйственный техникум, на агронома учиться. Когда вернулся в село, братьев Жуковых едва узнал: подросли, вытянулись, старший уже семилетку заканчивал, отцу в кузнице помогал.

Уже став председателем, Захар Егорович Жуковых и на фронт провожал. Сначала братьев, потом и самого Пахома Митрофановича. В том же порядке со временем и похоронки на них стали приходить...

На Авдотью сейчас больно глянуть. И раньше-то не ахти какого телосложения, теперь и вовсе высохла, закаменела, а глаза до краев наполнились смертной тоской. Как она вообще смогла все это пережить, поражался Плетнев. Авдотья практически не ходила — либо сидела на старом диване с высокой спинкой, увенчанной продолговатым зеркалом, либо на нем же лежала. За пределами дома ее уже давно никто не видел. Мане приходилось и кормить мать, как малое дитя, с ложечки, и убирать за ней.

И если, не дай бог, война приберет еще и Маню...

Захар Егорыч помотал головой, словно отгоняя страшное видение. Нет, не мог он Маню отправить, не мог! Не мог собственной рукой подвести черту под родом Жуковых.

И снова вспомнился ему Пахом Митрофанович. В минуты отдыха устраивался он поудобнее на толстенном бревне, приваленном к стене кузницы, сворачивал из пожелтевшего газетного клочка цигарку с мелко нарубленным самосадом, блаженно затягивался и, выпуская сизый табачный дым, расслабленно наблюдал возню сыновей тут же, на лужайке. Потом рассеянный взгляд его устремлялся дальше, туда, где в низинке, чуть в стороне от согры поблескивало небольшое озерцо, куда они Захар с братьями Жуковыми ходили удить карасей. Что видел там кузнец, чему так светло улыбался? Этого юный Захар знать не мог. Да и не задумывался тогда. Просто и ему тоже становилось хорошо и светло. Он подсаживался к Пахому Митрофановичу. Тот приобнимал его, и они еще минут десять сидели так — то молча, то заводя какой-нибудь разговор.

О чем говорили, Плетнев сейчас уже не помнил. Вспомнилось только, спросил однажды:

— Дядя Пахом, а что в жизни самое главное?

Он недавно стал комсомольцем, идейно подковывался, и вопросы, касающиеся смысла бытия и целей человеческой жизни, серьезно волновали его юную душу. Захар, конечно, знал уже, что для комсомольца главное — быть верным помощником старшего собрата-коммуниста во всех его замечательных делах во благо трудового народа. Но вот сидит рядом с ним сам «трудовой народ» в лице сельского пролетария кузнеца Пахома и что по этому поводу думает он?

— Самое главное? — удивленно посмотрел на Захара кузнец и задумался. Между пальцев его потрескивала тлеющая цигарка. — Народ — он разный... — отозвался наконец Пахом Митрофанович. И, наверное, у каждого свое «главное». По мне же, Захарушка, главное — справедливость. Вот возьмем двух мужиков. Общее дело им поручено. Один хорошо работает, старательно, а другой спустя рукава, лодырничает. Пришла пора им за труды их воздавать. Кому сколько? Лодырь орет: мы вместе кажиились, потому поровну надо!

— Ну, уж! — возмутился Захар.

— Вот и я о том же, — согласился кузнец. — Ежели по справедливости, то и возьми сколько всамделе заработал. Как потопал, так и полопал. И так, Захарушка, во всем. По заслугам и деяниям должно воздаваться. Тогда, я думаю, не только лодырей и захребетников не будет, но и без вины виноватых. Справедливый человек не только не станет гнобить другого, выезжать на нем, но и сам тому в случае чего воспротивится. Вон и революцию за ради справедливости делали — чтобы один не угнетал, не унижал другого. А еще справедливый человек будет поступать только по совести, а не по корысти и не по прихоти — своей ли, чьей ли.

Знать, крепко засел в Плетневе тот давний разговор, если спустя столько времени вспомнился. И не просто ведь вспомнился. Слова кузнеца прочно сидели в нем все эти годы, как бы незримым внутренним ориентиром для него были. По справедливости и жить старался.

…Пахом Жуков и еще двое таких же немолодых мужиков отправлялись в райцентр на сборный пункт снежным зимним утром еще затемно. Распрощавшись с родными, мужики повалились на сено в розвальни, и снег прощально заскрипел под деревянными полозьями. Плетнев сам повез их в Сосновку. В райцентре, прощаясь, Пахом Митрофанович сказал с грустной улыбкой:

— Вот и наш черед, Захарушка, пришел за справедливость биться. Но мы ее отстоим — право слово, отстоим!..

«Ну, и какую же справедливость сейчас отстаиваешь ты?» — услышал внутри себя Захар Егорович вопрошающий голос.

— Какую… — хмуро пробормотал Плетнев. — Нешто их много и все разные — на любой цвет и вкус? Ладно! — решительно тряхнул он головой и, словно завершая разговор с внутренним голосом, сказал: — На том и порешим…

Захваченный своими раздумьями Захар Егорович и не заметил, как снова оказался возле правления. Он поднялся на пустое в разгар рабочего дня крыльце, и вдруг ему подумалось, а почему этот заковыристый вопрос он должен решать единолично. Почему бы и с правлением не посоветоваться. Девки-то ведь свои, колхозные, полноправные члены коллектива. Пусть коллектив тоже голову поломает. А когда коллективное решение примут, тогда и в предвзятости его ни к одной стороне, ни к другой никто не обвинит.

Плетнев быстро прошел в избу, вырвал из амбарной книги сдвоенный лист и, несколько минут слюняв химический карандаш, старательно, как школьник на уроке чистописания, выводил слова объявления. Руки от волнения тряслись. Буквы получались неровными, строки кривыми. Можно было бы поручить написать объявление Аньке — вон она, за стенкой сидит. У нее бы хорошо и красиво получилось. Но ей-то как раз и никак нельзя. «Сегодня в 8 вечера состоится заседание Правления колхоза «Приморский коммунар», выводил председатель химическим карандашом. Повестка…» В этом месте Плетнев долго не мог сообразить, как эту самую повестку половчее обозначить. Ничего не придумал, приписал: «Внеочередной срочный вопрос».

Осилив, наконец, непривычное дело, взял кнопки и повесил объявление на входной двери. И удовлетворенно сам себе сказал:

— Как люди скажут, так и будет.

Остаток рабочего дня Плетнев старался обходить колхозную контору стороной, чтобы избегать лишних досужих расспросов. А когда вернулся к назенненному времени к конторской избе, чуть не выронил трость от удивления — она была забита людьми. Вместо несколько членов правления собралось здесь чуть ли не полдеревни. Словно собирали он не правление, а общее колхозное собрание. И на крыльце и вокруг было не протолкнуться. Толпа гудела, как растревоженный улей. Увидев Плетнева, народ притих, стал расступаться, освобождая дорогу председателю.

«А может, так оно даже и лучше? — подумал Захар Егорович, пробираясь к своему председательскому уголку. — Как ни крути, а общее собрание — высший орган колхозной власти, за ним всегда окончательное слово».

Когда Плетнев занял за столом свое место, народ притих. Сбоку, по правую руку от него пристроилась Аня Шумилова, аккуратно разложив перед собой чернильницу, ручку со стальным перышком, раскрытою на чистой странице общую тетрадку, куда записывала протоколы всех собраний правления. Плетнев покосился на племянницу — всегда у нее с бумагами полный порядок, и подумал, как он без нее будет. И еще вдруг пришло в голову: а чего же она тут сидит-то? Речь ведь про нее пойдет. Как же он об этом раньше не подумал. Но сейчас предпринимать что-то было уже поздно. Да и кто лучше нее все это запишет?..

Плетнев встал, откашлялся.

— На повестке у нас сегодня вопрос мобилизационный, — сказал он. Вздохнул и продолжил: — А ситуация, значит, следующая...

Пока председатель говорил, тишина стояла такая, что было слышно, как скрипит, скользя по бумаге, у Аниной ручки стальное перышко.

— ...Так вот, товарищи, встает теперь перед нами задача, кого же выбрать из этих двух девчат-ровесниц для отправки... — Захар Егорович, поперхнулся, не решаясь продолжить словами «отправки на фронт», секунды две-три прочищал горло, наконец закончил фразу, в другом уже варианте: — для прохождения военной службы в рядах Красной Армии.

— Дак, наверное, Маня-большая лучше для армии-то сгодится. Она поздоровше Аньки будет, — услышал Плетнев голос одного из членов правления.

— Она и здесь нам прекрасно сгодится, — не согласился другой. — За двух мужиков ломит, будь здоров!

— Так ить и Анька у нас тут тоже при деле, — заметил притулившийся на лавке в дальнем углу Тимофей Бастрыкин, старый колхозный конюх. — Без нее председатель наш в бумажках утопнет.

— Я тоже сначала про Марию Жукову подумал, — признался Плетнев. — Но дело, товарищи вот еще в чем...

Аня записывала, низко склонившись к тетрадке. Головы почти не поднимала. Но было заметно, что она волнуется. И чем дальше, тем сильнее.

— Война проклятая много наших колхозных мужиков выкосила. Вечная им память. Но семье Пахома Жукова, думаю, поболее других досталось. И сам Пахом Митрофанович, и три сына его головы свои сложили... Авдотью Жукову от такой горести парализовало. Так вот, если мы еще и Маню в армию отправим, то баба совсем одна останется — неходячая. А уж не дай бог с девкой случится что — не вынесет Авдотья, нет, не вынесет! И еще... — Плетнев снова прочистил горло, но голос все равно оставался глухим и сиплым. — Маня у Жуковых — последыш, а теперь вот, получается, и последний живой в этой семье ребенок. Ни перед ней, ни за ней — уже никого. И когда вдруг убьют и ее, родовая ветвь Пахома Жукова отомрет тоже. Потому что некому будет ее продолжать.

— Ну, да, а у Шумловых одни девки, и Анька старшая, — подхватила мысль Плетнева какая-то из баб, толпившихся в дверях.

— Да, вот такой расклад, товарищи колхозники. И я прошу вас сообща подумать, как нам в этой ситуации поступить. Чтоб было по справедливости.

Захар Егорович опустился на свое место, покосился на Аню. Она сидела пунцовая, по-прежнему не отрывая глаз от тетради.

— Захар Егорыч, — подала голос расположившаяся по левую сторону стола, как раз напротив Ани, бригадир животноводов и тоже член правления Валентина Мотяшова. Женщина средних лет с одутловатым лицом и не то простуженным, не то прокуренным голосом, выделялась она среди местных баб тем, что в любое время года ходила в армейских галифе и сапогах. Достались они ей от покойного мужа, скончавшегося от фронтовых ран в областном госпитале, и носила она их, полагали в деревне, как бы в память о нем. — А ведь Анька родственница твоя. Не жалко?

— Жалко, очень даже. Только родственность — не аргумент, когда мы хотим по справедливости...

— Ой-ей, справедливец хренов! — взвизгнула Ккатерина Шумилова и стала пробираться от дверного косяка, который она подпирала, к председательскому столу. Лицо ее гневно перекосилось. — А ты подумал, что если Аньку заберут, у меня еще трое на руках останутся. Как я с ними? Я ведь цельными днями на работе, как белка в колесе, кручусь. Так хоть Анька помогала, а без нее как я буду?

— Да так же, как и все, — ответила за председателя Мотяшова. — Все бабы робют с темна до темна, и дети у всех, и без мужиков большинство живут. Тебя-то, Катька, горе еще стороной обошло. И ведь никто не верещит, а похлеще тебя крутятся.

— Я многодетная вдова, — опять завела свое Шумилова. — У меня дети малые...

И бабы всколыхнулись, загомонили наперебой:

— Какая ты вдова? Ты — брошенка!

— Твоим малым детям — десять, одиннадцать да двенадцать годов. Им пора в колхозе старшим помогать, а не лодыря гонять.

— Да она и сама на колхозной работе не горит.

— И даже не шает...

Недолюбливали, если не хуже того, в деревне Ккатерину Шумилову. Языкастая, злословная и вздорная была бабенка. Во всём и всем поперечная сама, поперек себя слова не допускала — отбрехивалась со злостью цепной собаки. Потому, наверное, и мужики рядом с ней не держались. Четверо их у нее было. От каждого по ребенку осталось — на память. Сами же — растворились, исчезли бесследно. А ведь и мужики-то, помнят сельчане, были нормальные: работящие, не запивающиеся. Ну, так при такой стервозности кто же выдержит? С Шумиловой и работать-то рядом мало кому хотелось. Чуть что — крик, скандал. Только Мотяшовой и удавалось ее обратно «в оглобли» ставить. Работала так себе, а отношения требовала, ровно ударницей была. А как же — ведь не кто-нибудь она, а родная сестра председателя. Хотя и Плетневу от нее тоже не раз «по-родственному» доставалось.

Шумилова примолкла.

В канторе тоже на несколько мгновений воцарилась тишина. Потом поднялась Мотяшова.

— Так вот, ежели по справедливости, то я председателя поддерживаю. Жуковых трогать нельзя — там и так все горем залито. Ну а Аня... девка она боевая, грамотная. Надеюсь, и на фронте наш колхоз не посрамит. Я так думаю.

Мотяшова села.

— Какие еще будут мнения?

Зашелестели по зале вполушеёют разговоры. Но ненадолго. Снова послышался голос Тимофея Бастрыкина:

— Так каки ишио мнения, коли решать по справедливости. Неча полусту хвосты накручивать, давай голосовать.

— Ну, тогда, — едва скрывая радость оттого, что подходит конец этому тяжелому болезненному разговору, — голосуем, — сказал Плетнев. — Кто за то, чтобы рекомендовать для прохождения военной службы в рядах Красной Армии Марию Жукову?

Напряженная тишина в ответ. Перышко Ани Шумиловой вопросительно зависло над тетрадью.

— Никого, — тихо констатировал Плетнев и, повысив голос: — Кто против?

Лес рук.

— Воздержавшиеся?

Нашлись и такие — двое.

— Ну, вот, теперь, кажется, все ясно, — сказала Мотяшова.

— Нет, Валентина Семеновна, давайте уж доведем процедуру до конца, — возразил Захар Егорович и повернулся к собранию:

— А теперь, товарищи, кто за то, чтобы рекомендовать для прохождения военной службы в рядах Красной Армии Анну Шумилову?

И снова лес рук.

— Кто против?

— Я против, я-я-я! — пронзительно закричала Шумилова-старшая.

Аня Шумилова, словно подхлестнутая пастушьим бичом, вдруг швырнула на стол ручку, сорвалась со своего места и, закрыв лицо руками, ринулась к двери. Никто не удерживал ее. Народ молча освобождал ей путь к выходу. А Плетнев еще раз пожалел, что допустил Анино присутствие на собрании.

— Не пущу, не отдам свою кровиночку на растерзание! — исходила криком Катерина. — Хоть что со мной делайте, не отдам!..

— Куда ты денешься? — сказал кто-то и словно керосина в огонь плеснул. Катерина заблажила с новой силой.

— Куда денуся? Денуся! И — вот вам всем! — выкинула она сначала в сторону председательского стола, а потом, развернувшись, и остального собрания руку с кукишем.

— Хрен вам на рыло, а не доченьку мою ненаглядную! Я ее так сховаю, что и не найдете никогда...

— А вот за это, — сурово перебил Шумилову, молчавший до сих пор Петр Васильевич Шерстобитов, уполномоченный их, Мокрушинского, сельсовета, куда, кроме «Приобского коммунара», входило еще пять колхозов, — по законам военного времени вы обе можете и срок схлопотать. Анна — за дезертирство, а ты, Катерина, — за пособничество дезертиру. Так что попридержи-ка лучше язык от греха подальше...

Слова Шерстобитова подействовали отрезвляющие, возвращая Шумилову к реальности. Всхлипнув последний раз, она замолкла. И сразу как-то сгорбилась, скукожилась, словно сдувшийся шарик.

Повернулась и пошла следом за дочерью, бормоча себе под нос: «Ну, ладно, отольются еще вам наши слезки... еще попомните... чтобы вы сдохли все...»

Незаконченный протокол собрания Плетнев потом доводил до ума уже сам, чертыхаясь и с ужасом думая, что отныне вся эта бумажная канитель, от которой его благополучно избавляла Аня, будет на нем самом.

Доставить Аню на сборный пункт взялся Шерстобитов.

— Заодно и дела там кое-какие решу, — сказал.

Отъезжали через два дня после того памятного собрания. Разгоралось, шурша сухим золотом берез, медью осин и кленов бабье лето. В прозрачном воздухе было разлито такое умиротворение, что и не верилось, будто где-то гремит война.

Плетнев сначала хотел зайти к Шумиловым, как-то ободрить племянницу, сказать напутственные слова на прощанье, но раздумал, предчувствуя, что ждет его там отнюдь не радушный прием. «Попрощаюсь, когда отъезжать станут», — решил он.

Зато когда заглянул на ферму, его чуть не сбила с ног Маня-большая.

— Захар Егорыч... дядя Захар... Отправьте лучше меня?

— Куда отправить? — не сразу понял Плетнев.

— На фронт! Вместо Аньки. Она же слабенькая, ей тяжело будет... А я выдюжу. И мстить буду — за тятеньку и братиков.

— Ох, мстительница, — горько усмехнулся Плетнев. — А вдруг убьют?!

— Да, знать судьба такая, дядя Захар. Вслед за тятей с братиками и я уйду.

— Но-но, дуреха, осади-ка, давай! — рассердился Плетнев. — Уйдет она!.. А о матери ты подумала? Она только тобой и жива и держится, ты у нее теперь единственный свет в окошке. Не станет тебя рядом — и она тут же тихо, без единого выстрела мир наш покинет. И вот еще о чем, Маня, подумай: ведь за тобой, глянь, в семье-то вашей уже

никого не остается. Кто будет род Жуковых продолжать? То-то же! А насчет Анны... Не я единолично решение принимал — собрание колхозное. А его решение — закон!

Маня притихла, вытирая рукавом крупные, как горошины, слезы. А Плетнев утешающее потрепал ее по плечу:

— Иди, Маня, работай. Нам с тобой и здесь дел невпроворот. Тоже, ведь, для фронта трудимся, для победы. Не забывай.

«Вот так-то... — думал Плетнев, покидая ферму. — Две подружки. Одна, тихоня малозаметная, готова подругу в трудную минуту заменить и собой ради нее пожертвовать, а другая, всегдашняя ее верховодка, к такому, выходит, неспособна».

Неяркое сентябрьское солнце еще только выползло из-за горизонта, а Шерстобитов уже подкатывал на подводе к шумилоскому двору. Путь предстоял неблизкий, и конюх не поскучился на свежее сено.

Увидев в окно Шерстобитова, Плетнев торопливо нахлобучил кепку и выскочил из дома. Он едва успел поприветствовать Петра Васильевича, перекинуться с ним парой слов, как появились сестра с племянницей. На Ане был старенький, заметно потертый, чуть ли не бабушкин еще, плюшевый жакет, голова повязана под стать ему темным поношенным платком. За спиной оттягивал плечи сидорок с личными пожитками, видать, и харчами на первое время. В этом своем унылом одеянии с сиротской котомкой смахивала Аня на старушку-кусочницу, бредущую от деревни к деревне в поисках подаяния.

Шумиловы подошли к подводе, поздоровались с Шерстобитовым. На Плетнева обе даже не взглянули. Аня, все так же не поднимая глаз на председателя, высвободила плечи из лямок вещмешка, положила его в подводу.

Захар Егорович тронул племянницу за плечо. Она дернулась, как от электрического разряда.

— Счастливого пути, Анечка. И не поминай лихом.

— А как же мне теперь тебя, дядя Егор, поминать, если ты лихо для меня сам и сговорил?

— Анька! — прикрикнула на нее Екатерина. — Хватит лясы точить! Садись уже... — И добавила едко: — А то на службу опоздаешь.

Аня легко вскочила на телегу, стала устраиваться на сене поудобнее.

Шерстобитов при последних словах Екатерины укоризненно покачал головой. Прощаясь, подал председателю руку. Тронув поводья, некоторое время шагал рядом с конем, потом запрыгнул с другого боку на подводу и дернул вожжи сильнее, прибавляя ходу. Екатерина ехала вместе с ними. До околицы будет провожать, понял Плетнев. Он и сам сначала хотел проститься там, но...

Какое-то время Плетнев шел следом за подводой, глядя в согбенную спину племянницы. А метров через сто она вдруг обернулась, бросая прощальный взгляд на родную деревню. Лицо ее различалось уже смутно, но все равно было ясно, что она плачет.

Показалась она сейчас Захару Егоровичу такой жалкой и беспомощной, такой брошенной и покинутой, что и у него самого навернулись на глаза слезы, а в горле застриял, спирая дыхание, тугой колючий ком. И острой бритвой полоснуло чувство вины.

Шерстобитов хлестнул коня кнутом. Подвода стала быстро удаляться. Плетнев вернулся к калитке своего дома и, приводя себя в чувство, смолил одну самокрутку за другой. Он стоял, подпирая калитку, до тех пор, пока не показалась на дороге возвращающаяся назад сестра.

— Катюха! — бросился он к ней навстречу.

Что он хотел ей сейчас сказать, что объяснить? В чем оправдаться? Да поздно, когда уже все решилось и свершилось, и не вернуть, не переиграть теперь! После драки кулаками не машут.

Сестра поравнялась с ним и в какой-то неистово-жгучей ненависти прошипела ему в лицо:

— Будь ты проклят со всем твоим отродьем, будь проклят!..

Плетнев был не робким мужиком, но сейчас ему сделалось по-настоящему страшно.

* * *

И покатилась жизнь в Приобском вместе с продолжающейся войной дальше. Захар Егорович по-прежнему исполнял председательские обязанности. Но в нескончаемой суете повседневных колхозных забот не отпускало его чувство вины перед племянницей. Много-много раз Плетнев возвращался памятью к той ситуации. И всегда выходило, что, если по совести и справедливости, то поступил он правильно, и люди его поддержали. Однако ощущение вины горьким осиновым привкусом все равно оставалось в нем.

Да и Екатерина не «позволяла» от него отрешиться. С отъездом дочери она обозлилась, замкнулась, общения избегала, а Захара Егоровича и вовсе обходила десятой дорогой. Он, правда, пытался на первых порах наладить отношения, но получил жестокий отпор. «Ты мне больше не брат!» — с ненавистью сказала Катерина и как топором по их родственной связке рубанула:

Мать сокрушалась и плакала, но сделать ничего не могла: Катерина на попятную не шла.

От Ани приходили письма. Судя по ним, в армейскую походную боевую жизнь она вполне вписалась, и служилое ей неплохо. И чем дальше война откатывалась на запад, — тем лучше. Катерина немного отмякла, повеселела, а когда дочь иной раз сообщала, что ее военная доблесть удостоена очередной награды, бегала с солдатским треугольником по всей деревне и хвасталась, что вот какая у нее Анька — бой-девка, герой, дает жару фашистским асам! Она еще себя покажет, еще и правда золотая звезда Героя ей на грудь упадет.

Героя — не героя, но звезды на груди Анны Шумиловой односельчане, когда она в конце августа 45-го вернулась после демобилизации домой, действительно увидели: одну на сияющем рубиновым огнем ордене Красной Звезды, а другую, в ореоле золотых лучей, — ордена «Отечественной войны». А на правой стороне Аниной груди поблескивали еще и медали, одна из которых — «За взятие Будапешта» — была этакой символической точкой на славном боевом пути Шумиловой.

Ладной ее фигуре военная форма явно шла. И перетянутая широким офицерским ремнем суконная гимнастерка, и с особым шиком сидящая на коротко стриженой голове пилотка, и начищенные до зеркального блеска хромовые сапожки — все было ей к лицу.

В самой же Анне сейчас с трудом угадывалась Анька Шумилова двухлетней давности — еще не оформившаяся окончательно деревенская девушка с косичками. Теперь это была заматеревшая и совсем уж не деревенского вида бравая женщина. Она курила «Казбек» — доставала папиросу из картонной коробочки с черным всадником, мчащимся на фоне такой же черной горы, постукивала по коробочке папиросой и, форсисто заломив мундштук, прикусывала его ярко накрашенными губами; потом, слегка прикрывая глаза, затягивалась и выпускала вверх красивые синеватые кольца, источающие сладковатый нездешний дух. Немногие вернувшиеся с фронта приобские мужики, если оказывались рядом, стыдливо прятали в рукав свои цигарки.

А еще приметливые бабы отметили, что вернулась Анна с «довеском». За это говорил чуть-чуть пока округлившийся животик. Не сразу, но все же удалось особо любопытным выведать потом, кто ж это постарался и где он теперь.

— Был один... — хмуро призналась Анна. — Жила я с ним. Навроде как ППЖ*. Все надеялась, что вот мир настанет, и мы распишемся. Он тоже мне это обещал. А война закончилась — оказалось, что давно расписанный он. Сразу же к своей законной и рванул. Только его и видели...

Домой Анна прибыла на райисполкомовском «газике» в сопровождении какого-то районного начальника. И не с пустыми руками. Кучу подарков из заграничных краев навезла. И матери, и сестрам, и бабушке... Только дядю своего Захара обошла стороной.

Она и поздоровалась-то с ним при встрече как с совершенно чужим человеком. И радость, с которой Плетнев ожидал племянницу, сдуло, словно ветром пену.

Впрочем, худшее ждало его впереди.

* * *

На званный ужин по поводу возвращения Анны Захара Егоровича не пригласили. Сестра встретила его на улице и сказала, что они с дочерью его видеть не хотят.

— Катерина, ты что? — опешил Плетнев. — Это ж тебе не просто так, гулянка воскресная — мероприятие! Встреча фронтовички. Вся деревня, поди, будет. И вдруг нет председателя! Что люди-то подумают?

— А мне плевать — что подумают! Но на пороге моей избы чтоб ноги твоей не было! — жестко и непреклонно сказала Катерина, даже не повышая голоса.

— Я же слово должен приветственное сказать героине нашей... — попытался хоть как-то объяснить необходимость своего присутствия Плетнев, но Катерина оборвала его:

— Ты его еще два года назад сказал, когда мою девочку на смерть посыпал.

— Какая ж смерть! Живехонька-здоровехонька. В орденах и медалях вся...

Не отвечая, лишь смерив напоследок ледяным ненавидящим взглядом, Катерина круто развернулась и зашагала к своему подворью.

Плетнев смотрел ей вслед, и было ему стыло и тягостно. И не хватало дыхания. Будто под дых со всей мочи двинули.

Про «всю деревню» Захар Егорович ошибся. Застолье было не очень людное и достаточно скромное. Далеко не все удостоились на него попасть. Катерина гостей отбирала сама.

Мани-большой среди них не значилось. Но она, не ведая о том, пришла сама. Как бы по праву закадычной с детства подружки.

В отличие от Анны, изменилась Маня мало. Разве что исчезла детская припухлость губ да погрубели, заострились черты лица. Даже толстая в руку коса, спускающаяся до середины спины, осталась прежней. Да и жизнь Мани за эти два года практически не изменилась. Все та же день-деньской потогонная работа — то на ферме, то в лесу, на заготовке чурочек для газогенераторных грузовиков. Дома — больная мать... Была... В мае, сразу после дня Победы Маня ее схоронила. И осталась совсем одна в пустой, но когда-то заполненной до предела голосами родных людей, смехом, полнокровной здоровой жизнью, избе. Днем боль тоски и одиночества скрадывала работа, а по ночам никак не могла уснуть. Даже усталость, свинцом наливавшая все тело, не могла свалить в сон. Маня лежала в постели, и со всех сторон слышала голоса то матери с отцом, то братьев. Ей начинало казаться, что они собирались все у ее изголовья и что-то рассказывают ей. Она пыталась разобрать — что, но слова шелестели, как сухие листья. Под этот шелест она забывалась до утра...

Узнав о возвращении подруги, Маня очень обрадовалась. Мнилось, что Аня, ее любимая Анечка, избавит от страха одиночества, что будет теперь, кому душу излить. Но когда увидела Шумилову в сиянии орденов и медалей, выходящую из легкового

* ППЖ — походно-полевая жена

газончика, в каких тогда ездили только некоторые районные начальники (какой-то из них геройскую фронтовичку и в Приобское доставил), Маня сильно оробела и подойти не посмела. Теперь вот решилась...

С гулко стучащим сердцем Маня переступила порог Шумиловского дома. Застолье уже началось. Народ принял по первой, бодро налегал на закуску. Увидев Маню-большую, притихли, с интересом ожидая, что будет дальше. Анна, как и полагается виновнице торжества, восседала во главе стола под потемневшей иконой над головой и — пониже нее — семейными фотографиями в рамке рядом с матерью по правую руку и с бабушкой — по левую. Увидев Маню, нехотя поднялась, пошла навстречу.

У Мани в радостном предвкушении их горячих объятий уже наворачивались радостные слезы. Но, когда подруги сблизились на расстояние шага и осталось только броситься в друг другу в объятия, Маня словно в невидимую стену уткнулась. Вместо раскрытых объятий она увидела протянутую ей ладонь подруги с наманикюренными пальчиками. Маня осторожно взяла ее в свою разбитую работой руку. И от этой ухоженной ладони, и вообще от всей Ани Шумиловой исходил нездешний аромат трофейного парфюма.

— Здравствуй, Анечка, — просевшим от волнения голосом чуть ли не басом сказала Маня.

— Привет-привет... — без всяких эмоций ответствовала Шумилова, блестая во всей своей армейской красе.

Маня невольно залюбовалась ею.

— Вон ты какая стала!.. — восхищенно сказала она. И, не зная, как еще выразить свой восторг, добавила: — Ровно елка на Новый год!

Аня поморщилась. Немудряще Манино сравнение ей пришлось не по душе, даже обидным показалось, и она язвительно заметила:

— Зато ты, как была тюхой серой, так тюхой серой и осталась...

И, выдернув ладонь из Маниной руки, круто развернулась и отправилась на свое место.

А Маня осталась истуканом стоять на месте, оглушенная таким приемом.

Недолгое молчание за столом нарушилось, гости загомонили. Районный начальник, доставивший Шумилову в Приобское, оказавшийся при ближайшем рассмотрении далеко еще не пожилым человеком, предложил тост за великую Победу и таких замечательных женщин, как Анна Николаевна Шумилова без которых эту Победу невозможно представить. Тост бурно поддержали, выпили стоя.

Маню-большую за стол никто не приглашал. На нее вовсе не обращали внимания, словно ее здесь и не было. До Мани наконец начало доходить, что она на этом празднике лишняя, и, заливаясь краской стыда, стала бочком подвигаться к выходу...

На другой день Плетнев с племянницей все-таки встретился. В колхозной конторе. Люди только что разошлись после наряда по рабочим местам. Плетнев один корпел над бумагами — сводками, справками, отчетностью, к составлению которых за свою председательскую службу так и не смог привыкнуть. «Хорошо бы Анну опять привлечь», — подумал он, и почувствовал, как заныло от нанесенной вчера Катериной обиды сердце.

— Здравствуйте, Захар Егорович! — услышал Плетнев. Подняв голову, увидел в пороге Аню.

От неожиданности он привстал из-за стола, приглашающим жестом показал на одну из табуреток перед ним.

Шумилова прошла, звякнув наградами, села, небрежно закинув нога на ногу. Достала «Казбек», не спрашивая разрешения, закурила. Она и раньше-то сильно застенчивой не была, а тут и вовсе чувствовалась во всех ее движениях, позе, взгляде несомненная уверенность в себе, в своей неотразимости и превосходстве.

Плетнев захотелось, было, порасспросить ее о боевой жизни, за что награды получены — ведь за просто так их не дают. Но исходящие от Анны токи самоуверенности

и самодовольного превосходства остановили его. Да и как-то неуютно чувствовал себя Захар Егорович под сиянием ее «иконостаса», поскольку сам-то, кроме увечья, ничего не заработал. И он промолчал. Молчал, пока племянница доставала коробку с папиросами, закуривала... Наконец спросил:

— Чем заниматься-то думаешь? В помощницы ко мне пойдешь? По старой памяти.

Аня отвела от лица руку с зажатой между пальцами дымящейся папиросой, презрительно усмехнулась:

— И чего ж я тут забыла, Захар Егорович? — А после секундной паузы с нотками все того же превосходства в голосе и затаенной гордости сказала: — Я теперь птица другого полета!..

— Ну-ну... — отозвался Плетенев, чувствуя, как еще сильнее заныло сердце. — И куда ж ты теперь лететь собираешься?

— Пока что в район. Там мне уже mestечко присмотрели. Нам, фронтовикам, теперь везде дорога! Сначала в район, а дальше посмотрим. Глядишь, и город наш будет...

«Ишь ты, «завоевательница»! — с обидой и неприязнью подумал Плетнев. — Будто в родной деревне делать нечего».

— Я вот и в контору зашла, чтобы кое-какие формальности уладить.

— А мать с бабушкой?

— А что мать с бабушкой? Как жили, так и жить будут, — пожала плечами Аня. — Устроюсь — помогать стану.

— И то ладно, — проворчал Плетнев.

«Формальности» они уладили. Захар Егорович ныне, если бы даже и сильно захотел, не смог бы удержать Анну Шумилову, фронтовика и орденоносца, в колхозе. Она теперь и вправду была «птицей другого полета». Впрочем, у Плетнева и желания никакого не возникало ее удерживать. «Пусть катится!» — с какой-то непривычной для себя злостью сказал он сам себе, когда племянница скрылась в дверях.

Увозил Анну Шумилову из села на следующий день все тот же районный начальник, что доставил ее сюда. День был воскресный, сухой и теплый. «Газик» окружили немногочисленные зеваки. Плетнев был дома. Проводить племянницу он не вышел.

* * *

Анку-зенитчицу — так ее с тех пор за глаза называли односельчане — в деревне больше не видели. По слухам, сошлась и жила она какое-то время с тем районным начальником, но что-то у них не заладилось, и они разбежались. Может, не захотел начальник чужого ребенка воспитывать, который к тому времени у Анны родился.

А позже и Катерина с оставшимися дочерьми и матерью к ней в райцентр перебралась. Кто-то же должен был нянчиться с малышом. Анне Николаевне на это времени совершенно не находилось. Вся она была в делах — служебных, партийных (на фронте Шумилова стала коммунисткой) и общественных. Она не вылезала с парт и прочих собраний конференций, активов, слетов, заворачивала районным Советом ветеранов войны, ее избрали депутатом райсовета трудящихся, членом райкома... Ее дома и застать-то было нелегко. Так что бабушка и прабабушка были здесь очень кстати. Благо жилплощадь позволяла. В райцентре, впервые с довоенных времен, построили несколько жилых домов. Половину одного из них с приусадебным участком и надворными постройками получила Анна Шумилова.

* * *

Маня-большая продолжала жить своей нешумной, малозаметной трудовой жизнью. Впрочем, почти одновременно с переездом Катерины Шумиловой в Сосновку, произошло в ее жизни важное событие. Она вышла замуж. Случилось это быстро и буднично. И для многих в деревне неожиданно. Особенно если учесть, что недобор мужиков в Приобском, как, впрочем, и во всех окрестных деревнях, был страшный, а, стало быть, и выбор невест — огромный.

Однажды появился в «Приобском коммунаре» новый плотник по имени Василий Трошин. Был он нездешний. Из Смоленщины. Когда призывали в армию, оказался с отступавшими частями под Москвой. Там и ранили в первый раз. После госпиталей, ближе к весне сорок второго года снова очутился на фронте. Но уже не пехотинцем, как до этого, а понтоньером. И до февраля сорок пятого наводил переправы на пути наступления наших войск через большие и малые реки, пока на Одере не получил еще одно тяжелое ранение.

Поправившись, отправился в родные места. Вместо села своего увидел пепелище с голыми печными трубами. Удалось Трошину разузнать, что сгорела не только сама деревня. За связь с партизанами сожгли эсэсовские каратели и всех оставшихся в ней жителей, согнав в колхозный амбар. Сгорели в том амбаре и родные Василия. И остался он один-одинешенек: ни кола, на двора, ни близких ему людей... Куда теперь ему, прошедшему, почитай, всю войну солдату податься?

Вспомнил Семена Брызгалова — соседа по больничной палате, с которым лежал в новосибирском госпитале. Месяца три они с ним там кантовались — койки рядом стояли, одну тумбочку на двоих делили. Каждый свою деревню вспоминал, друг другу рассказывали, какая она. Семену часто приходили письма. И он время от времени читал их Василию вслух, мечтательно, в предвкушении будущей встречи закатывая глаза. Трошину писем уже давно никто не слал, и оттого на душе делалось все тревожнее. Брызгалова выписали раньше. На прощание, сунув Василию свой адресок, он сказал: «Приезжай, погостишь, и вообще... приезжай, если что! У нас места всем хватит — не пропадешь!» Как чуял, Брызгалов, говоря — «если что»...

Недолго размышлял Трошин. Отправился назад, в Сибирь, по указанному Брызгаловым адресу. В Приобском его встретили лучше некуда. Фронтовики, да еще владеющие ходовым ремеслом, были в большой цене. Василий оказался отменным плотником да и помимо того мастером на все руки и быстро стал работником поистине незаменимым.

С Маней Василий познакомился, когда пришел ремонтировать и приводить в порядок деревянные «внутренности» фермы.

— Вот это дивчина! — восхищенно воскликнул он, впервые увидев Маню.

Девушка закраснелась. Комplиментов она сроду ни от кого не слышала. За работу — другое дело — хвалили. Да и какие комплименты, если смотрели парни на нее, как на «тюху серую» да «каланчу», и видов на нее не имели, даже несерьезных.

— Тебя как звать-то? — спросил Трошин.

— Маня, — и вовсе зардевшись цветом маковым, чуть слышно ответила она.

— Так это тебя Маней-большой в деревне кличут?

Она молча кивнула и опустила голову.

— А я Василий. Василий Трошин. Вася. Правда, не «большой»...

Он и в самом деле «большим» не смотрелся, особенно рядом с Маней. Чуть выше ее плеча ростом, коренастый, крепко сбитый, однако сила чувствовалась в нем немалая. Был он лет на пять старше Мани, но лоб его пробороздили две глубокие морщины, а шевелюра подернулась инеем ранней седины.

Маня подняла глаза, взгляды их одинаково голубых глаз встретились, вызвав замыкание душ и сердец. И глубоко нутром оба почуяли, что дальше идти им вместе.

Всю неделю, пока тюкал Трошин на ферме топориком, они говорили друг с другом и не могли наговориться. Рассказывали о себе, о том, что было с ними в прошлой жизни и все острее чувствовали, как близки они своими судьбами.

А потом Василий проводил Маню с фермы домой. И остался у нее...

Свадьбы неправляли. Просто начали жить вместе. Сначала и отношения свои не оформляли. Уж когда первенец-сын родился — расписались в сельсовете.

Деревенские, глядя на них, поначалу удивлялись: чудно — чуть ли не на голову баба мужика выше! Потом привыкли, рассудив — не с ростом же жить, с человеком... А человеком Василий был, под стать Мане, работящим и душевным. И, как сказал о нем однажды Плетнев, — мужиком качественным. Сам же Захар Егорович, глядя на эту молодую семью, невольно вспоминал Пахома и Авдотью Жуковых. И их сыновей.

Маня же родила одного за другим трех собственных. Словно их рождением постаралась восполнить преждевременный уход из жизни братьев. Сыновья ее чем-то и похожи были на них.

Захар Егорович всем троим стал крестным отцом и, наблюдая, как бурно, несмотря на несытую послевоенную жизнь, идут они в рост, с радостью и облегчением думал, что правильно он тогда, все-таки, сделал, что не отдал Маню на войну.

Но недолго довелось Плетневу радоваться. Фронтовые раны и контузия, постоянное перенапряжение, что испытывал он, волоча по колдобинам и хлябям военно-послевоенного лихолетья колхозный воз, все сильнее давали о себе знать, подтачивали здоровье. Не укрепляла его и размолвка с сестрой и племянницей. После переезда Катерины в Сосновку встретились они с ней всего раз, года через три, на похоронах матери. Смерть матери помирила их, но родственную лодку было уже не склеить. Да и времени не оставалось. Через полтора года вслед матушке своей уйдет в мир иной и Захар Егорович, отдав родной земле всего себя без остатка...

* * *

Аня Шумилова, а для большинства окружающих давно уже только Анна Николаевна, между тем, продолжала набирать высоту. В райцентре надолго она не задержалась. Инициативную, энергичную и честолюбивую функционерку заметили в областном центре, пригласили инструктором в сельхозотдел Обкома партии. Но велели продолжать образование. И Шумилова отправилась без отрыва от «производства» учиться в партшколу. А когда через несколько лет с отличием окончила ее, пошла на повышение — возглавила организационный отдел одного из райкомов партии областного города. Некоторое время спустя заняла вакантное место (была избрана) третьего секретаря другого городского райкома. «Доросла» там и до второго. А заканчивала Анна Николаевна Шумилова свою партийную карьеру опять в Сосновке, чуть ли не десяток лет возглавляя здешний райком.

На личном фронте дела у Шумиловой обстояли далеко не так успешно. Родившаяся у нее сразу после войны девочка прожила всего ничего. И двух лет не было крошке, как задушила ее дифтерия. На войне Анна Николаевна насмотрелась смертей. Но это были чужие смерти. А здесь умер ее ребенок — плоть от плоти, кровиночка... Ладно, успокаивала ее Катерина: молодая, здоровая, родишь себе еще. Она и сама на то надеялась. Оказалось — напрасно. Не однажды пыталась Анна Николаевна устроить личную жизнь, сходилась и расходилась с мужчинами. Никто, однако, рядом с ней, властолюбивой верховодкой, которой и в семейной жизни надо было непременно доминировать и подчинять себе, долго не удерживался.

Впрочем, из-за этого Анна Николаевна особо и не переживала. Другое ее удручало — родить не получалось никак. Хоть от того красавца, хоть от этого. А мужчины ей доставались — загляденье! Уже и сестры ее младшие замуж повыходили и своих детей на

свет произвели, а она так и оставалась «коровой яловой». Словно порчей какой была тронута, венцом бесплодия оклодована. И что только не делала она для исправления положения! Не помогали ни врачи, ни знахарки. Катерина, пока жива была, настойчиво в церковь советовала пойти, через батюшку-настоятеля (он нужные молитвы подскажет) у бога помохи попросить. Но этот вариант Анна Николаевна, как партийный работник принять не могла. Хотя в душе была согласна даже на такие «крайности».

А потом не стало и Катерины. Сестры за мужьями разъехались по стране кто куда (да и не испытывала она к ним по-настоящему родственных чувств никогда). И Анна Николаевна осталась совсем одна. Только работа и спасала. В квартиру к себе приходила лишь переночевать.

* * *

Семья Трошиных продолжала жить в Приобском до последних его дней. Маня все так же трудилась на ферме, Василия с его плотницкой бригадой можно было видеть на разных объектах разрастающегося колхозного хозяйства, а то и за постройкой новых изб. Семейство их прибавилось еще на одного сына и дочь. Старшие один за другим закончили семилетку в родном селе, пошли дальше кто в училище механизации, кто в техникум. Младшие еще учились в школе. И была уверенность, что все они продолжат крестьянское дело родителей на Приобской земле.

Так бы, наверное, и было, но через три десятка лет после победы над фашизмом развернулась новая война — с русским крестьянством, которое начали повсеместно сгонять с насиженных мест, стирать с лица земли его родные деревни, ставшие вдруг «неперспективными», а самого загонять в «поселки городского типа». В них, построенных наспех и кое-как, кроме шести приусадебных соток под окном, где ни скотину держать, ни картошки посадить на обычно большую деревенскую семью, не имелось больше для подневольных переселенцев ничего.

В одну из таких переселенческих «резерваций» попала и семья Трошиных, когда вал ликвидации «неперспективных» деревень докатился до Приобского. Красавца-села с вековой историей не стало. Маня-большая уезжала в слезах. Наворачивались они и на глаза Василию, давно прикипевшему к этим местам с прекрасной рыбалкой, охотой, грибами в окрестных борах и березняках. Новый же поселок «посадили» практически на голое место в окружении редких жиidenьких колков и заболоченных согр. Не было рядом ни речки, ни приличных угодий. Для питьевой воды бурили артезианские скважины, но выкачивалась оттуда какая-то сомнительная рыже-тараканьего цвета и сильно железистая жидкость. Она оставляла на посуде ржавые потеки, пить ее просто так, для утоления жажды было почти невозможно. И Трошины, каждый раз, качая ее в ведро, невольно вспоминали свой колодец-журавель в Приобском с его вкуснейшей водой.

Покидая Приобское, Трошиным со многим пришлось расстаться, пустить под нож скотину (только поросенка, до нескольких курей забрали), и начинать жизнь на новом месте практически с нуля.

Кто позажиточнее, или имея там родственников, переезжали в пригородные поселки областного центра. У Трошиных такой возможности не было. Хорошо хоть удалось им свою избу, всего лет за пять до этого Василием отстроенную, в Залесово из Приобского перевезти. С работой тоже начались проблемы. Рабочих рук было больше, чем рабочих мест. Да и те, что имелись, ветеранам вроде Мани-большой были заказаны. Не вписывались такие, как она, они в механизированные комплексы и залы машинного доения современных ферм, отанные «на откуп» молодым специалистам: зоотехникам, операторам машинного доения... С большим трудом Мария Пахомовна устроилась в поселковую школу уборщицей. И это было счастьем, потому что младшие сын с дочкой учились здесь же и теперь были у нее на глазах. Двое старших после окончания училища,

в чужое для них поселение возвращаться не захотели и поехали пытать счастья в город. Там же доучивался в техникуме третий сын. У него тоже все надежды были связаны с городом.

— Ничего, — успокаивал жену Василий, — пусть свою дорогу ищут. Все одно в городу им лучше будет, чем в нашем болоте.

Иначе как «болотом» он новый поселок не называл. Приложения к своему плотницкому умению он найти здесь не мог. Мыкался по разным временными работам, пока не приткнулся в местную кочегарку. Всегда веселый, распахнутый, он захандрил, стал попивать. И однажды лютой январской стужей, возвращаясь домой от сбутыльника из одного края широко разбросанного по степи поселка в другой, замерз, упав по пути в сугроб и не найдя в себе сил подняться.

Смерть мужа Мария Пахомовна переживала тяжело. Первой и единственной любовью он был, отцом ее детей. Больше тридцати лет вместе. И как жить после случившегося дальше — она не представляла.

— Ничего, мать, — прорвемся! — сказал старший сын, вспомнив любимое присловье отца, когда собирались они после похорон всем семейством.

— Помогать будем, — поддержали братья.

Мария Пахомовна вздохнула в ответ. А что им еще остается делать? Только прорываться! И не в первый уже в ее судьбе раз...

Жизнь снова накалилась до предела, как в дни войны, когда прозывали ее еще Маней-большой. Только враг теперь был другой — непонятный какой-то: не чужеродный и сторонний, а внутри возникший и изнутри действующий, но действующий подчас не лучше фашистского завоевателя. Однако и его надо было побеждать. Ради жизни собственных детей, их лучшей и более счастливой доли. Благо и дети, материнскую заботу чувствуя и понимая, не оставались в стороне: по весне всем табором сажали, а осенью копали картошку (совхоз теперь выделял под нее на полях землю), помогали в огороде, по дому. Двое старших, найдя в городе работу, поддерживали деньгами. Продолжала работать — все так же школьной техничкой — и сама Мария Пахомовна. В общем, «прорывались» Трошины во главе с Марией Пахомовной всем семейным кагалом к чистой воде счастливого будущего, не представляя, правда, как далеко и долго до него добираться и через какие тернии придется дальше продираться. Марии Пахомовне иной раз казалось, что никакой жизни на это не хватит.

А годы текли, словно песок сквозь пальцы. Пришла пора Трошиной пенсию оформлять. Вообще-то эта пора еще лет семь назад наступила, да только все как-то не отваживалась Мария Пахомовна бросить работу. Хоть и не шибко она, шваброй орудуя, получала, но все-таки больше, в сравнении с совсем уж нищей колхозной пенсией. Тем более что, если выдавалась возможность, Мария Пахомовна и в других местах прирабатывала. Но дети вырастали, оперялись, обзаводились семьями. Уже и младшего сына она женила. Да и дочь была на выданье. Семейное древо Трошиных обрастило новым «годовым кольцом». От ребячих голосов звенело в ушах, когда сыновья с внуками на праздники собирались у матери.

Баба Маня была у сыновей нарасхват. То один просит погостить — считай с внуками понянчиться, то другой. С нею в Залесово только младший сын да дочь жить остались. Она бы и рада погостить, но лишний раз вырваться не может — работа. И стали дети уговаривать мать оставить, наконец, чертову работу и уйти на пенсию. И так сорок лет отмантулила. Всех их подняла, в люди вывела. Пора и на отдых заслуженный. Немного лукавили, конечно, на себя одеяло тянули — какой там всерьез отдых при ораве внуков! Не отдых, конечно, понимала и Мария Пахомовна, но если и труд, то самый, наверное, радостный и благодарный, для которого и сил оставшихся не жалко. Да и жить как-то полегче стало. То сама на детей всю дорогу тянулась, а теперь пришла, знать пора ответной благодарности. И пенсия ноне куда как больше, чем раньше.

В общем, решилась Мария Пахомовна, взялась оформлять пенсию. Справки всякие собирая, зачастила в райцентр. В один из таких походов и состоялась их встреча...

В райисполком Мария Пахомовна неудачно угадала под обед, и сейчас вынуждена была на лавочке в тени административного здания целый час дожидаться, когда вернется к себе в кабинет нужная ей чиновница. Трехэтажное кирпичное здание с большими окнами, высокими потолками было поделено на две половины. С той стороны, где сидела на лавочке Трошина, находился вход в райисполком, а с противоположной — в райком партии.

Еще только начинался сентябрь, и было по-летнему тепло. Устроившись удобнее на лавочке, Мария Пахомовна стала задремывать. Но тут же почувствовала, что кто-то сел рядом и в упор глядит на нее. Она открыла глаза и услышала:

— Точно, Маня!

На нее смотрела примерно ее возраста, но более моложавого вида, ухоженная, со вкусом одетая женщина. Что-то знакомое угадывалось в ней, но узнать ее сразу Мария Пахомовна не смогла. Лишь когда женщина, слегка толкнув ее плечом, сказала: «Ты что, Маня, не признаешь меня?», в ее памяти, как на замерзшем стекле, тронутого теплым дыханием, появилась и стала расширяться проталина, в которой стало проступать лицо Анны Шумиловой.

— Аня? — удивленно откликнулась Мария Пахомовна.

— Узнала, наконец! — обрадовалась Шумилова.

Не сговариваясь, они потянулись друг к другу и обнялись.

— Эвон ты какая стала! — сказала Мария Пахомовна, отстраняясь от подруги.

— Какая?

— Чисто королева! Начальница, поди?

— Начальница, — засмеялась Шумилова. — В соседнем подъезде работаю.

— В райкоме?

— В нем самом. Им и командую.

— Надо же? — удивилась Трошина.

— Неужели не знала?

— Нет, — призналась Мария Пахомовна.

Она и правда не знала. Ни сами они с Василием, ни сыновья их к коммунистам отношения не имели, районную газету читали редко, а если и читала, то фамилия Шумиловой им там не попадалась.

И пошел у них разговор — долгий, с рассказами о себе и близких, с омытыми слезами воспоминаниями о далеком детстве и юности... Маня-большая забыла про нужную ей чиновницу, а Анка-зенитчица про свой райкомовский кабинет.

— Я, Маня, иногда думаю, что, если б не настоял тогда дядя Захар, Захар Егорович, на своем и не оказалась бы я на фронте, судьба моя могла б совсем по-другому повернуться. Чахла б, наверное, как и ты, в колхозе и дальше нашего райцентра ничего не видела. А так... За Родину повоевала, мир посмотрела. Реализоваться смогла сполна, показать, на что способна. У меня, Маня, не только боевые, но и трудовые награды имеются. Орден Трудового Красного знамени, вот... Так что не зря небо коптила.

— А мы, значит, шушера колхозная, темнота беспартийная, зря все это время — и в войну, и после — горбатились и надрывались? — вдруг обиделась Мария Пахомовна. — Хотя, может, и зря. Мы — робили, как проклятые, жилы рвали, а нас за это прижимали да притесняли, как только могли, дыхнуть свободно не давали. Вон даже огороды обрезали по самое не могу...

— Маня, — строго, с металлом в голосе оборвала подругу Анна Николаевна, — не обобщай! Да и не об этом я говорю — о себе, — снова помягчел ее голос. — Я ведь сильно обижалась на Захара Егоровича. Как же — не мог родную племянницу выгородить! И на тебя тоже обижалась. Полагала, что тебе место на фронте, а не мне. Сильно я, оказывается, ошибалась. Война разных людей объединяет, к единому, так

сказать, знаменателю приводит. А меня война и вовсе человеком сделала, на широкий жизненный простор вывела. Как говорится, нет худа без добра...

— Ага, кому война, а кому — мать родна, — проворчала Мария Пахомовна.

— Вот и получается, — пропустив ее реплику мимо ушей, продолжила Шумилова, что я не обижаться должна, а по гроб жизни быть вам с Захаром Егоровичем благодарной.

— Да ладно... — засмущалась Трошина. — А Захара Егоровича жалко очень. Замечательный мужик! Только продыху ему не было. Вот и надорвался. Не старый еще помер...

Обе разом всхлипнули, помолчали.

— А с другой стороны, — снова торопливо, словно спеша высказать копившееся в ней годами, заговорила Анна Николаевна, — война эта проклятая мне жизнь все равно покорежила. Личную мою жизнь. Там, на фронте, когда вокруг в основном мужики, казалось, что любой может быть у твоих ног — стоит только захотеть. И после войны продолжала так думать. А что — ни внешностью, ни умом бог меня не обидел. Но потом поняла, что у ног-то своих еще и удержать надо. А вот этого не могла, не умела. И если что в моем избраннике меня не устраивало — я по нему, как по самолету из зенитки, лупила. В самое уязвимое место попасть старалась. И попадала. Я — меткая. Меня другим девушки дивизиона всегда в пример ставили. А когда попадала — всё, вдребезги моя очередная любовь! И вот тебе, Маня, результат. Мужа, как не было, так и нет, детей — тоже. Людей вокруг меня всегда много разных, а голову приклонить некуда, по-настоящему близких-то почти и не осталось. А ты вон сидела в нашем Приобском, никуда не рыпалась, женихов не искала, не выбирала. Василий твой сам тебя нашел — раз и навсегда! Хотя вроде бы и глазу зацепиться не за что. Красавицей никогда и близко не была...

— Так оно с лица-то воду не пить, — возразила Мария Пахомовна.

Анна Николаевна тоскливо вздохнула, отрешенно глядя перед собой, и сказала:

— Эх, Маня, если б ты знала, как я тебе завидую! И лучше б я все-таки оставалась тогда дома и жила обычной нашей деревенской жизнью...

Анна Николаевна уронила голову подруге на плечо и зашлась навзрыд так безутешно, словно отправляя в последний путь, оплакивала свою странную двуединую жизнь, атласно-белую, во всех отношениях удавшуюся — с фасада и неуютно-промозглую, тоскливо-серую — со двора.

Мария Пахомовна успокаивающе гладила Шумилову, прожигая ее плечо собственными слезами, и думала, что им, бабам, — красивым или нет, звездами осыпанным или с неба их вовсе не хватавшим — счастье дается одинаково трудно...

* * *

Это была последняя встреча подруг. Больше судьба вместе их не сводила.

Шумилова вскоре ушла на пенсию. И долго еще занималась разными общественными делами, а когда они вдруг хотя бы на время иссякали, впадала в депрессию, ибо тогда совершенно не знала, куда себя деть в пустоте своей личной жизни. Сестры ее младшие, обзаведясь семьями, поразъехались из родных краев по другим городам и весям. Да и не шибко-то Анна Николаевна с ними, взрослыми и самостоятельными, роднилась, большинство племянников и племянниц своих только на фотографиях и видела.

Трошина, выйдя на пенсию, «гастролировала» по семьям своих детей, а потом и выросших внуков, от которых уже и правнуки пошли. Была она там желанным гостем и этаким членком, связывающим в единое прочное целое нити большого семейного полотна, ткань которое начинали еще ее родители — незабвенные Пахом и Авдотья Жуковы, а продолжила она, Мария Трошина, урожденная Жукова.

Умерли Анка-зенитчица (по паспорту Анна Николаевна Шумилова) и Маня-большая (Мария Пахомовна Трошина), как и родились, почти одновременно, с разницей всего в неделю — на 87 году жизни.

Сентябрь в Сосновском районе выдался в тот год замечательный — теплый и сухой. Уходить из жизни в такую пору — одно удовольствие. Господь, словно в награду за все хорошее, отправляет в последний путь, благословенно осияв всеми красками хлебосольной осени. И как бы дает знать возносящимся в горные выси, что такая же благодать бабьего лета ожидает там на веки вечные всех праведно проживших на земле.

К последнему дню своего существования шли Анька-зенитчица и Маня-большая разными дорогами. Лишь однажды на краткий миг пересеклись их пути, чтобы разойтись снова. Но, бог даст, там, за гранью бренного мира встретятся они вновь, чтобы воссоединиться душами своими, дабы уже не расставаться больше никогда...

ПИКОВАЯ ДАМА СУЗИТ ГЛАЗКИ...

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть...
M. Лермонтов

Уже третыи сутки трясется Виктор в душном вагоне. Отлежал бока, устал сидеть, стоять. Менялись в купе попутчики, а он продолжал уноситься с поездом в бесконечность сибирских просторов. Виктор отрешенно смотрел в окно и ничего там не видел. Все сливалось в сплошную пеструю ленту, разматывавшуюся в противоположном движению поезда направлении. Но время от времени всплывало на ленте и фиксировалось стоп-кадром сумрачное, как грозовое облако, лицо Марины в обрамлении темных выующихся волос и уничтожающим взглядом черных глаз. И не обидные слова, камнем брошенные при прощании ему вслед, а именно взгляд этот преследовал Виктора теперь всю дорогу.

«Пиковая дама сузит глазки —
Жизнь пойдет, как поезд под откос... —

выдал поэт и выпивоха Пашка, приятель Виктора, после того, как завалились они к нему однажды после уже изрядно выпитого «отполировать». Не следовало бы, по-хорошему, но Виктору, словно шлея под хвост, захотелось немедленно представить поэту свою любовь, о которой он ему столько рассказывал. Она уже была в положении, что, конечно же, следовало учитывать, но когда море по колено, никакие резоны не в счет.

Дальше порога их не пустили. Молча, без скандала. Только сузились, заполыхали грозовыми бликами ее глаза. И тут же захлопнулась перед ними дверь. Вот тогда Пашка и выдал...

Поезд стало заносить на стрелках, и показались станционные постройки. А через несколько минут, скрипя тормозами и лязгая вагонными сцепками, состав после долгого изматывающего перегона остановился. Виктор вышел на перрон размяться, подышать.

Вдоль вагонов бежали рысцой местные тетки, предлагая пассажирам горячую вареную картошку, соленые грузди и рыжики, домашние пирожки с той же картошкой и грибами. От аппетитных запахов засосало под ложечкой. Виктор и не помнил, когда в последний раз ел. Поглощенному переживаниями ему было не до еды. Но сейчас организм решительно заявлял о себе. Виктор купил картошки, грибов, пару пирожков и, прижимая к груди газетные кульки со снедью, поднялся обратно в вагон.

С самого утра Виктор в купе ехал один. Но, вернувшись, застал нового пассажира. Немолодой мужчина с седым ежиком на голове, подняв нижнюю полку, втискивал в багажный рундук под ней пухлую дорожную сумку. Справившись с задачей, опустил полку и, увидев Виктора с кульками, посторонился, освобождая дорогу к столику.

— Будем попутчиками? — широко улыбнулся мужчина.

Виктор нервно дернул плечом. Он и с теми, кто ехал с ним раньше, не общался. Не хотелось разговаривать и сейчас. Но у мужика была такая располагающая улыбка, что Виктору сделалось неловко. Разве человек виноват в его личных неурядицах? И, пытаясь как-то реабилитироваться, сам спросил первое, что пришло в голову:

— А это какая за станция?

Впрочем, из-за товарняка на первом пути, загородившего вокзал, Виктор и впрямь названия станции не разглядел.

— Ксеньевка. Следующая, часика через два — Могоча, — с той же улыбкой отозвался попутчик. — Как в здешних местах говорят: бог создал Сочи, а черт — Ксеньевку и Могочу.

— Что так? — удивился Виктор.

— Да тайга непролазная, гнус. А стоит углубиться в нее, и вовсе гибкие места пойдут.

— Бывали?

— Приходилось. Я — инженер-связист. Много где бывал. В здешней тайге — тоже.

— И сейчас из тайги?

— Ну, что вы! Года не те по дебрям лазить. Я ведь уже человек предпенсионного возраста. Правда, в своей kontore еще востребован. Опыт, знаете ли всегда в цене... Даже в командировке иногда езжу. Чаще, правда, по местам, так сказать, своей «боевой» славы. Вот Ксеньевку посетил с «дружеским визитом», — хохотнул попутчик Виктора. — Когдато я участвовал тут в линейных изысканиях по проектированию магистрального телефонного кабеля. Четверть века назад его проложили, а сейчас пришла пора трассу реконструировать...

Разговаривая, мужчина развернул скатанный матрас, принял у возникшего в дверях купе проводника комплект постельного белья, заправил его, огладил напоследок одеяло и плюхнулся на полку.

— Ну, вот, можно ехать, — удовлетворенно сказал он и протянул руку: — Давайте знакомиться. — Виктор Павлович.

— А я — Виктор.

— Надо же — тезка! Ну, и чуденько! За такое совпадение, да и вообще за знакомство не грех и выпить по маленькой. Заодно и хорошенько закусить. Время-то к ужину подкатывает. И я вижу, Виктор, вы тоже как раз поесть собирались?

На Виктора накатил такой приступ голода, что, не в силах и слова сказать, он только кивнул в ответ.

— Ну, тогда минутку терпения.

Виктор Павлович извлек из-под вагонного столика довольно объемистый пластиковый пакет и стал доставать оттуда колбасу, консервы, помидоры, сыр, малосольные огурцы, котлеты. Быстро и ловко (бывалый, по всему видно, путешественник) все это порезал, вскрыл, не забыв и картошку с грибами Виктора, которые переложил в одноразовые пластиковые тарелочки. Напоследок торжественно водрузил на столик бутылку водки.

— Ну вот! — удовлетворенно потер он руки, оглядывая возникший его стараниями натюрморт, и жестом пригласил Виктора: — Прошу!

Также ловко, почти не глядя, Виктор Павлович разлил в небольшие пластмассовые стаканчики, поднял свой первым:

— За знакомство и добрый путь!

Они выпили, захрустели огурцами. И тут Виктор, утихомиривая зверский голод, почувствовал на себе пристальный взгляд попутчика. Он поднял голову, и глаза их встретились...

Нет, Виктор никогда не встречался с этим человеком, но мог поклясться и спорить на что угодно, что его лицо ему знакомо.

Виктор Павлович тоже впервые видел этого, лет тридцати симпатичного русоволосого голубоглазого парня, но что-то просматривалось в нем удивительно знакомое, если не сказать, родное. Виктор Павлович собрался, было, поинтересоваться, не пересекались ли они когда-нибудь раньше, но его остановили смутная пока догадка. Он снова плеснул в стаканчики. А когда выпили, спросил:

— Откуда и куда путь держим?

— Из Новосибирска в Хабаровск.

— Смотри-ка — опять совпадение! И мне в Хабаровск. Конечный пункт моей командировки. Домой едете?

— Да нет, к матери в гости.

— К матери...

Виктор Павлович замолчал, начал смотреть в окно. Виктор тоже повернулся к окну. И станция, и поселок остались позади, уступив место уходящим к горизонту бесконечной череде сопок, обросших хвойной растительностью, и жмущейся к железной дороге реке. Перед поселком она отступила, но теперь, обогнув его, снова вернулась на место верного спутника магистрали, чтобы продолжить с нею прокладывать путь среди забайкальских сопок.

«Как мы с Маринкой когда-то — неразлучной парочкой», — подумалось Виктору, и умягченная, было, алкоголем тоска снова навалилась на него.

— Что это за река? — спросил Виктор.

— Урюм, — отвлекся от созерцания Виктор Павлович. — Черный Урюм.

— Почти Угрюм.

— Под Угрюм-рекой Шишков скорее всего имел в виду Нижнюю Тунгуску. А в Забайкалье писатель, насколько я помню, не был. Но Урюм тоже достоин изображения. Красив и с характером. Как там в песне поется? «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...» Это про Урюм. Золотишко здесь с середины девятнадцатого века мыли. Сейчас, правда, тут старателя с лотком вряд ли найдешь — в основном драгами добывают. Вон, кстати, одна из них...

Виктор глянул туда, куда показывал попутчик, и увидел невдалеке сидевшее прямо на речном русле впечатительное многоэтажное сооружение, похожее на громадную землечерпалку.

— Может, где-то тут и своя Синильга отыщется?

— Синильга — не Синильга, но без легенды о несчастной красавице и здесь не обошлось. Станцию-то неспроста Ксеньевкой назвали.

— И чем она знаменита?

— Да особенно-то ничем. Геологи, золотодобытчики, железнодорожники... Вот ее население. Невеликое. Тысяч пять, не более. Интересна история ее названия. Вообще-то две версии существуют. Одна связана с дочерью Ерофея Павловича Хабарова, именем которой селенье это, якобы, названо. По иной версии замешана тут другая Ксения — дочь крупного сибирского золотопромышленника, владельца местного прииска. Сказывают, влюбилась та Ксения в молодого старателя, а родитель, узнав, сильно осерчал. Он-то ей совсем другую партию подыскал — за человека из своего круга решил отдать. А влюбленному Ксении пригрозил, что если тот не отступится от нее — на каторге сгноит. Парень ушел в тайгу и не вернулся. А безутешная Ксения буквально накануне свадьбы с крутого обрыва в Урюм бросилась. С тех пор, прозрачный до самого дна Урюм, якобы потрясенный случившейся трагедией, помутнел и стал Черным, а золотоискатели дали

своему поселку новое имя — Ксеньевка. Как все на самом деле — не знаю, но мне этот вариант импонирует больше.

— Очень романтично! — согласился Виктор. А знаете, — оживился он, — у меня мама — Ксения! Ксения Николаевна.

При этих словах Виктор Павлович встрепенулся и вполголоса, будто себе самому только, пробормотал:

— Ну, вот, еще одно совпадение...

— Что? — не расслышал Виктор.

— Да так... — замялся Виктор Павлович, но все же пояснил: — И мою первую любовь Ксенией звали. Кстати, я ее в Новосибирске встретил когда-то. Там я свою самостоятельную жизнь начинал... — Виктор Павлович сделал паузу и поднял стаканчик: — Значит, сам бог велел выпить нам с тобой за Ксению.

Зашуршал, зашипел, словно выпуская скопившийся воздух, висящий над окном репродуктор, послышались среди шума и треска слова, обрывки фраз, среди которых можно было разобрать: «Добрый день, дорогие радиослушатели! Радио «Шансон» продолжает свою работу». Потом помехи стали освобождать эфир, и трогательный женский голос из репродуктора начал заполнять собой пространство купе:

В шумном городе мы встретились с тобой,
До утра не уходили мы домой.
Зорька звезды погасила,
И нам ночи не хватило.
Чтоб друг другу все сказать...

И у них с Мариной, вспомнилось Виктору, тоже все, как в песне, начиналось. Шел он по улице, поравнялся у светофора с девушкой, повернул голову в ее сторону, встретился взглядом и вдруг — замкнуло. Чуть удлиненные в разрезе черные глаза, напоминавшие формой косточки слив, с непреодолимой силой повлекли Виктора к себе. Но и черноглазая незнакомка в облаке темных выующихся волос смотрела на него, как на долгожданную, давно желанную находку.

— Виктор, — протянул он ей руку.

— Марина, — откликнулась она, ответно вскидывая свою.

И они шагнули навстречу друг к другу. Светофор не раз подмигивал им зеленым глазом предлагая перейти улицу, а они, словно оглушенные, продолжали стоять, мешая прохожим. Наконец, очнувшись, взялись за руки и бродили по городу весь день, а потом до рассвета сидели на скамейке, обнявшись, в дальней аллее до рассвета. Короткой летней ночи им тогда явно не хватило.

А дома Виктор никак не мог заснуть. В пустой квартире было одиноко, неуютно. Оставив ее сыну, мать уехала в Хабаровск к больной сестре, за которой требовался уход. Звала с собой и Виктора, но он недавно удачно нашел работу в одной неплохой фирме, поэтому бросать все это ему совсем не хотелось.

Мне бы забыть, не вспоминать этот день, этот час.

Мне бы больше никогда не видать милых глаз...

Любимая мамина песня. Когда еще жили вместе, мама иногда ставила старую виниловую пластинку на массивный диск такого же видавшего виды проигрывателя и, подперев голову ладошкой, слушала запись этой песни, уносясь отрешенным повлажневшим взглядом куда-то в одной ей ведомую даль.

«Наверное, молодость вспоминает, первые свидания, — предполагал, глядя на нее, Виктор. — С кем, интересно, они были? С отцом?»

Отца своего Виктор ни разу не видел. Он ушел из семьи, когда Виктора еще не было на свете. Или сразу после рождения. Виктор в детстве сильно по этому поводу переживал. Все попытки узнать о тайне своего рождения и об отце подробнее, мать категорически пресекала одной фразой: «Я не хочу об этом говорить!»

Виктор Павлович, закусывая, вяло жевал колбасу. Знакомые слова старого романса будили давние воспоминания. Насчет «никогда не видать милых глаз» все в точности и сбылось. Действительно, с момента их расставания — никогда!.. А вот «не вспоминать этот день, этот час» ему не удалось. Вспоминал, помнил. И помнит, оказывается, до сих пор...

Начиналось же все тогда вполне банально. По распределению после окончания Московского института связи он приехал в Новосибирск. За столицу Виктор не цеплялся, покидал ее с легким сердцем. Хотелось новизны, мир посмотреть.

Новосибирск ему сразу понравился. Город большой, просторный размашистый, разделенный надвое широкой лентой великой сибирской реки.

Всего несколько дней он здесь. Успел только оформиться в проектном институте, куда был направлен, да получить место в общежитии.

Конец рабочей недели. На улицах много народа. Из парка неподалеку слышна музыка.

Виктор пошел на ее звуки и вскоре оказался на танцплощадке. Сколоченный из досок настил, приподнятый над землей, ограждала ажурная деревянная балюстрада.

Виктор купил билет, поднялся по небольшой лесенке, миновал на входе тетку-контролершу и оказался внутри. Работать танцплощадка, видимо, начала недавно, народу пока мало.

Виктор сразу же обратил внимание на двух девушек стоявших на противоположной стороне. Одна из них была вся такая округлая, сдобрая, как пампушечка. Однако привлекла Виктора ее соседка. В сравнении с пампушечкой казалась она худенькой. И в фигуре ее ничего особенного не было, кроме природной изящности и стройности, и в миловидном, но неброском лице с некрупными правильными чертами. В толпе на такую, пожалуй, и внимания не обратишь. Но останавливали заполненные до краев сияющей синевой глаза. И Виктора, как бабочку на огонь, неудержимо повлекло к ним.

Он пересек площадку и подошел к девушкам. Танцуете, спросил. И обе — пампушечка весело и радостно, а голубоглазаядержанно — кивнули ему. Пауза кончилась, и из динамиков, укрепленных на столбах по бортам танцплощадки, полилось:

«В шумном городе мы встретились с тобой...»

«Можно?» — Виктор коснулся короткого рукава светлого ситцевого платья. Голубоглазая встрепенулась, виновато глянула на подругу, но послушно последовала за ним на середину площадки. Там уже топтались парочки.

Виктор взял девушку чуть повыше талии. Она ответно вскинула руки ему на плечи. Виктор слегка притянул партнершу к себе и ощущил пробежавшую по ее телу нервную дрожь, словно под порывом ветра рябью взялась тихая доселе гладь незамутненного голубого озерца. Виктор попытался прижать ее сильнее, но почувствовал сопротивление. Ладно, решил он, не надо спешить.

— Как вас звать? — спросил Виктор, не надеясь, впрочем, что у них сию минуту завяжется знакомство. Но она сразу же откликнулась:

— Ксения.

— Вы местная?

— Да, с рождения здесь живу.

— А я вот после института тут оказался. Совсем недавно.

— Я тоже в институте учусь, — сказала Ксения. — На заочном. Только мне еще два года до диплома, — вздохнула она.

— Они незаметно пролетят, — успокоил Виктор и поинтересовался: — А по какой специальности?

— Связь, — коротко ответила Ксения.

— Надо же! — удивился и обрадовался он. — И у меня связь. Вот совпадение!

Они остановились и рассмеялись...

— Виктор, а матушка ваша чем занимается? — вынырнув из глубины воспоминаний, спросил Виктор Павлович.

— На пенсию вышла.

— А раньше?

— Да она всю жизнь на телефонной станции проработала. Сначала просто телефонисткой, а после окончания института выше пошла....

Еще одно совпадение — его Ксения тоже была телефонисткой, констатировал про себя Виктор Павлович, и подумал, не многовато ли их, совпадений? А вслух поинтересовался:

— В Хабаровске?

— Да нет. В Хабаровске она недавно. За больной сестрой ухаживает. Хотя... Когда я был маленький совсем, мы там, кажется, тоже жили. Но потом вернулись.

«Так вот куда она тогда, наверное, пропала!..» — встрепенулся Виктор Павлович, пораженный внезапной догадкой.

Он еще внимательнее всмотрелся в своего визави. И опять пришло ощущение чуть ли не родственной близости с этим парнем. Словно волшебное зеркало он сейчас глядел и видел в нем себя тогдашнего — молодого, вырвавшегося на простор самостоятельной жизни.

...И снова они танцевали, даже не возвращаясь, когда замолкала музыка, к пампушечке. Ксения все так же сдерживала его попытки прижать ее к себе. Но Виктор чувствовал, что сопротивление девушки слабеет, однако из элементарной, наверное, стеснительности или зажатости она продолжает держать дистанцию.

— Не хочу больше, — вдруг прямо посреди очередного танца заявила Ксения и потянула Виктора за руку к выходу. На подругу она и нее оглянулась.

Виктор охотно последовал за ней. Ему и самому не терпелось быстрее уйти отсюда и уединиться где-нибудь в укромном местечке.

Только вот где его найти? Не в комнате же общаги на шесть коек. Тогда, наверное, где-нибудь здесь, в парке.

И они пошли вглубь аллей. Ксения продолжала держать Виктора за руку, а он, чувствуя тепло ее ладони, высматривал по пути свободную лавочку. Но очень быстро понял, что это напрасное занятие. Погожий выходной вечер шансов им не оставлял. Все скамейки были в плену влюбленных парочек. Побродив еще немного по парку, они пошли на выход. Возле ажурной арки парковых ворот с минуту молча постояли и огорченно посмотрели друг на друга.

— Ты где живешь? — спросил Виктор.

Ксения назвала улицу, а Виктор ругнулся про себя — и чего спрашивает, коли все равно города не знает. Конечно, самым, наверно бы, правильным было прямо тут рас прощаться и пойти каждому в свою сторону. Чтобы потом, возможно, и не встретиться никогда. Но не затем же они убегали с танцплощадки. Да и совсем не хотелось Виктору расставаться. Ксении, чувствовал он, — тоже.

— Тогда пошли? — тронул он девушку повыше локтя.

— Пошли, — эхом отозвалась она и, как показалось Виктору, облегченно вздохнула.

Парк располагался почти в самом центре города, чуть ли не под боком у знаменитого на всю страну оперного театра, словно бы венчавшего своим гигантским чешуйчатым куполом сибирскую столицу. Но уже через несколько минут скрылись в сумраке и театр, и парк, осталась позади многоэтажная застройка центральных улиц, пошли небольшие двухэтажные кирпичные и брускатые дома. А дальше и вовсе начался частный сектор с едва пропавшими из оград и палисадников одинаково серыми контурами одноэтажных строений. В нос бил терпкий дух огородного разнотравья.

Пыльная дорога все время шла под уклон. А вскоре потянуло откуда-то снизу речной сыростью и помоями. Фонари здесь отсутствовали, и Виктору казалось, что они спускаются в глубины какого-то мрачного ущелья. Или некой фантастической «зоны». Как в новом романе братьев Стругацких «Сталкер», им недавно прочитанном. И чем дальше, тем все более не по себе ему становилось.

Виктор не был отчаянным храбрецом, однако за себя постоять мог. А на самый худой конец у него всегда был с собой складной нож. Пускать в дело до сих пор не приходилось, но его присутствие придавало уверенности. Так что тревожили Виктора не столько возможные хулиганы или гопники, для которых подобные уголки и в самом деле настоящее раздолье, сколько почти мистическая аура этих мест.

Сначала Виктор заливался соловьем, веселил Ксению смешными историями, острил, не давая заскучать девушки. Но потом умолк, притих, и дальше они шли молча.

Наконец, Ксения свернула в узкий переулочек, очень быстро закончившийся тупичком.

— Вот, пришли, — сказала она, останавливаясь возле покосившегося штакетника с такой же кривоватой калиткой, за которой серым пятном проступало приземистое строение.

— Ты здесь живешь? — неуверенно спросил Виктор.

— Ага.

Ксения открыла ржаво скрипнувшую калитку, шагнула в крохотный не то дворик, не то палисадник, и потянула за руку Виктора. Они обогнули замшелый домишко-засыпуху с маленькими оконцами, больше похожий на полууврощий в землю блиндаж. Здесь оказался еще один клочок земли и вход в дом, в метре от которого Виктор увидел у стены лавочку — толстую плаху на вкопанных столбиках.

На ней они и просидели до самого утра. Сначала тесно сомкнувшись плечами. Потом Виктор сделал осторожную попытку обнять Ксению. И на сей раз сопротивления не встретил. Она только еще сильнее прижалась к нему.

О чем они тогда говорили? Виктор Павлович сейчас уже и не помнил совсем. Время сдуло слова, как дым, унесло, растворило. Да и какая разница — о чем? Вовсе не это было важно для них, а то, что сидят они вот так, до невозможности близко, ощущая тепло друг друга и биение своих сердец.

Виктор поднял глаза к небу и удивился, какое оно здесь огромное и чистое, какие яркие на нем звезды. Словно и нет вокруг большого промышленного города.

— Я такие звезды только в детстве, в деревне, куда мы отдыхать ездили, видел, — признался Виктор.

— А у нас тут тоже деревня. Посреди города, — засмеялась Ксения, и вдруг воскликнула, ткнув вверх пальцем: — Ой, смотри, спутник!

И действительно, прямо над их головами неспешно пересекал Млечный Путь крохотный светлячок.

— Жаль, не слышно его. Может, он нам сигналит, а мы не слышим, — вздохнула Ксения.

— Пик... пик... пик... — попытался изобразить сигналы спутника Виктор. — Ксении привет... Ксении привет...

Слегка отстранившись, девушка повернулась к нему, и Виктор совсем рядом увидел ее лицо. Правда, в темноте теплой августовской ночи его очертания скорей угадывались,

нежели явственно просматривались, но от этого казались особенно привлекательными. В глазах Ксении в жарком ожидании плескался звездный свет. Он завораживал, манил космической бездонностью, призывал окунуться и раствориться в нем. Глаза Ксении неотвратимо приближались. Волна нежности захлестнула Виктора и бросила навстречу...

В их дальнейшей совместной жизни поцелуев было не счесть, но не они, а вот именно этот, самый первый — необыкновенно жадный, затяжной и головокружительно стремительный, как прыжок с нераскрытым парашютом, бьющий по телу нервным высоковольтным током — в памяти и остался навсегда...

Виктор Павлович вздохнул, посмотрел в окно. Река опять отступила от железной дороги, ушла в сторону, уступив место мрачным лиственницам, карабкающимся на склоны сопок, спряталась за их спинами, исчезла, затерялась в дремучих таежных распадках. Как тогда Ксения...

— А ваша первая любовь... — услышал Виктор Павлович голос Виктора.

Шел голос откуда-то издалека, но был странно знакомым, словно не от сидящего напротив молодого попутчика исходил, а от самого Виктора Павловича тридцатилетней давности.

— Что? — переспросил Виктор Павлович, стряхивая наваждение.

— Ксения, первая любовь ваша — что с ней сейчас?

Виктор Павлович хмуро молчал, а Виктор, истолковав это как реакцию на собственную бес tactность, начал извиняться.

— Да ладно, — остановил его Виктор Павлович, — дело прошлое... Недолго наша музыка играла. Расстались мы... А Ксению я с тех пор не видел. И не слышал о ней ничего. Как сквозь землю провалилась!

Виктор Павлович повертел в пальцах пустой стаканчик. И вдруг увидел вместо него клочок бумаги с тремя короткими фразами: «Так больше продолжаться не может. Я ухожу от тебя. Прощай и не ищи!» — ее прощальную записку. А как поначалу все замечательно начиналось!..

Уже совсем рассвело, когда Виктор возвращался в общежитие. «Нахаловка» досматривала утренние сны. Засыпухи в слоеном тумане призрачными видениями выплывали на пути. Но склоны глубокого оврага, обсаженные ими, как мухами, в свете нарождающегося дня уже не внушили Виктору мистического страха. Тем более что в крохотных палисадниках заливались проснувшиеся раньше всех птицы, а сверху, со стороны парка им отвечали звонкие трели первых трамваев. Радость переполняла Виктора. Вечером его ждало новое свидание с Ксенией, и он уже сейчас жил сладостным его предвкушением.

Свиданий тех оказалось у них совсем немного. Недели не прошло, как Виктор остался ночевать у Ксении.

Жила она с бабушкой — подслеповатой, глуховатой старухой, согнутой годами. Виктор почему-то сразу пришелся ей не по душе. Наутро после первой их «брачной» ночи, когда он с наслаждением плескался на улице под рукомойником, бренча железным носиком, он вдруг услышал почти над самым ухом ржавый бабкин голос:

— Ходют тут, прохиндеи всякие, добро наше замают.

От неожиданности Виктор выпрямился, чуть не ударившись лбом о рукомойник. Согбенная старуха буравила его злым взглядом глубоко посаженных глаз.

— Что пялишь-то зенки свои бесстыжие, — продолжала она скрипеть. — Чисто коршун, горлинку сцепавший...

— Баба, перестань! — одернула ее Ксения, выныривая из-под низенькой притолоки входной двери. — Чего ты к человеку прицепилась?

— Ничо!.. Явился, виши, не запылился... — еще сильнее распалилась старуха и накинулась на внучку: — Ты тоже хороша, шалава! Ишшо не венчаны, не расписаны, а уже сразу в койку... с кем попало...

— Да не с кем попало...

Ксения нежно погладила голый торс Виктора и коснулась губами его шеи. А бабка, плюнув в сердцах, поковыляла к двери.

— Вот ужо я матери отпишу, как ты тут со всякими кувыркаисси... — слышалось ее возмущенное бормотание.

— Не обращай внимания, — успокоила Ксения. — Любит поскрипеть. Она и маму все время донимала: и то ей не так, и это... В конце концов достала — сбежала моя маманя от нее, на Дальний Восток.

— Что так далеко?

— А к бабушке. К матери своей и моей бабушке?

— А это чья мать-бабушка?

— Отцова, — пояснила Ксения и, как бы предупреждая следующий вопрос, сказала:

— Погиб он. Авария на заводе, где он работал, случилась, вот его и...

— Извини, — смутился Виктор, не знал.

— Да ничего, давно это было. Мы хотели сразу же уехать, но мне надо было школу заканчивать. И бабку оставлять совсем уж одну после случившегося тоже как-то... В общем, так и жили, будто три сироты. У бабки чердак все сильней набекрень съезжал. Мамино терпение лопнуло, полтора года назад об эту пору она и уехала.

— А ты?

— А у меня институт, работа. Я хоть и заочно учусь, но ведь два раза в год на сессии оттуда сюда в такую даль не наездишься. И бабка опять же. Кроме меня, у нее никого больше не оставалось. Ладно, пошли завтракать... — легонько подтолкнула Ксения Виктора к двери.

Так и начали они жить вместе: никакими официальными узами не связанные, но фактически мужем и женой. Наверное, их любовный союз с юридической точки зрения являлся гражданским браком, а с обывательской — просто сожительством, но Ксении с Виктором было тогда совсем не до определения своего «статуса». Их захлестнул с головой вал страсти. Они с упоением отдавались друг другу, друг в друге растворяясь. И ничто, казалось, не могло омрачить их сладостного любовного помешательства. Разве что бабка...

Она-то как раз и стала той самой ложкой дегтя, которая портит бочку меда. Старуха то и дело возникала перед ними в самый неподходящий момент, что-то бормоча и пришептывая, буравя Виктора ненавидящим взглядом, от которого он невольно ежился и спешил скрыться с глаз долой. Но она снова и для него всегда почему-то неожиданно нарисовывалась в другом месте. Ее свистящее змеиное пришёптывание преследовало его даже на работе. Случалось, что и ночью она давала знать о себе. Уже почти достигнув любовного экстаза, Виктор в тишине ночной слышал вдруг за дверью их комнатушки непримиримый бабкин голос:

— И порются, и порются... Как кролики, ей бо! Скоро сетку на кровати порвут.

И Виктор, которому до вожделенного пика страсти оставалось всего несколько движений, при этих словах, как альпинист, потерявший точку опоры, обрушивался вниз. Ксения прыскала в кулац, возмущенно, хотя и не зло, кричала старухе, чтобы не подслушивала и гнала прочь. А Виктор как тот покалеченный альпинист долго еще не мог прийти в себя и начать новое восхождение.

Бабка, в конце концов, его достала. Виктор снял комнату, и они от нее съехали. Виктор вздохнул свободно. Теперь, когда старая коряга уже не путалась в ногах, их совместное житье-бытье, верилось ему, станет совершенно безоблачным и солнечным, а любовный огонь никогда не угаснет.

Много позже Виктор Павлович в стихотворении одной поэтессы наткнулся на такие строки: «Нас греют только первые костры. Последние — сжигают нас дотла». И поразился тому, насколько это верно. И пожалел, что никто не сказал ему ничего подобного тогда, когда их с Ксенией костер еще только вспыхнул.

— ...По молодости так часто случается, — продолжал мять пальцами пустой пластмассовый стаканчик Виктор Павлович. — Встретились, очертя голову бросились в объятия друг другу, а потом так же быстренько и безоглядно разбежались. Сначала ослепляет вспышка любовной молнии, в свете которой кажется, что вы теперь сплавлены воедино навсегда, а уже чуть погодя вспомогательный сполох — громовой раскат сомнения: а нужны ли вы друг другу вообще, готовы ли, что бы ни случилось, идти в одной связке... — Стаканчик выскользнул из его пальцев, покатился по столику. — Не сочти, Виктор, за старческое брюзжание в адрес молодых. Я это о себе говорю — о том, более чем тридцатилетней давности балбесе, убежденном, что вся жизнь еще впереди и не надо спешить обременять себя разными там узами. Н-да...

Виктор Павлович замолк, снова ушел в себя...

Неужели и в самом деле это было только вспышкой, «солнечным ударом», помутившим их обоих? Но почему избирательная память не похоронила ту вспышку в своих глубинах как нечто случайное, не имеющее продолжения, а, наоборот, время от времени напоминает ему о тех днях, заставляя сжиматься сердце? Бог весть!

А тогда...

Жаркий костер их любви с искрами до неба полыхал недолго. На удивление быстро они насытились друг другом. Уже и постель все меньше сближала их. Даже наоборот, все чаще становилась причиной новых ссор.

Хотя чему тут удивляться, усмехнулся Виктор Павлович: сладкое без меры очень даже быстро оскомину набивает. С насыщением улетучивался любовный дурман, спадала розовая пелена. Взор очищался, становясь четче, контрастней, и то, что еще совсем недавно едва проступало где-то там, у горизонта, сейчас вдруг оказывалось перед самыми глазами во всем своем реально-конкретном бытовом черно-белом существе, и те мелочи-пустяки, которые оба они в любовном угаре просто не замечали, стали все назойливее и раздражающе напоминать о себе.

И обнаруживалось, что у каждого из них свои привычки, вкусы, свое понимание совместной жизни. И свой характер.

Они были разные. Ухоженный мальчик из интеллигентной семьи, где все вращалось вокруг него, а он привык принимать это как должное. И пролетарских корней девочка, рано лишившаяся отца и до срока ставшая самостоятельной.

Этой своей самостоятельностью Ксения ему и докучала больше всего. Она не выносила малейшего беспорядка. Каждый день мыла полы, посуда у нее блестела, все у нее было разложено по полочкам, знало свое место. Того же она и от него требовала.

Надо было подлаживаться друг к другу, учиться им, таким разным, жить вместе, отыскивая точки соприкосновения. Но это требовало немалого труда. Долгого, утомительного. А терпения не хватало. Да и особого желания, видимо, — тоже. Проще было все объяснить и утешиться спасительной мыслью, что, наверное, они просто не созданы друг для друга и с этим ничего не поделаешь.

Так и продолжали жить «задерихой» с «неспустихой». При этом Ксения становилась с каждым днем все раздражительней, срываясь часто по сущим пустякам. А когда он, пытаясь понять причину этого, набрался решимости и прямо спросил Ксению однажды, что с ней происходит, услышал в ответ, что она — беременна. Это было для него громом среди ясного неба...

— Наверное, вы правы, — услышал Виктор Павлович голос попутчика, выплывая на поверхность реальности из глубин памяти. — Мы тоже вот с Маринкой... Ну, живем мы с ней. Гражданская типа жена моя... Все, как вы говорите, и у нас было. Молния, потом гром... А дальше и вовсе не жизнь пошла, а нудный обложной дождик. Особенно когда забеременела. Все что-то ей не так. А уж если, не дай бог, где-то с друзьями посидашь, выпьешь, тогда и вовсе — тушите свет!

— Так она что у тебя — беременная?

— Маринка-то? Ну, да. Уже и срок порядочный.

— А ты, значит, к маме? От беременной зануды подальше, — с неожиданным вдруг сарказмом сказал Виктор Павлович.

Виктор смешался, опустил глаза.

— Да достала она меня...

— За пьянку, что ли?

— Да ну, — махнул рукой Виктор. — Приходил разок-другой выпивши. С корпоративов. Что с того? А так я вообще-то не злоупотребляю.

— Понятно, — вздохнул Виктор Павлович и спросил: — Ну, а объясниться пытались? К консенсусу, так сказать прийти?

— Да в последнее время только и делали, что отношения выясняли. Виктор замолчал, задумался...

Выясняли... А тема в основном одна была: любишь — не любишь... Но поначалу, когда стали жить вместе (буквально через несколько дней после знакомства Виктор привел Марину к себе домой), такого вопроса не возникало. Только «любишь» — без вариантов! Сомнения пришли позже, когда стали привыкать друг к другу. Тут и выяснилось, что жизнь совместная у них вроде бы и одна, но смотрят они на нее и воспринимают каждый по-своему.

Виктору почему-то казалось, что любовь с ее пылкой, а то и вулканической страстью — это одно, а вся остальная жизнь с работой, коллегами, товарищами, бытовыми проблемами, наконец, — другое, нечто отдельное, как бы за скобками любовных отношений. С другой же стороны, и сами эти отношения, полагал Виктор, не должны касаться обыденности и бытовухи, должны концентрироваться внутри себя и сосредотачиваться на самих себе, быть «вещью в себе».

Марина же, вопреки этому доморощенному экзистенциализму Виктора, любовь не выделяла, не обособляла, не делала из нее «искусства для искусства», а воспринимала ее неотделимой частью жизни — той многоликой, многообразной, многокрасочной, реальной жизни, которой сама она жила здесь и сейчас и принимала такой, какая она есть. Наверное, не доставало ей романтизма. В отличие от Виктора, который любил время от времени воспарить над бренной землей в мечтательные выси, Марина от земли не отрывалась.

— Сделай то, сделай другое... — опять заговорил Виктор. — Иду с работы домой — звонит: купи по дороге хлеба, того, сего... Почему бы самой не купить? Не дай бог, после работы в паб заверну пивка попить — выволочка: думаешь только о себе, про меня наплевать... Ну, и так далее, в том же духе — каждый божий день. А как забеременела, так вообще «резьбу сорвало». Только и разговоров, что о будущем ребенке. Еще не родился, а уже целый склад детских вещей. Свет клином на нем сошелся. А я уже на десятом плане. Меня к себе вообще лишний раз подпускать перестала. О прежней любви одно воспоминание осталось...

— Н-да, обычное дело: любовная лодка разбилась о быт, — усмехнулся Виктор Павлович.

— Как вы сказали? — переспросил Виктор. — Разбилась о быт?

— Да это не я сказал — поэт Маяковский когда-то. Но так часто и бывает. Быт — река опасная. Поэтическо-романтической любовной лодке о ее пороги и подводные камни разбиться запросто. Поэтому плыть по ней по воле волн чревато. Лодкой надо управлять. Хорошо управлять, искусно. Только далеко не каждый это может. Вот и боятся «любовные лодки», и тонут, так сказать, в пучинах быта...

Когда-то, подумалось Виктору Павловичу, он тоже со своей «лодкой» не сумел справиться. Впрочем, не сильно-то, наверное, и старался.

Сойдясь с Ксенией, он тогда не задумывался о дальнейших перспективах их связи. Тем более о том, что жаркий костер любви надо было превращать в ровно и надежно греющий семейный очаг. Только-только окунувшись в стихию самостоятельной жизни, он не помышлял ни о каком семейном очаге. И уж тем более не мог, да и не пытался, представить себя отцом ребенка. То есть теоретически признавал, что рано или поздно это, видимо, должно случиться. Но случится, надеялся, в неблизком пока будущем. А, стало быть, зачем заранее становится рабом семейных уз. Он не был готов ни к чему такому, не испытывал к тому потребности, и когда смутное далекое «завтра» вдруг начало стремительно превращаться в конкретное реальное «сегодня», испугался, запаниковал.

Как они будут жить со всеми этими пеленками-распащенками без собственной крыши над головой, нормального материального достатка, сами еще толком не встав на ноги? Ксения же вот еще институт надо закончить... Но Ксения к его увещеваниям, показалось ему, отнеслась как-то слишком легкомысленно. Дескать, ничего страшного, они оба молодые, есть силы и здоровье, преодолеют трудности... А когда он предложил избавиться от будущего ребенка и пожить пока для себя, пришла в ярость — кричала, что лучше убьет себя, что и ему тогда лучше не жить.

Он отступил. Но трещина разлада начала стремительно расти, с треском разрывая ткань их отношений. Домой вечерами уже не хотелось, и он стал «задерживаться» на работе, хотя не так еще давно едва досиживал до конца смены в предвкушении новой встречи со своей «прекрасной Ксенией», как он ее называл. В выходные томился от вынужденного пребывания в одном помещении с Ксенией. Он смотрел, как все заметнее растет и округляется ее живот, и его охватывало уныние. Иногда они выходили погулять. Ксения брала его под руку, приваливаясь к его плечу. Он чувствовал, какая она становится тяжелой, и ему это было почему-то неприятно. Казалось, что прохожие кто с подозрением, а кто с насмешкой косятся на них, и он невольно убыстрял шаг, вызывая протест Ксении: «Куда ты мчишься, я не собираюсь за тобой бежать!» Ей не хотелось сидеть дома, и она тащила его то в кино, а то и в театр. Он молча подчинялся, хотя испытывал настоящие муки, оказываясь рядом с нею в свете яркого освещения при большом скоплении народа, и с нетерпением ждал, когда в зале погаснет свет.

Ксения — не слепая же! — конечно, видела, чувствовала, что он тяготится ею, оттого злилась еще сильнее, устраивала сцены, доходящие до истерики, и теперь уже сама требовала объяснений. А он и рад бы, но не знал, как это лучше сделать, какие слова найти. Да, откровенно говоря, и не понимал отчетливо, что происходит в последнее время с ним, с ними, во что превращается их любовь.

А ведь, не смотря ни на что, он продолжал любить Ксению. И все было бы замечательно, если бы не этот некстати возникший и чуть ли не на глазах увеличивающийся живот, если бы все вернулось на круги своя, когда они любили только друг друга и никого больше вокруг для них не существовало... Но теперь-то как раз уже и «существовало», и с этим приходилось считаться. Во всяком случае, Ксения требовала считаться. И не просто требовала, а делала это главным смыслом их теперешней жизни, чем еще сильнее выводила из душевного равновесия.

— Значит, говоришь, у Марины твоей свет клином на еще не родившемся ребенке сошелся?

— Ну да, — вздохнул Виктор. — А когда спрашивал — ну, и кто теперь кого любит — не любит? — обижалась. Говорила: как ты можешь сравнивать? Ты, говорит, теперь меня вдвойне должен любить. Нормально, да!

— Что ж, знакомо... И я думаю, что в этом своем ожидании будущего ребенка — все женщины одинаковы. Основной инстинкт движет ими в это время.

— Инстинкт?

— Да. Материнский инстинкт, инстинкт продолжения рода. Нам, мужикам, не всегда удается это вовремя распознать, проникнуться, — сказал Виктор Павлович и спросил: — А ты сам-то как к своей будущей роли отца относишься?

— Уже, получается, никак, — невесело усмехнулся Виктор. — Роль у меня отобрали.

— А до тех пор?

— В общем-то, нормально. Дело естественное. Конечно, неплохо было бы повременить пока, но раз уж случилось... Не я первый — не я последний.

«Вот так!.. С философским спокойствием воспринимает, как данность человеческой природы», — с удивлением и уважением подумал Виктор Павлович. И невольной обидой. На себя многолетней давности, растерявшегося до гнетущего испуга в подобной же ситуации.

— Я понимаю, что дети многое в жизни меняют, — продолжал Виктор. — И я бы, наверное, тоже проникнулся, по другому стал относиться... Но не успел. Пиковая дама уже сузила глазки...

— Что? — не понял Виктор Павлович.

— Да это я так, стишок один вспомнил: «Пиковая дама сузит глазки — жизнь пойдет, как поезд, под откос...» В общем, не успеля...

...Остаток ночи Виктор провел у Пашки в общаге. Ворочаясь на надувном матрасе, брошенном прямо на пол, он долго не мог уснуть, переживая, что его так беспардонно, на глазах приятеля не пустили в собственную квартиру. «Ладно, — думал он, засыпая, утром разберемся...».

— Ну, и как спалось в чужих стенах? — спросила его Марина с холодной издевкой по возвращении.

И эти слова, и тон, каким они были сказаны, Виктора прямо-таки взбесили. Он шел поговорить по душам. Собирался, конечно, донести до Мариной обиду за вчерашний прием, но в итоге рассчитывал помириться. И тут прямо с порога, будто ледяной водой окатили. Или того хуже — пощечину влепили. Покорно подставлять другую щеку ради примирения Виктор не собирался.

— А как тебе без меня — в моих стенах? — в тон Марине ответил он.

Марина вспыхнула, закусила губу. На ее глазах показались слезы. Слова Виктора попали в цель. Он знал, что это было уязвимым местом Мариной.

Она давно не ладила со своими родителями. Особенно с отчимом, самодурствующего пошиба мужиком. Сама девушка с характером, она не хотела прогибаться под ним, уступать его властолюбию, как ее мать. Так что нашла у них коса на камень. Только искры летели!

Встреча с Виктором оказалась для Мариной, помимо вспышки нежданно нагрянувшей любви, еще и настоящим спасением от деспотизма отчима. У Виктора, в его квартире, она была счастлива не только от любви, но и от той свободы, какую не испытывала едва ли не с детства, до тех пор, пока не разошлись отец с матерью. Марина успела привыкнуть к этим стенам и считать их чуть ли не родными, и о возвращении в родительские пенаты даже думать не хотела. О чем и Виктору признавалась.

И этот его прозрачный намек на то, кто в доме хозяин, больно ранил Марину.

— Хорошо, — сказала она, справившись с собой, — я не стану тебя долго обременять...

— Что, домой вернешься? — сказал Виктор, зная, что уж этого точно не будет.

— Да какая тебе разница? — огрызнулась Марина. — Найду, где голову приклонить. Виктор с сомнением посмотрел на ее живот. Марина перехватила его взгляд, сказал:

— Заодно и от этого тебя избавлю. Чтобы ничего тебе обо мне не напоминало. Будешь приводить сюда, кого заблагорассудится. Ты ведь давно этого хотел?

Лучше бы Марина этого не говорила. Чего-чего, а повода усомниться в своей верности Виктор не давал. Его заколотило от явной, а потому и еще более обидной несправедливости. Он заметался по комнате, доставая дорожную сумку, швыряя в нее свои вещи, туалетные принадлежности, документы... «Пропади ты пропадом!.. — пульсировало у него в висках. — Сам уйду, уеду... Будем считать, что ты меня из моего же собственного дома выгнала...»

Марина молча наблюдала за ним. Виктор, закончив сборы, направился к выходу. Уже переступая порог, бросил, полуобернувшись:

— Я сам уйду. А ты — живи! Надеюсь, без меня тебе будет лучше.

И услышал вслед уничижающее:

— Бежишь? Трус и предатель! И не любил ты меня никогда. Только картину гнал!..

Виктор дернулся, как от удара хлыстом. Надо было бы, наверное, остановиться, ответить, и самый, пожалуй, подходящий момент был для того, чтобы отыграть все назад, а потом и добиться мировой. Но он уже закусил удила, и путей к отступлению не видел...

— ...Понимаю, — сказал Виктор Павлович. — Я вот тоже когда-то «не успел». Ни понять, ни удержать. Однажды с работы вернулся — а Ксении нет. Только записка на столе: больше так не могу, прощай, не ищи ...

...А накануне они очередной раз поссорились. Ксения стала допытываться, как бы он хотел назвать будущего ребенка. На что Виктор хмуро ответил, что никак, да и вообще рано ему пока об этом думать. «Смотри, — с какой-то непонятной ему угрозой сказала Ксения, — как бы поздно потом не было». Виктор недоуменно посмотрел на нее и услышал: «Ты можешь остаться без нас обоих. Если расстанемся, то не увидишь больше ни меня, ни его, — положила она руку на живот. — Никогда.

Особого значения этим словам он не придал, а потому не бросился искать Ксению по горячим следам. Да и уверен был, что дальше бабкиной хибры в Каменских трущобах не уйдет. Пусть, подумал, пропихнется, остынет, а там, надеялся, само собой все и уладится. Но ошибся.

Он тщетно прождал возвращения Ксении несколько дней, а потом отправился к бабке. По дороге думал, как и что надо ему сказать, чтобы восстановить отношения. Вот и знакомый тупичок, засыпуха, полузаваленная сугробами грязного снега. Он постучал в дверь. Услышал бабкино скрипучее «кто там?», откликнулся. Долго не открывали. Наконец впустили.

— Чего пришел? — неприязненно спросила бабка.

— Да я... Ксению можно?

— Как это — можно? — с подозрением поглядела на него старуха.

— Ну, она у вас?

— А чегой-то у меня? Ты ж ее, охальник, увел, а теперь спрашиваешь? Это я тебя буду спрашивать: где она, куда ты дел, мою девочку?

Бабка стала грозно надвигаться на него.

— Поругались мы, — вынужден был признаться Виктор. — Она и ушла. Я думал — сюда.

— И молодец, что ушла! Нечаянно с тобой делать, — похвалила внучку бабка, но Виктору категорически заявила: — Только у меня ее не было.

— А где она тогда — не знаете?

— А и знала бы — не сказала! — отрезала бабка, тесня его к выходу.

Он выбирался наверх к Центральному парку и растерянно соображал, где ж ему теперь Ксению искать. Вспомнил, говорила она что-то о матери, уехавшей на Дальний Восток к сестре. Но искать человека на такой огромной территории еще бессмысленней, чем иголку в стогу сена. А спросить Ксению, в какой именно город или поселок уехала ее мать, не удосужился. Да и ни к чему это ему было.

Конечно, он переживал сначала. Сильно переживал. Места себе не находил. Но как-то быстро успокоился и даже облегчение почувствовал, что кончилось все для него без всяких последствий. Если не считать потерянной любви. Ну, так ведь и та, успокаивал себя, уже угасала и остывала. А впереди еще — большая и, надеялся он, лучшая часть жизни.

— Давно это у вас было — поинтересовался Виктор.

— Да уж больше тридцати лет... Тридцать два года назад, если точно, — чуть помедлив, ответил Виктор Павлович.

— Мне в этом году тоже тридцать два исполняется, — сказал вдруг Виктор.

Виктор Павлович вскинул голову и наткнулся на пристальный взгляд своего визави. «Неужели?..» — снова вспыхнул в мозгу вопрос, не дававший ему покоя с тех пор, как увидел он этого парня.

— А отец твой... — заговорил Виктор Павлович, но Виктор нетерпеливо и с заметным раздражением, словно вопрос был ему неприятен, перебил:

— Да не видел я его никогда. Мать ничего не рассказывала, но похоже бросил он ее, когда меня еще и на свете не было. А замуж больше не выходила. Так что, получается, безотцовщина я, — сказал Виктор, не отводя упорного взгляда, от которого Виктору Павловичу становилось все более не по себе.

— И даже фото его не видел?

— Нет.

— Ну а мама...

— Что мама?

— Ты на нее похож?

— Думаю, да. Хотя...

Виктор вспомнил, как однажды, когда было ему уже лет пятнадцать, она, глядя на сына, воскликнула в каком-то раздраженном удивлении: «Господи, как ты на своего родителя становишься похож! И обличием, и даже повадками...»

Виктор запустил руку во внутренний карман ветровки, достал портмоне, извлек из него небольшого размера фотографию, протянул Виктору Павловичу:

— Вот. Перед отъездом в Хабаровск снимал.

Виктор Павлович осторожно, словно боясь разбить некий драгоценный сосуд, взял фотографию. И вздрогнул. С нее смотрела на него немолодая, но очень привлекательная своей зрелой осенней красотой женщина. Смотрела, чуть улыбаясь краешками губ, полными густой синевы большими глазами. Ушло из них прежнее молодое радостное сияние, которое сразило Виктора Павловича тогда, на танцплощадке, когда он впервые увидел ее, но это была она, Ксения. Без всяких сомнений. Время, конечно, наложило на нее свой отпечаток, «отретушировало» в соответствии с возрастом, но все равно Виктор Павлович сразу узнал ее.

— Хороша! — сказал он, возвращая фотографию. И добавил едва слышно: — Даже еще лучше, чем в молодости.

— В молодости? — переспросил Виктор.

— В молодости, говорю, еще лучше, наверное, была, — поспешил выкрутиться Виктор Павлович и предложил: — Давай выпьем за твою маму!

— Давайте, — согласился Виктор.

— За Ксению Николаевну... Подскажи тогда и фамилию, что б уж, как говорится, полным титулом...

— Савина, — сказал Виктор и снова уперся в Виктора Павловича взглядом.

Виктор Павлович поднял свой стакан и почувствовал, как предательски дрожит от волнения его рука. Он боялся, что расплещет содержимое. Справившись, все-таки, с собою, залпом выпил. И даже не почувствовал на сей раз никакого вкуса. Словно отшибло соответствующие рецепторы.

Да, это была она. Он опять увидел ее... тридцать два года спустя. Пусть хотя бы на фото.

«И что ж тогда получается?.. — спросил себя Виктор Павлович, прислушиваясь к гулким учащенным ударам своего сердца. — Получается, что этот парень... мой сын?»

Словно пытаясь окончательно убедиться в том, он еще раз исподлобья взглянул на Виктора. И снова, будто в волшебном зеркале времени увидел себя молодого и так удивительно похожего на сидящего напротив попутчика.

«Вон и лоб, и нос, и подбородок его, и даже родинка на левой щеке... А голубые глаза и линия рта, казавшаяся ему когда-то крыльями вспорхнувшей птички, ее, Ксении...»

Сомнений больше не оставалось — сын! Его сын, которого он никогда раньше не видел...

Сделанное открытие Виктора Павловича оглушило и... обескуражило. Он был в растерянности. Что теперь ему делать, как себя вести? Сию же минуту открыться, признаться, что он отец этого молодого человека, заключить его в радостных объятиях?

А поверит ли ему Виктор. Мало ли что этому старперу после выпитого поблазнилось? Ну, есть какие-то совпадения, сходство. А фото Ксении? И что? Оно только ему, Виктору Павловичу, о чем-то говорит и заставляет вспомнить. А для Виктора на нем всего-навсего его мать, и никакие другие ассоциации это фото вряд ли ему навевает.

Но даже если и поверит... Как и о чем им говорить? Готов ли сам-то он, Виктор Павлович, вообще к этому разговору?

Да откуда такой готовности взяться? Ребенка своего он даже увидеть не успел, а уж тем более прикипеть к нему, почувствовать себя отцом. И если б не сегодняшняя совершенно случайная встреча, то и не подозревал бы о существовании, взрослого уже, сына.

Ксения (из большой гордости, наверное) ничего о нем не сообщала. Как пропала тогда бесследно, так и все. Ни с алиментами не докучала, ни с чем. Словно взяла и вычеркнула его напрочь из своей жизни.

У Виктора Павловича вдруг сперло дыхание. Он потер ладонью шею. И опять наткнулся на вопрошающий взгляд попутчика. О чем спрашивали его глаза? Требовали открыться, признаться, покаяться, наконец? Наверное, так и следовало бы поступить. Сделать хотя бы шаг навстречу. А там уж — будь, что будет!.. Но не хватало Виктору Павловичу для этого ни решимости, ни мужества. Да и уверенности в том, что это необходимо.

Противостояние их взглядов продолжалось всего несколько мгновений. Виктор Павлович первым увел глаза в сторону. Виктор вздохнул и тоже отвернулся к окну. Виктору Павловичу показалось, что и он в смятении и не знает, как быть дальше. Недавняя непринужденность их общения улетучилась, словно от внезапного порыва ветра, и ощутимо потянуло знобким сквозняком. И чтобы прервать затянувшееся молчание, Виктор Павлович спросил:

— Ну, как она? — не уточняя, кто именно.

— Нормально, — отчужденно откликнулся Виктор, так же ничего не уточняя, будто нисколько не сомневался, о ком идет речь.

Да, видно по всему, действительно не сомневался.

Пуститься в дальнейшие расспросы Виктор Павлович не рискнул, хотя и страшно хотелось.

За вагонным окном стемнело. Неярким светом засветился плафон на потолке. Поезд петлял между невидимых сейчас сопок, как слаломист. Вагон на поворотах слегка заносило. Колеса пели на поворотах тягучим альтом.

«Может быть, как-то выведать у него ее адрес?» — подумал Виктор Павлович. Но тогда придется, все-таки, открыться. И вовсе не факт, что Виктор будет в восторге от их с Ксенией будущей встречи. Да и сам он...

Виктор Павлович попытался представить, как появляется он на пороге квартиры Ксении... Николаевны, как смотрит она с недоумением на пожилого незнакомца, его не узнавая... Но даже если и узнавая... Что скажет она ему через тридцать с лишним лет, когда между ними пролегла непреодолимой уже, пожалуй, пропастью целая жизнь друг без друга? Ошиблись дверью, скажет? Или просто молча захлопнет ее перед его носом? Кто он теперь для нее? Давным-давно никто.

«Но ведь замуж-то она больше не вышла! — с робкой надеждой вспомнил Виктор Павлович слова Виктора. — Вот и сына назвала...», — уцепился он за эту мысль, как за соломинку, пусть хоть и зыбкий очень (мало ли было причин дать такое имя), аргумент.

— Тебе нравится наше с тобой имя? — вдруг вырвалось у него.

От этого «наше с тобой» Виктор вздрогнул и вспомнил, как однажды еще мальчишкой спросил мать, почему она назвала его Виктором. «В переводе на русский Виктор — победитель. Я и хотела, чтобы с этим именем у тебя в жизни больше было побед», — объяснила она. «А отца моего тоже Виктором звали?» — озаренный внезапной догадкой, спросил он. «Ага, — криво усмехнулась мать, — тоже... — И презрительно добавила: — Тот еще «победитель!...»

— Виктор Павлович, а ваша семейная жизнь потом как сложилась? — спросил Виктор.

— Да, собственно говоря, никак. Женщины были, но что-то серьезное слепить не удавалось. Что-то все время мешало...

— Она? — вскинул голову Виктор.

— Не знаю, — неопределенно пожал плечами Виктор Павлович, а про себя подумал: «Кто же еще?»

Именно ее образ возникал в сознании, когда отношения с очередной пассией выходили за грань ни к чему не обязывающей любовной связи и вставал вопрос выбора: дальше по жизни с ней, или без нее. Вот тогда и проступал откуда-то из потаенных глубин призрачно-белый бесплотный образ-привидение Ксении. Чуть улыбаясь краешками губ загадочной улыбкой Моны Лизы, она слегка покачивала головой, и Виктору Павловичу казалось, что Ксения говорит «нет» очередной его претендентке, и это «нет» он расценивал как приговор, окончательный и бесповоротный, который должен быть немедленно приведен в исполнение. И он сразу же прерывал дальнейшие отношения. В следующий раз, когда появлялась новая страждущая загнать его в семейное стойло, все повторялось в точности. Это было какое-то наваждение, мистика, но ничего Виктор Павлович поделать не мог. Это было выше него.

— Наверное, вы продолжали ее любить? — тихо и со значением сказал Виктор.

Виктор Павлович промолчал, а про себя подумал, что если и так, то любовь его долгие годы находилась как бы в анабиозе до лучших времен. И это время пришло?..

И острое желание увидеть Ксению пронзило его, как электрическим током. И опять он увидел себя на пороге ее хабаровской квартиры. Да не одного, а вместе с Виктором — сыном. Представил, как расширятся от удивления глаза Ксении, когда увидит их вдвоем... И никак не мог представить себе, что будет дальше. Наверное, потому, что эта его фантазия была настолько нереальной, беспочвенной, что и воображения чем-то закончить, закруглить ее Виктору Павловичу не хватало.

— Любил — не любил... Какое теперь это имеет значение? — откликнулся, все же, Виктор Павлович. — Как пели во времена моей студенческой юности: «Прошлое не воротится, и не поможет слеза...». А уж слеза слишком позднего раскаяния — тем более.

— Но, наверное, уж лучше поздно, чем никогда?

— Ты это к чему? — взволнованно встрепенулся Виктор Павлович, и в глазах его вспыхнула надежда.

— Да так... — смущаясь Виктор и отвел глаза.

Взгляд Виктора Павловича потух, и во всем его облике было такое разочарование, какое постигает рыбака, с крючка которого только что сорвалась желанная рыба.

— Лучше поздно... — пробормотал Виктор Павлович. — Может быть, и так. Только я, все-таки, думаю, что чем раньше, тем лучше. Время имеет свойство охлаждать и выветривать. Особенно чувства. Поэтому... — Виктор Павлович запнулся и неожиданно для самого себя торопливо, словно боясь, что Виктор не захочет его слушать, заговорил: — Возвращайся-ка ты, Витя, назад, к своей Марине, пока все у вас еще в полный накал и не начало гаснуть!.. Мы сейчас к Могоче подъезжаем. Здесь и сойди. Прерви путешествие, вернись!.. Вы помиритесь, обязательно помиритесь! Родится ребенок и у вас будет замечательная крепкая семья... Какой никогда не было и уже не будет никогда у меня... Не повторяй ошибок старших... Не губи любовь свою из-за глупых мелочных обид, как я когда-то. Возвращайся...

Виктор жадно внимал Виктору Павловичу, глядя на него во все глаза. И без труда, словно находились они на одной волне, улавливал подспудный смысл его слов. Ведь на самом деле Виктору тоже ох как не хотелось повторять судьбу Виктора Павловича и самого себя заранее лишать отцовства, а будущего ребенка делать сиротой при живом родителе. Поэтому, казалось, он только и ждал этих слов. Как сигнала для возвращения на круги своя. Как шлагбаума, перекрывающего ему путь дальнейшего бегства.

— Через пять минут станция, — напомнил Виктор Павлович. — Пospеши...

Виктор вскочил, чуть не ударившись головой о верхнюю полку, начал лихорадочно сдирать с матраса, подушки, одеяла постельное белье, складывать пожитки в спортивную сумку.

А поезд уже пересчитывал станционные стрелки, импульсивными толчками замедлял ход.

Проводник открыл дверь, протер тряпкой поручни. Дохнуло вечерней прохладой, хвойной свежестью окрестной тайги, от от шпал станционных путей потянуло креозотом.

Подхватив сумку, Виктор спустился по железным ступенькам вагона на перрон. Виктор Петрович вышел за ним.

— Вокзал там, — показал он. — Бери билет на любой поезд и...

— А вы?

— А я уж до конечного пункта своей командировки поеду — до Хабаровска.

— Так может... — глухо сказал Виктор, и Виктор Андреевич окончательно для себя убедился в том, что и он бесповоротно признал их кровную родственную связь и теперь, по всему видно, не хочет, чтобы она, внезапно обнаружившись, снова не порвалась и не исчезла.

— Нет, — покачал головой Виктор Павлович, — это, пожалуй, ни к чему. Ушел мой поезд. Навсегда ушел. Безвозвратно. А вот ты свой постараися не упустить. Догонять труднее. И не всегда, как видишь, удается. — У Виктора Павловича вдруг предательски запершило в горле. Прокашлявшись, сказал: — А у тебя есть все шансы склеить твой семейный сосуд...

«В отличие от меня», — подумалось следом Виктору Павловичу.

Ему много чего еще хотелось сказать напоследок только что обретенному и вновь теряемому сыну, но слова в его голове толпились и путались. И нужны ли они были вообще Виктору?

Вокзальный диктор объявил отправление. Они торопливо соединились в крепком горячем рукопожатии, впившись друг в друга прощальным взглядом. У Виктора Павловича заслезились глаза, и колючий горький комок застрял в горле. Призывно загудел локомотив. Состав дернулся и плавно двинулся с места. Руки их разъединились, и Виктор Павлович, догнав свою подножку, запрыгнул на ходу в вагон.

Виктор некоторое время махал ему вслед. Потом повернулся и зашагал к вокзалу.

— Прощай, сын, прощай, будь счастлив, сынок!.. — беззвучно шептал Виктор Павлович, глядя вслед удаляющемуся Виктору.

Он вернулся в пустое купе, потерянный и опустошенный, сел на свою полку, незряче уставился туда, где еще совсем недавно сидел Виктор.

«Надо было хотя бы обнять напоследок, — подумал он. — И адрес взять. Его, Виктора. Переписывался бы с сыном. Тем более что дедушкой скоро станет...»

И опять одолело его сомнение, а нужны ли вообще Виктору будут его письма? И что он может сказать в них сыну после своего молчания, длиною в целую его жизнь?

А так ли уж сильно виноват он сам в этом молчании? — подумалось Виктору Павловичу. Не он же от нее сбежал, а она от него. И знать ничего не давала ни о себе, ни о родившемся сыне. И разве не она лишила его того счастливого момента, когда младенец хватает папин палец, заявляя свое безусловное право на отца?..

И все-таки острое чувство собственной вины, возникшее в нем, как только он понял, что Виктор его сын, не отпускало Виктора Павловича. Ее конкретной сути и величины он толком не представлял, но она застряла в нем костью в горле, сбивая дыхание, вселяя безотчетный страх и тоску.

Виктору Павловичу казалось, что Виктор был сегодня ниспослан ему свыше, как живой укор и напоминание о том, что цветение венчается плодоношением. И в этом главный смысл бытия: природы ли, человека. Об этом Виктор Павлович тогда, в пору их с Ксенией любовного цветения, как-то не задумывался. Она поняла это раньше его и надеялась, что поймет вслед за нею и он, и тогда... И тогда все могло пойти по-другому. То есть так, как и должно быть в нормальном семейном союзе, который с появлением детей обретает уже иное качество. Но он не понял, да и не пытался особо-то.

Он и сейчас смалодушничал — не открыл, не признался, спрятал голову в песок. Как тот младенец Виктор попытался «ухватить» его «палец», а он в испуге отпрянул и оборвал с нежданно обретенным сыном едва наметившуюся непрочную, как паутинка, ниточку родственной связи.

Виктор Павлович достал из сумки еще одну бутылку водки. Он всегда держал заначку на всякий пожарный. Налил в пластмассовый стаканчик чуть ли не до краев и, не отрываясь, выпил. Задумался, вспоминая, как жил все эти годы.

Как жил? Да так и жил — пустоцветом. И друзей настоящих не было — только знакомые да сослуживцы, и женщины в его холостяцкой квартире появлялись залетные и случайные, надолго не задерживаясь. Домой иной раз и возвращаться не хотелось, так одиноко и неприкаянно было. Только работа и спасала. Мотался по командировкам. Как специалиста его ценили, по службе он до поры до времени успешно продвигался. Через несколько лет работы уже руководил группой. Потом в Красноярске открыли новый филиал их проектного института и ему предложили там должность ГИПа (главного инженера проектов). В Новосибирске Виктора Павловича давно уже ничего не держало, и он без раздумий согласился.

Теперь вот движется потихоньку к заслуженному отпуску. Мог бы и выше подняться, но с годами уже и работа, такая поначалу интересная и романтичная, увлекала его все меньше, и карьера. Зато все больше хотелось покоя, домашнего тепла и уюта, внимания близких. А этого, как раз, не было и в помине.

Он старел в одиночестве и не питал никаких иллюзий относительно своего завтрашнего дня. Вспоминалось Виктору Павловичу попавшееся ему однажды на глаза изречение Сенеки: «Счастливей всех тот, кто без тревоги ждет завтрашнего дня».

Соглашаясь с древним философом, сам он ждал завтрашнего дня с нарастающей тревогой, а в последнее время и страхом. Потому что на пенсии ждало его еще большее одиночество и пустота.

В командировках Виктору Павловичу некогда было думать об этом, но дома, когда приходил с работы к себе в квартиру, накатывала жуткая подчас тоска. Она сдавливалась грудь, щемила сердце, не давала уснуть. Он стал мучиться бессонницей. Чтобы ее одолеть, взял за привычку выпивать на сон грядущий водки или коньяку. Но помогало не всегда. Вот и сегодня — не брала, проклятая!..

Владимир Павлович снова потянулся к бутылке.

«Спиваюсь...» — подумал он. Но вяло, безразлично, с какой-то предрешенностью и покорностью судьбе.

Плеснув в рот еще полстакана водки, Виктор Павлович поднес ладонь тыльной стороной к носу и, зажмурившись, шумно втянул в себя воздух. В таком положении он просидел несколько мгновений. И вдруг услышал, как кто-то отворяет дверь его купе. Открыв глаза, Виктор Павлович повернулся на звук и увидел в дверном проеме купе... белую женщину.

Она была в ослепительно белом одеянии, похожем на древнегреческий хитон. Глаза Виктора Павловича начинали затуманиваться, взор терять резкость и контрастность. Потому, наверное, и лица женщины разглядеть ему не удавалось.

Она перешагнула порог купе, задвинула за собой дверь и с укором покачала головой:

— Опять пьете, Виктор Павлович?!

Он виновато опустил голову. Он не знал, что это за женщина, но уже сам ее голос действовал на него гипнотически, вызывая страх и почтительный трепет одновременно. Нечто подобное ощущал он в далекие времена школьного детства, когда за тот или иной проступок отчитывала его первая учительница.

— Зачем только живет человек на свете? — сказала белая женщина, не известно к кому адресуясь своим вопросом. Но Виктор Павлович принял его на свой счет и еще ниже опустил голову. — И сам никто, и звать его никак, и никому не нужен, — продолжала она ледяным тоном, пробирающим до костей. — Семьи не уберег, сына осиротил. Напрасно прожитая жизнь...

— Да, да, напрасно... — поспешил согласиться Виктор Павлович, как набедокуривший школьник, который торопится покаяться и сказать сакральное «я больше не буду», и растерянно спросил: — Так что же мне теперь делать?

— Подумай...

— Надо начать все сначала? Ну, конечно — сначала! — обрадовано воскликнул Виктор Павлович.

— И как вы это себе представляете, если, не открывшись сыну, сожгли за собой последние мосты? — нехорошо усмехнулась белая женщина. — Да и нельзя, как вы знаете, войти в одну и ту же реку дважды. Тем более что вы всю жизнь убегали от ее истоков, а здесь, недалеко от устья, река жизни совсем иная.

— Тогда — что же?

— Тогда надо подвести черту под тем, что есть, — безжалостно резюмировала белая женщина и приказала: — Идите за мной!

Отодвинув дверь купе, она вышла в коридор. Виктор Павлович послушно последовал за ней.

Поезд раскачивался из стороны в сторону, словно шел не по рельсам, а по морю, которое начинало штормить. Виктора Павловича болтало в узком коридоре, било плечами о стены вагона. Краем глаза через распахнутую настежь дверь служебного купе Виктор Павлович увидел проводника, склонившегося над кроссвордом. Тот не обратил на него никакого внимания.

Вслед за белой женщиной Виктор Павлович вышел в рабочий тамбур.

— Открой! — показала она ему на входную дверь вагона.

Все так же послушно он взялся за ручку, потянул дверь на себя. Свежий воздух ворвался в тамбур, холодной волной окатил Виктора Павловича, слегка отрезвив его.

— Пора, — показала белая женщина на темный зев дверного проема.

Бухало в груди сердце. Ему в унисон отстукивали колеса ритм извечной дорожной песни. И под этот ритм всплыли в затуманенном мозгу Виктора Павловича услышанные недавно от Виктора непонятные ему строки:

Пиковая дама сузит глазки —
Жизнь пойдет, как поезд, под откос...

Белая женщина смотрела на него ожидающе.

— Ну, что же вы? — сказала она. — Боитесь... Не бойтесь. Вы сегодня много выпили. Под таким наркозом вы ничего не почувствуете. Всего один шаг, — показала она в черноту проема, — и... Вы будете уже в другом измерении. А здесь о вас мгновенно забудут, как будто и не было никогда. Забудут, потому что в память о себе вы ничего не оставили и вспомнить о вас будет нечего. Решайтесь же — ну! — возвысила она свой ледяной режущий голос.

Виктор Павлович увидел, как мгновенно сузились ее глаза, и вздрогнул, озаренный догадкой: «Так вот же она — пиковая дама! Собственной персоной! И глаза ее только что сузились!»

Виктор Павлович почти физически ощутил, как взгляд белой женщины подталкивает его к черному проему.

«Жизнь пойдет, как поезд под откос...» — стучало и стучало у него в висках. Всего шаг в черную пустоту — и под откос!..

Он хотел оглянуться и не смог. Сузившийся взгляд белой женщины, оборотившейся вдруг пиковой дамой, отсекал ему путь к отступлению. Невидимая жуткая сила потащила Виктора Павловича к самому краю тамбура, за которым начиналась «черная дыра» небытия, из которой уже не было возврата. Несколько мгновений он покачивался на этой зыбкой грани, пока не услышал за спиной короткое и резкое, как толчок в спину, «давай!», и сделал шаг из тамбура...

Насыпь, отсыпанная из крупного щебня, здесь была высокой, Урюм снова подошел к ней вплотную, и шансов выжить после падения практически не оставалось. Да и выживи — места глухие, дикие...

Говорят, в краткие предсмертные миги перед человеком проходит вся его жизнь. Возможно. Но Виктор Павлович, пока упавшее тело его не стала уродовать щебенка насыпи, успел подумать только о том, а были ли они — и сын Виктор, и белая женщина, неожиданно возникшие и так же ушедшие за грань его жизни?

Да и была ли эта его жизнь вообще?..

Проводник оторвался от кроссворда, встал, надел форменный китель, фуражку. Поезд подъезжал к Семиозерному. Проводник вышел в рабочий тамбур, увидел распахнутую дверь. Удивился: надо же — забыл после Могочи дверь замкнуть. Вот ее, наверное, ветром и распахнуло. Внимательнее надо быть, выговорил он самому себе.

После Семиозерного проводник замкнул входную вагонную дверь, подергал для проверки ручку. Потом прошелся по коридору вагона. Двери купе в основном были закрыты. Пассажиры отходили ко сну. Лишь в одном купе дверь была открыта. Проводник заглянул туда. Никого. Вспомнил: парень в Могоче вышел. А сосед его поехал дальше. Вот этого мужика сейчас и нет. Проводник оглядел застольный натюрморт с недопитой бутылкой водки в центре, удивился: надо же — так запросто оставляют на виду почти полбутылки. Осторожно выглянул из купе, поочередно глянул в оба конца коридора. Никого. Взял бутылку, с наслаждением отхлебнул из нее чуть ли не половину того, что осталось, и поспешил из купе. Уже у себя в служебном проводник почувствовал,

как растекается по телу водочное тепло, и удовлетворенно улыбнулся. Можно и самому часок-полтора до следующей станции вздремнуть.

Проводник снял китель, привалившись к стене, закрыл глаза. И уже в полуреме снова вспомнил про пустое купе и исчезнувшего мужика, столь безответственно оставившего на столе недопитую водку. Поди, знакомых в соседних вагонах нашел, теперь добавляет с ними. А может, и пассажирку какую склеил, чтобы время с ней скоротать. В пути все бывает... Сочтя свои предположения вполне резонными, проводник вскоре звучно похрапывал, вплетая звуки своей носоглотки в нескончаемую песню поезда...

ГОРЬКИЙ ЗАПАХ ПОЛЫНИ

Когда-то здесь, в довольно обширном пространстве между березовой рощей, превращенной в городской парк, и узенькой, в несколько шагов, речушкой утопало летом в зелени, а зимой — в сугробах уютное переплетение деревянных улочек.

Но вот однажды в их дремотную тишину ворвался рев строительной техники, и под ее натиском, теряя дом за домом, улочки стали таять, укорачиваться, уступая место громадным многооконным каменным коробкам. Надвигающийся жилмассив пожирал обветшалые засыпухи с такой быстротой, что года через три о частном секторе в этих местах напоминал лишь островок из нескольких чудом уцелевших домишек, зажатых со всех сторон металлическими «самостийными» гаражами. Одним своим берегом островок выходил на широкую оживленную магистраль, проложенную к центру города, и явно не красил ни ее, ни сверкающие голубоватым оконным стеклом многоэтажки **жилмассива**.

Вместе с тем, стремительное до сих пор его наступление приостановилось. Жилмассив словно раздумывал, глядя на вросшие в землю строения, как ему поступить дальше...

На этих вот улочках родился и вырос Хромой. Псом был он довольно крупным, но, как и большинство местных собак, не особенно злым. Породы же не имел никакой. Вернее, относился к той, самой распространенной в мире, которая зовется дворнягой. Не поддавалась определению и масть его, ибо намешала природа в нём всякого всего. Но поскольку преобладал в пестрой шкуре пса рыжевато-серый оттенок, то и весь он казался пегим. От других уличных собак отличала его одна бросающаяся в глаза деталь: он хромал на правую заднюю лапу, слегка поджимая ее при ходьбе.

Охромел он, едва выйдя из щенячьего возраста, когда, перебегая дорогу, угодил под машину. Звали его тогда Полканом, однако с тех пор прилепилась ему на всю оставшуюся жизнь кличка Хромой.

При внешней невзрачности, псом тем не менее был он серьезным, толковым и **собачью** свою службу исполнял хорошо. Только вот с хозяевами ему в последнее время не везло: менялись часто. Однако Хромой на то особо не сетовал. Покидая предназначенный к сносу дом, прежние хозяева, как по эстафете, передавали пса кому-нибудь из соседей — людям, в общем, тоже Хромому не чужим. Важнее было то, что он по-прежнему оставался здесь, на земле, где родился и вырос, где утверждался в глазах собачьего населения.

Населения же этого, по мере наступления жилмассива на деревянные усадьбы, становилось всё меньше и меньше. Одних — хозяева забирали с собой в новые квартиры, других, бесхозных, отлавливали и увозили в железных фургонах собачники, а кое-кто и сам исчезал в неизвестном направлении.

И однажды Хромой обнаружил, что он остался один. Не слышно было знакомых собачьих голосов. Никто не подбегал к забору поприветствовать его. Только с жилмассива

доносился лай и слабый запах псины, но они были нездешние, чужие, от них у Хромого на загривке непроизвольно дыбилась шерсть и томило нехорошее предчувствие.

Предчувствие не обмануло. В один из погожих летних дней очередные хозяева Хромого, нагрузив машину домашним скарбом, укатили. Но на этот раз его уже никому больше не передали. Хуже того — даже не отвязали, уезжая. Несколько дней сидел он, брошенный всеми, на цепи и тосковал, болезненно морщась от быстро заполняющего подворье нежилого духа.

Но вот, подминая гусеницами штакетник, во двор вломился грозно **рычащий** оранжевый бульдозер и двинулся к старому дому с явным намерением снести его. За время строительства жилмассива Хромой успел повидать всякой техники, а потому трактора не очень-то испугался. Даже зычно облаял для порядка. И **не напрасно**. Удивленный тракторист высунулся из кабины и остановил машину «Ну, люди!..» — возмущенно пробормотал он, отвязывая пса

Благодарно лизнув руку своему спасителю Хромой поспешил прочь от мертвого подворья.

Жилмассив, между тем, отряхнув с себя задумчивое оцепенение, решительно заявил о своем намерении приединуться наконец вплотную к широкой магистрали, ведущей к центру. Не прошло и недели, как последние домишкы с облепившими их гаражами снесли, а освободившуюся территорию оградили забором из железобетонных плит, за которым закипела строительная жизнь: экскаватор механическим ковшом черпал землю и высыпал ее в кузова подъезжающих самосвалов, бульдозер разглаживал стальным ножом дно котлована, грузовики завозили длинные, с одного конца заостренные сваи, кирпич, перекрытия, доски.

Несспешной трусцой обегая прямоугольную выемку котлована, Хромой наблюдал, Знакомые места менялись неузнаваемо на глазах. Теперь о них напоминал разве что горьковатый запах полыни, которой все было нипочём. Хромой тревожно ловил влажными ноздрями памятный с детства дух и печально вздыхал. Интуиция немало пожившей на белом свете собаки подсказывала ему, что минувшее уже скорей всего не вернется — настали другие времена, и надо приспосабливаться к новой жизни. Только вот как?

Впрочем, проблема эта Хромого не особенно волновала. Будучи честным цепным служакой, он твердо знал одно главное — иметь хозяина. И чтобы кормиться, конечно, и — что еще важнее — чтобы быть при деле, при своем собачьем предназначении.

Стройка с каждым днем становилась оживленнее. Появились возле забора вагончики на резиновых колесах. В них до и после смены переодевались строители. Здесь же — обедали прихваченными из дома продуктами, пережидали непогоду, стучали по длинному деревянному столу костяшками домино.

Народ на стройке собрался незлой и нежадный, и Хромому перепадали то кусок булки, то куриная косточка, то колбасная шкурка, то еще что-нибудь съедобное. Рабочие швыряли обедки в открытую дверь вагончика прямо на улицу и добродушно потешались над его хромоногой неуклюжестью.

Можно было вполне жить и так, но так Хромой не привык. Ему требовалась служба, честно заработанная косточка, а не подачки. Тем более что ее, настоящую службу, он уже чуял своим собачьим нутром.

Вечерами стройка затихала, пустела. Оставались на площадке только сторожа. И тогда в одном из облюбованных ими вагончиков до утра горел электрический свет.

Сторожей было двое — пожилой, плешивый до затылка мужик и молодой, в полную ему противоположность, густоволосый, кучерявый парень. Они меняли друг друга через ночь, и с обоими у Хромого вскоре сложились хорошие отношения.

Первым за своего признал его пожилой. Разва два-три за дежурство выходил он из вагончика и, с подвывом раздирая рот в зевоте, зябко передергивал плечами от ночной свежести. Немного постояв в раздумье, закуривал и начинал обход.

Хромой наблюдал за ним из-под вагончика. А в один из обходов решился и пристроился рядом. Сторож покосился на непрошеного спутника, но прогонять не стал, и пес почувствовал, что у него есть шанс надо только показать себя в деле. И скоро он сообразил — как.

Путь сторожа пролегал, в основном, вдоль освещенного прожекторами забора. А вот поддоны с кирпичом, штабели досок и разный прочий материал, наоборот, были укрыты темнотой в глубине стройплощадки. Сторож иногда останавливался в раздумье, пристально туда всматривался, но сойти с освещенной тропы не рисковал.

И Хромой понял: вот она — его, собачья, работа. Он смело нырял в густую темь, возвращался, и снова мчался обшаривать скрытые от прожекторов закоулки.

— Молодец! — оценил его усердие явно повеселевший сторож и дружески потрепал по загривку

Человеческая рука давно уже не касалась его шерсти, и Хромой был счастлив.

Молодой сторож парнем оказался веселым и общительным. Совершая обход, он всю дорогу что-то напевал или насыщивал. И не был таким опасливым, как его напарник: во всяком случае, без колебаний ступал в темноту. Появлению Хромого он тоже не удивился. Возможно, слышал о нем от сменщика. Отнесся же к нему поначалу вовсе не как к помощнику, а просто как к приятелю, с которым можно скоротать время.

— Эй, Хромой, давай наперегонки! — кричал он и то мчался вдоль забора, то резко уходил в темноту, вертко петляя между штабелями.

Пес, отчаянно хромая и поджимая при каждом скачке правую заднюю лапу, с лаем бросался за ним, а молодой сторож-весельчак улюлюкал и хохотал.

Забавы забавами, но и деловые качества Хромого молодой сторож тоже сумел оценить по достоинству. И применить с пользой для себя. Он быстро смекнул: когда этот добросовестный и нетрусливый псиша на улице, не обязательно самому лишний раз выходить из вагончика, прерывая сладкий сон. Ежели что — Хромой службу знает...

Теперь вочные обходы Хромой стал все чаще выходить один. Что ж, для цепного пса со стажем — дело привычное. Одному как-то даже свободнее. Нет нужды лишний раз оглядываться на хозяина.

Жизнь снова начинала налаживаться...

Между тем увяло, ушло лето, зашелестела сухим листом осень, все злее становились ночные холода, и на дежурствах Хромой стал чаще обычного выбегать из-под вагончика, чтобы согреться на бегу.

Зато теперь он был уже не один...

Первой его одиночество нарушила Дамка.

Дамка была своя, поселковая, жила с Хромым когда-то на одной улице; и он, помнится (тогда она еще была совсем юной собачонкой), прогуливаясь отвязанным в свободное от службы время, заглядывался на нее — ладную, веселую и звонкоголосую. Потом хозяева увезли Дамку на новую квартиру, и окрестные собаки завидовали ей. Хромому было грустно, и Дамка ему еще долго снилась. И вот, когда он уже почти забыл ее, Дамка появилась снова.

Как-то, уже под утро, они со Степанычем (так звали пожилого сторожа) совершили очередной обход. Вдруг из зарослей лебеды и полыни возле забора Хромой услышал жалобное поскуливание. Он **метнулся** в ту сторону и увидел... Дамку. Когда-то кофейного отлива ее шерсть от пыльного налета посерела, свалялась, коричневые глаза слезились и умоляюще смотрели из **повядшей** травы.

Хромой обнюхал Дамку. Собакой, имеющей хозяина, она не пахла. Хромой удивился, но вскоре узнал от нее следующее.

В огромном доме, куда переехала жить Дамка, собак держали многие жильцы. Но, в основном, очень породистых, с предками благороднейших кровей. На дворнягу Дамку смотрели на прогулках с высокомерным презрением, не допуская в свой круг общения. Да и сама она чувствовала себя среди них белой вороной. Но это было бы еще ничего. Дамка

уже начинала потихоньку привыкать к новому своему положению. Только вот хозяева ее, чувствуя себя крайне уязвленными, с этим смириться никак не могли. И однажды в их квартире появился шоколадного цвета щенок добермана.

Ему Дамка обрадовалась, пожалуй, больше всех. И взяла под свою материнскую опеку. С ним она почувствовала себя счастливой. Но счастье ее длилось недолго. Чуть только щенок подрос, Дамку отвезли в какое-то незнакомое место и оставили ее там одну. Она, было, бросилась вдогонку за отъезжающей машиной, но хозяин, тормознув, открыл дверцу, подобрал валявшийся на обочине камень и запустил им в собаку. Камень попал ей точно в голову. Оглушенная Дамка долго не могла прийти в себя, а когда очнулась, поняла, что хозяина и крыши над головой больше у нее нет. Но хуже всего, что не стало теперь и приемного сына.

Горестная и опустошенная, Дамка брела, сама не зная куда. Долго шла по незнакомым улицам и дворам, питаясь на помойках, а инстинкт, оказывается, вел ее в родные места...

Но и их Дамка не узнала. Не осталось ничего здесь прежнего, знакомого. Разве что — неистребимый полынnyй запах. А теперь вот еще и Хромой... Ему Дамка обрадовалась, как последней своей надежде.

— Ну, чего ты тут нашел? — услышал Хромой над головой голос Степаныча.

Хромой не очень уверенно гавкнул, словно приглашая самому взглянуть и решить, как поступить, потом вдруг неожиданно для себя лизнул Дамку в нос Дамка взволнованно заколотила хвостом, и, радостно взвизгнув, ответила тем же. Сторож с любопытством взирал на происходящее.

— Никак подружку нашел? — сказал он наконец

Хромой настороженно поднял уши, пытаясь сообразить, как к сему факту отнесся Степаныч, а Дамка на брюхе подползла к ноге сторожа, лизнула пыльный его сапог и умоляюще заскулила

— Ну-ну Чего ты? — сконфуженно пробормотал Степаныч, отодвинув сапог и, подумав несколько мгновений, сказал

— Слыши, Хромой, а **ниче**, собачка-то, ласковая Хороша тебе женка будет. Вдвоем-то все веселее

После Дамки появился Белый. Когда-то, наверное, он действительно был белый. Однако со временем его свалившаяся шерсть больше стала походить на грязную серую вату Сюда, на стройку. Белого занесла бродячая судьба, но пак оказался свойским, и Хромой его принял.

К зазимкам, когда тонким хрустким ледком начали схватываться лужи, к их компании прибились еще двое рыжий кобелек с плутоватыми глазками (Степаныч сразу же окрестил его Прохиндеем) и черная, как уголек, **сучонка**, получившая у строителей кличку Ночка

Разношерстная эта компания сошлась без особых проблем и безоговорочно приняла над собой верх Хромого.

Теперь сторожевые обходы Хромой совершил с целой собачьей командой. Он оказался хорошим вожаком, стая беспрекословно слушалась его.

Так и жили.

А дом, между тем, строился, поднимался под ловкими руками каменщиков все выше.

Незаметно прошла зима — теплая, с мягким липким снегом, на котором приятно было, перекатываясь с боку на бок, почесать спинку. Стали чернеть, оседать сугробы, появились под солнышком проталины

К середине апреля снег сошел. Под забором прочикнулась первая травка. Свежий весенний ветер нес тепло и сердечные волнения. По ночам надсадно орали коты. Начинались собачьи свадьбы.

А к осени Дамка ощенилась.

Хромой с удивлением обнюхивал кофейного отлива с пегими подпалинами на боках теплые живые комочки. Совсем недавно их не было на свете, тем не менее, пахли они удивительно знакомо.

Родила Дамка пятерых. Двух щенков взяли себе строители. Остальные подрастиали в стае, которая, впрочем, от этого мало увеличилась, поскольку были не только обретения, но и потери один из свадебных собачьих хороводов закружил и увлек за собой Ночку. Куда — неизвестно.

Больше всех переживал о ней Прохиндей. А потом и сам исчез. Наверное, отправился искать подругу, решил Хромой.

Незаметно подкралась новая зима — не в пример прежней, малоснежная, ветреная и морозная. Не спасали собак под вагончиками на их лежбище ни стружки, ни подстилки из старых телогреек, пропахших соляркой. Собаки сбивались в плотную кучу (щенки в середине) и пытались хоть как-то согреться. Кое-кому иной раз выпадало счастье пробраться в теплый вагончик и поблаженствовать, пока не выгнали, возле излучающего сухое тепло электрического «козла».

В самые лютые морозы стойка замирала, строители не появлялись целыми днями, и тогда собакам приходилось особенно туда.

В такие дни Хромой вел стаю на жилмассив, к мусорным контейнерам. На чужой территории ласковых встреч ждать не приходилось, и стычки действительно происходили. Но окрестные псы-бродяги не могли противостоять дружной стае, в единстве и была ее сила. Пока они вместе, ничего не страшно, — был уверен сам и убеждал остальных, особенно сыновей своих, Хромой.

Заметно подросшие щенки, однако, отцову науку усваивали плохо. Им всё скучнее становилось в пределах строительного забора. Бывая в набегах на **жилмассиве**, они видели, что мир гораздо больше и за забором он казался куда как интереснее: богаче запахами, звуками, красками. И чем заметнее оседали сугробы в предвосхищении весеннего тепла, тем сильнее стремились молодые псы в этот большой мир.

В какой-то степени Хромой понимал их. Тем более что и жизнь на стройплощадке пошла как бы под уклон. Сложив двенадцатиэтажную кирпичную коробку, покинули дом каменщики. Их сменили отделочники. Но и они долго не задержались. Потом застучали, зазвенели разводными ключами сантехники, забегали по лестничным маршрутам электрики. Вагончиков убавилось, людей — тоже.

Менялся и внешний вид стройплощадки. Исчезли поддоны с кирпичом, горы гравия и песка, штабеля досок, и пространство вокруг дома все больше превращалось в захламленный пустырь. Подъезды в доме сторожа (а теперь это были уже совсем другие люди) стали запирать на замок. Во дворе же, кроме мусора, караулить было нечего.

Стая Хромого продолжала патрулировать территорию, но делала это скорей по привычке, чем по необходимости, и даже, чего раньше не бывало, вызывала своим рвением неудовольствие новых сторожей, предпочитавших ночью хорошенко вздремнуть. Подкармливать собак тоже почти перестали. И на замерзших помойках добывать пропитание было всё труднее. Стая приуныла.

Хорошо еще, что задули наконец весенние ветры. Но они не только обогрели, но и заразили беспокойным томлением, заставляющим жадно ловить оттаявшие запахи, которые читались как захватывающая книга о многообразной и удивительной жизни вокруг.

Первыми покинули стаю сыновья Хромого. Все трое ушли искать свое счастье в большом мире.

Значит, выросли, — решил Хромой. И все-таки сделалось тоскливо и боязно: как они приживутся там.

И в один прекрасный день, когда Дамка и Белый, свернувшись калачиком, дремали под вагончиком. Хромой отправился искать сыновей. Он думал, что искать придется долго, если найдет вообще, но ошибся. Оббежав несколько соседних девятиэтажек, он

обнаружил их за железной решеткой платной автостоянки, которая, судя по пахнущей свежим деревом сторожевой будке, возникла здесь недавно. Его сыновья с лаем бросались к каждой вновь подъезжавшей машине, заставляя притормозить у сторожки. Оттуда выходил охранник, брал с водителя плату за постой и поощрительно поглаживал кого-нибудь из братьев. Все трое с такой преданностью начинали валять хвостами, что без всяких объяснений было ясно, ребята нашли себе хозяев.

Хромой порадовался за них и пошел обнюхаться, разузнать, как устроились, какие виды на будущее.

Однако то, что случилось дальше, его крайне обескуражило. Не успел Хромой поравняться со сторожевой будкой, как молодые псы с лаем преградили ему дорогу. Не услышал в нем Хромой и намека на ожидаемую радость встречи, зато явственно звучала угроза.

Никак не ожидавший такого приема, Хромой попятился. Неужели не узнали? И подал на всякий случай голос: мол, я это, ребяташки, батя ваш. Но юные кобельки упорно не хотели его признавать. Они захлебывались лаем и, казалось, вот-вот вцепятся в него.

Хромой вдруг вспомнил, как в звенящую зимнюю стужу они с Дамкой отогревали их своими телами, и ему стало обидно. Он, конечно, понимал, что значит служебное рвение — честь им и хвала за это, однако же и он не какая-то там презираемая любой уважающей себя собакой машина, за которой сам Бог велел гнаться, не жалея ног и глотки, и не посторонний барбос, дерзнувший покуситься на чужую территорию. Родные же ведь они!..

На шум из сторожки выглянула охранник и, увидев, что его четвероногие помощники травят незнакомую пегую псину, весело заорал, подливая масла в огонь.

— **Ату** его, ребята, фас!

И «ребята», ободренные хозяйственным окриком, взялись за своего папашу с удвоенной энергией.

Под их злым напором Хромой поспешил убраться восвояси. Отбежав на приличное расстояние, он в последний раз бросил взгляд на охраняемую сыновьями автостоянку и тяжело вздохнул: путь ему сюда был заказан.

А дома ждал еще один удар. Пока он отсутствовал, собачники сделали облаву. Белый сумел ускользнуть, а вот **брюхатой**, готовившейся снова стать матерью Дамке уйти не удалось. Спрятавшийся в кустах Белый видел, как собачники забросили взвизгнувшую Дамку в железный фургон, из которого доносился разноголосый лай, но помочь ничем не мог. Лишь обляял для очистки совести **отъехавшую** машину.

Хромой затосковал. К Дамке он крепко привязался. Он любил ее.

Целыми днями Хромой неприкаянно слонялся по замусоренной стройплощадке, опустив голову, и ловил запах Дамки. Он находил его отголоски то тут, то там — везде, где бегали они когда-то вдвоем или лежали, отдыхая, прижавшись боками. Но сильнее всего Дамкой пахло на том месте, где стоял фургон собачников. Хромой надолго застыпал здесь в отрешенной неподвижности.

А иногда ночами от дома-новостройки доносился тоскливыи вой, от которого у тех, кто слышал его, нехорошо ныло под ложечкой и до утра пропадал сон.

Белый сочувствовал товарищу. Он кое-что повидал в жизни, которая никогда сладкой у него не была, и считал, что лучше всего в таких случаях — уйти подальше от знакомых мест и запахов.

Хромой соглашался с ним, но уйти никак не решался. И не только память о Дамке держала его здесь. Было что-то еще, более сильное, важное и прочное, более глубинное, принадлежавшее не одному ему, а, как он подспудно ощущал, — длинной цепи поколений его сородичей, чья жизнь, подобно его собственной, зародилась и прошла на этих исчезнувших деревянных улочках между березовой рощей и речушкой, от которых остался только неистребимый горьковатый запах полыни.

К черемуховым холодам Белый все-таки уговорил Хромого.

Едва рассвело, они пересекли пустынную в этот ранний час ведущую к центру магистраль и спустились к речке. Молодая травка в ее пойме поседела от заморозка. Собаки с удовольствием, словно мороженое, полизали иней и стали взбираться на противоположный склон. Наверху остановились передохнуть.

От Белого Хромой уже знал, что дальше начнутся военные казармы, за ними — склады, охраняемые солдатами с овчарками. Но, обойдя их справа, они окажутся в замечательном месте — на городской свалке. Самосвалы везут и везут сюда мусор и отбросы со всего города. Найти здесь можно все, что душе угодно. Собаки тут не грызутся из-за куска, а люди не прогоняют собак, потому что всего всем хватает. Белый прожил на свалке прошлое лето и часть осени до холодов и с большим удовольствием вспоминал этот райский, по его разумению, для вольной собаки уголок. Куда и вел сейчас товарища.

Хромой сидел, успокаивая дыхание, и смотрел с высоты склона туда, откуда они начали свой путь.

Отсюда хорошо был виден кирпичный красавец-великан, выросший на его, Хромого, глазах. За время строительства он успел полюбить дом, привязаться к нему, как к родному существу. И сейчас дом показался Хромому этаким каменным щенком, который, хотя и вымахал в громадную собаку, но все равно нуждается в его защите и опеке. Как же он может уйти и бросить его одного...

Хромому стало не по себе. Налетевший с той стороны ветерок дохнул на него полынной горечью. У Хромого перехватило дыхание и сжалось сердце.

Белый встал, сделал знак хвостом: пора, пошли — и потрусили к видневшемуся невдалеке кустарнику. Хромой привстал, собираясь последовать за ним, но лапы словно вросли в землю.

Почувствовав, что бежит один. Белый удивленно обернулся и призывно залаял. Хромой виновато опустил голову и повернул обратно. И сразу же ему стало так легко и свободно, будто сбросил он с себя тяжелейшую ношу...

К исходу лета дом был окончательно готов. Даже захламленный строительный пустырь исчез. На его месте появились большой газон и детская площадка. Снесли и огораживавший стройку забор.

Последнее обстоятельство Хромого особенно удручало. Без забора территория неприлично оголялась, теряя четкие очертания, размывалась и переставала существовать чем-то отдельным, самостоятельным, становясь доступной каждому встречному-поперечному.

Хромой, правда, еще пытался по укоренившейся привычке облавливать чужаков, но «своих», то есть строителей, устранивших последние недоделки, можно было **пересчитать** по пальцам, а «чужаки», спешившие на прогулку к школьному стадиону, уже не воспринимали его, как прежде собаки фыркали в ответ, а то и зло огрызались, а хозяева могли и швырнуть в раздражении чем **попадя**.

Хромой понимал, почему так происходит. Он остался один — без стаи и территории. Про человека в подобных случаях говорят генерал без армии, король без королевства. А про себя Хромой мог бы добавить — собака без хозяина. И последнее было едва ли не хуже всего.

Так уж повелось, что собака и хозяин — понятия нераздельные. Хозяин собаку кормит, позволяет ей жить подле себя, а та, в свою очередь, верно служит ему.

В своей жизни Хромой сменил не одного хозяина. Тем не менее, добросовестно и честно исполняя собачью службу, он никогда не раболепствовал. По крайней мере, с хозяйственными тапочками в зубах представить его себе было очень трудно. В миропонимании Хромого хозяин был фигурой куда более значимой, чем просто существо, перед которым надлежало заискивающе вилять хвостом в ожидании ласки или подачки. Для него хозяин был тем необходимым стержнем устойчивости и порядка, без которого жизнь охромевала сразу на все четыре лапы. И только при хозяине, по разумению Хромого, собака могла себя чувствовать настоящей собакой, живущей на свете не зря.

И не обязательно, как убедили Хромого последние годы его жизни, хозяином мог быть кто-то один-единственный. На стройке работало много людей. Одни — приходили, другие — уходили. Но незримый хозяйствский дух, волею которого царил порядок и рос дом, витал здесь постоянно. Потому и служил Хромой со своей стаей той стройке не за страх, а за совесть. А вот теперь, с болезненной остротой ощущал Хромой, дух сей окончательно улетучивался, оставляя ему тягостную пустоту бессмысленного, бесполезного одиночества.

Когда и чем заполнится пустота. Хромой не знал, но верил, что, как не раз уже бывало, найдется в конце концов для него новый хозяин, и жизнь снова наладится, войдет в колею.

С наступлением осени дом стал заселяться. Рассчитан он был на людей обеспеченных, квартиры в нем стоили недешево. Владельцы их подкатывали к подъездам на красивых сверкающих авто, из салона которых нередко выглядывала и собачья морда.

Хромому это было в диковину. Он терялся, кого же облавивать — машину или собаку в ней?

А собак по мере заселения дома становилось больше и больше. И кого только тут не было! Прямо-таки собачья выставка. Хотя в основном новоселы предпочитали собак крупных, мощных и злых: всяких там догов, ротвейлеров, бультерьеров, боксеров. Надо думать, видели в них надежных сторожей *своих* квартир.

Отношения с ними у Хромого как-то сразу не заладились. И, в общем-то, не по его вине. Он-то как раз, сообразив, что остался в безнадежном одиночестве, старался поближе познакомиться с новыми соседями. Все-таки вместе предстояло жить, по одним тропкам бегать. Но домашние собаки на сближение шли плохо.

Находились и такие, кто спешил заявить о себе, как о полновластном хозяине двора. И прежде всего — крупный, палевого окраса боксер с белым пятном на широкой груди. От всей его коренастой мощной фигуры исходили волны злобы, а в глотке не затихал глухой угрозливый рокоток. Даже не пытаясь, как полагается, обнюхаться, собаки предусмотрительно сворачивали с его пути. А он, позванивая блестящими пластинками металлического ошейника, только презрительно косился на них, продолжая ленивой трусцой свой променад.

Завидев Хромого, боксер останавливался как вкопанный, мышцы его взбуживались, каменели, глаза наливались кровью, а угрозливый рокоток, набирая обороты, рвался из оскаленной пасти грозным рычаньем.

Замирал, ощетинившись, и Хромей. При первой же их встрече он понял, что по одной тропе им не ходить. И не потому, что Хромой, по праву аборигена, не желал никого пускать в свои владения (он-то был готов жить с другими собаками в ладу и согласии). А вот боксер, подсказывал Хромому инстинкт и опыт, был одним из тех псов, кто признает только свой верх.

Боксер тоже сразу почувствовал, что главное для него препятствие — этот беспородный пегий пес, который, догадывался он, никогда не признает его безусловного первенства. Не мог только понять — почему. Какое вообще право имеет эта уродливая, грязная, куцехвостая хромая шавка не признавать его, такого красивого, гладкого, холеного, такого сильного, способного, не задумываясь, кому угодно перегрызть глотку, его — чемпиона нескольких собачьих выставок, его, у которого самый шикарный в округе ошейник, а в придачу к нему — самый клёвый и крутой хозяин?

А хозяин поразительно походил на своего питомца коренастой массивной квадратной фигурой на коротких кривоватых ногах, увенчанной круглой, как мяч, коротко стриженной головой с тупой боксерской челюстью, широким приплюснутым носом и жестким недобрым взглядом глубоко посаженных маленьких глаз. И когда они оба выходили на прогулку, за версту было ясно — это родственники.

Их и звали-то одинаково. Только пса почему-то более солидно — Борис, а хозяина попроще, подемократичнее — Боб. Так обращались к нему приятели, такие же

бритоголовые ребята. Так окликали соседи — с заискивающими, правда, нотками в голосе: Боб-то Боб, но был он круче вареного яйца, делишками, говорят, ворочал — ой-ей-ей! Не приведи, Господь, ненароком задеть его амбицию.

Отношения между Бобом и Борисом были семейные. Сын Борис папу Боба уважал и, если и способен был кого-то любить, то, возможно, даже и любил. Папа Боб отвечал взаимностью, но хотел видеть Бориса не комнатной размазней, а настоящим, достойным хозяина, парнем. А еще мечтал сделать из него бойцового пса, чемпиона собачьих ристалищ. Поэтому три раза в неделю Боб сажал Бориса в свой «Мерседес» и вез к специалистам.

Науку собачьих боев Борис усваивал довольно успешно. Она ему нравилась. Но трепать чучело или человека в длинном защитном ватнике быстро надоело. Хотелось вкуса настоящей крови.

И однажды натаскивающий Бориса тренер сказал: «Пора ему, Боб, серьезного спарринга искать. Страви его с какой-нибудь собакой. Хорошо бы с уличной. Они отважнее. Да и спросу никакого, если что.

Боб не любил откладывать свои дела в долгий ящик. На следующее же утро, заприметив Хромого, он решил — это то, что нужно: пес бездомный, ничей и подходящий по габаритам. И в тот же вечер он стравил собак.

Сделал Боб это просто и коварно: проходя с Борисом на поводке мимо сидевшего невдалеке на газоне Хромого, он неожиданно швырнул ему свежую кость из супового набора, какими обычно лакомился дома Борис.

Нежданному подарку Хромой удивился, но и несказанно обрадовался — он уж и забыл, когда последний раз обедал, а тут такая вдруг аппетитная косточка. Забыв обо всем на свете, Хромой вцепился зубами в кость.

Еще больше поразился поступку хозяина Борис. Завороженно проводив взглядом кость — его кровную кость, упавшую прямо к ногам пегого ублюдка, Борис недоуменно-растерянно стал заглядывать в глаза Бобу.

— На твою, блин, косточку покушается, да? — ухмыльнулся Боб и тут же посурошел. — А ты, блин, не давай. В натуре! Ишь, козел! На чужое хавальник разинул. Да мы его!..

Поняв по интонации хозяйского голоса, что случилось явное недоразумение, что Боб сочувствует ему и как бы призывает отобрать вдруг потерянную собственность, а заодно и как следует вздуть нахала, Борис воспрянул. Он зарычал и потянулся в сторону Хромого.

— Ух он, фуцин дешевый, ух, фрайер, нашу косточку стырил, — приговаривал Боб, а Борис все сильнее и злее натягивал поводок. — Наказать его, падлу, надо, наказать. Ну-ка, Боренька, пойди, разберись с ним, покажи, чему научился, — продолжал Боб и неожиданно рявкнул, спуская боксера с поводка: — Взять его, Борис, фас!

Услышав команду и почувствовав свободу, Борис с энергией тугой расжатой пружины понесся к Хромому, с упоением обгладывающему кость.

Хромой заметил Бориса слишком поздно и не успел вовремя среагировать. Боксер налетел на него, как смерч, как та машина, которая когда-то покалечила Хромого.

Выпустив от неожиданности кость, Хромой отлетел в сторону. Он вскочил, но Борис снова проронил его мощной грудью. Возле них, предвкушая острое зрелище, начала собираться толпа. В основном собачники окрестных домов со своими четвероногими компаниями.

Припав на передние лапы, Борис приготовился к новому прыжку, чтобы окончательно разделаться с Хромым, но тут вдруг увидел прямо перед собой вожделенную косточку и, презрительно скосившись на барахтавшегося в первом предзимнем снежке Хромого, решил пока заняться ею.

Это стало его ошибкой. Хромой, которому к суровым собачьим разборкам было не привыкать, быстро пришел в себя. Вскочив, он увидел возмутительную картину в трех шагах от него Борис торопливо скреб лапами подмерзшую землю, держа в зубах кость.

Его, Хромого, кость, чудесным даром свалившуюся с небес после нескольких голодных дней. И уж совсем показалось Хромому кощунственным то, что трофеи свой Борис пытался зарыть на его, Хромого, исконной территории.

Такого спустить никак было нельзя. Внутри Хромого будто кто-то повернул невидимый рубильник, освобождая поток яростной энергии.

Собравшиеся уж было расходиться зеваки, решившие, что Борис свое дело сделал, увидели невероятное большой пегий ком, описав в воздухе дугу, опустился прямо на холку боксеру.

Натиск был настолько неожиданен и стремителен, что Борис явно растерялся. Клыки и когти Хромого доставали его всюду, оставляя кровавые отметины на ухоженной лоснящейся шкуре. Борис бестолково мотал головой, пытаясь избавиться от Хромого, но тот был проворнее.

И Борис не выдержал, отступил. По-щенячни скуля и взвизгивая от боли и испуга, он со всех ног бросился к хозяину.

Ошарашенная таким поворотом публика секунду-другую молчала, потом послышались смешки, и кто-то с удивленным восхищением воскликнул:

— Гляди-ка, задал уличный хулиган спортсмену перцу!

Сказал, будто пощечину влепил.

Боб помрачнел, закаменел лицом.

— Куда ж ты бежишь, позорник? — зашипел он — Тебе ж, падла, после этого только на живодерне место!

Униженно моля о прощении, Борис лизнул хозяйский ботинок, но тут же получил крепкий пинок в бок.

— Назад! — заорал Боб — Фас его, фас!

Борис завертелся возле Боба, как ужаленный, не зная, как поступить: с одной стороны, приказ хозяина, конечно, — закон, а с другой Боксер опасливо покосился на вздыбленного Хромого, чей вид не предвещал ничего хорошего. Нет, никак не улыбалось ему снова ввязываться в драку.

Возможно, все на этом и закончилось бы: попсиховав и отругав своего незадачливого кобеля, Боб увел бы Бориса домой зализывать раны и уязвленное самолюбие, но судьбе, видимо, было угодно иначе.

Во-первых, масла в затухающий огонь схватки подлила чья-то злорадная реплика, брошенная в адрес Бориса: «У хозяйских-то ног надежнее». А во-вторых, ошибку теперь уже совершил Хромой. Ему бы удовлетвориться достигнутым, а он решил развить успех, ведь противник, пусть и перепуганный и изрядно потрепанный, оставался пока на его суверенной территории. Не учел только Хромой одного, но сейчас, пожалуй, главного — присутствия оскорбленного поражением своего пса хозяина.

Увидев направившегося к ним Хромого, Боб схватил валявшуюся под ногами половинку кирпича и запустил ею в него. В пылу атаки Хромой видел перед собой только Борисами, все внимание сосредоточил на нем. И поплатился. Половинка угодила Хромому в ухо. Словно на стену со всего размаха налетев, он отключился. Пришел в себя Хромой от острой боли. Голова гудела, ухо кровоточило, а шкуру драли чужие клыки и когти. Когда розовый туман в глазах рассеялся, Хромой увидел прямо перед собой злобно оскаленную брыластую морду боксера, намеревавшегося вцепиться ему в глотку.

Неожиданная помощь папы Боба воодушевила Бориса, придала уверенности. Он снова почувствовал себя хозяином положения и, не мешкая, бросился на оглушенного кирпичом Хромого. Обрадованные продолжением зрелища, зеваки вокруг засвистели, зауллююкали, подбадривая Бориса. И больше всех старался Боб.

— Дави его, гада приблудного, рви на куски, паскуду шелудивую! — неистовствовал он, словно не во дворе своем был, а возле ринга, где бьются без всяких правил на потеху богатой публике крутые ребята.

— Дави!.. — эхом отзывались зеваки, которые, глядя на распалявшегося Боба, тоже начали заводиться, наливаясь нездоровым азартом.

Состояние хозяев передавалось собакам. Они заволновались, натягивая поводки, воздух огласился разноголосым лаем. Возбуждал не только азарт драки, но и тревожно щекочущий ноздри терпкий запах свежей крови обоих бойцов. Поводя из стороны в сторону носами, собаки жадно впитывали его и пьяняли.

Хромой очнулся вовремя. Еще мгновение — и челюсти боксера захлопнулись бы на его глотке стальным волчим капканом. Хромой в последний момент успел отклониться — клыки Бориса, клацнули над ухом. От резкого движения он чуть не упал. Голова шла кругом, к горлу подступала тошнота, а ноги предательски подкашивались.

Развернувшись, Борис снова бросился на него. И опять промахнулся. С тупой механичностью проделал он это еще несколько раз.

Хромой уворачивался, но давалось ему это все труднее.

В очередной наскок Борису повезло больше. Он прорыгнул замешкавшегося Хромого грудью и вцепился ему в шею чуть выше плеча. Из свежего прокуса брызнул фонтанчик крови, и шерсть вокруг стала мокнуть и краснеть.

Хромой попытался сбросить Бориса, но безуспешно: боксер вцепился в него мертвый хваткой, и было ясно, что теперь-то шанса своего он не упустит...

Разгоряченные зрители — люди и собаки — жадно ждали приближающейся развязки. Они уже не сомневались в победителе и бурно поддерживали Бориса, оправдывавшего свои притязания на лидерство. Они успели (или постарались) забыть недавний его позор и то, каким вероломством мостила эта победа. Еще несколько секунд, в крайнем случае, минута и... красавец боксер с белым пятном как со звездой героя на груди загрызет этого пегого хромого уродину (и поделом, нечего позорить их красивые дома и дворы, где место только породистым и богатым!). А вероломство... Какая ерунда! На том нынче и жизнь держится. И победителей, как известно, не судят. Перед ними преклоняются...

Борису удалось наконец свалить Хромого на землю, и теперь он с бешенством терзал его.

Истекая кровью, Хромой продолжал слабо отбиваться, но силы стремительно уходили из него, как воздух из проколотого во многих местах воздушного шара. И голодное житье последнего времени, и, в особенности, коварный удар кирпичом сделали свое дело. Инстинкт подсказывал Хромому, что пора прекратить самоубийственное сопротивление. **Ах**, если бы руководил им только инстинкт!..

Но была у него, во-первых, еще и гордость, не позволявшая любому, даже самому грозному, сопернику уступать без боя, а во-вторых...

Сквозь горячий пот и кровь схватки, сквозь плотную стену запахов, исходящих от зрителей пробился вдруг неожиданный в это время года, но такой с детства, близкий и родной, горький полынный дух. Источал его сухой кустик полыни, серевший неподалеку на белом снежке.

Полынный дух подействовал на Хромого как нашатырь на потерявшего сознание. Невероятным усилием, оставляя в зубах боксера кровавый лоскут шкуры с мясом. Хромой вырвался из капкана челюстей Бориса и, еще раз заставив ахнуть зевак, сделал попытку нанести ответный удар.

Немного пораньше, это ему, наверное, и удалось бы, но сейчас, когда истекали из него последние капли жизни, не смогло б помочь даже чудо.

И тем не менее напоследок Хромой достал-таки Бориса, оставив кровавые росчерки на его морде и шее.

Взрыв этот отнял остатки сил. Хромой рухнул на землю и ничего больше уже не видел, не слышал и не воспринимал вокруг. Даже того, с какой мстительной жестокостью, почувствовав полную обреченность врага, рвет его тело боксер.

В мозгу Хромого вспыхивали далекие от всего здесь происходившего видения. Виделись белые черемухи в палисадниках. Виделась вымытая летним дождем изумрудная мурава с блестками непросохших капель перед его собачьей будкой. Покачивалось в небе над ней разноцветное коромысло радуги, которое хотелось беззлобно обляять... Потом вдруг возник грозно рычащий пес-бульдозер с железным ножом-челюстью на тупой оранжевой морде. Он сначала раздавил будку, а потом стал наезжать на прикованного к ней цепью Хромого. Пес-бульдозер изрыгал соляровый [перегар](#), в этом царстве зелени и тишины казавшийся особенно враждебным. И только упрямый запах веточки полыни, зацепившейся за тракторную гусеницу, не давал тяжелому чужеродному духу окончательно завладеть пространством. Цепь крепко держала Хромого. Пес-бульдозер наехал на него и стал вминать в сырую землю. Попытавшись вырваться из лап чудовища, Хромой конвульсивно дернулся несколько раз, но тщетно.

Видения исчезли, уступили место кромешной ночи, в которой сторожевой собаке остается полагаться только на свое чутье. И самыми последними крохами этого чутья уже бездыханный Хромой еще какие-то доли мгновения продолжал удерживать в себе горький запах полыни.

Не заметив предсмертной судороги, Борис продолжал терзать Хромого до тех пор, пока подбежавший хозяин не оттащил его, полуобезумевшего, от своей жертвы. Осознав, наконец, что все кончено, Борис победительно задрал ногу и пустил на поверженного струю. Потом повернулся и стал закидывать задними лапами труп врага землей.

Кажется, совсем недавно было, но историю эту уже и не вспоминает никто. Да и что вспоминать какого-то дворнягу, погибшего в обычной собачьей разборке, когда буквально под всеми земля горит! Густой зеленый газон надежно скрыл следы той битвы. И только вымахавший в пояс куст полыни неподалеку от места гибели Хромого напоминает о ней.

Лелеющие газон садовники прикладывают все силы для его искоренения, чтобы не портил вид. Но он вырастает снова и снова наперекор всему, распространяя по окрестностям терпкую полынную горечь.

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Несовпавший. (Анатомия самоубийства).
Позови меня с собой.
Смерть в рассрочку.
Грешен наш путь...	

Рассказы

Подруги.
Пиковая дама сузит глазки...
Горький запах полыни.